

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Центр интеллектуальной истории



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY
Centre for Intellectual History



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВООБЩЕЙ ТЕОРИИ ИСТОРИИ
DIALOGUE WITH TIME



**Intellectual History
Review**

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF UNIVERSAL HISTORY
Centre for Intellectual History
7



**URSS
Moscow, 2001**

**Будем же измерять время
мерой духовной!
(Р.Эмерсон)**

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ

Альманах интеллектуальной истории

7



YPCC
Москва, 2001



Главный редактор
Л.П.РЕПИНА

Редакционная коллегия:

**М.С.БОБКОВА, П.П.ГАЙДЕНКО, И.Н.ДАНИЛЕВСКИЙ, Г.И.ЗВЕРЕВА,
С.Я.КАРП, М.С.ПЕТРОВА (ответственный секретарь), Е.И.ПИВОВАР,
В.И.УКОЛОВА, С.А.ЭКШТУТ, А.Л.ЯСТРЕБИЦКАЯ**

Рецензенты:

**доктор исторических наук О.Ф.Кудрявцев
доктор исторических наук М.Р.Зезина**

*Выпуск альманаха подготовлен и издан
при финансовой поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса)*

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. Альманах интеллектуальной истории.
Вып. 7. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 392 с.

Альманах «Диалог со временем» — научное периодическое издание, специально посвященное проблемам интеллектуальной истории, которая изучает исторические аспекты всех видов творческой деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты.

DIALOGUE WITH TIME. Intellectual History Review. Vol. 7. Moscow:
Editorial URSS, 2001. — 392 p.

Dialogue with Time is the first Russian periodical specially intended for consideration of the problems of intellectual history understood as a study of historical aspects of all kinds of human creative activity, including its conditions, forms and products.

Издательство «Эдиториал УРСС». 113208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 2/11. Лицензия ИД № 03216 от 10.11.2000 г. Гигиенический сертификат на выпуск книжной продукции № 77.ФЦ.8.953.П.270.3.99 от 30.03.99 г. Подписано к печати 12.11.2001 г. Формат 60×84/16. Тираж 300 экз. Печ. л. 24,5. Отпечатано в множительной лаборатории Кольчугинского завода технических изделий. 601750, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Добровольского, 2.

ISBN 5-8360-0313-0

© Коллектив авторов, 2001
© Институт всеобщей истории РАН,
1999 (год основания), 2001
© Эдиториал УРСС, 2001



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Л.П.Репина

Социальная память и историческая культура: от античности к новому времени

Современная историографическая ситуация ставит на повестку дня задачу комплексного изучения сложного феномена исторической памяти и конкретно-исторического анализа представлений о прошлом как составных элементов общественного сознания.

Важным качественным сдвигом в западной историографии 1970-80-х годов явился переход от социально-структурной истории к истории ментальностей. Именно в это время известным французским историком Бернаром Гене были намечены оригинальные пути исследования сложного феномена средневековой исторической культуры. Позднее проблема исторической памяти уже в более широком плане была поставлена авторами коллективного проекта под руководством Пьера Нора «Места памяти», также построенного на материале французской истории. Отдельные исследования предпринимались и в некоторых других странах под непосредственным влиянием школы «Анналов». Вместе с тем, уже во второй половине 1980-х и в 1990-е годы существенно окрепла тенденция к пересмотру предметных оснований и эпистемологических принципов исторического знания на более широкой теоретической основе.

Наиболее интересные теоретические разработки с применением культурно-антропологического подхода, были сделаны известным немецким историком Йорном Рюзеном, который рассматривает процесс изменения коллективного самосознания как результат «кризиса исторической памяти»¹. Одновременно сам предмет исследования был переосмыслен с позиций современного социокультурного подхода, который усвоил уроки постмодернистского вызова и предложил конструктивную альтернативу последнему в русле так называемой «новой культурно-интеллектуальной истории». Новый подход опирается на комплексный анализ целостной картины мира, понятийного аппарата, широкого спектра культурных представлений, формирующихся в конкретной сети социальных и интеллектуальных взаимосвязей. В последнее время проявляется особый интерес к изучению динамики взаимодействия представлений о прошлом, зафиксированных в кол-

¹ Статья Йорна Рюзена «Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти)» публикуется в настоящем сборнике, с. 8-26.

лективной памяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и исторической мысли той или иной эпохи – с другой стороны.

Результаты бурных международных методологических дискуссий 1990-х годов и новейших исследований экспериментального характера вплотную подводят к постановке вопроса о практическом включении социокультурного измерения в историю интеллектуальных традиций разных исторических эпох и народов и делают систематическое и сравнительное исследование этой темы в высшей степени актуальным для исторической науки.

В мировой историографии в настоящее время речь идет в основном об изучении коллективной (в том числе и исторической) памяти социальными психологами, о теоретических аспектах устной истории и соотношении истории и памяти и об отдельных исследованиях историков нового времени². Однако в том, что касается обыденных представлений о прошлом, бытовавших в переходный период от античности к средневековью и в различных странах и регионах средневековой Европы, подобные исследования по существу только начинаются и имеют фрагментарный характер. При этом вопросы о динамике взаимоотношений, факторах формирования и путях взаимопроникновения обыденных представлений о прошлом и ученого знания средневековой эпохи и раннего нового времени, о взаимодействии элитарного исторического сознания и коллективной памяти поколений, этноконфессиональных и локальных общностей, социальных классов и групп представляют в своей совокупности совершенно неизученную область исследования.

Таким образом, новый исследовательский проект «Социальная память и историческая культура средневековой Европы», работа над которым начата в Центре интеллектуальной истории РАН в 2001 г., направлен на решение одной из наиболее актуальных задач современной исторической науки – комплексное изучение сложного феномена исторической памяти и анализ исторических концепций и представлений о прошлом как элементов социальной, политической, этнической и конфессиональной идентичности. Проект предполагает проведение сравнительно-исторического исследования представлений о прошлом в ученой и народной культуре и ключевые аспекты процессов формирования и функционирования исторической памяти на материале разных стран и регионов Западной Европы и Руси³.

² На недавно прошедшем XIX-м Международном конгрессе историков в Осло, где проблемы, так или иначе связанные с феноменом исторической памяти, обсуждались на двадцати различных сессиях. Подробнее см. «Время, история, память (ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИН)», Диалог со временем. Вып. 4. С.5-14.

³ Особенно эффективным представляется использование сравнительно-

Хронологические рамки проекта охватывают переходный период от античности к средневековью, классическое, позднее средневековье и самое начало нового времени (до середины XVII века). Ставится также задача предметно проанализировать генезис, структуру, социальное функционирование и механизм замещения коллективных представлений о прошлом, роль концептуальных систем и идеологических мифов в общественной жизни и в политической ориентации индивидов и групп.

Предлагаемый проект не имеет аналогов ни в отечественной, ни в мировой историографии по ряду оснований. Во-первых, он имеет отчетливо выраженный комплексный характер. Во-вторых, – методологию, ориентированную на комбинацию микро- и макро-подходов и позволяющую рассмотреть изучаемый феномен в трех аспектах: социальном, культурном и индивидуально-психологическом. Наконец, в-третьих, следует подчеркнуть компаративную стратегию исследования: до сих пор не было попыток проследить сложные процессы функционирования, трансляции и трансформации коллективной памяти в столь широких временном и пространственном диапазонах.

Также впервые на конкретно-историческом материале будет поставлена проблема «сложения» и взаимопроникновения индивидуального и социально-исторического опыта. Особое внимание обращено на творческую роль индивидов в формировании исторического сознания и на место исторических представлений и концепций в идеологических системах. Комплексное исследование целостного феномена исторической культуры и ее трансформации опирается на новый подход, в основу которого положен синтез социокультурной и интеллектуальной истории, что предполагает анализ явлений интеллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества, включающем и теоретическое, и идеологическое, и обыденное сознание.

Именно в этом ракурсе рассматриваются ментальные стереотипы, исторические мифы и разновременные процессы трансформации обыденного исторического сознания, а также механизмы формирования, преобразования и передачи обращенной в будущее исторической памяти поколений, совокупности привычных восприятий, представлений, суждений и мнений относительно событий, выдающихся личностей и явлений исторического прошлого.

исторического метода в анализе изучаемых процессов в странах и регионах с очень разным историческим опытом, политическими и культурными традициями, а также выявление аналоговых и контрастных характеристик «своего» и «чужого» прошлого.

Йорн Рюзен

Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти)

1. Современные вызовы исторической науке

Историческая наука как академическая дисциплина находится [в центре] дискуссии, которая затрагивает ее основания, функции и принципы таким образом, что это одновременно может вызвать чувство как удовлетворения, так и тревоги. Удовлетворение может быть результатом того нового внимания, которое привлекла к себе история среди гуманитарных наук. Одной из наиболее значимых проблем здесь является память и ее роль в человеческой культуре¹. «Память»

Оригинальное английское название *Lo(o)sing the order of history* позволило Й.Рюзену, взяв одну из букв в скобки, придать ему ироничный оттенок в духе постмодернизма («освобождение» или «утрата»?). В русском языке невозможно найти аналог, передающий иронию оригинального названия. Правда, семантика слова «последовательность» неожиданно создает большую объемность смысла, нежели имеет английское слово *order*. «Последовательность» указывает не только на следование во времени, но и на фиксацию (в корне слова) реальности, которая ставится под сомнение (по крайней мере как «историческая реальность») постмодернистами. Тем самым название, теряя (*losing*) в одном отношении, приобретает – в другом.

Данный материал был предложен для обсуждения участникам историографических курсов летней школы ЦЕУ (г. Будапешт) в 1999 г. Автор перевода выражает благодарность организаторам школы и фонду Дж.Сороса за предоставленную возможность обучаться на курсах, а профессору Й.Рюзену за любезное разрешение перевести данный материал для публикации в России.

¹ См.: *Metz K.H. Einforderung der Erinnerung: Ein Versuch über das Antlitz des Menschen in der Geschichte// Speculum. 1988. №39. P.360-368; Nora P. Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin, 1990; Cancik H., Mohr H. Erinnerung/Gedächtnis// Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe. Stuttgart, Berlin, Cologne, 1990. Bd.2. S.299-323; Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. Frankfurt am Main, 1991; Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. Munich, 1992; Le Goff J. Geschichte und Gedächtnis. Frankfurt am Main, 1992; Straub J. Collective Memory and Collective Past as Constituents of Culture: An Action-Theoretical and Culture-Psychological Perspective// Schweizerische Zeitschrift für Psychologie. 1993. №52. S.114-121; Generation und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive Identitäten. Opladen, 1995; Ricoeur P. Gedächtnis – Vergessen – Geschichte// Historische Sinnbildung – Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek, 1997. S.433-454; idem. Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen.*

охватывает все сферы обращения к прошлому, включая, таким образом, область истории и как предмета, и как способа воссоздания прошлого в жизни, его представления (*representation*) в культурной рамке человеческой деятельности. С другой стороны, такое осмысление исторической репрезентации может заставить профессиональных историков почувствовать себя неуютно, поскольку оно очень легко выходит за рамки или даже отрицает те стратегии обращения к прошлому, которые конституируют исторические исследования как дисциплину или как «науку» и профессиональное занятие историков. Дискурс о памяти не только не уделяет внимания познавательным процедурам, которыми историческому знанию придается элемент рациональности и которые дают взгляду на прошлое обоснование объективности и легитимирует профессионализм [историков] с [их] притязаниями на истину. Но он, кажется, оттесняет историческую науку как культурно населенное место обращения к прошлому [на периферию]: *vis-a-vis* с живыми силами, вносящими память в бытие индивидов, групп, наций и целых культур, академическое отношение к прошлому, похоже, становится королевством теней. Кажется, что свет практической значимости не освещает дело исследования. Обнаруженная в *lieux de memoire*² история, по-видимому, эмигрировала из области академических исследований и профессиональной историографии в открытую область символических представлений (*representations*), чтобы не быть связанной с принуждением конкретизирующих и отчуждающих методических процедур.

Дискомфорт исторической науки был подготовлен в течение длительного времени дискурсом *постмодернизма*, который породил сомнение относительно познавательных принципов исторического мышления и историографии в ее особой «модернистской» (*modern*) форме исторической науки³. Споры о постмодернизме как вызове гуманитар-

Göttingen, 1998; Assmann A. Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. Munich, 1999. По аналогии с «памятью» «забвение» также становится темой исследований: Vom Nutzen des Vergessens. Berlin, 1996; Weinrich H. Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. Munich, 1997; Flaig E. Soziale Bedingungen des kulturellen Vergessens// Vorträge aus dem Warburg-Haus. Bd.3. Berlin, 1999. S.31-100.

² Места памяти (фр.) – прим. переводчика.

² Les Lieux de Mémoire. 7 vols. Paris, 1984–1992; ders: Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire// Representations. 1989. №26. P.7-25; Unfried B. Gedächtnis und Geschichte. Pierre Nora und die Lieux de Mémoire// Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 2. 1991. Jg., H.4. S.79-98; Lieux de Mémoire: Erinnerungsorte. Berlin, 1996.

³ См. раздел: Herausforderungen durch die Postmoderne// Geschichtsdiskurs. Bd.1: Grundlagen und Methoden der Historiographiegeschichte. Frankfurt am Main, 1993. S.17-96.

ным наукам стали слабее, но угроза исторической науке все еще сильна. Ее «дисциплинарная» структура и инструментарий, по-прежнему эффективные в изучении истории и в профессиональной подготовке историков, включая учителей, потеряли свой голос⁴. Вместо профессиональных академических практик производства исторического знания культурные практики воспроизведения прошлого как истории, ее символического изображения, направления [ею] сил культурной жизни вызывают огромный интерес не только в гуманитарных науках, но даже более в общественной жизни, где мемориалы, монументы, годовщины и другие институты и церемонии коллективных воспоминаний играют важную роль.

Историческая наука как дисциплина и профессиональное сообщество историков обнаруживает себя в контексте, в котором ясные черты ее достижений в познании расплываются. Помещенная на почву живой памяти историческая наука, кажется, утрачивает свои фундаментальные принципы познания. Может ли роль, которую играет историческая память в определении человеческой идентичности и направлении человеческой деятельности, быть применена к историческим исследованиям как академической дисциплине или как «науке» в широком смысле слова? Если она и признается в дискурсе памяти, то выступает просто как средство идеологии, представляющее историю в [соответствии с] интересами и нуждами элит, как оружие в борьбе за власть, используемое теми, кто волен определять семантические условия обмена в сфере конструкции, деконструкции и реконструкции коллективной идентичности. Относительно поэтической и риторической стратегий она выступает как гермафродит научной рациональности и литературной формы, как двусмысленная фигура, синтезирующая научную рациональность и литературную текстуальность, грубо говоря, как неудавшееся дело (застой) с весьма сомнительной культурной функцией.

2. Метаистория как дискурс ответов

Большинство аргументов, которые угрожают исторической науке игнорированием ее специальных познавательных процедур и критикой ее идеологической функции, представляются и вырабатываются на уровне дискурса, который можно определить как «метаисторический». Он отражает историю и ее различные способы обращения к прошлому; он является не способом такого обращения, а теорией о нем. Даже если такое отражение непосредственно и явно не отно-

⁴ Это очевидно, когда [дело] касается институализации многочисленных факультетов культурологии, на которых дисциплинарные границы предметов оказываются под угрозой исчезновения (по крайней мере в той мере, в какой это затрагивает междисциплинарную компетенцию студентов).

сится к историческим исследованиям, им, тем не менее, нельзя пренебрегать, так как некоторые его проблемы нацелены в самое сердце исторической науки. Существенное значение для исторической науки имеют, главным образом, критерий смысла (*sense-criterium*), который используется, чтобы придать прошлому его особое историческое значение и значимость для современности, конструктивная роль потребностей и интересов в отношении к прошлому, а также функция памяти в ориентации человеческой деятельности и формировании всех видов идентичности.

Поэтому историческая наука должна подхватить эту рефлексию и применить ее к познавательным стратегиям, [используемым] для достижения надежных знаний о прошлом и в профессиональном историописании. Тем самым она продолжит традицию саморефлексии, выработки направляющей ее работу по сохранению в памяти, воспроизведению и изображению прошлого метатеории, которая старше ее статуса академической дисциплины⁵. Такого рода рефлексия уже имела место в традиции риторики в историографии. Она сыграла важную роль в оформлении и легитимации исторической науки как академической дисциплины со специальными требованиями к научной рациональности и соответствующей обоснованности ее интерпретаций. В Германии, например, процесс профессионализации и «сциентизации» историографии получил первый импульс более на метаисторическом уровне, чем на уровне конкретного обращения к прошлому⁶. Метаистория как саморефлексия исторической науки является традицией в развитии дисциплины⁷. Она сопровождает историческое исследование и историописание в их развитии при всех изменениях, кризисах, застоях, революциях и спорах, касающихся статуса [истории] как академической дисциплины, ее отношения к другим дисциплинам, ее когнитивных предпосылок, ее

⁵ См.: *Blanke H.W., Fleischer D., Rüsen J. Theory of History in Historical Lectures: The German Tradition of Historik. 1750–1900// History and Theory. 1984. Vol.23. P.331-356.*

⁶ Это одно из главных положений Бланка. *Theoretiker der deutschen Aufklärungshistorie. 2 Bde. (Fundamenta Historica. Bd.1). Stuttgart-Bad Cannstatt, 1990; см.: id. Aufklärung und Historik. Aufsätze zur Entwicklung der Geschichtswissenschaft, Kirchengeschichte und Geschichtstheorie in der deutschen Aufklärung. Waltrop, 1991; см. также: Rüsen J. Konfigurationen des Historismus. Studien zur deutschen Wissenschaftskultur. Frankfurt am Main, 1993. S.29 и сл.*

⁷ Классическим текстом в немецкой традиции является: *Droysen J.G. Historik, historisch-kritische Ausgabe. Bd.1. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1977.*

культурной функции и принципов познавательной работы⁸. В Германии даже существует термин, который обозначает эту особую саморефлексию исторической науки: *Historik*. Здесь мы находим традицию обоснования принципов исторической науки, внутридисциплинарного предустановленного дискурса, который позволяет исторической науке внести свою специфику в рассуждения об общих и фундаментальных проблемах обращения к прошлому.

В той же мере, в какой [познавательный статус] исторической науки оспаривается постмодернистской критикой модернистского способа историописания, которая подвергает радикальному сомнению ее «научный» имидж, а также дискурсом о памяти, который разрушает ее дисциплинарную структуру, историческая наука должна мобилизовать и пересмотреть традицию саморефлексии. Ей следует вновь взглянуть на себя для того, чтобы выявить, узаконить и критически подойти к своему познавательному статусу и притязаниям на определенную обоснованность, вносимую методическими процедурами исследования. Эту работу можно сделать, сохраняя уже установленные способы и результаты метаистории как дискурса в рамках дисциплины.

Для этого, прежде всего, необходимо выявить и разработать ее познавательную структуру, посредством которой она приобретает свой особый вид в обширной области культуры, где история создается различными способами воспоминания, воспроизведения и изображения (и в то же время забвения и замалчивания) прошлого.

3. Как понимать историческую науку – модель дисциплины

Познавательную структуру исторического мышления нельзя выявить без систематического рассмотрения его состава и [той] функции, [которую оно выполняет] в практической жизни людей, поскольку его особая логика обосновывается его отношением к культурным потребностям человеческой деятельности. Одной из наиболее важных для освещения данной проблемы заслуг оживленной дискуссии об исторической памяти является то, что историческое мышление обретает свое место в сфере памяти и подчиняется ее ментальным процедурам, посредством которых воспроизведение и изображение (репрезентация) прошлого служат культурной ориентации человеческой жизни в настоящем. Воспроизведение прошлого является необходимым условием обеспечения человеческой жизни культурной рамкой ориентации, которая открывает будущую перспективу, основываясь на опы-

⁸ См.: *Blanke H.-W., Fleischer D., Rösen J. Theory of History in Historical Lectures: The German Tradition of Historik. 1750–1900; см. также: Rösen J. Studies in Metahistory. Pretoria, 1993. P.97-128.*

те прошлого⁹. С другой стороны, было бы ошибкой утверждать, что историческое мышление и вместе с ним все дело исторической науки следуют лишь за культурными потребностями практической жизни людей; они имеют также свою собственную «логику», которая характеризуется, главным образом, методической рациональностью в трактовке эмпирических свидетельств прошлого. Обе стороны – отношение к практическим потребностям и функциям и рациональность методического познания – следует рассматривать вместе.

Это можно сделать в виде схемы, которая проясняет пять принципов исторического мышления и их систематические отношения (см. рис. 1). Можно воспользоваться термином Т. Куна и говорить о «дисциплинарной матрице» исторической науки (не следуя, однако, за его аргументацией в отношении развития наук и [отвергая] невозможность приложения его идей о естественных науках к гуманитарному знанию)¹⁰. Этими пятью принципами являются: (1) познавательные интересы, порождаемые потребностями в ориентации во временном изменении современного мира; (2) концепты значимости и перспективы временного изменения, в рамках которых прошлое приобретает свой особый облик как «история»; (3) методические правила эмпирического исследования; (4) формы репрезентации, в которых свидетельство прошлого, включенное в результате интерпретации в концепты значимости, представляется в форме повествования (нарратива); (5) и, наконец, функции культурной ориентации в виде временного направления человеческой деятельности и концепций исторической идентичности.

Каждый из этих пяти факторов необходим, а все они вместе достаточны для утверждения исторического мышления в качестве рационально выработанной формы исторической памяти. (Следует подчеркнуть, что не всякая память сама по себе является исторической. Только, если память выходит за пределы жизненного пространства личности или группы, к которым она относится, можно говорить об особой «исторической» памяти. «Историческая» обозначает определенный элемент временной дистанции между прошлым и настоящим, которая делает сложное опосредование обоих необходимым). Пять факторов могут изменяться в течение времени, т.е. в процессе развития исторического мышления в общем и исторической науки в частности, но их отношение, систематический порядок, в котором они зависят друг от друга, будет оставаться тем же. В этом систематическом отношении все они зависят от главного, фундаментального принципа,

⁹ Rüsén J. Die Zukunft der Vergangenheit// Idem. Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte. Cologne, 2001.

¹⁰ Kuhn T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962.

который придает их отношению связность и характерные черты, которыми историческая наука обладает при всем разнообразии исторических изменений и развития. Этим главным, фундаментальным принципом является критерий смысла (*sense-criterium*), определяющий отношение прошлого и настоящего, в рамках которого прошлое приобретает свое значение как «история».

На протяжении большинства периодов своего развития историческая наука отражала на уровне метаистории главным образом свое познавательное измерение. Это было необходимо, чтобы легитимировать свой «научный» статус и свои притязания на истину и объективность. Историческая наука участвовала тем самым в утверждении культурного авторитета «науки» как наиболее приемлемой формы, в которой знание и познание могут служить человеческой жизни. Это достигалось при широком разнообразии различных концептуализаций ее «научного характера». В большинстве этих манифестаций историческая наука претендовала на определенную эпистемологическую и методологическую автономию среди академических дисциплин. При этом сохранялось сознание того, что в деле исторической науки, главным образом в историописании, определенные некогнитивные элементы все еще являются действенными и важными. Но только после «лингвистического поворота» эти элементы и факторы приобрели такую же значимость как и познавательные. Доказательством этого может служить предложенная структура пяти факторов исторической науки, если взглянуть на особые отношения между некоторыми из них. В отношении между интересами и функциями исторические исследования реализуют *политическую стратегию коллективной памяти*. Она помещает исследования историков в область борьбы за власть и делает их необходимым средством обоснования и развенчания всех форм господства и управления. В отношении между концептами и методами осуществляется *познавательная стратегия производства исторических знаний*. Эта стратегия обосновывает научный характер исторических исследований. Она подчиняет дискурс истории правилам методического доказательства, концептуальному языку, проверке опытом и достижению согласия рациональными средствами. В отношении между формами и функциями воплощается *эстетическая стратегия поэтики и риторики исторической репрезентации*. Эта стратегия погружает историческое знание в подробности современной жизни, наделяя его силой для того, чтобы двигать разум посредством культурной ориентации. Взяв все три стратегии вместе, можно увидеть историческую науку как сложный синтез обращения к прошлому в трех различных измерениях: эстетическом, политическом и познавательном. Этот синтез поддерживает порядок истории как интегральной части культуры.

Предлагаемая схема составляющих факторов исторической науки показывает, с одной стороны, как работа историка зависит от практической жизни и относится к ней, с другой – что она имеет собственную сферу для достижения знаний вне практических целей жизненной ориентации. Она объясняет, почему история всегда переписывалась – соответственно изменениям интересов и функций исторического знания в жизни людей – и почему в то же время существует преобладание и развитие, даже прогресс в [реализации] познавательной стратегии, позволяющей получить прочные знания о прошлом из его остатков. С [помощью] этой схемы можно ослабить напряженность в отношениях между модернизмом и постмодернизмом, [ответить] на вызов, [брошенный] дискуссией о памяти и ввести его в [рамки] внутридисциплинарной саморефлексии исторической науки, направив его тем самым к более глубокому и более современному самосознанию.

Моим намерением является преодоление ошибочной конфронтации. Большинство постмодернистских подходов к истории и историческим исследованиям порождает впечатление, что существует жесткое противоречие между модернистскими и постмодернистскими элементами исторического мышления. Следуя путеводным линиям предложенной схемы, можно, по крайней мере, смягчить это противоречие или даже преобразовать его в стратегию аргументации, открывающей перспективу развития исторической науки, в которой модернистские и постмодернистские черты могут быть синтезированы¹¹. То же самое является истинным и в отношении разницы между памятью, с одной стороны, и историей – с другой. В жизненности и актуальности памяти очень часто усматривают противоположность силе и рациональности исторического знания, полученного в результате методического исследования. Кажется, что это – противоположность между [воспоминаниями], нужными для человеческой жизни, более того, являющимися ее элементом, с одной стороны, и памятью, помещенной в клетку накапливаемого знания, не выполняющей никакой непосредственной функции в практической жизни – с другой. Такое противопоставление заставляет нас забыть основополагающее взаимоотношение между памятью и историей. Оно порождает ошибочное понимание исторической науки [исключительно] как познавательной процедуры. Целью последующих доказательств является преодоление этого противопоставления в пользу дискурса, который показывает как историческая наука может развиваться и достичь нового самосознания в соответствии с новыми перспективами и стратегиями их осуществления.

¹¹ См.: *Rüsen J. Studies in Metahistory*. P.221-239; idem. *Historical Studies between Modernity and Postmodernity*// *South African Journal of Philosophy*. 1994. №13. P.183-189. Я использую часть этого текста в дальнейшем изложении.

Поскольку всякая схема освещает сложный феномен и в то же время оставляет часть его вне нашего понимания, постольку следует коротко отметить, что существуют элементы обращения к прошлому, которые не отражены в предложенной системе принципов: в сфере конструктивных интересов уже присутствует *опыт* прошлого. Он существенно отличается от опыта, методически изучаемого в сфере эмпирического исследования. Прошлое уже присутствует, когда историческое мышление начинает задавать вопросы, порождаемые потребностью в исторической памяти и интересом к [запечатленному в] ней [прошедшему]. Оно играет важную роль в оформлении этих интересов и потребностей. Это проявляется в самых разных формах: как поддерживаемая традиция, как увлечение изменением, как травмирующее подавление или даже забвение, которое, тем не менее, придает жизненность прошлому, замалчивая его.

4. Строгая последовательность истории – историческая наука в процессе модернизации

Относительно принципа исторического смысла модернизация означает в то же время новую концепцию истории и новый подход к эмпирическим свидетельствам прошлого. Новая концепция заключается в стратегии, раскрывающей временные отношения между прошлым, настоящим и будущим посредством идеи всеобъемлющей внутренней связи, которую называют «история»¹². История как тотальность изменения человека и мира во времени определяется категориями «прогресс» и «развитие». Новый подход выражается в категориях рациональных средств познания, которое позволяет историку раскрыть силы изменения мира людей во времени и которое утверждает единство и тотальность истории.

Модернизм внес в историческое мышление идею истории. До середины XVIII в. едва ли можно было говорить о чем-то подобном истории. Вместо тотальности или временного целого, объединяющего прошлое, настоящее и будущее, существовали лишь истории, рассказы, исторические повествования, но не было идеи, что существует феномен, называемый *история*. История означает фактическое единство временного изменения, которое внутренне объединяет прошлое, настоящее и будущее в единство, заключающее в себе тотальность времени. Позднее Просвещение концептуализировало это единство в исторической категории «прогресс». Историзм «увяз» в нем и преоб-

¹² Здесь и далее – *the history* (прим. переводчика).

¹² См.: Rösen J. Der Teil des Ganzen – über historische Kategorien// Idem. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Cologne, 1994. S.159-167.

разовал его категориальную форму в концепцию «развитие», в модернистских исторических исследованиях это проявилось в различных концепциях структурных изменений¹³. Развитие исторической науки можно описать как развитие концептуализации этого единства, называемого *историей*. Историзм полагал, что *история* создается психическими и духовными силами человеческой деятельности. В немецком языке эта сила была названа *Geist*, а гуманитарные дисциплины получили наименование *Geisteswissenschaften*¹⁴. Школа «Анналов», марксизм и различные концепции модернистской исторической науки – социетальной и структуралистской истории – представили иные концепты единства, которое мы называем историей. Критически относясь к историцистской идеалистической идее истории, они понимают ее как результат очень сложных отношений между материальными и духовными силами.

Второй существенной чертой, общей для всех манифестаций исторического мышления в процессе модернизации, является *метод*. Академически подготовленные историки более или менее согласны, что существует рациональный метод, который позволяет им определить в ходе исследования (пользуясь известным выражением Ранке) «как это действительно было»¹⁵. С помощью методов исследования можно достичь понимания того, что называется историей. Первый шаг в концептуализации исторического метода был сделан Просвещением, когда были систематизированы процедуры критики источников. Следующий шаг сделал историцизм, который впервые отвел идее исторической интерпретации существенное место в исследовании¹⁶. (Большинство историков даже сегодня полагают, что наиболее важной методической операцией в исторических исследованиях является критика источников. Это означает лишь то, что они все еще не усвоили методологических уроков историцизма.) Интерпретация превращает простые факты, находки критического рассмотрения источников, в *исторические факты*, располагая их вдоль линии, [прочерченной] идеей истории как значимого временного отношения между прошлым, на-

¹³ См.: *Rothermund D. Geschichte als Prozeß und als Aussage. Eine Einführung in Theorien des historischen Wandels und der Geschichtsschreibung.* Munich, 1995; а также: *Historische Prozesse.* Munich, 1978.

„Дух (нем.) – прим. переводчика.

Науки о духе (нем.) – прим. переводчика.

¹⁴ *Droysen J.G. Historik, historisch-kritische Ausgabe.* Bd.1. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1977.

¹⁵ „... wie es eigentlich gewesen...“ *Ranke L. Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514, 2 Aufl. (Sämtliche Werke 33/34).* Leipzig, 1874. S.VII.

¹⁶ См.: *Jaeger F., Rüsen J. Geschichte des Historismus. Eine Einführung.* Munich, 1992.

стоящим и будущим. Интерпретация преобразует эмпирическое свидетельство в историю.

Последний шаг в развитии исторического метода уже упоминался. Им стало теоретическое обобщение¹⁷. В рамках школы «Анналов» теория строилась скрытно (имплицитно), в то время как в марксизме и в социальной и социетальной истории это делалось явно (эксплицитно), что было предложено и парадигмально осмыслено М. Вебером.

5. Нарушенная последовательность истории – историческая наука в новом непонимании постмодернизма

Постмодернизм является прежде всего критикой принципов модернистского исторического мышления¹⁸. На уровне конструктивных принципов исторического смысла она заявляет, что модернистская идея истории есть ничто иное как европоцентристская идеология, не имеющая никаких доказательств. Так как [подобное понимание истории] разрушает все другие формы культурной идентификации, оно вообще представляет собой историческое мышление, направляемое не рациональной аргументацией (методом и теорией), а стремлением европейских народов к власти над остальным миром. Поэтому оно идеологично, деструктивно и не открывает перспектив в будущее. Единственной перспективой такой концепции истории, основанной на идее прогресса и развития, является катастрофа.

В своей модернистской форме историческое мышление дает человеческой деятельности ориентирующую идею изменения во времени, которая может одновременно служить руководством как для преобразования мира, так и для осознания коллективной идентичности. Постмодернизм разрушает правдоподобие этой функции и заменяет ориентацию воображением. Поскольку не существует действительного единства, называемого историей, постольку это историческое вообра-

¹⁷ См.: *Rüsen J. Theorie der Geschichte// Idem. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Cologne, 1994.*

¹⁸ Едва ли возможно дать обзор огромного числа публикаций по теме. Я назову лишь некоторые из них: *Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion. Stuttgart, 1994; Geschichtstheorie zwischen postmoderner Philosophie und geschichtswissenschaftlicher Praxis// Geschichte und Gesellschaft. 2000. №26. S.335-346; Bialas W. Postmoderne und Posthistoire// Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1992. №40. S.1419-1439; Lorenz C. Postmoderne Herausforderungen an die Gesellschaftsgeschichte?// Geschichte und Gesellschaft. 1998. №24. S.617-632; MacHardy K.J. Geschichtsschreibung im Brennpunkt postmoderner Kritik// Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1994. №4. S.337-369; Die Geisteswissenschaften im Spannungsfeld zwischen Moderne und Postmoderne. Wien, 1998; Tholfsen T. Postmodern Theory of History: A Critique// Memoria y civilizacion, Anuario de Historia II. 1999. P.203-222; Ankersmit F.R. Historiography and Postmodernism// History and Theory. 1989. Vol.28. P.137-153.*

жение формируется из элементов вымысла. Поэтому оно в принципе не может служить ориентиром в практической деятельности. (Практическая деятельность, направляемая вымыслом, приведет к полной катастрофе.) Но, тем не менее, соответственно моим пяти принципам исторического познания функция ориентации должна существовать. Постмодернизм в истории действительно предлагает такую функцию, но весьма специфического свойства: такой способ ориентации человеческой жизни сравним со снами. Психоанализ показал, что сны необходимы нам, чтобы примириться с действительностью. И, по-моему, именно в этом проявляется функция ориентации постмодернистских историографии и теории истории. Это своего рода компенсация за негативные последствия модернизации; это – эстетическое утешение, порождаемое исторической памятью в ответ на кризис прогресса и угрозу катастрофы, к которой приведет мир простое продолжение процесса модернизации.

— Каковы же те новые элементы, которые внесены постмодернизмом в историческую науку? В этом заключается наиболее существенный момент, который определяет отличие постмодернистского исторического мышления о модернистского. В модернистской форме исторического мышления связь между прошлым и настоящим осознается в концепции временного изменения. Историческим мышлением создается впечатление, что прошлое движется к современной ситуации. Эта генетическая связь между прошлым и настоящим полностью разрушается и отвергается постмодернистской историографией. Поступая так, постмодернизм требует вернуть прошлому его собственное достоинство.

В немецком языке есть слово, которое выражает это достоинство, завоевываемое разрушением генетических связей между прошлым и настоящим: *Eigensinn*¹⁹. Его смысл объединяет собственное достоинство с элементами упрямства и упорства. Это упрямство направлено против объединения прошлых форм человеческой жизни в процесс, ведущий к нашим собственным формам жизни. *Eigensinn* означает достоинство, [проявляющееся] в противодействии такому объединению. Маленьких детей, которые не любят подчиняться родителям, [называют] *eigensinning*, они проявляют свое упрямство в ответ на выражение родительской воли. Таким же образом постмодернистская историография представляет прошлое. Нам не следует забывать, что уже Л. Ранке сформулировал принцип *Eigensinn*, сказав: *Jede Epoche*

¹⁹ См. размышления об этом слове в: *Lüdtke A. Eigen-Sinn. Fabricalltag. Arbeitserfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg, 1993. Особенно с. 9 и сл. [Eigensinn – своенравие (нем.) – прим. переводчика.] Своенравный (нем.) – прим. переводчика.*

ist unmittelbar zu Gott²⁰. Но Ранке в то же время всегда принимал идею временного развития, объединяющего прошлое, настоящее и будущее в тотальности истории²¹. Эта идея полностью опровергается в концепции истории и исторических произведениях постмодернизма. Поэтому постмодернистская историография решительно борется против концепции развития. Наиболее радикальную концепцию, отрицающую развитие, можно найти в последней теории истории В.Беджамина²². Он говорит о подчинении исторической памяти концепции времени, которая характеризуется метафорическим выражением «моментальный прыжок тигра»²³. В этом образе каждое временное звено между различными явлениями в прошлом разрывается, чтобы утвердить уникальность случившегося, приобретающего тем самым значимость исторической сущности. В этом временно сжатом значении оно появляется в современной жизни из памяти, подобно тигру, запрыгнувшему в наши мысли и вызвавшему раздражение нашего общего сознания относительно понимания временного изменения нашей жизни. Это – *avant la lettre* постмодернизма. Здесь мы находим наиболее интересную концепцию антигенетических идей истории²⁴.

Постмодернистская историография, таким образом, создает контримиджи современной ситуации. Эти контримиджи представляются в новых формах историографии. Мы привыкли называть их «повествовательными». Но это неверный термин, так как всякая форма текста является повествовательной²⁵. Помимо такого логического и эпистемологического значения [термин] повествование (*narration*) обозначает конкретную форму исторического изображения (репрезентации), при которой предпочтение отдается событиям и взаимодействиям. Если мы сравним рассказ Н.Зенон о возвращении Мартина Герра с работами, [написанными] в обычной академической форме социальной или

²⁰ Ranke L. Über die Epochen der neueren Geschichte (Aus Werk und Nachlaß. Bd. 2). Munich, 1971. S.59. [«Каждая эпоха непосредственно обращена к Богу» (нем.) – прим. переводчика.]

²¹ В том же тексте, что только что цитировался, мы находим следующее утверждение: "In der Herbeziehung der verschiedenen Nationen und der Individuen zur Idee der Menschheit und der Kultur ist der Fortschritt ein unbedingt". (Ibidem. S. 80). [«В приближении каждой нации и индивида к идее человечества и культуры заключается безусловный прогресс» (нем.) – прим. переводчика.]

²² Benjamin W. Über den Begriff der Geschichte// Gesammelte Schriften. Bd.1, 2. Frankfurt am Main, 1991. S.691-704.

²³ Ibidem. S.701, 694.

* Предпосылка (фр.) – прим. переводчика.

²⁴ См. интерпретацию исторической теории Бенджамина, в кн.: Niethammer L. Posthistoire. Ist die Geschichte zu Ende? Reinbek, 1989. S.116 и сл. (Англ. пер.: Niethammer L. Posthistoire: Has History Come to an End? London, 1992).

²⁵ См.: Rüsen J. Zerbrechende Zeit. Über den Sinn der Geschichte. Cologne, 2001.

экономической истории, переполненными примечаниями, статистическими данными и графиками, мы сможем понять качество «нарративной» историографии²⁶. Повествование противопоставляется объяснению²⁷, живое описание – абстрактному анализу или, используя возрожденную метафорическую дихотомию, теплая импатия – холодной теории.

Другой отличительной чертой постмодернизма является микроистория. Как специфически постмодернистская форма представления истории она противопоставляется макроистории. [В ней] показывается не общество или класс, а простой человек, такой как Меноккио²⁸ или Мартин Герр, вместо эпохи или длительного периода развития рассматриваются жизнь или даже несколько дней, не столетие, а день, не государство или империя, а маленькая деревня. В этом – предмет постмодернистской историографии.

Постмодернистская историография претендует на то, что она предложила новую и отличную от предшествующей стратегию исследования. Она противопоставляется развитию и использованию теоретических концепций. Для характеристики этого нового методического подхода к прошлому историки-постмодернисты любят цитировать антрополога К.Гиртца, который предлагает «плотное описание» (thick description) вместо конструирования теории²⁹. «Плотное описание» является методическим средством, с помощью которого прошлое может приобрести свою собственную значимость, свое *Eigensinn*. Прошлое не должно больше подчиняться генетическим структурам, посредством которых модернистское историческое мышление соединяет его с современной ситуацией в одну линию исторического развития.

Такое выступление против генетических теорий соединяется по сути с новым герменевтическим подходом к проникновению в жизнь людей прошлого. Историков стало меньше интересовать воссоздание структурных условий человеческой деятельности в прошлом и объяснение посредством этого реальной жизни народа. Вместо этого они концентрируют внимание на способе, каким люди воспринимали и интерпретировали их собственный мир. Они проникают в сознание изучаемых людей, пытаются тем самым вернуть им культурную самостоятельность восприятия их собственного мира характерным для них

²⁶ Davis N.Z. The Return of Martin Guerre (нем. пер.: Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre. Munich, 1984).

²⁷ См.: Stone L. The Revival of Narrative: Reflection on a New Old History// Past and Present. 1979. No.85. P.3-24.

²⁸ Ginzburg C. Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600. Frankfurt am Main, 1983.

²⁹ Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture// Idem. The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York, 1973. P.3-30.

способом, который отличается от нашего. Методическая стратегия этого нового подхода к народному самосознанию и пониманию представлена парадигмой устной истории³⁰.

Относительно содержания исторической памяти (commemoration) можно сказать, что постмодернистская историография благоволит к жертвам модернизации, прежде всего к низшим классам, меньшинствам и, конечно же, к женщинам. Женская и гендерная история, хотя и не целиком, но в большей части, примыкает к постмодернистской концепции исторических исследований. В своих ведущих концептуальных реконструкциях исторического опыта постмодернистская историография опирается на культурную антропологию и этнологию³¹. В отношении функции ориентации, [присущей] исторической памяти (commemoration), постмодернистские исторические исследования проявляют возрастающий интерес к эстетическому качеству исторического опыта. История должна воспроизводить картину, образ прошлого, который обладает эстетическим качеством.

6. Последовательность истории посредством памяти?

Историческая память как самостоятельная тема для изучения возникла вместе с постмодернистскими подходами в истории. Эта тема должна быть понята как попытка открыть новый источник для образования исторического смысла. Она уже раскрыла новые возможности, которые коренятся в фундаментальной и универсальной функции памяти как средства образования идентичности и ориентации практической жизни. Метаистории следовало бы на деле начать свою работу по осмыслению, критике и обоснованию принципов исторической науки с анализа памяти как основы исторического мышления. Поступая так, она поддерживает постмодернистский подход к смылопорождающему творчеству человеческой мысли, выдвинутый теми, кто воспроизводит и изображает прошлое для того, чтобы жить своей сегодняшней жизнью. Она утверждает воображение и другие некогнитивные способности человеческой мысли, подобные политике, в качестве существенных для воссоздания прошлого и превращения его посредством памяти в одну из движущих духовных сил сегодняшней жизни.

³⁰ См.: *Niethammer L. Fragen – Antworten – Fragen. Methodische Erfahrungen und Erwägungen zur Oral History// "Wir kriegen jetzt andere Zeiten". Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen Ländern (Lebensgeschichte und Sozialstruktur im Ruhrgebiet 1930-1960. Bd. 3). Berlin, 1985. S.392-445.*

³¹ *Rüsen J. Vom Nutzen und Nachteil der Ethnologie für die Historie. Überlegungen im Anschluß an Klaus E.Müller// Die offenen Grenzen der Ethnologie. Schlaglichter auf ein sich wandelndes Fach. Festschrift Klaus E. Müller. Frankfurt am Main, 2000. S.291-309.*

В традиционных формах метаистории укорененность исторического познания в практической жизни и его зависимость от нее рассматривалась, главным образом, как проблема позиции и перспективы, которую следует решать в соответствии с притязаниями на истину и объективность, при помощи которых историческая наука переводит пользу истории для практических целей в сферу надежного и обоснованного знания о прошлом³². Обращаясь к теме памяти, историческая наука достигает более широкого и глубокого проникновения в ее собственное отношение к современной практической жизни. Она раскрывает духовную силу своего ведущего принципа смысла, который нельзя осознать, лишь [признавая] требования истинности и объективности в качестве сути метода эмпирических исследований. Она должна понять, что познавательные процедуры получения надежного и обоснованного знания из эмпирических свидетельств прошлого всегда существенным образом связаны с эстетическими принципами репрезентации и с политическими принципами использования прошлого в культурных рамках сегодняшней человеческой деятельности. Таким образом, понимая память как источник для надежного обоснования критерия смысла, историческая наука может принять постмодернистский акцент на эстетику и риторику как необходимый вклад в свое метатеоретическое самосознание.

С другой стороны, метаистория все еще приверженна познанию как элементу придания смысла истории, от которого нельзя отказаться вообще (до тех пор, пока познание является необходимым элементом ориентации человеческой жизни). Поступая так, она вновь утверждает методическую рациональность исторического мышления, помещая его в глубины самой памяти. [Однако] не существует памяти, абсолютно не претендующей на правдоподобие, и эта претензия основывается на двух элементах: внесубъективном (trassubjective) элементе опыта и интерсубъективном элементе согласия. Память по сути относится к опыту. Только односторонность постмодернистской критики не позволяет увидеть эту суть. Поэтому в метаисторическом дискурсе последних десятилетий память могла приводиться как сильный аргумент в пользу безграничного субъективизма, выражавшегося в категории, обозначаемой термином «вымысел» (fiction). Этот термин должен был характеризовать онтологический статус истории как порождения памяти и репрезентации. Подчеркивая существенную связь между памятью и опытом, метаистория, тем самым, может вновь обосновать методические правила исторического исследования как особого вида изучения опыта. При этом рациональность исторического метода не может

³² См.: *Objektivität und Parteilichkeit (Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik. Bd.1)*. Munich, 1977.

больше восприниматься как отчуждение и конкретизация истории или лишение ее полезного [значения] для человеческой жизни. Порядок истории, создаваемый творческими силами человеческой мысли в [процессе] воспроизведения и изображения истории, возвращает [историческим знаниям] надежность, обоснованную опытом.

Интерсубъективность является другим элементом исторического смысла, который нельзя отвергнуть в общем в [процессе] воспроизведения и изображения прошлого при помощи духовных сил человеческой памяти. История не может выполнять своей культурной роли без согласия тех, кому она адресована. Если она будет воспринята как простой вымысел, она немедленно утратит свою культурную силу. Но ее правдоподобие зависит не только от ее отношения к опыту. Оно зависит так же от ее отношения к нормам и ценностям как элементам исторического смысла, разделяемым сообществом, которому она (история) адресована. В этом отношении метаистория должна отражать правила дискурса, которые создают интерсубъективное согласие, как методические элементы исторического познания. Это будет вести ее назад к модернизму, потому что модернизм можно определить как особый вид обращения к нормам и ценностям. Формальная структура универсальной обоснованности сама по себе является смыслообразующим принципом в историческом познании. Этот принцип укоренен в фундаментальном и сущностном стремлении к согласию и согласованию исторической памяти. При этом история приобретает нормативный характер, лишь с помощью которого она может выполнять свою культурную функцию.

7. Восстановление последовательности истории

посредством соединения модернизма с постмодернизмом

Предпринято лишь несколько попыток [на уровне] метаистории сформировать это новое самосознание, объединяя и синтезируя модернистские и постмодернистские особенности исторического мышления с синтезирующим и объединяющим принципом памяти.

Следует серьезно относиться к постмодернистской критике концепта «история». Я думаю, что мы должны принять эту критику в той части, которая указывает на идеологическое поглощение всей истории одной единственной историей (*ideological generalisation of one history to the history*). Это действительно имело место в процессе модернизации, начиная с [эпохи] Просвещения и вплоть до наших дней. Поэтому, я думаю, мы должны признать на деле: существует лишь множество историй, а не [единственная] история (*the history*) как фактическое бытие. Но, тем не менее, – и это мое модернистское положение аргументации – нам нужна идея единства исторического опыта. В противном случае историческое мышление приведет к полному релятивизму. А

цена релятивизма слишком высока. Мы все еще нуждаемся в исторических категориях по логическим причинам; без них мы не сможем мыслить исторически³³. В дополнение к этому, нам необходима концепция истории, которая обобщит современный опыт растущего единого мира. (Акцент на микроистории в условиях жизни в макроисторическом процессе выглядит как [стремление] отмахнуться от бросающего вызов опыта вместо [того, чтобы] осмыслить его [при помощи] исторической интерпретации.)

Но как мы можем осуществлять концепцию универсальности исторического развития и в то же время принимать множественность различных историй и разнонаправленность (multiperspectivity) исторического мышления? В рамках разнообразия исторических перспектив единство истории может быть достигнуто лишь универсальностью ценностей в методическом процессе исторической интерпретации. Дело в том, что нам нужна ведущая система ценностей, универсальная система ценностей, которая утверждает различие культур. Я считаю, что существует фундаментальная ценность, которая должна быть внесена в стратегию исторической интерпретации, ценность, которая одновременно является как универсальной, так и обосновывающей разнонаправленность и различие. Я думаю о нормативном принципе взаимной признательности и признания различий в культуре. Это принцип можно развить в познавательную структуру, которая усилит герменевтический элемент исторического метода, и эта структура позволит реализовать новый подход к историческому опыту, который синтезирует единство человечества и временное развитие, с одной стороны, и различие и многообразие культур – с другой.

Опираясь на такой принцип исторического смысла, историческая наука может развивать метатеоретическое самосознание, которое не только даст ответ на вызовы времени в конце второго тысячелетия, но и позволит достойно войти в третье, в котором гуманность останется проблемой последовательности истории.

Перевод А.В. Антощенко

³³ См.: Rüsén J. Der Teil des Ganzen. Über historische Kategorien// Idem. Historische Orientierung. Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Cologne, 1994. S.150-167.



- | | |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Политическая стратегия коллективной памяти |
| 2 | Познавательная стратегия производства исторических знаний |
| 3 | Эстетическая стратегия поэтики и риторики исторического изображения |

Рис. 1.

Пять принципов исторического мышления и их систематические отношения.

С.А.Экштут

Битвы за храм Мнемозины

Историки связывают всеедино преходящие явления и увековечивают их в храме Мнемозины.

Гегель. Философия истории.

На глазах нашего поколения историк-профессионал утратил свое исключительное положение естественного монополиста, которое он занимал в обществе с незапамятных времен. Ранее он был практически единственным *ретранслятором* былого: принимая сигналы от прошлого, историк знакомил с ними настоящее и передавал их в будущее. Одни сигналы им усиливались, а другие – утрачивались или игнорировались. Именно историк решал, что подлежит занесению на страницы истории, а что – нет. Его творческая деятельность, воссоздавая прошлое на страницах книг и журналов, фактически заново творила минувшее. И никто не оспаривал у историка это суверенное право *креативности*.

Социальные роли историка

8 января 1820 года в Петербурге, в публичном заседании Российской Академии состоялось чтение отрывков из IX тома «Истории Государства Российского», который в тот момент еще не вышел в свет. Карамзин около 80 минут читал об ужасах царствования Ивана Грозного: «...о перемене Иоаннова царствования, о начале тиранства, о верности и геройстве Россиян, терзаемых Мучителем. Докладывали наперед *Государю*: Он позволил!»¹. Митрополит Филарет так вспоминал об этом многолюдном, блестящем собрании:

«Читающий и чтение были привлекательны: но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила бы свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более покрыла бы тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя Русского царя. Хорошо видами добра привлекать людей к добру: но полезно ли обнажать и умножать виды зла, чтобы к ним привыкали?»².

¹ Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. СПб. 1866. С.280. Очевидец так описал публичное торжество Историографа: «Слушатели были умилены и восхищены чертами великого характера Россиян, сильно представленными глубокомысленным, красноречивым историком... Я плакал, и видел многих отирающих слезы» (Там же. С.130 прим.).

² Письма Московского митрополита Филарета к разным лицам. Филарет – президенту Императорской Академии наук адмиралу графу Ф.П.Литке. 5 мая 1867 г./Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских

Необходимо подчеркнуть, что Филарет не стал публично озвучивать свои сомнения. Митрополит не рискнул полемизировать с Историографом. Напротив. «Филарет благословил меня усердно»³, – сообщил историк в письме Дмитриеву. И царь, и митрополит признавали за Карамзиным суверенное право креативности. Власть (и светская, и духовная!) не считала для себя возможным это право у историка отнять. Она чтит достоинство и авторитет Истории. Только историк мог решить, что подлежит запечатлению на ее скрижалях.

Академик Тарле мог печатно заявить на первых же страницах своего знаменитого «Наполеона», что частная жизнь императора его, как серьезного ученого, не интересует, – и на десятилетия не только частная жизнь Наполеона, но и вся сфера частной жизни минувших эпох перестала считаться научной проблемой.

«Чтобы уже покончить с этим вопросом и больше к нему не возвращаться, скажу, что... никто вообще из женщин, с которыми на своем веку интимно сблизился Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не только не имели, но и не домогались, понимая эту неукротимую, деспотическую, раздражительную и подозрительную натуру»⁴.

Евгений Викторович был прекрасно осведомлен, что по этому поводу существуют различные точки зрения, и что многие серьезные исследователи с ним не согласятся. По воспоминаниям современника, академик иронически отозвался об одной статье французского ученого, написанной к столетию переворота Луи Бонапарта. «И в этой статье был заключен анализ важнейших политических последствий захвата власти Наполеоном III. Но уже на третьей странице статьи говорилось о цвете волос любовницы министра полиции императора»⁵. Если в советской исторической науке «такого рода эскизы» были исключены,

при Московском университете. 1880. Кн.IV. С.12. Этот казус дает великолепное представление о тех достославных временах, когда история и литература составляли единое целое, и когда сочинения историков становились фактом культуры и порождали восторг, умиление, сопереживание читателей. Ранее художественная литература, стремясь постигнуть реальность, двигалась по направлению к науке. Ныне история, порождая у читателя чувство эмпатии, сама делает шаг навстречу литературе – важный шаг на пути преодоления «полосы отчуждения» между ними. История, как любил повторять Натан Эйдельман, продолжается.

³ Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. С.280.

⁴ Тарле Е.В. Наполеон. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С.33. Эта книга, первое издание которой вышло в свет в 1933 г., заслуженно пользовалась огромной популярностью и неоднократно переиздавалась. Любопытно, что в адаптированном для юношества тексте книги приведенный выше пассаж отсутствует (М.; Л.: Детская литература, 1940. С.29).

⁵ Из литературного наследия академика Е.В.Тарле. М.: Наука, 1981. С.283. Сравни его красноречивую реплику из письма Е.Л.Ланну: «...Французы этим самым так увлекаются» (Там же. С.261).

а человек в кругу семьи, среди своих близких и в мире чувств был попросту изъят из истории, то в трудах французских ученых сфера частной жизни присутствовала в обязательном порядке. «Если такие сюжеты будут обойдены французскими историками, их книги не найдут читателя, говорил Евгений Викторович»⁶.

И здесь мы подошли к иному аспекту проблемы. Именно историк был *пружиной*, т.е. главной движущей силой, механизма формирования и функционирования исторической памяти. Но даже самый простой механизм нельзя свести только к пружине. У механизма есть как большие колеса, так и маленькие колесики и винтики: внешне они незначительны, но без них весь механизм не будет работать; пока маленькие колесики не наберут достаточного числа оборотов, большие колеса будут хранить неподвижность⁷.

Позволю себе уместное отступление. Поэзию эпохи классицизма трудно представить без колоритных фигур просвещенного монарха и приближенного к трону вельможи-мецената. Ломоносов в стихах обращался к меценату Шувалову и писал ему о пользе стекла. Фаворит императрицы Елизаветы Петровны был посредником при сношениях ученого-энциклопедиста с верховной властью, но не с читателями. Впрочем, Ломоносовская ода могла быть адресована и самой государыне: в те далекие времена за поэзией признавалось право на непосредственное обращение к трону. Но и в этом случае ода была не столько поэтическим произведением, сколько политическим трактатом, оперенным рифмами. Поэты конца XVIII в. адресовали *свои безделки* уже узкому кругу приятелей и, даже прибегая к услугам типографского станка, не стремились к извлечению прибыли. Поэт и его читатели были непосредственно знакомы друг с другом или, по крайней мере, принадлежали к одному социальному слою. А владелец типографии, издатель и книгопродавец долгое время были всего лишь техническими посредниками между автором и его читателем и не претендовали на самостоятельную роль в механизме культуры. В 1779 г. Николай Новиков взял в аренду убыточную Университетскую типографию и попытался изменить ситуацию, придав издательскому делу и книжной торговле невиданный дотоле в России размах. И хотя сам Новиков поплатился арестом и заключением в крепости, начало было положено: со временем книгопродавец был инкорпорирован в культурное общество в качестве полноправного члена. Наступил новый, XIX век, и

⁶ Из литературного наследия академика Е.В.Тарле. С.283.

⁷ С.С.Аверинцев говорил о А.Ф.Лосеве: «Он – не лицо и маска, он – сложный большой агрегат, у которого дальние колеса только начинают вращаться, когда ближние уже остановились» (Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2000. С.168).

в конце первой его четверти просвещенный монарх и щедрый меценат были вытеснены на задворки культуры.

«Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чорт их поберит!) этого не знают, то тем хуже для них. ... У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения»⁸.

Пушкин чутко уловил дух времени, когда осознал, что судьба поэтического произведения зависит не только от воли его автора или произвола цензора, но и испытывает влияние читательского спроса и воздействие законов книжного рынка. Примечательно, что эта мысль обогатила русскую поэзию целым рядом программных стихотворений. В 1824 г. Пушкин написал «Разговор Книгопродавца с Поэтом» и в следующем году напечатал его в качестве предисловия к первой главе «Евгения Онегина». Два его послания Цензору (1822, 1824) не были напечатаны при жизни, но получили хождение в списках. Механизм культуры усложнился – на сцене появлялись новые действующие лица. Поэзия не замедлила осмыслить новую реальность. В 1840 г. Лермонтов написал стихотворение «Журналист, читатель и писатель», оно продолжило пушкинскую поэтическую традицию стихотворного диалога и было опубликовано автором накануне выхода в свет его романа «Герой нашего времени». Уже в иную эпоху и в иных условиях эта традиция получила новое продолжение: Маяковский создал «Разговор с фининспектором о поэзии».

Я полагаю, что сказанного выше достаточно для выдвигания следующей гипотезы: литературный и исторический ряды подвержены общим закономерностям, которые нам еще только предстоит выявить и осмыслить. Между поэзией и историей существует нечто общее. Ломоносов назвал бы это «сопряжением далековатых идей», а Пушкин сказал бы, что «бывают странные сближения». Можно предположить, что в недалеком будущем историческая наука получит свой прозаический «Разговор Книгопродавца с Историком», прочтет «Исповедь грантополучателя», обогатится «Блеском и нищетой соискателей ученых степеней», сочинит «Разговор с налоговым инспектором о сущности истории»... Впрочем, довольно шуток. Гипотеза позволяет сформулировать несколько неотложных исследовательских задач.

Во-первых, постижение механизма формирования и функционирования исторической памяти предполагает выявление как всех контрагентов историка, так и их социально-ролевой функции в пространстве и времени. В наши дни историк-профессионал должен исследовать, с кем именно его предшественники вступали в непосредственные или опосредованные отношения в процессе создания, публикации и распространения исторических сочинений. Эти изыскания помогут понять,

⁸ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.8. Ч.1. М.: Воскресенье, 1995. С.266.

как и в чьих интересах происходило подавление исторической памяти в прошлом. Решение похожих проблем, порожденных реалиями сегодняшнего дня, находится вне сферы профессиональной компетенции историков. В этом случае надлежит действовать политологам, культурологам, экономистам и юристам.

Во-вторых, необходимо исследовать процесс эволюции жанров исторического сочинения. Такое исследование позволит не только выявить те внешние влияния, которые оказывали на эту эволюцию такие разнородные факторы, как социальный заказ власти или читательский спрос, но и понять, как происходила внутренняя трансформация самой исторической науки.

В-третьих, следует изучить те изменения, которые претерпела в пространстве и времени социально-ролевая функция самого историка.

Эта функция требует более детального рассмотрения. Со времен появления «Апологии истории» Марка Блока считается, что историк либо судит прошлое, либо понимает его. И хотя в наши дни историк уже не претендует на то, чтобы олицетворять собой суд потомства в последней инстанции, исследователи продолжают выносить обвинительные и оправдательные приговоры. За стремлением понять прошлое по-прежнему скрывается желание осудить или оправдать. Слова М.Блока, написанные в 1941 г. и посмертно опубликованные в 1949-м, не потеряли своей актуальности и воспринимаются как злободневная реплика нашего современника на книжную продукцию последних полутора десятилетий. Судите сами.

«И вот историк с давних пор слывет неким судьей подземного царства, обаянным восхвалять или клеймить позором погибших героев. Надо полагать, такая миссия отвечает прочно укоренившемуся предрассудку. ...Нет ничего более изменчивого по своей природе, чем подобные приговоры, подверженные всем колебаниям коллективного сознания или личной прихоти. И история, слишком часто отдавая предпочтение наградному списку перед лабораторной тетрадкой, приобрела облик самой неточной из всех наук – бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями. ...К несчастью, привычка судить, в конце концов, отбивает охоту объяснять. Когда отблески страстей прошлого смешиваются с пристрастиями настоящего, реальная человеческая жизнь превращается в черно-белую картину. ...При условии, что история откажется от замашек карающего архангела, она сумеет нам помочь излечиться от этого изъяна. Ведь история – это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет братской»⁹.

Однако эти редкие братские встречи с их диалогами, направленными на понимание прошлого, вновь и вновь сменяются нескончаемыми судебными заседаниями. Обвинительный приговор сменяется исторической реабилитацией, поношение – апологетикой. Затем всё

⁹ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973. С.77, 79.

вновь повторяется, но уже в обратном порядке... Это – не только метафора, ибо в наши дни реальные суды пересматривают и отменяют, полностью или частично, давние судебные приговоры, вынесенные в иной стране и в иное время. Правовая реабилитация идет рука об руку с исторической.

«Судить или понимать?» Стремление свести суть исторического анализа к этой простейшей дилемме имеет несомненный плюс. Только такое абсолютное противопоставление позволяет зафиксировать наличие диаметрально противоположных и предельно допустимых социальных ролей историка, желающего оставаться в рамках научного сообщества. Минус такого подхода состоит в том, что он не учитывает как вольное или невольное совмещение этих ролей одним и тем же исследователем, так и всё то многообразие социальных ролей, которые реально играет историк и которые до конца еще не осмыслены. Не претендуя на исчерпывающую полноту моего перечня, я попытаюсь их перечислить:

- 1) детектив, стремящийся раскрыть преступление или разгадать тайну;
- 2) суровый прокурор, требующий обвинительного приговора;
- 3) адвокат, настаивающий на оправдательном приговоре;
- 4) справедливый или, наоборот, пристрастный судья¹⁰;
- 5) палач, ставящий клеймо раскаленным железом¹¹;
- 6) беспристрастный летописец¹²;
- 7) наглый репортер, жаждущий любой сенсации;
- 8) жрец в храме Мнемозины, хранящий эталон исторической памяти.

Все эти роли обречены играть исследователь, притязаящий на то, что он будет судить прошлое в своей книге. Если же исследователь намерен вести диалог с минувшим, то он при изложении результатов своих архивных и библиотечных штудий чаще всего берет на себя иную роль. Он

- 1) вопрошающий собеседник, нередко умышленно провоцирующий былое на то, чтобы оно проговорилось;

¹⁰ Пушкинский Пимен «Спокойно зрит на правых и виновных,/ Добру и злу внимая равнодушно,/ Не ведая ни жалости, ни гнева» (*Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.7. М.: Воскресенье, 1995. С.18*). Это – справедливый судья. Примером судьи пристрастного может служить Н.И.Греч – автор «Опыта краткой истории русской литературы» (1822). В одной анонимной эпиграмме об этой книге было сказано так: «И он историю словесности слепил/ Из списков послужных, пристрастия и лести» (*Русская эпиграмма: XVIII – начало XX века. Л.: Сов. писатель, 1988. С.361, 631*).

¹¹ «Его лоб следует заклеить раскаленным железом историка» (*Лихтенберг Г.К. Афоризмы. М.: Наука, 1965. С.219*).

¹² «В часы/ Свободные от подвигов духовных/ Описывай, не мудрствуя лукаво/ Всё то, чему свидетель в жизни будешь...» (*Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.7. М.: Воскресенье, 1995. С.23*).

2) кукловод, из-за ширмы управляющий марионетками при помощи нитей своего повествования.

К сожалению, историку приходится играть и роли, исполнение которых, на мой взгляд, лишь компрометирует самого исполнителя и то общество, к которому он принадлежит. Это роли а) мародёра; б) льстеца; в) фальсификатора. От этих ролей следует отличать вполне пристойные роли пародиста и мистификатора. Однако следует помнить, что талантливое исполнение этих и некоторых других ролей фактически выводит исполнителя за границы науки и ставит историка вне рамок научного сообщества, приобщая его к сообществу беллетристов¹³.

Историк общается не только с собратьями по цеху. В наше время историки получили возможность начинать изучение былого, не дожидаясь наступления сумерек, т.е. того момента, когда, по словам Гегеля, сова Минервы отправится в свой полет. Резко сократился *временной лаг* между моментом совершения какого-либо события и началом его изучения учеными. Отставание во времени одного явления по сравнению с другим ничтожно и вполне сопоставимо по срокам с периодом активной жизнедеятельности одного человеческого поколения. Историк знакомится с рассекреченными документами, в которых идет речь о событиях новейшей истории и их, скрытых от взглядов современников механизмах, что побуждает его решать непростые этические проблемы: еще живы непосредственные свидетели недавнего прошлого, болезненно переживающие сам факт происходящей на их глазах переоценки былых абсолютных ценностей. Смерть еще не собрала свою жатву, а специалист по новейшей истории уже начинает и завершает свой труд – и ему предстоит не только встреча с читателями, но и общение с ветеранами. Это общение далеко не всегда будет дружеским.

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле Провиденья,
Восходят, зреют, и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!¹⁴

¹³ «Тынянову было трудно не открывать новое, а доказывать очевидное – поэтому он и перешел от науки к литературе. Его критические статьи недооценены, а он был лучшим критиком, чем литературоведом: его жанр – эссе, бессильный в русской традиции. А 30-е гг. требовали больших жанров: видимо, Тынянову легче было примениться к ним в беллетристике, чем в науке». – Гаспаров М.Л. Записи и выписки. С.410.

¹⁴ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.6. Евгений Онегин. С.48.

Последняя строчка печатается в современной орфографии, в результате чего ускользает очень существенный нюанс, не нуждавшийся во времена автора в комментариях. У Пушкина сказано вытеснят «из мира», т.е. из сообщества живых людей: внуки сменят дедов на земле. Смена поколений не происходит мирно и безболезненно. Волны поколений не просто идут одна за другой, но набегают друг на друга. Наблюдается самая настоящая *интерференция* волн. В результате этого взаимодействия, взаимовлияния и наложения поколений наблюдается усиление исторической преемственности в одних точках пространства и ослабление в других его точках. У истории есть свои точки разрыва, точки забвения, точки вытеснения исторической памяти. На её страницах наряду с неизученным и таинственным так много невысказанного и недоговоренного. Белые пятна чередуются с фигурами умолчания. Те и другие свидетельствуют о разрыве памяти. И далеко не всегда профессиональный историк способен сшить этот разрыв. Более того, иногда именно он – сознательно или бессознательно прибегая ко лжи и извращая исторические события, – усиливает этот разрыв и способствует окончательному вытеснению из мира нежелательных остатков недавнего прошлого. И тогда на сцену выходит человек, восстающий на неправду и на тот «особенный склад выспренной речи, в которой часто ложь и извращение переходят не только на события, но и на понимание значения события»¹⁵.

Писатель, историк и очевидцы: заочный диалог

Меня интересует казус встречи в пространстве и времени последних живых участников великих исторических событий эпохи 1812 года с тем, кто прибег к *остранению* и увидел, что в этих событиях действовали не герои и антигерои, а просто люди¹⁶. И тогда он переосмыслил

¹⁵ Толстой Л.Н. Несколько слов по поводу книги «Война и Мир»// Русский Архив. 1868. №3. Стлб.522; Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике: Сб. статей/ Сост. И.Н.Сухих. Л: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. С.33.

¹⁶ В это же время в русской исторической живописи шел поиск Героя. Ошутимо прослеживались две тенденции. Первая заключалась в «деидеализации» главного действующего лица картины и, в конечном счете, сводилась к «дегероизации» бывшего Героя, ныне изображаемого в качестве преступника и злодея. Вторая тенденция представляла собой «снижение его до уровня рядового, почти что заурядного человека, занимающего, однако, нерядовое место в жизни» (Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве. Шестидесятые годы XIX века. М.: Искусство, 1990. С.92). Первая стилевая тенденция ориентировалась на аллюзии, сознательно намекая зрителю на злободневные проблемы современности, и представляла собой принципиальную смену качественных эмоциональных характеристик: знака и модальности главного действующего лица. Плюс менялся на минус, радость и гордость – на отвращение и негодование. Так, за два десятилетия до создания знаменитой картины И.Е.Репина, Н.С.Шустовым и В.Г.Шварцем были написаны исторические полотна, на которых царь Иван Грозный явился глазам зри-

целый пласт исторической памяти и представил эти события и этих людей в качестве художественного целого. Так была написана гениальная книга, о жанре которой литературоведы спорят до сих пор.

Мысленно перенесемся в 1868 год. Представим былое в его незавершенности. Пока что никто не знает, чем закончится новое произведение графа Толстого. Князь Андрей еще жив, и читатели не ведают о грядущей судьбе героев книги. В марте вышел из печати четвертый том эпопеи «Война и мир» (две первые части третьего тома – в нынешней композиции), посвященный Бородинской битве, и одновременно, в мартовской книжке журнала «Русский Архив», была опубликована статья Толстого «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”». В самом авторитетном и самом читаемом историческом журнале того времени Толстой обосновал неизбежность разногласия между писателем и историком в описании исторических событий. Состоялся заочный диалог писателя с двумя весьма почтенными ветеранами Отечественной войны 1812 года. Ниже я приведу обширные выписки из их воспоминаний: эти пространные цитаты позволят мне реконструировать диалог, выявить обмен колкими репликами и воспроизвести интонации жаркого спора, состоявшегося в позапрошлом веке. Современники Толстого отказались признать новую, художественную реальность, созданную писательским воображением. С автором эпопеи полемизировали профессионально владевшие пером непосредственные участники Бородинской битвы, кстати, именно за нее удостоенные весьма почетной для начинающих офицеров боевой награды – ордена Св. Владимира IV степени с бантом. Одного толстовского оппонента, князя Петра Андреевича Вяземского, нет нужды представлять читателю: его биография всем хорошо известна¹⁷. Отмечу лишь одну вырази-

телей в облике злодея, убившего собственного сына. В рамках второй стилевой тенденции былой Герой изображался в сфере его частной жизни, а не героических свершений и предстал перед зрителем в облики заурядного обывателя. Одновременно с этими двумя отчетливыми и яркими тенденциями постепенно намечалась еще одна: художниками в качестве полноправного героя исторической живописи стал рассматриваться народ. Более заметно эта тенденция прослеживается в последующие десятилетия. Роман Толстого «Война и мир» способствовал ее усилению. Общеизвестно, что главной, основной мыслью автора при работе над эпопеей была, по его собственным словам, «мысль народная».

¹⁷ Об идейной эволюции князя Вяземского, этого «декабриста без декабря», исследователи писали многократно. Не нахожу смысла повторяться, но считаю необходимым обратить внимание читателя на о многом говорящий казус. В молодости князь-либерал мог воспеть собственный халат в стихах, счел возможным позировать художнику в халате – и в таком виде демонстративно предстал перед читающей публикой всей России. Однако князь-консерватор счел себя лично оскорбленным одним-единственным Толстовским предложением. Пожилой сановник до глубины души был поражен тем, как автор романа

тельную деталь: во время сражения под добровольно пошедшим в армию Вяземским было убито две лошади, но сам князь не пострадал. О другом оппоненте следует сказать более подробно.

Авраам Сергеевич Норов встретил Отечественную войну в чине прапорщика гвардейской артиллерии и в свои неполные 17 лет командовал двумя орудиями, защищавшими Багратионовы флеши. Молодой офицер был тяжело ранен ядром в ногу, прямо на поле боя ему без наркоза сделали ампутацию и в санитарной карете своевременно вывезли в Москву. Норов неподвижно лежал на лазаретной койке, когда французы вошли в город. Офицер российской императорской гвардии ответил решительным отказом на предложение французов дать им «для проформы расписку»¹⁸ с обязательством не принимать участия в боевых действиях до конца кампании. Несмотря на это, враги обошлись с ним гуманно: когда у Норова началась гангрена, лейб-медик Наполеона сделал ему еще одну мучительную операцию (вновь без наркоза!) и спас жизнь¹⁹. Авраам Сергеевич стал свидетелем бегства французской армии: из окон московской больницы он «с презрением смотрел на уходившие французские войска и самого Наполеона». Впоследствии Норов дослужился до чина полковника гвардии, после чего

осмелился изобразить старичков-вельмож. «Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые». Против этой фразы Вяземский разразился огромной тирадой, публично обвинив Толстого на страницах журнала «Русский Архив» в святотатстве, пошлости, отсутствии литературного благоприличия и вкуса.

¹⁸ Норов А.С. Война и мир (1805–1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. (По поводу сочинения графа Толстого «Война и мир»). СПб. 1868. С.53. В библиотеке ИНИОН РАН прекрасно сохранился переплетенный в сафьян экземпляр брошюры, некогда принадлежавший графу С.Д.Шереметеву: на муаровом форзаце имеются два экслибриса бывшего владельца. Эти же изящные экслибрисы я видел и на форзацах годовых комплектов «Русского Архива», переплетенных в отдельные конволюты. Итак, я знал, что работу с книгами, в свое время принадлежавшими человеку, который был лично знаком с Вяземским, Норовым, Толстым. Это мне помогло испытать ощущение непосредственного контакта с минувшей эпохой.

¹⁹ Это был знаменитый хирург своего времени барон Ларрей, увековеченный Толстым на страницах эпопеи. По воле Наполеона, именно Ларрей после битвы при Аустерлице осмотрел истекающего кровью князя Андрея и предсказал ему весьма вероятную смерть, а не выздоровление. Как известно, лейб-медик ошибся: на сей раз, по воле автора, князь Андрей выжил. В случае с Норовым реальный барон Ларрей показал себя настоящим гением скальпеля. Он не стал спешить с диагнозом, но, скинув свой генеральский мундир и засучив рукава, поспешил с операцией. Искусная и своевременная операция сохранила прапорщику жизнь. Это было настоящее чудо: «на ране был уже антонов огонь», т.е. гангрена, с которой в то время даже очень хорошие врачи еще не умели бороться. Именно от гангрены скончались князь Багратион и Пушкин.

перешел на статскую службу и сделал прекрасную карьеру: в 1850 г. он стал товарищем министра, а 1854 – министром народного просвещения. Через четыре года вышел в отставку в чине действительного тайного советника и был назначен членом Государственного совета. Всю свою жизнь Авраам Сергеевич не был чужд литературных занятий: писал и переводил стихи, много путешествовал по Западной Европе, Средиземноморью, Ближнему Востоку, дважды посетил Землю Обетованную и опубликовал целый ряд путевых записок. Прочитав первые тома эпопеи Толстого, маститый сановник взялся за перо: в сентябре 1868 г. написал и уже в ноябрьском номере «Военного Сборника» напечатал большой мемуарный очерк, в котором довольно резко полемизировал с автором «Войны и мира». Одновременно с журнальной публикацией вышло в свет отдельное издание очерка в виде брошюры, ставшее последним выступлением Норова в печати: в конце января 1869 г. ветеран скончался, так и не успев узнать, чем закончится роман. Медленно прочтем первые страницы этой небольшой брошюры, давно уже ставшей библиографической редкостью.

«Под заглавием "Война и мир" вышло сочинение графа Толстого, в котором он, в виде романа, представляет нам не один какой-либо эпизод из нашего общественного и военного быта, но довольно длинную эпоху мира и войны. Роман начинается с Аустерлицкой кампании, которая еще так больно отзывается в сердце каждого русского: рассказ доведен теперь до Бородинского сражения включительно, и, говорят, будет продолжен за эту эпоху. Читатели, которых большая часть, как и сам автор, еще не родились в описываемое время, но ознакомленные с ним с малолетства, по читанным и слышанным ими рассказам, поражены при первых числах романа грустным впечатлением представленного им в столице пустого и почти безнравственного высшего круга общества, но вместе с тем имеющего влияние на правительство; а потом отсутствием всякого смысла в военных действиях и едва не отсутствием военных доблестей, которыми всегда так справедливо гордилась наша армия. Читая эти грустные страницы, под обаянием прекрасного, картинного слога, вы надеетесь, что ожидаемая вами блестящая эпоха 1812 года изгладит эти грустные впечатления; но как велико разочарование, когда вы увидите, что громкий славою 1812 год, как в военном, так и в гражданском быту, представлен вам мыльным пузырем; что целая фаланга наших генералов, которых боевая слава прикована к нашим военным летописям, и которых имена переходят доселе из уст в уста нового военного поколения, составлена была из бездарных, слепых орудий случая, действовавших иногда удачно, и об этих даже их удачах говорится только мельком, и часто с иронией. Неужели таково наше общество, неужели такова была наша армия, спрашивали меня многие? Если бы книга графа Толстого была писана иностранцем, то всякий сказал бы, что он не имел под рукой ничего, кроме частных рассказов; но книга написана русским и не названа романом (хотя мы принимаем ее за роман), и поэтому не так могут взглянуть на нее читатели, не имеющие ни времени, ни случая поверить ее с документами, или поговорить с небольшим числом оставшихся в живых очевидцев великих, отечественных событий. Будучи в числе сих последних

(*quodum pars minima fui*²⁰), я не мог без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть историческим, и, несмотря на преклонность лет моих, счел, как бы своим долгом написать несколько строк в память моих бывших начальников и боевых сослуживцев.

Нетрудно доказать историческими трудами наших почтенных военных писателей, что в романе собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи, взятые безусловно из некоторых рассказов. Эти анекдоты остались бы совершенно в тени, если б автор, с таким же талантом, какой он употребил на их разборку, собрал и изобразил те геройские эпизоды наших войн, даже несчастных, которыми всегда будет гордиться наше потомство, оставя даже многие правдивые анекдоты, бичующие зло. Если б кто-нибудь сказал, что наши писатели или наши современники более или менее пристрастны, я укажу, например, относительно эпохи 1812 года только на одну книгу наших противников: *Chambrey*, "Histoire de l'expédition de Russie", где слава русского оружия гораздо более почтена, чем в книге графа Толстого. Я не стану требовать от романа, писанного для эффекта, того, что требуется от истории; но так как этот роман выводит на сцену деятелей исторических, то я не могу не поставить его лицом к лицу с историей, добавив это сличение собственными воспоминаниями²¹.

Итак, в своей полемике с романистом ветеран призывает в союзнники историка. *Очевидец апеллирует к хранителю эталона исторической памяти*. Настало время представить читателю этого человека. Генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский был, без сомнения, одним из самых известных русских военных историков второй четверти XIX в. Он принадлежал к числу тех «почтенных военных писателей», на труды которых ссылались в своей полемике оппоненты Толстого. Его книги были санкционированы властью, лично редактировались императором Николаем I и получили официальное признание, что и было отражено на титульном листе: «Описание Отечественной войны в 1812 году, по Высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским». Именно с этим капитальным четырехтомным сочинением, последовательно выдержанном в официозном духе, Норов и решил «лицом к лицу» поставить эпопею Толстого. Генерал-лейтенант очень хорошо знал, что можно писать и о чем не следует писать на страницах Истории. Во время войны Михайловский-Данилевский состоял при Кутузове, вел всю его секретную переписку и был одним из немногих, знавших «все тайные пружины действий тогдашнего времени»²². Ему были хорошо

²⁰ В чем и моя малая доля (лат.)

²¹ Норов А. С. Указ. соч. С. 1-3.

²² 1812 год... Военные дневники/ Сост., вступ. ст. А.Г.Тартаковского. М.: Сов. Россия, 1990. С.314. Покойный А.Г.Тартаковский неоднократно писал о личности Михайловского-Данилевского и его идейной эволюции в своих классических работах: «Военная публицистика 1812 года» (1967); «1812 год и русская мемуаристика» (1980); «Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века» (1997).

известны и человеческие слабости престарелого фельдмаршала. Император Александр I называл Кутузова «одноглазым старым сатиром». В романе Толстого, устами князя Василия, говорится о «слепом и развратном старике»²³. Последнее утверждение не было преувеличением, ибо Михаил Илларионович постоянно был окружен молоденькими наложницами. Высшие чины русской армии и штабные офицеры знали о его женолюбии²⁴. «Известно, что он был обожателем женского пола»²⁵. Однако даже на страницах дневника адъютант светлейшего не стал распространяться об этом деликатном предмете. Михайловский-Данилевский благоговел перед светлейшим князем Кутузовым и сделал всё, чтобы фельдмаршал предстал перед потомством в виде доблестного и добродетельного героя. И его Кутузов, как и подобает полководцу на парадном портрете, «с зрительной трубой, указывая на врагов, ехал на белой лошади», а не щупал на глазах штабных офицеров и генералов пригожую молодую попадью за подбородок, как избразил светлейшего князя автор романа²⁶.

Толстой: «Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все действия исторического лица под одну идею, которую он вложил в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи видит несообразность с своей задачей и старается только понять и показать не известного деятеля, а человека»²⁷.

Существует «дьявольская разница» между опубликованными историческими сочинениями Михайловского-Данилевского и его же откровенными «журналами» – дневниками, не предназначенными для печати. Во время кампании 1813 года будущий историк стал свидетелем поспешного и беспорядочного отступления русской армии после одного из неудачных сражений. «Император и несколько приближенных к нему особ проскакали мимо меня во весь опор в колясках». В одной из колясок сидел князь Петр Михайлович Волконский, начальник Главного штаба императора Александра I. Князь увидел Михайловского-Данилевского, своего непосредственного подчиненного, остановил

²³ Толстой Л.Н. Война и мир. Т.IV. Ч.1. II. М.: Худож. лит., 1978. С.304. Хотя внимательные читатели романа и обращают внимание на эти слова, только узкий круг специалистов осведомлен об их реальной подоплеке.

²⁴ Троицкий Н.А. Фельдмаршал М.И. Кутузов: легенда и реальность. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. С.40–41. Обращаю внимание читателя на эту небольшую и тщательно фундированную книгу: в ней образ полководца, впервые в отечественной и зарубежной историографии, дан без «хрестоматийного глянца».

²⁵ 1812 год... Военные дневники. С.324.

²⁶ Ср.: Толстой Л.Н. Несколько слов по поводу книги «Война и Мир»// Русский Архив. 1868. №3. Стлб.519; Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. С.31; Толстой Л.Н. Война и мир. Т.III. Ч.2, XVI. С.127.

²⁷ Толстой Л.Н. Несколько слов... Стлб.519; Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. С.31.

коляску и приказал: «Напиши в реляции, что мы идем фланговым маршем!» Александр Иванович, с нескрываемой горечью, сделал вывод: «Какова должна быть история, основанная на подобных материалах, а, к сожалению, большая часть истории не имеет лучших источников»²⁸. Но именно на таких материалах и таких официальных источниках были основаны многотомные труды самого генерала. В них он не один раз «пригибал истину»: сознательно преувеличивал и приукрашивал заслуги тех, кто был в силе, и старался поменьше говорить или вовсе умалчивал о тех, кто попал в опалу. Поэтому язвительные современники еще при жизни прозвали официального историографа «холопом», «лакеем», «баснописцем». Его неопубликованные дневники находились под спудом и не могли быть известны Толстому, вот почему у писателя были достаточно веские основания с недоверием отнестись к многочисленным сочинениям новейшего «баснописца».

Толстой: «Все это я говорю к тому, чтобы показать неизбежность лжи в военных описаниях, служащих материалом для военных историков, и потому показать неизбежность частых несогласий художника с историком в понимании исторических событий»²⁹.

Итак, стоявший у двери гроба ветеран Норов предъявил автору романа свои претензии непосредственного участника исторических событий, претензии человека, жившего и действовавшего в «блестящую эпоху 1812 года». К нему присоединился другой ветеран, князь Вяземский. На первых же страницах своей брошюры Норов, как мы помним, упрекнул Толстого в том, что писатель избрал неправильную *интонацию*: талантливо написанные толстовские страницы с их «прекрасным, картинным слогом» произвели на Авраама Сергеевича «грустное впечатление». (Прилагательное «грустный» *семь раз* повторено мемуаристом!) Совершенно одинокий сановник тяжело уходил из жизни: давно снесли на погост сверстников, в 1860 г. скончалась жена, и еще в младенчестве умерли дети³⁰. У него остались только воспоминания. Ветеран не желал весело расставаться со своим героическим прошлым, но хотел весело перейти в небытие. Так уходили из мира во времена его юности. Но сейчас это было мудрено сделать: «громкий славою 1812 год» оказывался, по Толстому, «мыльным пузырем». Тяжело ложиться в могилу с мыслью о «мыльном пузыре». Было от чего загрустить.

Вот почему он негодовал на Толстого. Негодовал и скрупулезно выявлял мелкие неточности. Автор романа описывает дерзкую атаку павлоградцев во главе с Николаем Ростовым, увенчавшуюся успехом. Норов называет ее «ничтожной», устраняет явную опечатку (неверно

²⁸ 1812 год... Военные дневники. С.337.

²⁹ Толстой Л.Н. Несколько слов... Стлб. 522; Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. С.33.

³⁰ Русские писатели. 1800–1917: Биограф. словарь. Т.4. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. С.361.

указана степень Георгиевского креста, который литературный герой получил за этот «молодецкий поступок») и затем поучает незадачливого романиста. «Эту атаку надобно перенести из сражения при Островне к сражению Торماسова при Гродечне», – уточняет мемуарист и недоуменно спрашивает: «коснувшись уже военных действий под Островною, не было ли естественнее русскому перу обрисовать молодецкие кавалерийские дела арьергарда графа Палена?»³¹.

К этой теме мемуарист возвращается постоянно. Изначально заявив о своем «оскорбленном патриотическом чувстве», Норов затем на разные лады задает один и тот же риторический вопрос: «...Но не прискорбно ли видеть, что такой отличный талант автора принял ложное направление?»³². Действительно, романист, словно бы в насмешку над чувствами читателя-патриота, «ни слова не сказал о славных для русского оружия битвах», «о славных днях нашей армии»³³. Ветеран испытал неподдельную горечь. Талантливый автор не захотел восстановить распавшуюся связь времен и не пожелал сшивать разрывы в исторической памяти. Экс-министр народного просвещения тщился, да так и не смог понять, почему Толстой так поступил. При жизни Норова толстовские черновики еще не были напечатаны, поэтому он не мог познакомиться с набросками авторского предисловия к роману. Не был с этими набросками знаком и князь Вяземский. Но у нас такая возможность есть, и мы можем представить себе заочный обмен репликами.

Вяземский: «Но чем выше талант, тем более должен он быть осмотрителен. К тому же, признание дарования не всегда влечет за собой, не всегда застраховывает признание истины того, что воспроизводит дарование. Таланту сочувствуешь и поклоняешься; но, вместе с тем, можешь позволить себе и оспаривать сущность и правду рассказов, когда они кажутся сомнительными и положительно неверными»³⁴.

Норов: «Сколько вдохновенных строк могло бы излиться из-под искусного пера графа Толстого. Нельзя не пожелать, чтобы столь же искусное и живописное перо, каким владеет граф Толстой, передало новому поколению Русских в истинном свете их славное *былое*, которое бы слилось с их *настоящею* славою»³⁵.

Толстой: «Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто ни ис-

³¹ Норов А.С. Указ. соч. С.16.

³² Норов А.С. Указ. соч. С.10.

³³ Норов А.С. Указ. соч. С.19, 29. Горечь и недоумение ветерана станут еще очевиднее, если учесть, что сам он по поводу неудачной для русской армии битвы при Аустерлице написал следующее: «Мое перо не будет растравлять раны русского сердца» (Там же. С.12).

³⁴ Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе// Русский Архив. 1869. №1. Стлб.187; Он же. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С.266; Державный сфинкс. М.: Фонд Сергея Дубова, 1999. С.422-423.

³⁵ Норов А.С. Указ. соч. С.11, 45.

пытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений»³⁶.

Толстой не захотел воспевать победы русского оружия, умалчивая о неудачах и поражениях, и не стал восторгаться действиями так называемых исторических личностей. Напротив, он низвел героев с пьедесталов и обосновал необходимость этой дегероизации. Вновь произошел заочный диалог, но на сей раз, оппоненты Толстого имели возможность своевременно познакомиться с его позицией, четко сформулированной писателем на страницах журнала «Русский Архив».

Толстой: «Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно различных предмета. Как историк будет не прав, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом. <...>

Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди»³⁷.

Норов: «Если нет деятелей, то нет и истории: все доблести тонут в пучине забвения, и всякое одушевление подражать этим доблестям исчезает»³⁸.

Вяземский: «Книга "Война и мир", за исключением романической части, не подлежащей ныне моему разбору, есть, по крайнему разумению моему, протест против 1812 года; есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям и на авторитете русских историков этой эпохи: школа отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее, разуверение в народных верованиях, – все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей и, к сожалению, довольно много слушателей. Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое волшебство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей. <...> В упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман, и обратно. Это переплетение, или, скорее, перепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здоровой и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства последнего, то есть романа»³⁹.

³⁶ Толстой Л.Н. Наброски предисловия к «Войне и миру» // Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» в русской критике. С.27.

³⁷ Толстой Л.Н. Несколько слов... Стлб.518-519; Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» в русской критике. С.31.]

³⁸ Норов А.С. Указ. соч. С.46.

³⁹ Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе //Русский Архив. 1869. №1. Стлб.186, 187-188; Он же. Эстетика и литературная критика. С.265, 266; Державный сфинкс. С.422, 423. Князь Вяземский написал свой мемуарный очерк в сентябре 1868 г. и в январе следующего года опубликовал его в издавав-

Толстой описывает ничтожество русских военачальников, лишь случайно способных действовать удачно, но умеющих составлять победные реляции. Норов оскорблен в лучших чувствах.

«Какие вдохновительные картины для пера писателя и для кисти художника представляют нам даже официальные реляции о геройских битвах под стенами Смоленска: Раевского, Дохтурова, Паскевича, Неверовского, этих Аяксов, Ахиллесов, Диомедов, Гекторов нашей армии».

Не знал его высокопревосходительство Авраам Сергеевич, что думал по этому поводу сам генерал Раевский. Не ведал, что еще летом 1817 г. подлинная реплика генерала была сохранена для потомства в записной книжке его адъютанта: «Из меня сделали римлянина, милый Батюшков, – сказал он мне, – из Милорадовича – великого человека, из Витгенштейна – спасителя отечества, из Кутузова – Фабия. Я не римлянин, но зато и эти господа – не великие птицы»⁴⁰. Лишь спустя семь десятилетий опубликуют эту красноречивую реплику в посмертном собрании сочинений Батюшкова. Действительный тайный советник Норов уже давно успеет истлеть в могиле, и никаких грустных мыслей на сей раз не испытает.

Последовательно отстаивая тезис о резком и существенном различии между художником и историком в изображении исторических личностей и в описании исторических событий, автор романа успешно выдержал «очную ставку» с профессиональным военным историком. «Историк имеет дело до результатов события, художник – до самого факта события»⁴¹. Однако этим дело не ограничилось. Писателю предстояло выдержать целую серию «очных ставок» с воспоминаниями очевидцев, ведь их мемуары описывали процесс совершения события, а не его результат. И Норов, и Вяземский неоднократно подчеркивали подлинность своих воспоминаний об этой незабвенной эпохе.

Норов: «из нас, современников», «я сам был свидетелем», «я припомнил», «я помню», «я сам был самовидцем», «я хорошо знал», «нам, знавшим»,

шемся Петром Бартевым журнале «Русский Архив». Незадолго до публикации очерка он созвал друзей и устроил чтение своих воспоминаний. «Намедни мы были у него на литературном вечере; нам прочли статью, которую он написал по поводу романа Толстого и которая должна появиться в журнале Бартева. Это довольно любопытно с точки зрения воспоминаний и личных впечатлений и весьма неудовлетворительно со стороны литературной и философской оценки. Но натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец. Это *Кюстины* новых поколений» (Тютчев – Е.Ф.Тютчевой. Петербург. 3 января 1869 г. //Тютчев Ф.И. Сочинения: В 2-х тт. Т.2. Письма. М.: Худож. лит., 1984. С.332).

⁴⁰ Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1978. С.413.

⁴¹ Там же. С.31.

«из нас, очевидцев, которых осталось так мало», «называю тех, которых я знал или видел»⁴².

Вяземский. «скромные и старые пожитки памяти моей», «я, один из немногих переживших это время, считаю долгом своим изложить по воспоминаниям моим то, что было, и как оно было»⁴³.

Но именно свидетельские показания очевидцев неопровержимо доказали правоту автора эпопеи. Стоило очевидцам в своих воспоминаниях хоть немного отойти от официальной версии событий, как их мемуары оказывались конгениальными (очень близкими по духу и образу мыслей) тексту романа, с которым они полемизировали. Бывший артиллерийский прапорщик Норов, рассказывая о своем участии в Бородинской битве, неожиданно проговорился: «...Но клубы и занавесы дыма, из-за которого сверкали пушечные огни или чернели колонны, как пятна на солнце, закрывали от нас все. А что может видеть фронтовой офицер, кроме того, что у него делается на глазах?»⁴⁴. В этой фразе очевидца в первоизданном виде сохранился тот отсутствующий в официальной реляции «сырой жизненный материал», который так ценил Толстой. Пока не пройдет два – три дня после сражения и еще не будут поданы по команде реляции, утверждал автор «Войны и мира», у всех непосредственных участников сражения, от рядового солдата до главнокомандующего, есть о нем только «неясное впечатление». Это впечатление исчезает после того, как будет составлено общее донесение.

«Каждому облегчительно променять свои сомнения и вопросы на это лживое, но ясное и всегда лестное представление. Через месяц и два расспрашивайте человека, участвовавшего в сражении, – уж вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, который был прежде, а он рассказывает по реляции. Так рассказывали мне про Бородинское сражение и многие живые, умные участники этого дела. Все рассказывали одно и то же, и все по неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке и др.; даже подробности, которые рассказывали они, несмотря на то, что рассказчики находились на расстоянии нескольких верст друг от друга – одни и те же»⁴⁵.

Ниже я позволю себе привести несколько обширных выписок из брошюры Норова, поразительно совпадающих по своему духу с Толстовским описанием сражения. Примечательно, что хотя в самом начале сражения гвардейская артиллерийская рота, где служил прапорщик Норов, находилась в резерве и вместе с лейб-гвардии Преображенским полком занимала третью линию обороны русских

⁴² Норов А.С. Указ. соч. С.3, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 45.

⁴³ Вяземский П.А. Воспоминания о 1812 годе// Русский Архив. 1869. №1. Стлб.181, 187; Он же. Эстетика и литературная критика. С.266; Державный сфинкс. С.422-423.

⁴⁴ Норов А.С. Указ. соч. С.32.

⁴⁵ Толстой Л.Н. Несколько слов... Стлб.521; Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» в русской критике. С.32-33.

женским полком занимала третью линию обороны русских войск, до них долетали французские ядра – и элитные части несли напрасные потери⁴⁶. Итак, слово очевидцу.

«...Я встретил тут поручика князя Ухтомского, моего двоюродного брата; мы обнялись с ним, и только что его взвод миновал меня, как упал к моим ногам один из его егерей. С ужасом увидел я, что у него сорвано все лицо и лобовая кость, и он в конвульсиях хватался за головной мозг. "Не прикажете ли его приколоть?" – сказал мне стоявший возле меня бомбардир. – "Вынесите его в кустарник, ребята", – отвечал я».

«Не знаю, по чьим распоряжениям нас повели в дело, но я видел подскакавшего к командиру нашей 2-й роты капитану Гогелю офицера генерального штаба, за которым мы и последовали по направлению к левому флангу. Это было единственное приказание, которое мы получили, и впоследствии действовали уже как знали и умели».

«Наши солдаты были гораздо веселее под этим сильным огнем, чем в резерве, где нас даром било. <...> Нас прикрывал кирасирский Его Величества полк; стоявши на фланге, я не мог не заметить опустошения, которое делали неприятельские ядра в рядах этого прекрасного полка. Ко мне подъехал оттуда один ротмистр; его лошадь упрямылась перешагнуть через тело недавно рухнувшего со своего коня дюжего малоросса, сбитого ядром прямо в грудь; он молодецки лежал с размахнутой рукой и отброшенным своим палашом. "Так ли же бьет у вас?" – спросил меня ротмистр. "Порядочно, – отвечал я, – да только мы делаем дело, а больно глядеть на вас; зачем вы не спуститесь несколько пониже назад, по этому склону; вы всегда успеете нам помочь, если б наскочала на нас кавалерия". – "Правда ваша", – сказал он, сдерживая свою лошадь, которая мялась и пятилась от наших громовых выстрелов, и, кажется, он передал это своему полковому командиру, потому что вскоре полк отодвинулся от нас»⁴⁷.

Для тех, кто хорошо помнит роман, эти воспоминания очевидца не только не противоречат художественному тексту, но и, более того, полностью подтверждают истинность Толстовского описания минувших событий. Неистощимая ирония истории заключалась в том, что не прошло и года после смерти Норова, как текст его мемуарного очерка был неожиданно поставлен «лицом к лицу» с весьма неожиданной находкой, которая разом опрокинула тщательно построенную концепцию мемуариста. Ветеран негодовал на автора эпопеи за то, что он изобразил князя Кутузова с французской книжкой в руках. «И есть ли такое вероятие, чтобы Кутузов, въехавший прямо из Петербурга, напугуемый своим монархом, всем населением столицы, а в продолжении пути всем народом, когда уже неприятель проник в сердце России, а он, с прибытием в Царево-Займище, видя перед

⁴⁶ Вспомним, как был смертельно ранен на Бородинском поле князь Андрей, а его находившийся в резерве егерский полк, «не выпустив ни одного заряда», потерял более трети своих людей от сильного огня артиллерии. – *Толстой Л.Н. Война и мир. Т. III. Ч. 2, XXXVI. С. 187-191.*

⁴⁷ *Норов А.С. Указ. соч. С. 34, 37, 38-39.*

собою всю армию Наполеона и находясь накануне решительной, ужасной битвы, имел бы время не только читать, но и думать о романе г-жи Жанлис, с которым он попал в роман графа Толстого?!»⁴⁸. Авраам Сергеевич утверждал в своем очерке, что Кутузов ни при каких обстоятельствах не мог позволить себе во время Отечественной войны читать роман французской писательницы Жанлис «Рыцари Лебеда». Сразу же после смерти Норова один из его друзей приступил к разбору петербургской библиотеки покойного. Ему повезло найти крошечную французскую книжечку (в 32-ю долю листа), на форзаце которой рукой бывшего владельца на французском языке была сделана следующая надпись: «Читал в Москве, раненый и попавший военнопленным к французам в сентябре 1812 года»⁴⁹. Прошло пятьдесят шесть лет, и в сентябре 1868 года действительный тайный советник забыл о том, что было с молодым артиллерийским офицером в сентябре 1812 года. Чтение русским офицером развлекательной книжки на французском языке во время войны с французами решительно не укладывалось в те официозные представления об этой войне, которые сформировались впоследствии у маститого сановника. Этот казус, благодаря статье писателя Данилевского, сразу же получил широкую известность и стал ярчайшим свидетельством победы художника в споре с очевидцами.

Последние живые свидетели эпохи 1812 года не смогли понять, что Толстой своим пером создал реальность особого рода. Роман побудил ветеранов заново пережить свое прошлое, свой неповторимый жизненный опыт и написать собственные воспоминания об этом времени. Таким образом, «Война и мир» явилась не только поводом, но и непосредственной причиной их написания. Именно Толстовская эпопея вызвала к жизни то, что давным-давно прошло, забылось. Когда на склоне лет князь Петр Андреевич вспоминал о своем участии в Бородинской битве, ему казалось, что всё это было не с ним, а каким-то другим человеком.

Головешкой в этом аде
 Кто бы мог признать меня?
 Я ль в воинственном наряде,
 Всадник борзого коня?
 Полно, я ли? вот задача!
 На себя гляжу ль во сне?
 Мой двойник, меня дурача,
 Не мерещится ли мне?⁵⁰

⁴⁸ Норов А.С. Указ. соч. С.25.

⁴⁹ Данилевский Г.П. Историк-очевидцы...// Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» в русской критике. С.334, 403.

⁵⁰ Вяземский П.А. Поминки по Бородинской битве //Русский Архив. 1869. №1. Стлб.177.

Чтение исторического романа о временах своей молодости оказало на Норова и Вяземского столь сильное эмоциональное воздействие, что они вспомнили пережитое и взялись за перо. Не было бы романа – не было бы и этих воспоминаний. «Война и мир» внушила мемуаристам определенную логику написания мемуаров: сами того не замечая, ветераны покорно следовали за Толстым. Даже полемизируя, они неявно признавали убедительность композиции романа. Ирония истории заключается в том, что сейчас мемуары бывшего министра и бывшего товарища (заместителя) министра народного просвещения воспринимаются не как полемика очевидцев с автором романа, а как ценный материал для комментирования «Войны и мира». Ветераны сравнивали книгу со своим индивидуальным жизненным опытом, который был ограничен обстоятельствами времени и места, и решительно не желали признавать Толстовский хронотоп, художественно освоенное писателем время и место реальных и вымышленных событий. Личный опыт был для Норова и Вяземского неким абсолютom. Это была осознанная жизненная позиция, которую они защищали до последнего вздоха. Здесь, как и на Бородинском поле, ветераны стояли насмерть. И ни Норову, ни Вяземскому не пришло в голову соотнести не роман с личным опытом, а опыт с романом, дабы восполнить неизбежные пробелы своей исторической памяти. Не чуждые литературных занятий очевидцы примеривали произведение Толстого к себе, а не себя к произведению⁵¹. Однако в ближайшем будущем именно художественной реальности романа предстояло не только ощутимо потеснить, но и в значительной степени затмить воспоминания очевидцев.

На глазах последних свидетелей ушедшей эпохи Толстой сотворил всем реальностям реальность, которая превзошла собой всё: не только многотомные сочинения историков и старческое брюзжание ветеранов, но и самоё былое. Гений автора преобразовал прошлое: сгустил одно, растворил без остатка другое. Творческий труд писателя вызвал к жизни и способствовал развитию реальности в превосходной степени – и эта реальнейшая реальность, способная порождать реальные эмоции и заставляющая читателей сопереживать судьбам вымышленных героев, превратилась в эталон исторической памяти о великой эпохе 1812 года⁵². Романист оспорил у историка суверенное право креативности и выиграл спор.

⁵¹ Впервые на это обратила внимание Лидия Гинзбург, очень точно заметившая, что если близкие потомки гениального автора «вкладывают себя в произведение, как в историческую форму, определяющую сознание», то его дальние потомки «подтверждают себя произведением» (*Гинзбург Л.Я. Литературные современники и потомки // Гинзбург Л.Я. Литература в поисках реальности. Л.: Сов. писатель, 1987. С.121, 122*).

⁵² В своей последней, посмертно опубликованной книге, посвященной историческому роману как феномену культуры, Лион Фейхтвангер утверждал, что

Отныне историк уже не мог претендовать на единоличное исполнение социальной роли жреца в храме Мнемозины, хранящего эталон исторической памяти. Ранее у историка не было соперников: зодчие, ландшафтные архитекторы, живописцы, скульпторы и граверы увековечивали лишь то, что подлежало занесению на скрижали истории, что следовало сохранить для грядущих поколений. Все они ориентировались на текст историка, даже если этот текст еще только предстояло написать в будущем. «Циркуль зодчего, палитра и резец» состязались и вступали в единоборство друг с другом, но не с историком. Исход борьбы был очевиден: слово историка должно было пережить всех и каждого, сохранив «правильную» историческую память. Никто из них не оспаривал жреческие функции историка. Утрата историком монополии на исполнение этой роли не была синонимом закрытия храма и изгнания жреца. Просто дорога к храму стала постепенно зарастать: по ней перестали ходить по велению сердца, но лишь по обязанности и почти что по принуждению. Историческая память неотделима от эмоций, а профессиональные историки сознательно отказались от воздействия на чувства своих читателей. Храм оказался в небрежении, перестал восприниматься как святилище – и опустел.

под пером талантливого романиста даже вымышленные герои обретают «новую, высшую степень реальности». Гениальный исторический романист способен в корне изменить историческое сознание общества и создать «реальнейшую реальность (*ens realissimus*)» (*Фейхтвангер Л. Дом Дездемоны, или Мощь и границы исторической художественной литературы // Фейхтвангер Л. Собр. соч.: В 6 т. Т.6, кн.1. М.: Худож. лит., 1991. С.578, 593, 662*). Аналогичным образом в наши дни рассуждает Л.П.Репина: «*Независимо от того, насколько она достоверна, именно толстовская версия событий 1812 года как «истории всех людей» стала нерушимой частью национального исторического сознания, национальной идентичности, той, пожалуй единственной, «правдой о прошлом» для многих поколений россиян, которая и сегодня разделяется всеми, независимо от политических и идеологических разногласий» (Репина Л.П. «Малая история» в большой литературе: «Война и мир» Л.Н.Толстого глазами историка эпохи постмодерна// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып.25. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С.50-51).*

О.Г.Эксле (Германия)

Факты и фикции: о текущем кризисе исторической науки*

Самым важным было бы понять,
что все фактическое – уже теория.

Историческая наука берет свое начало в эпоху Модерна и с того самого момента и до сих пор пребывает в кризисе. На современном этапе этот кризис определяется «постмодернистским вызовом», дискуссией о «фактах и фикциях».

Британский историк Ричард Эванс стал известен благодаря своей книге «Смерть в Гамбурге» (1990) о городском обществе и политике городов во время эпидемий холеры XIX – начала XX в. Далее в своей полемической работе «В защиту истории» (In Defence of History. 1997), в немецком переводе вышедшей под заголовком «Факты и фикции»¹, с пафосом, за которым скрывается глубокий ужас от содеянного, он объявляет поход против «Постмодерна» в историографии и исторической науке. Речь, по мнению Р.Эванса, идет о том, что «постмодернистский вызов» с его «лингвистическим поворотом» ставит на место «фактов» и «причин» чистые «дискурсы» и тем низвергает предмет в фундаментальный «эпистемологический кризис». «История, – пишет Эванс, цитируя книгу трех американских историков² – была поколеблена до самого ее научного и культурного фундамента». Подобным образом высказываются и другие британские и американские историки, которых Эванс обильно цитирует. Так, в 1991 г. Лоуренс Стоун высказался в том смысле, что «постмодернистский вызов» вверг предмет «в кризис доверия самому себе в том, что он делает и как он это делает». По мнению Габриелы Спигел, истории угрожает «растворение» и даже, как выразился один австралийский историк, «насильственная смерть»³.

Эванс хочет положить конец благодущию тех историков, которые еще не успели почувствовать кризис повсюду, Эванс хотел бы пробудить от их самодовольства и ощущения самодостаточности, дабы по-

* Печатается с разрешения редакции журнала Rechtshistorisches Journal.

¹ Richard J. Evans. Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis. Frankfurt; New-York, 1998.

² Joyce Appleby/ Lynn Hunt/ Margaret Jacob. Telling the Truth about History. New-York/London, 1994.

³ K.Windschuttle. The Killing of History. How a Discipline is being Murdered by Literary Critics and Social Theorists, 1994.

казать им, как они могут парировать атаки постмодернизма и сметать их со своего пути. «Пришло время, когда мы, историки, должны взять на себя ответственность за то, чтобы объяснять, что мы делаем, как мы это делаем, и почему это стоит делать», — пишет Эванс⁴, как будто прежде эта мысль никому не приходила в голову. Однако и в этом случае он цитирует троих американских коллег, которые по тем же соображениям выдвинули в 1994 г. «новую теорию объективности», а именно, «новый практический реализм»⁵.

Правда, Эванс не нашел в нем ничего хорошего, поскольку они отказываются признать, что «прошлое может навязать историку свою действительность через ее остатки»⁶, тогда как именно это обстоятельство он считает самым важным и одновременно само собою разумеющимся. Для него «факт» в том, что «прошлое» есть и что «оно само постоянно продуцирует свои материальные остатки». И эти «реальные, материальные следы прошлого», т.е. «исторические источники», «самодостаточны» и говорят «фактически сами за себя», «посредством них» «прошедшая действительность» берет в свои руки историка, более того, накладывает на него определенные «обязательства»⁷. Историк, таким образом непосредственно поучаемый, ведомый прошлым, может познать историю «фактически», «на деле». Вопрос, что же собственно такое — исторический факт, не представляет поэтому для Эванса сложности. Факты — дела «давно минувших дней»:

«Исторические факты есть вещи (события), происходившие в прошлом, и соответственно, их можно перепроверить на основании оставленных ими следов. Предпринимали ли историки подобные акты проверки прежде или нет — для фактографии как таковой (Faktizität) не существенно: факты существуют полностью независимо от историка»⁸.

Поэтому Эванс, излагая суть своих противоречий с «постмодернистским мышлением» остается оптимистичным, продолжая верить, что «объективное историческое знание как желательно, так и вполне достигаемо». Поэтому перед лицом «постмодернистского вызова» он «смирненно вглядывается в прошлое» и в пике всем этим «вызовам» утверждает: прошлое «происходило в действительности, и мы, если будем добросовестны, осторожны и самокритичны, можем фактически выяснить, как именно оно происходило и развить дальше некоторые устойчивые толкования прошлого»⁹.

⁴ Evans (см. №1). S.31. Cp.: Appleby/Hant/Jacob (см. №2). S.9.

⁵ Appleby/ Hant/ Jacob (см. №2). S.247.

⁶ Evans (см. №1). S.115, 129.

⁷ Ebd. S.115f.

⁸ Ebd. S.79.

⁹ Ebd. S.242f.

II

Дебаты о «фактах и фикциях» – проблема не одних только британских и американских историков. Споры начались и в Германии. Здесь тоже следует принимать во внимание веру историков и историков права в «факты».

Историк – никто иной как «только(!) разновидность поэта/писателя», но высокоученый и опирающийся на более старые тексты и свидетельства; за так называемыми «фактами» скрывается «не что иное(!)...как языковые послания», которым верят ныне по причинам, скорее, прагматическим¹⁰. Но какого рода литературу должна продуцировать историческая наука в качестве «истории фикций»?

С другой стороны, в тоне заклятий раздаются голоса, требующие «спасения фактов». «Факт» – «опора, основной элемент всей истории как науки» – был растворен, как в кислоте, и современная историческая наука рискует пасть под тяжестью «лиан теоретических сомнений»¹¹. Так же и здесь борются против «постмодернистского произвола» и запущенного им в ход мнимого «саморазрушения исторической науки», призывают к «спасению исторической науки» посредством «спасения фактов»¹². Ведь существует же «непреложность фактов, которая является безусловной и не может быть оспорена», и существует «прагматическая очевидность, от которой мы не должны отмахиваться». Прежде всего «в прежнее достоинство должен быть возведен первичный факт (Primärtatsache) – как бы невероятно это бы ни звучало». Более того: «Факт будет спасен, потому что он должен быть спасен. И в то время как «факт открывается заново», заново обретается и «истина». Но что это, собственно, такое – «факты»?

III

Этот спор между теми, кто говорит о «прошлом», которое «берет в свои руки» историка и даже «накладывает на него обязательства», о существующих независимо от историка «непреложных фактах», о «первичных фактах» и их «статусе», с одной стороны, и теми, кто констатирует фиктивность «того самого» прошлого – с другой, приводит в недоумение, пока не взглянешь на него со стороны.

(1) Удивительно, насколько уверены в собственной правоте представители спорящих сторон и насколько мало озабочены слабыми местами в своих позициях. Где, например, у сторонников «истории

¹⁰ Michel Stolleis. Rechtsgeschichte als Kunstprodukt. Zur Entbehrlichkeit von "Begriff" und "Tatsache". Baden-Baden, 1997. S.16, 27.

¹¹ Werner Paravicini. Rettung aus dem Archiv? Eine Betrachtung aus Anlaß der 700-Jahrfeier der Lübecker Trese.// Zeitschrift des Vereins für Lübekische Geschichte und Altertumskunde 78 (1998). S.11-46 (S.23).

¹² Ebd. S.31ff.

фактов» вопрос об условиях возможности познания преэксистентных, независимо существующих «фактов» и их «истинности» или даже «прошлого» вообще? Вопрос этот ни разу не был поставлен, будто бы подобная дискуссия и не нужна, и будто бы она и прежде никогда не возникала. У другой стороны удивляет легкость, с которой «постмодернисты» примиряются не только эпистемологической редукцией, но и, упраздняя различия между фактом и фикцией, между историком и «писателем» или «поэтом», ставят под вопрос и оставляют на произвол судьбы всякую регулятивную идею «истинности» и тем самым – статус истории как науки вообще¹³. Когда Эванс размахивает дубиной «аргумента Освенцима» (в том смысле, что Освенцим – это не дискурс)¹⁴ – можно посчитать, что он перегибает палку, можно скептически покачать головой, когда он в предисловии к немецкому изданию своей книги, характеризуя «теоретиков постмодерна», предостерегающе напоминает об упадке немецкой исторической науки времен национал-социализма и просоветского режима в ГДР¹⁵, прямо так, будто бы нацистские или марксистские историки были предшественниками постмодернизма. И все же можно понять возмущение Эванса, осмысливая практические последствия постмодернистских установок. Как пишет американский философ Hilary Putnam, в преддверии XXI века задача состоит в том, чтобы «не повторять ошибок века XX. Мысль о том, что разум есть не более чем репрессивное понятие, вряд ли нам в этом поможет... Деконструкция без реконструкции – это безответственность»¹⁶.

(2) Удивительно, что дебаты о фактах и фикциях воспринимаются как совершенно современные, т.е. ведутся без какого-либо ретроспективного научного осмысления. Но разве не были все эти точки зрения давным-давно представлены? Например, тезис о «спасении фактов». Он есть еще в программе Ранке. «Моя основная мысль состоит в том, чтобы ...познавать факты такими, какие они есть..., проникать в них и изображать. Истинная наука состоит в познании фактов», – писал Ранке в письме к своему брату Генриху 21 ноября 1831 г. Это знаменитое «показывать, как оно, собственно, и было» (1824) не нуждается в специальных разъяснениях, т.к. и без того постоянно цитируется. При

¹³ Об этом см. размышления Эрнста Ханиша: *Ernst Hanisch. Die linguistische Wende. Geschichtswissenschaft und Literatur// Wolfgang Hardtwig/Hans-Ulrich Wehler (Hg.). Kulturgeschichte Heute. Göttingen, 1996. S.212-230.*

¹⁴ Ewans (см. №1). S.123.

¹⁵ Ebd. S.7ff.

¹⁶ *Hilary Putnam. Für eine Erneuerung der Philosophie. Stuttgart, 1997. S.171.* См. также критику Кассирером философии Хайдеггера: *Ernst Cassirer. Der Mythos des Staates. Philosophische Grundlagen politischen Verhaltens. Frankfurt a.M., 1985. S.382.*

этом, однако, обычно не принимаются во внимание те условия, в которых такая программа вообще могла возникнуть, а именно, убежденность в возможности метафизически или трансцендентно обоснованного познания идей, своего рода «историорелигия».¹⁷ И как еще можно было обосновать только наукой познание фактов «как это, собственно, и было» в период, когда в XIX в. пошел интенсивный процесс утраты религиозного сознания?

Определенно: первоначальный контекст понятий «факт» – *Tatsache* и *Faktum* – в немецком языке второй половины XVIII в. был теологическим. Действительно, *Tatsachen* – это *Sachen der Tat* (подразумеваются деяния Господа); *Tatsachen*, следовательно, обретенные посредством опыта указания на соответствие мировой истории истории спасения¹⁸. Впрочем, все это было уже довольно давно. Уже Ф.Ницше насмешливо называл Ранке «умнейшее из умных творений» (*Klügsten aller klugen Tatsächlichen*) и, выступая против ранкеанцев и неоранкеанцев своего времени и их одержимостью «фактами» (1881), называл эти «факты» (*Facta*) ложными – *Facta ficta*. Хотя он и не утверждал, что «истории» не было, но считал полной фикцией то, что историки называют «историей» (*Morgenröte*, №307):

«Историк, – пишет Ницше, – имеет дело не с событиями, которые действительно произошли, а с событиями предполагаемыми, поскольку только они действовали... Его тема, так называемая мировая история, это только мнения о предполагаемых действиях и их предполагаемых мотивах, которые, в свою очередь, дают повод к мнениям и действиям, реальность которых, однако, снова испаряется и воздействует подобно пару, – беспрестанное зачатие и вынашивание фантомов под густым туманом непостижимой действительности»; «Все историки рассказывают поэтому, «о делах, которые никогда не существовали, кроме как в представлении».

Естественно, каждый историк свободен, даже сегодня – сознательно или неосознанно – выступать как ранкеанец за познаваемость фактов, существующих независимо от историка, за познаваемость «того» прошлого «как оно, собственно, было», или – опять-таки сознательно или неосознанно – как ницшеанец за «фикциональность» исторического «познания». Но разве добросовестность ученого не требует осознать всю историчность этих позиций, равно как и тот факт, что споры между ними ведутся уже очень давно, и что давно уже существуют и другие направления?

(3) Разве не удивительно, что эти «другие направления», давно существовавшие и эксплицитно выраженные, явно преданы забвению?

¹⁷ *Wolfgang Hardtwig. Geschichtsreligion – Wissenschaft als Arbeit – Objektivität. Der Historismus in neuer Sicht.// Historische Zeitschrift 252 (1991). S.1-32.*

¹⁸ *P.Simons. Art. "Tatsache".// Historisches Wörterbuch der Philosophie 10 (1998). Sp.910-916. (Sp.910).*

Для Иоганна Густава Дройзена, который первым в 1857 г. сформулировал концепцию истории (Historik), т.е. теорию исторического познания, спор о фактах и фикциях относился к *arogemata* – к каталогу неправильно поставленных вопросов¹⁹. Для Дройзена обе позиции были недопустимы. Познание «того прошлого» вообще невозможно. Однако: насколько все происшедшее «было внешней природы, оно прошло, и насколько не прошло – оно принадлежит не истории, а настоящему». Следовательно, и «спасение из архива» для него также иллюзорное представление: «В архивах лежит не история, а текущие государственные и управленческие дела во всем их объеме, которые столь же мало являются историей, сколь мало цветные пятна на палитре – картиной». Главная задача Historik для Дройзена направлена скорее не на получение «фактов», а, скорее, на «транспозицию», в которой «из деяний (Geschaeften) делается история», т.е. создается внешнее и историческое сознание. Это позиция ориентированного на философию Канта критицизма. С пафосом выражаемое историками, как тогда, так и теперь, намерение «заставить говорить факты» – наивно, как полагает и Дройзен; поскольку они не замечают того, что факты «вообще не говорят», кроме как через того, кто их рассматривает. Таким образом, он понял, что «факты как таковые не существуют вообще». «Историческая истина» поэтому никогда не может быть «истиной абсолютной», а всегда «относительна», и познанное – никогда не является адекватным «слепком» с действительности.

Правда, это и не чистая «фикция». Поскольку «историческая наука» есть «результат эмпирического восприятия, опыта и исследования». Эта эмпирика однако относится не к «истории», а к историческому материалу: «Данное для исторического исследования – это не само прошлое, поскольку оно прошло, а то, что от него еще осталось в данное время и в данном месте, может быть, воспоминания о том, что было, что происходило, остатки минувшего и бывшего». Результат исторического исследования, таким образом, – не «слепки» с прошедшего, а «система знаков... – мир представлений». Потому и речь должна идти не о «слепах» или «фикциях», а в большей мере о познании прошлого как «знаков», «представлений» и «репрезентаций».

IV

В русле этой ориентированной на критицизм Канта постановки проблемы развивались и большие дебаты рубежа XIX и XX столетий, в которых речь шла о том, каким быть историческому познанию – по

¹⁹ Johann Gustav Droysen. Historik. Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857). Grundriß der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/1858) und in der letzten gedruckten Fassung (1882). Textausgabe von Peter Leyh. Stuttgart/ Bad Cannstatt, 1977. S.3f., 8, 11, 69, 218, 397, 421f.

Ранке или в противоположность Ранке, по Ницше или против него, а также в направлении вызова, брошенного эмпирическим естествознанием, и поставленных им критических вопросов. Что же это значит, говорить о «фактичности» исторического познания?

Какой эпистемологический статус имеет исторический «факт»? Что такое «историческая действительность» как «действительность» познанная, т.е. как «знак чего-либо»? (Дройзен)²⁰. Существует ли историческая «объективность» и в каком соотношении находится она с объективностью, на которую претендуют естественные науки?²¹ Это были вопросы, занимавшие ученые умы около 1900 г.

Может быть, действительно, стоит еще раз перечитать заключительные документы этих дебатов, прежде чем продолжать спор о фактах и фикциях: Кроме Historik Дройзена, есть еще, например, работы Георга Зиммеля²², Макса Вебера²³, Эрнста Кассирера²⁴, эссе Эрнста Трёльча²⁵. Можно попытаться выяснить, не больше ли поспособствует в решении вопросов эпистемологии исторического познания теория Вебера об «объективных возможностях»²⁶ или теория познания как «знака» и «символической формы» Кассирера, нежели альтернатива «факты» или «фикции», будь она облечена в старую форму (как у Ранке и Ницше) или в современную.

Из работы Трёльча о кризисе историзма 1922 г. можно в целом почерпнуть для себя кое-что о перманентности кризиса в современной исторической науке, который постоянно воспроизводится во все «новых кризисах» от начала эпохи Модерна и до сего дня. Это, прежде всего, проблема объективности, но также и вопрос общественной обусловленности и релевантности научного познания. Именно Трёйч (в своем эссе и в большой книге «Историзм и его проблема» (1922) остро критиковал работу цеха историков и его ориентации, которые лежали в основе всего его существования и долгое время питали его, и показал, что этот «цех» еще недостаточно осознал ряд действительно важных

²⁰ Johann Gustav Droysen. Philosophie der Geschichte.// Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 1 (1878). S.626-635 (S.628)

²¹ Otto Gerhard Oexle. Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Momente einer Problemgeschichte// O.G.Oexle (Hg.) Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft: Einheit – Gegensatz – Komplementarität?. Göttingen, 1998. S.99-151.

²² Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892 и 1905.

²³ Objektivität, 1904, Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik, 1906.

²⁴ Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik, 1910.

²⁵ Die Krisis des Historismus, 1922.

²⁶ Barreilmeyer (см. №23). S.159ff, ообщ., S.209ff.

вопросов исторического мышления и исторической науки именно в силу того, что успешно функционировал.

V

Дискуссия о фактах и фикциях – это «ловушка», поскольку она заранее исключает, что может быть что-то третье, как минимум – еще третье. Слабость дихотомии факты/фикции состоит в ее предполагаемой неизбежности. Иными словами: кажущаяся очевидность этой дихотомии основывается на НЕ-знании того, что это третье – есть. Но как дальше должна развиваться дискуссия?

1) Первое условие для ее дальнейшего развития состоит в признании необходимости историзации истории. Это основная, и как еще в 1857/58 гг формулировал Дройзен, фундаментальная предпосылка современного исторического исследования вообще: «Историческое исследование исходит из убежденности, что даже содержание нашего Я есть многократно опосредованный, исторический результат»²⁷. Это воззрение, конечно же, означает и историзацию дебатов об истории.

В прагматическом аспекте, кажется, имеет мало смысла, обсуждать сегодня вопросы, которые весьма интенсивно обсуждались столетие, даже полтора столетия, назад и часто гораздо лучше, чем теперь. Подходящих или «истинных» ответов нет тут и сегодня, хотя есть лучшие или худшие. Можно спорить о критериях качества. Конечно, привлекательнее выступить с новой теорией, нежели узнавать что-либо про уже существующие. Но их количество не столь уж велико. И не станет ли новая теория лучше, если для нее будет позаимствовано что-либо из старых?

Речь не идет при этом об исполненном пиетета упоминании всего фонда традиций. Но следует задаться вопросом, а не были ли основные современные проблемы исторического познания осмыслены более полно и, прежде всего, более радикально, чем это делается теперь, к примеру, в «осевое время» современной эпистемологии во всех науках, т.е. в период между 1880 и 1933 гг.?

Недавно молодые социологи заново открыли для себя исключительную важность этих дебатов²⁸ и заговорили о более внимательном отношении к ним. Их нынешняя актуальность обосновывается тем, что нерешенные тогда структурные проблемы суть те же самые, что и се-

²⁷ Droysen (см. №18), S.399.

²⁸ Uwe Bartermeyer. Geschichte Wirklichkeit als Problem. Untersuchungen zu geschichtstheoretischen Begründungen historischen Wissens bei Johann Gustav Droysen, Georg Simmel und Max Weber. Münster, 1997; Volker Kruse. "Geschichts- und Sozialphilosophie" oder "Wirklichkeitswissenschaft"? Die deutsche historische Soziologie und die logischen Kategorien René Königs und Max Webers. Frankfurt a. M., 1999.

годня. Тот период (около 1900 г) рассматривается как «эпоха расцвета» культурного модерна, «на рельсах которого мы в настоящее время все еще находимся и который поставил как раз те проблемы, которые еще и сегодня являются нашими проблемами» (Клаус Лихтблау)²⁹. Речь идет при этом, повторю еще раз, не о благоговейном чтении того или иного «классика». Скорее, – о восприятии всего ансамбля «классиков», того, как они формулируют проблемы и анализируют их. Они появились в период кризиса и быстрых изменений, поэтому не утратили своего значения и сегодня. «Мы придаем значение «классикам», поскольку они важны для переходных эпох и их интеллектуального преодоления» (Оттхайн Раммштедт)³⁰.

2) Дискуссия о фактах и фикциях является международной. Но действительно ли это только «одна» дискуссия? Или их несколько, ведущихся параллельно на одну и ту же тему? В любом случае неоспоримо, что позиции историков так или иначе опосредованы национальными научными традициями, связаны с культурно обусловленным «национальным» образом мышления. Немецкие историки, к примеру, так или иначе «фиксируются» на традиции, восходящей к Ранке – все равно, выступают ли они за «спасение фактов» или, наоборот, против тезиса о познании прошлого «как оно, собственно, и было» и ранкеанского «метафизического объективного идеализма» (J.Rüker), непреодоленному по сей день воздействию которого был противопоставлен тезис о «фикциях».

Столь же очевидно книга Эванса принадлежит традиции «эмпиризма». Поскольку в ней, по существу, речь идет о фактах, и можно спорить лишь о том, какой смысл вкладывается в это понятие: факты в смысле Джеффри Элтона³¹ как имплицитные объективную истину о прошлом, или факты, как их понимал Эдвард Карр³², в том смысле, что они *также* несут на себе влияние воззрений историка («История это прогрессирующий процесс взаимовлияния между историком и его фактами, бесконечный диалог между настоящим и прошлым»)³³. Книга Эванса в целом является огромным комментарием к противоречиям между Элтоном и Карром. Сама она полностью лежит в русле традиции Элтона: как и он, Эванс говорит о *things that happen, true facts, real, hard history* и представляет историка ремесленником, который изго-

²⁹ Klaus Lichtblau. Georg Simmel. Frankfurt a.M./New-York, 1997. S.14.

³⁰ Otthein Rammstedt. Umgang mit Klassikern.// Soziologische Revue 18 (1995). S.515-520 (S.520).

³¹ Geoffrey Elton. The Practice of History, 1967.

³² Edward Hallett Carr. What is History? 1961.

³³ Evans (см. №1). S.11f., 78ff. Цитата из: Edward Hallett Carr. Was ist Geschichte?. Stuttgart, 1963. S.30.

тавливает «вещи»³⁴. Не та ли это традиция, которая обусловила стремительность «постмодернистского вызова» именно у американских историков и столь же стремительное противодействие ему, которое имеет место, в частности, в книге Эванса?

«Культурную» дифференциацию видно отчетливее, если сравнить аргументы Эванса против «постмодернистского вызова» с аргументами против него французского историка Роже Шартье³⁵. Шартье также констатирует кризис исторического познания, *crise de l'intelligibilité historique*, который еще более усилился из-за потери исторической наукой в последнее время уверенности в себе: веры в квантифицирующую историю, в классическое разделение исторических дисциплин, в привычные понятия «ментальность», «народная культура»; к этому добавляется еще провал классических образцов интерпретации истории марксистской или структуралистской историографией. Поэтому историческая наука находится сейчас, по его мнению, «на краю утеса» или даже «пропастей», по меньшей мере – «между уверенностью и неуверенностью». Во всяком случае Шартье далеко отстоит от простой веры Эванса в познаваемость «фактов» и «прошлого» в целом. Он заново определяет путь исторической науки между «рассказом» и «наукой» (*entre récit et connaissance*), вместе с Мишелем де Серто³⁶ определяя историческое познание, с одной стороны, как «конструкцию» и «композицию», которое, однако, с другой стороны, определяется принципом поиска истины и в той степени «научно», насколько оно конституируется с помощью установленной совокупности правил. Шартье стоит не в русле традиции «эмпиризма», а скорее континентального «рационализма». Историческое познание для него поэтому – как и для Дройзена – не «слепок» с «действительности», но и не фикция. Оно – «репрезентация» (*représentation*)³⁷.

Культурное или национальное влияние ощутимо даже уже в том, как применяется само понятие «наука». Является ли «история» «наукой»? В немецкой традиции «история» – при всей разнице ее обоснований (Ранке, Дройзен, Дильтей, Вебер) – всегда понималась и обос-

³⁴ Об этом: *Quentin Skinner. Sir Geoffrey Elton and the Practice of History.// Transactions of the Royal Historical Society. Sixth Series 7 (1997). S.301-316.*

³⁵ *Roger Chartier, Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes et inquiétude. Paris, 1998.*

³⁶ *M. Certeau. L'écriture de l'histoire, 1975.*

³⁷ «possibilité d'établir un ensemble de règles permettant de "contrôler" des opérations proportionnées à la production d'objets déterminés: Abandonner cette intention de vérité, peut-être démesurée mais sûrement fondatrice, serait laisser le champ libre à toutes les falsifications, à tous les faussaires qui, parce qu'ils trahissent la connaissance, blessent la mémoire. Aux historiens, en faisant leur métier, d'être vigilants. – Ebd. S.104f.; S.16, S.105.

новывалась как наука. В Кембридже или Стэнфорде по этому поводу проскальзывают скептические улыбки³⁸, т.к. там понятием «наука» обозначаются только естественные дисциплины, физика – наука, а история – нет. Что такое «история» – в различных местах определяют по-разному, и это тоже обусловлено исторически. Что такое «история» – объяснение должно быть историчным и культурно обусловленным. Сейчас, как никогда, историки должны договориться об этом.

3) В этих дискуссиях удивляет, наконец, то безразличие, с которым историки в своих дебатах оставляют без внимания отношения между естественными науками и гуманитарными. В этом смысле нынешние дебаты в корне отличаются от тех, что велись с середины XIX века и до конца 20-х годов, например, в Германии³⁹. Историки и представители других наук о культуре (*Kulturwissenschaften*) должны безотлагательно проявить интерес к тому, чтобы обсудить с представителями естественных наук статус истории и эпистемологический статус исторического познания и его последствий. Тому есть много причин.

Прежде всего следует учитывать, что в основе современных споров о фактах и фикциях было положено скрытое предпочтение одобрение естественных наук: например, у Хейдена Уайта⁴⁰, одного из крестных отцов постмодернизма, на которого именно поэтому яростно нападает Эванс⁴¹. Как и Эванс, Уайт полагает, что историк противостоит реальности, как он выражается, «уже свершившегося события»⁴². Но в противоположность Эвансу Уайт убежден, что историк не может познать эту действительность адекватно. Результатом этого, по мнению Уайта, и является «ненаучный или прото-научный характер исторических исследований»⁴³. Такая оценка исторических исследований покоится на том основании, что Х.Уайт меряет историю критериями естественных наук, а именно: нынешняя историческая наука еще не достигла статуса естественнонаучного объяснения, такого, какой был достигнут для физики уже в XVII в. Поскольку, таким образом, историческое мышление эпохи модерна до сих пор не смогло «теоретически приемлемым» образом сделать выбор «между различными пониманиями истории», это остается «единственным критерием» для предпочтения одного или другого способа исторического рас-

³⁸ *Lorraine Daston*. Die Kultur der wissenschaftlichen Objektivität.// *Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft* (см. № 20). S.9-39,(S.11f.)

³⁹ Об этом: *Oexle* (см. №20). S.111 ff.

⁴⁰ *Otto Gerhard Oexle*. Sehnsucht nach Klio. Hayden Whites "Metahistory" – und wie man darüber hinwegkommt.// *Rechtshistorisches Journal* 11 (1992). S.1-18.

⁴¹ *Evans* (см.№1). S.71ff, 82ff., 123ff.

⁴² *Hayden White*. Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt a. M., 1991. S.569.

⁴³ Ebd. S.555

смотрения «моральной или эстетической природы»⁴⁴. Уайтовская «литераризация истории», таким образом, обоснована его видением физики, которое срочно нуждается в историзации.

Такое объяснение различия и соответствия исторического и естественнонаучного познания в любом случае приведет, кроме всего прочего, к осмыслению и объяснению собственной позиции.

К этому следует добавить, наконец, научно-политический момент. Спор о статусе всякого познания не остается без последствий. Дебаты о «фактах и фикциях» в том виде, в каком они сейчас ведутся, кажется, имеют мало пользы, поскольку утверждение, что мы имеем «истинное» познание фактов или «того» прошлого, не впечатлит эпистемологически информированного естествоиспытателя, а совсем наоборот⁴⁵. Утверждения, что историческое познание есть не что иное как сочинительство, а историк – только разновидность писателя/поэта, очень понравится тем естествоиспытателям, которые и без того желали бы отодвинуть науки о культуре (*Kulturwissenschaften*) и саму историческую науку на задний план или вообще упразднить.

Здесь историки могут еще чего-то добиться. Но они должны также хотеть этого. И: они должны хотеть добиться этого на том уровне, который предоставляют им их интеллектуальные ресурсы. Дебаты о «фактах и фикциях» мало в этом помогут.

Перевод Ю.Е. Арнаутовой

⁴⁴ Ebd. S.560, 563.

⁴⁵ См. об этом, напр.: *Alfred Gierer. Naturwissenschaft und Menschenbild.// Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kulturwissenschaft* (см. №20). S.41-60; *Idem: Im Spiegel der Natur erkennen wir uns selbst.// Naturwissenschaft und Menschenbild. Reinbeck, 1998.*

Л.П.Репина

Комбинационные возможности микро- и макроанализа: историографическая практика

Вся вторая половина 1970-х годов была в мировой историографии временем поиска научно-исторической альтернативы как сциентистской парадигме, опиравшейся на макросоциологические теории, так и ее постмодернистскому антиподу. Реакцией на истощение эвристического потенциала макроисторической версии социальной истории стал в 1980-е годы всплеск интереса к микроистории.

Микроисторические подходы получили широкое распространение и становились все более привлекательными по мере того как обнаруживалась неадекватность макроисторических выводов, ненадежность среднестатистических показателей, направленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой панорамы исторического прошлого в узкий диапазон «ведущих тенденций», на сведение множества вариантов исторической динамики к псевдонормативным образцам или типам. И уход на микроуровень в рамках антропологической версии социальной истории изначально подразумевал последующее возвращение к генерализации на новых основаниях, хотя и с полным осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом «обратном» пути¹.

Раньше всего микро-аналитические подходы, основанные на максимальной детализации и индивидуализации исследовательских объектов, закрепились на почве локальной истории. Этот тип интенсивного исторического анализа локальных общностей иногда определялся как «микросоциальная история»². В 1970-80-е гг. появляется все больше работ, нацеленных на всестороннее изучение той или иной локальной общности как некоего микрокосма, развивающегося социального организма, на создание ее полноценной коллективной биографии. При этом внутри новой локальной истории сложились два различных исследовательских подхода. Первый отталкивается именно от «локальности», от раскрытия внутренней организации и функционирования социальной

¹ Микроистория и в итальянской, и во французской, и в англо-американской интерпретации отвергает когнитивный релятивизм и сведение истории к дискурсу, представляя, таким образом, альтернативу постмодернистской историографии.

² Macfarlane A. History, Anthropology and the Study of Communities // *Social History*. 1977. 5. P.631-652, esp. p.642.

среды в самом широком смысле этого слова, включая исторический ландшафт («физическую реальность локального мира») и социальную экологию человека, все многообразие человеческих общностей (неформальных и формальных групп, различных ассоциаций и корпораций) и выявляет их соотношение между собой, а также с социальными стратами, сословными группами, классами. Второй подходит к этой проблеме со стороны индивидов, составляющих ту или иную общность (при этом используется вся совокупность местных источников, фиксирующих различные аспекты деятельности индивидов), описывая жизненный путь человека от рождения до смерти через смену социальных ролей и стереотипов поведения в контексте занимаемого им жизненного пространства.

Такой тип интенсивного микросоциального анализа имел и сверхзадачу – выяснение соотношения между организацией жизни в локальной общине, которая функционирует главным образом как форма личной, естественной связи людей, и социально-классовой структурой, фиксирующей качественно иной – опосредованно-вещный характер социальных отношений. А это значит, что с самого начала был взят курс на поиски выхода из микрокосмического пространства локального социума на более высокие «орбиты», что ориентировало на последовательную комбинацию инструментов микро- и макроанализа³.

Многочисленные локальные исследования выявили исключительное разнообразие локальных вариантов демографического, экономического и культурного развития, социальных структур и структур местного управления, но новые теоретические основания для их обобщения на региональном, а тем более на национальном уровне еще не были разработаны. Локальные историки вполне обоснованно исходили из того, что реальность человеческих связей и отношений может быть понята лишь в их субстратной среде, в рамках социальной жизни, приближенных к индивиду, на уровне, непосредственно фиксирующем повторяемость и изменчивость индивидуальных и групповых ситуаций. При этом многие историки прекрасно осознавали условный характер и искусственность вычленения изучаемого объекта из окружающего его более обширного социума. Способ повседневного существования людей устанавливает их отношения друг к другу и образует саму локальную общность, а она, в свою очередь, входит в различные контуры-

³ Оба подхода были эффективно использованы в работах видного британского теоретика и практика локальной истории Ч.Фитьян-Адамса: *Phythian-Adams C. Desolation of a City: Coventry and the Urban Crisis of the Late Middle Ages*. Cambridge, 1979; *Idem. Re-thinking English Local History*. Leicester, 1987; *Idem. Local History and National History: The Quest for the Peoples of England// Rural History*. 1991. V.2. 1. P.1-23; etc.

подсистемы социального управления и играет важную роль в детерминации поведения образующих ее индивидов. Границы же разномастных социальных общностей накладываются друг на друга, пересекаясь в локальном микрокосме и даже в одном и том же индивиде⁴.

На рубеже 1970-х и 1980-х годов все больше конкретных локальных исследований стали приближаться к идеальной модели, получившей признание как образец тотальной истории на микроуровне. Это исследование было направлено не просто на максимально эффективное использование разнообразных приемов анализа и фронтальную обработку данных местных архивов (налоговых описей, приходских регистров, завещаний, судебных протоколов и др.) для восстановления жизненных судеб индивидов и их межличностных взаимодействий. В целостной картине повседневной жизни местной общины они связывались через систему «региональных фильтров» с течением макропроцессов во всех сферах общественного бытия. Непременными атрибутами такого исследования стали анализ основных характеристик экономической и демографической ситуации в целом, структуры семьи и домохозяйства, порядка и правил наследования собственности, систем родственных и соседских связей, индивидуальной и групповой социальной и географической мобильности, социальных функций полов, локальных политических структур и культурных представлений, сравнительный сетевой анализ индивидуальных и коллективных социальных контактов, анализ функционирования формальных и неформальных средств социального контроля и распределения власти и влияния внутри общины⁵.

В исследованиях этого типа использовалась социологическая концепция «локальной социальной системы», причем собранные материалы однозначно свидетельствовали о том, что при безусловно первостепенном значении соседских связей в повседневной жизни локальная направленность социальной активности, как в городе, так и в деревне, отнюдь не исключала важных внешних контактов, хотя горизонты социального взаимодействия были относительно широкими лишь на вершине социальной пирамиды и значительно сужались к ее основанию. Разумеется, исследователи локальных систем, исходили прежде всего из того, что социальный статус индивида не может рассматриваться вне контекста локальных социальных общностей (деревенских общин,

⁴ Различные общности средневековья и раннего нового времени формировали многообразие переплетающихся сетей социального взаимодействия, создавая основу для перекрывающихся друг друга социальных идентичностей.

⁵ Подробнее см.: *Репина Л.П.* На пути к новому синтезу: перспективные тенденции в современной британской историографии // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып.21. Томск, 1994. С.3-18.

городских приходов и т.д.), тем не менее, они непременно учитывали экстралокальные источники влияния и социального престижа, если таковые обнаруживались⁶. С помощью эффективных инструментов и методов микросоциологии локально-исторические исследования корректировали обобщенные утверждения или предположения, построенные на материале нормативных или дескриптивных экстралокальных источников.

Применение социологических и антропологических моделей сетевого анализа межличностных взаимодействий дало импульс развитию контекстуальной исторической биографии, которая, опираясь на ту же сетевую концепцию социальной структуры, объясняет поведение исторического индивида или группы морфологией, плотностью и интенсивностью межличностных контактов. Введение в биографию качественного сетевого анализа при сохранении интереса к ее индивидуально-психологическим аспектам раскрыло перед ней новые перспективы, о которых еще будет сказано ниже.

Однако сами по себе методы микросоциологии не могли в силу своей несовместимости с макроподходами предоставить историкам готовую теоретическую конструкцию для синтеза полученных ими новых данных⁷. В это время все острее осознавалась необходимость создания новых теоретических моделей, способных выявить механизмы взаимодействия локальных, региональных, национальных и наднациональных процессов. Между тем уже имелись удачные, хотя и единичные, попытки интеграции микро- и макроподходов в обобщающих работах⁸. И центральное место в них непременно занимала локальная община, поскольку именно включает в себя и микрогруппы, и элементы социальной макроструктуры, и другие фрагменты целого и представляет собой не усредненно-типичное, а конкретное пространственно-

⁶ Подробнее об этом см.: *Репина Л.П. Средневековый человек в системе социальных коммуникаций// Общности и человек в средневековом мире. Саратов, 1992. С.23-29.*

⁷ Оценивая промежуточные итоги развития локальной истории на рубеже 1980-х и 1990-х годов, Ч.Фитьян-Адамс писал: «В результате этого длительного историографического процесса от локально-исторических исследований стали ждать не иллюстрации единства национальных процессов, а скорее свидетельства их многовариантности. Таким образом локальная история стала средством углубления нашего понимания отдельных национальных процессов на более низких, но все еще приемлемых уровнях исторического обобщения... Другими словами, академическая локальная история стала рассматриваться как респектабельное интеллектуальное занятие, больше из-за ее соответствия дезинтегрированной форме историографии, чем из-за ее способности дать интегрированную версию английского, или любого другого национального прошлого». (*Phythian-Adams Ch. Local History and National History...*, p.1-23).

⁸ См., например: *Wrightson K. English society 1580-1680. L., 1982.*

идентифицируемое выражение общественных отношений, что дает реальную возможность представить весь диапазон региональных вариаций в их специфической связи с национальным целым.

Институты брака и семьи, внутрисемейные отношения, социальные группы и вертикальные связи локального уровня были рассмотрены в контексте макропроцессов – движения населения, сдвигов в экономической и духовной сферах, в функционировании институтов общественного контроля и механизмов разрешения социальных конфликтов. Именно в углублении социальной дифференциации на местах и поляризации социальных интересов в тысячах провинциальных общин был найден ключевой момент связи между макроструктурными сдвигами и повседневной жизнью людей⁹. Так на практике осуществлялась та самая «инкорпорация повседневной жизни в бурные воды исторического процесса», о которой – как о центральной задаче синтетической программы – писал известный американский историк и социолог Ч.Тилли, выдвигая в качестве главной цели социальной истории «реконструкцию человеческого опыта переживания крупных структурных изменений»¹⁰.

Дальнейшая разработка этого синтетического подхода была проведена Ч.Фитьян-Адамсом, который предложил модель, учитывающую социально-пространственные структуры разного уровня и различной степени интеграции: «ядро общины»; общину как целое (сельскую или городскую); группу соседских общин; более широкую область с общей социокультурной характеристикой; графство; провинцию, или регион. В основу этой модели была положена концепция «социального пространства», охватывающего по-разному ограниченные и частично перекрывающиеся друг друга сферы социальных контактов. Локальная социальная структура задает пределы реальному поведению индивидов и их межличностным отношениям и выступает как своеобразный фильтр, опосредующий связи между индивидами в более широком социальном пространстве. Взаимосвязанные, но индивидуально различимые «локальные общества», составляющие целое, объединены не только национальной идеологией, формальными атрибутами и аппаратом централизованного государства, но и разделяемой ими совокупностью общественных норм и ценностей («социальной организацией»). Социальная структура национального масштаба представляется как набор возможных социальных позиций, специфические комбинации которых на местах могут существенно различаться согласно тому, какая именно структура здесь исторически сложилась. В то же время фундаменталь-

⁹ Ibid., p.222-223.

¹⁰ Tilly C. *Retrieving European Lives// Reliving the Past. The Worlds of Social History/* Ed. By O.Zunz. Chapel Hill - L., 1985. P.11-52.

ные сдвиги на уровне локальных социальных структур, связанные с приспособлением к новым технологическим, экономическим или иным условиям и с соответственными изменениями в образе жизни, приводят, в конечном счете, к образованию новых комплексов социальных позиций и отношений на более высоком уровне.

Само понятие «локальное общество» делается в такой перспективе подвижным, а во главу угла ставится проблема последовательной исторической реконструкции каждого из звеньев этой цепочки с обоих ее противоположных концов, на которые расходятся интересы специалистов по локальной и национальной истории. Но последний должен, не ограничиваясь анализом общественного строя и государственных структур, исследовать и различные аспекты национальной культуры (включая право, религию, образование и др.), и нормы поведения, и центростремительные силы «двора и капитала», и провинциальные «сферы аристократического влияния», и «соединительную ткань коммуникаций», а также всю совокупность тех категорий людей — от коммерсантов до бродяг, чьи передвижения способствовали смешению региональных популяций. Сфера деятельности локального историка простирается ниже уровня «посредников национального масштаба», но связана с ним — через провинциальных лидеров, игравших какую-то роль на национальной сцене, через органы местного управления, через тех, кто вступал в межрегиональные контакты. Так размыкаются интеллектуальные границы социально-исторического микроанализа и нацупывается стык макро- и микроистории на промежуточном уровне, в проводящих прямую и обратную связь локально-территориальных структурах среднего звена.

Поиски синтеза макро- и микроистории, осложненные очевидной несовместимостью их понятийных сеток и аналитического инструментария, разумеется, не ограничиваются рассмотренными выше способами интеграции локальных исследований. Движение в этом направлении весьма заметно и в рамках историко-антропологического подхода «новой политической истории», который возник как метод осмысления культурных стереотипов в сфере реальных властных отношений и впоследствии обратился к ключевой проблеме соотношения высокой политики и народной культуры, и в новых модификациях событийной истории.

С 1980-х годов центральное место в конкретных исследованиях и научных дискуссиях прочно заняла политическая составляющая проблемы соотношения локального и национального. Ее обсуждение стало, в частности, одной из главных примет современной историографии Английской революции, пытающейся преодолеть ограниченность неорезионистских концепций и чисто акцидентального подхода к событиям

революции. Эта конструктивная тенденция, которую можно условно назвать «постревизионистским синтезом», выразилась в формировании новых подходов, направленных на переинтерпретацию Английской революции с учетом как ревизионистской критики, так и существенно пополнившегося фонда конкретно-исторических разработок.

Внимание части исследователей оказалось сосредоточено на анализе механизмов развертывания кризиса и изменений его общеполитического и идеологического контекстов. В результате уже опубликованы десятки статей и монографий по политической истории до 1640 года, в том числе те, в которых выясняется повседневное течение политических процессов. Отходя от традиционного взгляда на события и их последствия, который принимал в расчет только факторы национальной политической системы, они исследуют также ее провинциальные и локальные институты, систему управления и политическую жизнь на местах. Центральной проблемой остается перераспределение политической власти в стране, поскольку оно не может быть объяснено предшествовавшей цепью событий национального масштаба, а ведь именно этот тип объяснения обычно применяется в политической истории.

Исследования постревизионистов опираются на новую концепцию соотношения локального/общенационального и регионально-дифференцированный подход к изучению взаимодействия локальной и национальной политики, отвергая объяснение всего конфликта в рамках локально-национальной дихотомии. Понимая «локализм» не как негативную реакцию, а как активную политику, преследующую вполне определенные цели, они специально анализируют соотношение и взаимосвязь между макро- и микро-конфликтами, между политическими и идеологическими размежеваниями в парламенте и в локальных обществах, при этом схватки на арене провинциальной политики рассматриваются как часть общенационального политического процесса. Особое внимание уделяется процессу политизации многих аспектов общественной жизни на местах, возникновению публичной, политической сферы там, где прежде преобладали межличностные противоречия и конфликты, условиям интеграции центральных и локальных интересов в единой национальной политической культуре и национальной административно-политической системе¹¹. «Локалистскому» подходу противопоставляется «интеграционистский».

И все же центральным для всех локальных исследований по-прежнему остается вопрос о методах включения материалов локально-

¹¹ Подробнее см.: *Репина Л.П. От альтернативы к синтезу: высокая политика и народная культура в интерпретациях Английской революции // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995. С.130-141.*

го анализа в более широкие обобщающие построения на макроуровне. Очень существенную роль в интеграции локальной и национальной истории играет изучение сферы осуществления властных функций на всех уровнях общества: именно система распределения власти – властная структура, выполняя роль арматуры, скрепляющей общественный организм, охватывала сложную иерархию местных самоуправляющихся общин, которая пронизывала всю жизнь общества. Важной ступенью восхождения от синтеза на локальном уровне к общенациональному становится изучение промежуточных сообществ более крупного масштаба, чем сельские и городские приходские общины, так называемых территориальных общностей второго порядка, поскольку до сих пор еще совершенно недостаточно изучена их роль не только в формировании политической культуры (в ее региональных вариантах), но и в опосредовании активного воздействия общегосударственных структур на ситуацию в локальных сообществах. Внимание исследователей сосредоточивается на том, как функционировала иерархическая система распределения власти в целом, и на изучении системы управления и политической жизни на местах, смещая таким образом фокус анализа политических институтов в направлении тех переходных звеньев, в которых реализовывалась обратная связь между государством и обществом (между макро- и микро-структурами разного уровня).

На этом фоне выделяются успешные попытки американских историков исследовать механизм формирования новой политической культуры, комбинируя методы политического и социокультурного анализа и предлагая оригинальные подходы к изучению размежевания сил в Английской революции на основе детализированной локальной типологии народной культуры, которая отражает специфику местных структур и обычаев, сложившуюся в результате дифференцированной инкорпорации локальных общин в процессы крупных структурных изменений¹². В постревизионистской интерпретации оказываются в равной степени неприемлемыми все однозначно-альтернативные объяснительные схемы: каждая из прежде взаимоисключающих гипотез признается «ограниченно годной», адекватной для определенного времени и определенного места, в зависимости от типологических локальных различий в социальной структуре, экономическом развитии и народной культуре.

И дело здесь не в склонности к эклектизму. Речь в данном случае идет о таком подходе, который пытается в полной мере отразить переходный характер общества, подвергнутого анализу, и учесть все воз-

¹² *Malcolm J.L. Caesar's Due. Loyalty and King Charles, 1642-1646. L., 1983; Underdown D. Revel, Riot and Rebellion: Popular Politics and Culture in England, 1603-1660. Oxford, 1985; etc.*

возможные модели политического поведения, выбор которых зависел от конкретных обстоятельств места и времени. При вмешательстве центральной власти в провинциальную жизнь локальные противоречия немедленно фокусировались в сфере национальной политики. Признавая «локализм» сильнейшим фактором в мотивации коллективного политического поведения всех социальных групп на местах, этот подход учитывает воздействие на них политических разногласий более крупного масштаба, которые хотя и воспринимались сквозь призму локальных интересов, но тем не менее определяли в конечном счете возможности оптимальной реализации последних. В стыковочном узле локальных и национальных размежеваний, локальных и национальных интересов открывается возможность перехода с одного уровня анализа на другой.

Аналогичный поворот в событийной истории только намечается. В традиционной политической истории вся исторические события объяснялись указанием на интенции действующих лиц и на события, непосредственно предшествовавшие тем, которые подлежат объяснению. В новой версии событийной истории каждое крупное историческое событие должно рассматриваться не как эпизод, а как процесс, как цепь последовательно сменяющихся друг друга исторических ситуаций/конstellаций, каждая из которых может быть, в свою очередь, развернута в реальном времени и в пространстве и представлена множеством менее крупных, мелких и совсем, казалось бы, незначительных событий, происходивших на самых разных уровнях: в жизни индивидов, общностей, или в рамках государственных институтов – то есть целым «веером» микрособытий и фактов.

Как только ни называли то, что случилось в Англии в середине XVII в.: и «Великий мятеж», и «Пуританская революция», и «Английская революция», и даже – совсем недавно – «Великая Британская революция». Опираясь этими терминами, нельзя, однако, упускать из виду, что в каждом случае речь идет не о единичном событии или факте, а о концепции, о теоретической конструкции, построенной в результате агрегативного анализа внушительного массива извлеченных из источников данных и соответствующим образом используемая для их осмысления и обобщения. Именно из-за их разномасштабности далеко не все эти так называемые исторические факты могут быть выстроены в последовательную цепь событий, но все они могут быть представлены в более сложной цепи исторических ситуаций. При этом решающее значение могут приобрести факты, которые ранее казались второстепенными и имеющими лишь самое косвенное отношение к делу.

В каждой исторической ситуации заложены различные сценарии развития событий, имеется некоторый спектр возможных, вариантов поведения, которые актуализируются в результате принятия и реализации действующим лицом исторической драмы того или иного из различ-

ного набора альтернативных решений, в определенной зависимости от многочисленных и разнообразных условий и факторов. Скрытые в спрессованной структуре исторических событий, они проявляются на их видимой поверхности как случайности. Исследовательский инструментарий микроистории имеет все шансы обогатиться новыми модификациями акцидентального анализа, которые позволили бы расширить поле воображаемого исторического эксперимента. Это, однако, остается делом будущего, хотя в работах ряда историков постревизионистского направления делаются довольно уверенные шаги к разработке синтетической модели с включением механизмов личного выбора¹³.

Исследователь на время переносит свое внимание с самого исторического события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Решающее значение в расследовании этих обстоятельств приобретают факты, которые ранее казались второстепенными и имеющими лишь самое косвенное отношение к делу. Плодотворность такого приема была убедительно доказана У.Хантом в статье «Призрачные истоки Английской революции»¹⁴. Предлагая объяснение длительного и многопланового конфликта, решающим моментом которого были события 1640 г., когда англичане отказались сражаться за своего короля, Хант интегрирует все его измерения (социальные, экономические и политические условия) в детальном анализе кризиса традиционной политической культуры между 1612 и 1629 гг., породившего проблему легитимности. Этот историко-антропологический анализ в терминах культуры как совокупности коллективных представлений и поведенческих стереотипов выявляет процесс и последствия крушения общенационального мифа – культурного комплекса, консолидировавшего общество. Культ принца Генри отражал особый тип национального самосознания, артикулированный ревностными протестантами, которые составляли очень влиятельное меньшинство. Он был построен на убежденности в возложенной богом на английскую нацию особой миссии – утвердить истинную веру и в своей стране, и за ее границами. Нацеленность на осуществление этой миссии требовала, с одной стороны, внутренней культурно-нравственной реформации на базе кальвинистской теологии, а с другой – международной солидарности протестантов. Этот миф был способен оправдать критику и даже радикальную оппозицию режиму в том случае, если последний отошел бы от своего божественного предназначе-

¹³ См., например: Conflict in Early Stuart England. Studies in Religion and Politics 1603-1642/ Ed. by R.Cust and A.Hughes. L.-N.Y., 1989.

¹⁴ Hunt W. Spectral Origins of the English Revolution: Legitimation Crisis in Early Stuart England// Reviving the English Revolution. Reflections and Elaborations on the Work of Christopher Hill/ Ed.by G.Eley and W.Hunt. L.-N.Y., 1988. P.305-332.

ния: ведь тогда перед подданными встала бы задача призвать корону к его исполнению.

Многие простые англичане оставались довольно безразличны и к пуританам, и к арминианам, но протестантизм, какой бы он ни был условный и неотрефлексированный, к этому времени уже стал интегральной частью коллективного сознания большинства англичан. Преждевременная смерть принца Генри (на него возлагались все надежды, связанные с осуществлением миссии), правление Якова, начало культурной контрреформации, воцарение Карла – все это породило целую цепь обманутых ожиданий. В этих условиях режим, потерявший значение символического центра объединяющего нацию коллективного мифа и, соответственно, свое идеологическое оправдание, был обречен. Его катастрофа лишь выглядит более случайной, чем она есть на самом деле. Обманутые ожидания как исторический фактор огромной потенциальной силы были способны оказать решающее влияние и в последующих ситуациях альтернативного выбора.

Все те разнообразные предпосылки, которые выдвигаются как причины революции вполне могли бы стать предпосылками установления в Англии сильной абсолютной монархии, если бы на месте Карла оказался компетентный и агрессивный монарх, способный в полной мере использовать мифологию протестантского империализма и получить мощную идеологическую поддержку ревностных протестантских проповедников. Именно отсечение этой альтернативы явилось той случайностью, в результате которой осуществилась другая возможность, ставшая таким образом исторической реальностью.

Так «Призрак Генри» (курсив мой – Л.Р.) делает зримой ту скрытую альтернативу, которая дает возможность ответить на вопрос, почему все же началась гражданская война, которой никто не хотел. Какие бы более отдаленные предпосылки ни открывались, ближайшей причиной Английской революции была полная утрата режимом легитимности в глазах своих подданных и последовавший в 1640 году отказ политической нации его защищать. Англичане не хотели сражаться за своего короля, так как они считали его режим – не только его политику, но и его личную этику и способы управления – абсолютно несовместимыми с тем, что было в их представлении гораздо более важным, чем просто политика, даже более фундаментальным, чем основные законы страны – с той конечной целью, которую полагала перед собой нация, с ее самыми главными ожиданиями. Этот момент коллективного неповиновения, своеобразный вотум недоверия режиму, открыл зеленый свет всему тому, что последовало дальше: религиозным и конституционным реформам Долгого парламента, постепенному стягиванию общества в гражданскую войну, казни Карла, установлению республики и т.д.

Отталкиваясь от критики ревизионизма, «постревизионисты» вывели дискуссию на новый уровень и сделали реальные шаги к новой синтетической интерпретации Английской революции, учитывающей объективные условия и субъективную деятельность, события и структуры, необходимое и случайное, единичное и повторяющееся, индивидуальное и массовое. На этом пути им пришлось не раз специально ставить проблему соотношения и взаимосвязи микро- и макроподходов в истории, как в практическом, так и в теоретическом плане. «Стрелку» макро- и микроистории досконально разработал один из лидеров постревизионистской историографии, британский ученый Ричард Каст в классическом казуальном исследовании на самом благодатном, с этой точки зрения, материале скандального судебного процесса, имевшего широкий общественный резонанс¹⁵.

Вообще в рассматриваемый Р.Кастом период такого рода судебные иски о сексуальных оскорблениях и о защите чести и достоинства были распространенным явлением, и материалы этих процессов, конечно, не прошли мимо внимания социальных историков, которым удалось извлечь из местных архивов тысячи дел о клевете. Что касается исследователей политической культуры, то они стали обращаться к этим материалам лишь относительно недавно, в связи с проблемой соотношения «публичного» и «частного», «политического» и «персонального». Значительную часть из них составляли исследования по гендерной истории, которые демонстрировали инструменты неформального влияния женщин на публичную сферу через их роль в домохозяйстве, и работы политических историков, которых изучали факты и способы манипулирования обвинениями о сексуальной испорченности (в том числе в нелегальной литературе) с целью подрыва доверия к представителям власти. Одна из целей, которую ставил Р.Каст в своей статье, как раз и заключалась в том, чтобы продемонстрировать, какие благодатные перспективы могут быть раскрыты в том случае, если попытаться интегрировать интенсивный анализ подобных казусов с более традиционными методами истории политической культуры начала нового времени. Как же он предлагает это сделать?

Центральным в исследовании Р.Каста оказывается анализ различных концепций «честь», игравших существенную роль в рассматриваемом им судебном деле. Исходя из современного антропологического

¹⁵ *Cust R. Honour and Politics in Early Stuart England: The Case of Beaumont v. Hastings // Past & Present. 1995. N 149. P.57-92.* Речь идет о разбирательстве в Звездной Палате в декабре 1607 г. иска, предъявленного неким Томасом Бьюмонтом из Лестершира против соседнего джентльмена о распространении клеветнических утверждений относительно неподобающего сексуального поведения его жены и детей.

определения понятия чести как связующего звена между общественными идеалами и их воспроизводством в индивидуе, который стремился эти идеалы персонифицировать, Р.Каст видит в анализе концепций «честь», с одной стороны, средство изучения социальных ценностей и норм, а с другой – способов социальной конкуренции индивидов, пытающихся сохранить или повысить свой статус и влияние в этом обществе. Важнейшим моментом его исследования является выявление сосуществования в Англии раннего нового времени различных концепций «честь», которые по-разному артикулируются в судебных показаниях участников процесса. Разнообразие наличных концепций и дискурсов «честь» еще более усиливается, если берутся в расчет те соединительные звенья, которые образуются в связи с их преломлением в концепциях «частного» и «публичного». Автор исходит из того, что репутация индивида в обществе определяется сложной амальгамой суждений и оценок, которые могут иметь отношение к его должности либо к признанию со стороны властей, но равным образом – зависеть от таких вещей, как гостеприимство, демонстрация личных качеств, прочность семейных уз, сексуальное поведение. Таким образом, «приватное» и «публичное» оказываются постоянно и неразрывно сплетенными, особенно в раннее новое время, когда семья обычно воспринималась как некий микрокосм общества и государства.

Автор исчерпывающим образом анализирует всю серию дискурсов о чести, зафиксированных в материалах судебного процесса, разбирая показания его участников как с точки зрения различных способов повествовательного представления интересующих его концепций, так и в отношении дифференцированного содержания последних, которое отражало соответствующие взгляды и ценности. Показания женщин акцентировали заботу о «женской чести», которая в этом процессе однозначно определялась как репутация, главные сплагаемые которой – добропорядочность и чистота (в сексуальном смысле). Но гораздо громче в этом процессе прозвучали дискурсы о мужской и дворянской чести. В одном из них делается упор на благородство крови и линияжа и на кодекс чести, основанный на чувстве собственного достоинства, самоуверенности и состязательной напористости. Наряду с этим было в ходу другое представление о чести, которое ассоциировалось с гуманизмом и протестантизмом и в котором подчеркивались такие качества, как мудрость, образованность, благочестие и сдержанность. Наконец, лишь частично перекрывая оба эти представления, выстраиваются дискурсы, выдвигающие на первый план верность монарху, служение государству и законопослушность.

Каждая из этих концепций чести выражается разными способами и оказывается приемлемой для различных целей, согласно обстоятельствам. Особенно очевидной эта подвижность становится в еще одном

дискурсе, который выявляется в изучаемом казусе и связывает понятие чести со способностью утвердить патриархальную власть в семье. Кстати, этот последний аспект понятия чести свидетельствует об исключительной проницаемости границ между «частным» и «публичным» в рассматриваемый период. Вообще же, представленные материалы процесса вновь и вновь напоминают о взаимопереплетении «персонального» и «политического». Автор подтверждает это наблюдение и материалами других судебных казусов, в которых рассматривались сексуальные обвинения против должностных лиц как свидетельство их непригодности именно в качестве таковых.

Пристальное изучение текста судебного дела и его исторического контекста, к которому автор неизменно обращается на всех этапах исследования, позволило показать сколь многосложными и разнообразными были представления о чести в раннеюэртонской Англии, и убедительно доказать, что было бы заблуждением отдать приоритет какой-то одной из них, рассматривая остальные как маргинальные. Но это последнее утверждение явилось результатом уже не казуального исследования, а сравнительного анализа сделанных наблюдений с данными обширного комплекса нормативных источников и выводами, полученными на серийном материале. Ничуть не смущаясь этим обстоятельством и даже специально его акцентируя, Р.Каст сам признает и оговаривает ограничения казуальных исследований, которые он видит в том, что раскрывая все нюансы богатого спектра представлений в каждый данный момент, оно оказывается не в состоянии описать их изменения во времени. Последняя исследовательская задача требует иного подхода, а именно макросоциального анализа, позволяющего распознать общественные и культурные сдвиги, протестантскую реформацию, растущую обеспокоенность ослаблением патриархальной власти в семье и расширением полномочий центрального правительства, то есть все те факторы, которые сообща участвовали в преобразовании концепций чести.

Не менее выразительный пример умелого комбинирования микро- и макроподходов продемонстрировала необычная и по методу, и по содержанию статья Ч.Фитьян-Адамса «Ритуалы личной конфронтации в средневековой Англии», которая касается истории эмоций и жестов¹⁶. Формулируя свою позицию, автор пишет, в частности, о том, что современный историк, который пытается посвятить себя исследованию социальных структур, социальных процессов, культурных представлений и

¹⁶ *Phythian-Adams Ch. V. Rituals of Personal Confrontation in Late Medieval England // Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. 1991. V.73. N1. P.65-90.*

ожиданий – в том виде, как они проявляются на всех уровнях исторического общества (от локального до национального), должен сделать

«самый первый и обманчиво простой шаг»: представить, как люди того времени вели себя по отношению друг к другу, «согласно своим собственным конвенциям, в реальных ситуациях непосредственного общения, в самых разных обстоятельствах широкого спектра – от нормальных к аномальным». «Не поняв этого, вообще нельзя постичь инаковость прошлого, не говоря уже о тех более формальных суперструктурах разного рода, которые возвышаются над индивидом в каждом обществе: то, что мы теперь называем социальной структурой, в конце концов складывается или должно складываться из бесчисленных регулярностей, наблюдаемых в практике повседневных социальных отношений»¹⁷.

Изучая крайние эмоционально-физические проявления конфронтаций, историк неизбежно сталкивается с целым рядом трудностей, главной из которых является статистическая ущербность источниковой базы и неравномерность имеющейся документации по отдельным аспектам межличностной коммуникации. С учетом этого обстоятельства Фитьян-Адамс и выстраивает стратегию своего исследования. Его программа состоит из трех частей. На первом этапе реконструируются отдельные аспекты человеческого поведения, которые формировали его предположительно нормативную, социально-санкционированную модель, включая невероятно широкий репертуар символических действий. Отталкиваясь от этой модели, во второй части автор обращается от идеала к реальности, причем не в статических рамках сложившихся правил этикета, а в непрерывно изменяющихся и всегда непредвиденных обстоятельствах реальной личной конфронтации. Важной предпосылкой этого шага является кажущийся парадоксальным тезис о том, что сущностные характеристики социальной организации общества рельефнее всего проявляются в тех пунктах, где она, по меньшей мере на первый взгляд, кажется наиболее уязвимой и, таким образом, теоретически наименее эффективной. Задачей этого этапа становится «реконструкция межличностного столкновения как детализированного процесса локального взаимодействия»¹⁸ с целью выяснить наличие или отсутствие каких-либо сдерживающих, заданных обществом правил.

Достичь желаемого уровня детализации позволяет казуальный подход. Из множества протоколов королевского совета, заседавшего в суде Звездной палаты, фиксируются разбирательства по фактам личных ссор, которые внезапно выливались в насильственные действия. В центре внимания историка оказывается исключительно полно представленное свидетельскими показаниями дело¹⁹, которое, будучи рас-

¹⁷ Ibid., p.66-67.

¹⁸ Ibid., p.73.

¹⁹ Дело Джона Чилтона из Стаффорда от 1540 года.

смотрено во всех его весьма живописных деталях, обнаруживает логику определенного поведенческого кода, включавшего обширное меню словесных оскорблений и угроз, разнообразных приемов демонстрации силы, наконец, набор максимально допустимых и переходящих допустимые границы действий, связанных с физическим насилием. Затем, возвратившись к обобщающим процедурам и опираясь на сравнительный анализ уже серии казусов аналогичного типа, исследователь приходит к выводу о преимущественно метафорическом характере большинства зафиксированных конфронтаций, в которых за угрозами применения насилия скрывалась надежда на то, что в действительности осуществление его в указанной форме вовсе не потребуется: гиперболизированный язык угроз был, таким образом, своеобразным «последним предупреждением».

Оценивая весь комплекс привлеченных источников и памятуя о том, что прошлое никогда не могло бы быть таким упорядоченным, каким его делает ретроспективный анализ, Фитьян-Адамс суммирует некоторые основные правила ритуала конфронтации, обнаруженные в свидетельствах о конкретных обстоятельствах его реализации²⁰. По отношению к столь же преувеличенному нормативно-вежливому поведению этот дедуктивно выявленный кодекс конфронтации оказывается на противоположном полюсе широкого спектра ритуальной коммуникации. Однако, будучи скорректировано примирительными конвенциями повседневности, такое поведение видится «не столько все менее узнаваемым продолжением нормы, сколько в общих чертах признаваемой ее частью... И потому, ритуалы конфронтации представляли институционализацию приемлемого физического и, конечно же, словесного насилия как неотъемлемой части общей социальной организации этого периода, в особенности поскольку она выражалась в локальных формах»²¹. Таким образом, как это и полагается в микроисторических штудиях, автор, отталкиваясь от анализа атипичных, экстремальных случаев, ставит и решает задачу исследования контекста, проявляя границы его возможностей. Но при этом он постоянно меняет ракурс, в котором рассматривает свой объект: последний то разбухает, занимая все видимое поле (и даже не вмещаясь в него целиком), то «теряет лицо» в длинном строю «фактов» поглотившей его совокупности.

В последние годы микроподходы занимают все более заметное место и в интеллектуальной истории, которая существенно расширила и качественно изменила свою проблематику, выйдя – вместе с так называемой новой культурной историей – на авансцену современных ис-

²⁰ Подробный и интереснейший перечень этих «правил» см. в: *Ibid.*, p.88-89.

²¹ *Ibid.*, p.90.

торических исследований. Переосмысление предмета исследования на эпистемологических и методологических принципах современного социокультурного подхода, усвоившего уроки «постмодернистского вызова» и предложившего альтернативу последнему, «переплывило» различные по своему происхождению течения в «новую культурно-интеллектуальную историю», которая видит свою основную задачу в исследовании интеллектуальной деятельности и интеллектуальных процессов в их конкретно-историческом социокультурном контексте.

Любопытный казус из этой области историографии находим в недавней работе видного американского медиевиста Кэролайн Байнум, которая от истории средневековой религиозности обратилась к изучению концепций природных и психологических изменений в средневековой литературе о чудесах²². Подвергнув специальному анализу средневековую концепцию «удивительного» и ее эмоциональное выражение, К.Байнум констатировала, что Высокое средневековье знало по меньшей мере три дискурса, касающихся удивления. Это, во-первых, теологически-философский дискурс, в котором удивление понималось как побуждение к расследованию, и следовательно к познанию. Во-вторых, в произведениях религиозной литературы разных жанров, где удивление рассматривалось как нечто противоположное подражанию или присвоению. И, в-третьих, в так называемой развлекательной литературе, или «литературе досуга» (включая хроники, описания путешествий и собрания забавных историй), удивление фиксируется в самой уникальности события, его производящего. Байнум не ограничилась изучением теоретических дискуссий средневековья, имевших отношение к данному вопросу, она выявила особенности репрезентации такого рода реакций и в простых описаниях событий, и в изобразительном искусстве, и в памятниках материальной культуры. Исследование Байнум показало, что не всякое чудо или странный случай воспринимались с благоговением или ужасом, но скорее средневековые авторы выражали преувеличенные реакции в отношении тех происшествий, индивидов или объектов, которые переступали онтологические или моральные границы, и понимали удивление как вызываемую реальными событиями реакцию, обусловленную местонахождением и перспективой, то есть углом зрения, наблюдателя.

Байнум подчеркнула принципиальные различия между выявленным в ее исследовании средневековым пониманием удивления и тем, которое «от противного» приписывают средневековью историки раннего нового времени. Ни один средневековый автор не сводил удивление к психологической реакции удивляющегося. Изумление, обсуждаемое

²² *Bynum C. Wonder// American Historical Review. 1997. V. 102. № 1. P.1-26.*

философами, хронистами и путешественниками – в каждом из проанализированных случаев и в их совокупности – имеет отчетливо выраженный когнитивный компонент: «удивляешься только тому, чего не смог *понять*» (курсив мой – Л.Р.), и таким образом удивление вызывало стремление к познанию, было стимулом к дальнейшим изысканиям. Средневековые теоретические рассуждения об удивлении рассматривали его как реакцию на нечто скрытое в самом явлении, как ответ на что-то новое и странное, одновременно ускользающее от объяснения и указывающее на то, что за ним стоит какой-то смысл. «Действительно, – заключает Байнум, – можно поражаться только тому, что, по меньшей мере в некотором смысле, где-то существует. Удивление является ответом на конкретность, специфичность, индивидуальность события»²³.

Средневековая историография, так же как и средневековая литература в целом, привлекает особое внимание американских историков постмодернистской ориентации и их оппонентов с обеих сторон Атлантики. При этом обнаруживаются несколько способов представления результатов исследований по средневековой историографии и включения их в современные теоретические споры. Иногда произведения средневековых летописцев приводятся в качестве примера таких текстов, которые характеризуются минимальной сложностью и воздействуют на читателя наиболее прямыми и стереотипными способами, а затем, в результате анализа этих хроник или анналов с точки зрения их нарративных структур, делается вывод о том, что, если даже подобного рода тексты не могут рассматриваться как простые свидетельства, то тогда это тем более справедливо в отношении любого другого исторического произведения.

Второй способ строится на признании художественной (то есть литературной, а не собственно исторической) ценности средневековой историографии. Предполагается, что понимания истории как нарратива, в духе Хейдена Уайта, достаточно, и нет никакой необходимости разбираться в том, как функционируют отдельные произведения средневековых историков в средневековых и более поздних контекстах. Однако наиболее эффективный подход, приоритетно освоенный канадскими и американскими интеллектуальными историками, связан с изучением средневековых авторов как индивидов, а не только как пред-

²³ Байнум, кстати, вполне серьезно и, на мой взгляд, абсолютно справедливо утверждает, что средневековое понимание удивления уместно приложить к задачам всех историков, как исследователей и как преподавателей. Вспоминая в этой связи мысль одного из схоластов о том, что «если не поверишь в событие, то и не будешь ему изумляться», она призывает историков относиться к прошлому с тем, что в средние века понималось как *admiratio* (изумление, удивление, восторг).

ставителей каких-то тенденций, с изучением и оценкой той селекции событий прошлого, которую они осуществляли в соответствии со своими ценностями и представлениями. Сторонники этого подхода представляют средневековую историографию как результат серии индивидуальных выборов, обусловленных конкретными социально-политическими обстоятельствами²⁴.

Так, например, Габриэла Спигел, анализируя французские хроники XIII века, обратила особое внимание на момент «инскрипции» (фиксации значения), который, в отличие от простой записи (регистрации), представляет собой момент выбора, решения и действия, который создает социальную реальность текста, реальность, которая существует и «внутри» и «вне» отдельного элемента, инкорпорированного в произведение посредством включений, исключений, исправлений и т.д. Литературный текст формируется из множества невысказанных желаний, убеждений, интересов, которые накладывают отпечаток на все произведение, но возникают «под давлением обстоятельств как интертекстуального, так и социального происхождения»²⁵.

Микроподходы давно привлекают и внимание исследователей истории политической мысли, которые анализируют содержание произведений политических мыслителей разных времен и народов и их функционирование как в той исторической среде, в которой они были созданы, так и в последующие эпохи. Но еще более плодотворным оказывается соединение этого подхода с персональной историей. Блестящий пример этому находим в книге Майкла Мендла о Генри Паркере, автор которой исходит из убежденности в том, что хотя идеи имеют собственную историю, все же остаются глубоко и неотрывно погруженными в тот период, к которому они принадлежат²⁶.

Паркер был «службой многих господ» и великим оппортунистом – в разное время он занимал разные административные посты и в разных обстоятельствах служил лорду Сэю, Эссексу, Пиму, Кромвелю и Айртону. Поскольку он писал по поручению своих хозяев, выраженные им взгляды (по поводу «корабельных денег», пуританских убеждений и сопротивления, архиепископа Лода; компетенции парламента и т.д.) не

²⁴ Spiegel G. *Romancing the Past: The Rise of Vernacular Prose Historiography in Thirteenth-century France*. Berkeley etc., 1993; Geary P. *Phantoms of Remembrance: Memory and Oblivion at the End of the First Millenium*. Princeton, 1994; Lifshitz F. *The Norman Conquest of Pious Neustria*. Toronto, 1995; Wolf K.B. *Making History: The Normans and their Historians in 11th-century Italy*. Philadelphia, 1995; etc.

²⁵ Spiegel G. *Op.cit.*, p.10. См. также: Spiegel G. *The Past as text. The Theory and practice of medieval historiography*. Baltimore, 1997.

²⁶ Mendle M. *Henry Parker and the English Civil War: The Political Thought of the Public's "Privado"*. Cambridge, 1995.

всегда принадлежали ему самому. Мендл показывает Паркера как автора, который мог по разным поводам защищать и парламент, и абсолютизм. Он выступал от имени самопровозглашенных защитников свободы и собственности и одновременно был жестоким критиком «старинной конституции» и общего права, подавал голос за народный суверенитет – и с насмешкой и пренебрежением отзывался о бедных и неграмотных. Так в одном человеке оказались воплощены некоторые конкурирующие компоненты Английской революции. «Скручивание» различных тенденций крупномасштабного конфликта в одной творческой личности побуждает, в частности, еще раз пересмотреть однозначно полярную его интерпретацию.

Анализ понятий, представлений, восприятий, идей акцентирует внимание на дискурсивном аспекте социального опыта в широком его понимании и отвергает жесткое противопоставление народной и элитарной культуры, производства и потребления, создания и присвоения культурных смыслов и ценностей, подчеркивая активный и продуктивный характер последнего. Именно в этом варианте новая культурная и интеллектуальная история «воссоединяются», хотя последняя сохраняет свою специфику в том, что касается ее особого внимания к выдающимся текстам «высокой культуры». Параллельно складывается новая традиция исторической критики, которая стремится от описания и «инвентаризации» исторических идей, направлений и школ к более тонкому их анализу, основанному на принципах «новой культурной истории». В качестве главного предмета этого анализа выступают качественные перемены в области исследовательского сознания историков. Тогда в центре внимания исторической критики оказываются не только «продукты» – результаты профессиональной деятельности историка, но вся его творческая лаборатория, исследовательская психология и практика, и в целом – культура творчества историка.

Состояние интенсивной саморефлексии историков, столь характерное для современной интеллектуальной ситуации, породило оригинальный жанр историописания, который можно условно обозначить как автоисториографический и о котором мне уже приходилось писать²⁷. Здесь, видимо, будет достаточно отметить некоторые особенности этого жанра «интеллектуальной автобиографии». Важным моментом является то, что свои профессиональные автобиографии, свою персональную интеллектуальную историю ведущие современные историки, прожившие достаточно долгую жизнь в науке и испытавшие немало поворотов на своем жизненном и творческом пути, вписывают в дина-

²⁷ Репина Л.П. Историк в двадцатом веке // Диалог со временем: историки в меняющемся мире. М., 1996. С.3-9.

мичный социокультурный контекст, в котором аккумулируются все вызовы времени и ответы на них. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в попытках найти «мостик», соединяющий «историю личности» с Большой Историей.

Пожалуй, именно в истории индивида, наиболее остро и наглядно ставится ключевая методологическая проблема о соотношении и совместимости микро- и макроанализа. Если до последнего времени историческая антропология оставляла за кадром проблему самоидентификации личности, личного интереса, целеполагания, индивидуального рационального выбора и инициативы, то в конечном счете ответ на вопрос, каким именно образом унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяли поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а следовательно сам ход событий и их последствия) потребовал выхода на уровень анализа индивидуальной деятельности и создания новой интегральной модели. Стратегия «новой биографической», или «персональной», истории, хотя и ориентируется на принципиально различные образцы (от микроистории до психоистории, от моделей рационального выбора до теорий культурной и гендерной идентичности), состоит в том, что личная жизнь и судьбы отдельных исторических индивидов, формирование и развитие их внутреннего мира, «следы» их деятельности выступают одновременно как стратегическая цель исследования и как адекватное средство познания включающего их и творимого ими исторического социума. Иными словами, речь идет об изначально заданной принципиальной установке на выявление социального контекста, на выход в макроисторическое пространство²⁸.

Биографический подход сформировал и одно из перспективных направлений гендерной истории, несмотря на то, что здесь общие проблемы индивидуальной истории осложняются гендерной спецификой. В этих биографиях ярко выступают спектр и пределы возможностей, которыми располагает индивид в рамках данного исторического контекста с характерной комбинацией социальной и гендерной иерархий. В гендерных исследованиях подобного рода привлекает исключительно взвешенное сочетание двух познавательных стратегий. С одной стороны, они сосредоточивают внимание на так называемом культурном принуждении, а также на тех понятиях, с помощью которых «люди

²⁸ *Seaver P.S.* Wallington's World. A Puritan artisan in Seventeenth-century London. Stanford (Cal.), 1985; *Phillips M.* The Memoir of Marco Parenti. A Life of Medici Florence. L., 1989 (Princeton, 1987); *Mendelson S.* The Mental World of Stuart Women: Three Studies. Brighton, 1987; *Davis N.Z.* Women on the Margins. Three Seventeenth-century Lives. Cambridge (Mass.) – L., 1995.

представляют и постигают свой мир». С другой стороны, в них достаточно последовательно выявляется активная роль действующих лиц истории и тот – специфичный для каждого социума – способ, которым исторический индивид – в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах – «творит историю», даже если результаты этой деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям. Вполне понятно, что в фокусе биографического исследования оказывается внутренний мир человека, его эмоционально-духовная жизнь, отношения с родными и близкими в семье и вне ее. При этом индивид выступает и как субъект деятельности и как объект контроля со стороны семейно-родственной группы, круга близких, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур разного уровня. В центр внимания многих исследователей, как правило, попадает нестандартное, отклоняющееся поведение, выходящее за пределы освященных традицией норм и социально признанных альтернативных моделей, действия, предполагающие волевое усилие субъекта в ситуации осознанного выбора.

Говоря о состоянии современной исторической биографии в целом, нельзя не признать, что при всех своих естественных ограничениях и несмотря на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод может быть очень продуктивным. Но на уровне обобщения методологические проблемы перехода между полюсами индивидуальности и коллективности остаются актуальными. Возьмем в качестве отнюдь не типичного, а скорее «нормально-исключительного» образца замечательную книгу Натали Дэвис о трех «женщинах, стоящих особняком»²⁹.

Н. Дэвис четко формулирует свою исследовательскую программу в Прологе, построенном в виде воображаемого обмена мнений автора с героинями написанной ею книги:

«Я собрала вас вместе для того, чтобы больше узнать о ваших сходствах и различиях. В наши дни иногда говорят, что женщины прошлого похожи друг на друга, особенно если жили в сходных условиях... Мне хотелось через ваши собственные высказывания и поступки показать, в чем вы были близки друг другу, а в чем нет, в чем вы отличались от мужчин своего мира и в чем были такими же... Я выбрала именно вас, потому что все вы были горожанками, все родились в семьях купцов или ремесленников... Мне хотелось представить еврейку, католичку и протестантку, чтобы посмотреть, как влияла на жизнь женщин та или иная религия, какие двери она перед вами открывала, а какие закрывала, выбор каких слов и поступков она вам дикто-

²⁹ Наиболее заметные гендерные историко-биографические исследования почему-то тяготеют к форме триптиха: именно как «тройные портреты» были задуманы и реализованы монографические исследования Сары Мендельсон и Натали Дэвис о женщинах XVII века.

вала... Я хотела узнать, как вы трое боролись с гендерным неравенством... Но я не изобразила вас просто многострадальными. Я также показала, как женщины в вашем положении извлекали из него максимум возможного. Меня в первую очередь интересовали преимущества, которые давала вам маргинальность... Вы извлекали пользу из своего маргинального положения! Вас объединяла предприимчивость. Каждая из троих пыталась совершить нечто дотоле неслыханное. Мне хотелось разобраться в истоках вашей предприимчивости, вашей страсти к приключениям, в том, какой ценой она давалась в семнадцатом веке... И мне хотелось рассказать о ваших надеждах на изменение общества, на создание рая на земле, потому что я и сама когда-то питала такие надежды...»³⁰

Эта столь необычно представленная читателю программа была выполнена во всех своих пунктах. Мельчайшие детали жизненных перипетий, размышлений и самооценок трех женщин не только дали автору богатую «натуру» для необычайно выразительных портретов, но проявили, как в лакмусовом растворе, все сущностные характеристики и процессы их социальной, профессиональной и культурной среды. В любовно выписанном исследовательницей «тройном портрете» ярко проявились спектр и пределы возможностей, которыми располагал индивид в рамках данного исторического контекста с характерной комбинацией социальной и гендерной иерархий. Более того, за тройным портретом отчетливо проступило масштабное полотно, на котором раскрылись неизвестные ранее аспекты европейской жизни XVII века, включая ее пограничные пространства.

Ясно, что мы имеем дело с интегральной исследовательской установкой на изучение индивидуальной биографии в качестве особого измерения исторического процесса, что вовсе не исключает, а напротив - предполагает понимание значения системно-структурных и социокультурных исследований и взаимодополнительности всех трех перспектив в целостной картине прошлого. Кстати, во время бурных дебатов на рубеже 1980-х и 1990-х годов, когда обсуждались судьбы двух форм социальной истории, опирающиеся на два различных типа анализа, Н.Дэвис была в числе тех, кто подчеркивал их комплементарный характер и призывал к тому, чтобы найти способы объяснить и адекватно выразить взаимодействия и сопряжения макро- и микро объектов, социального и культурного³¹.

Столь же недвусмысленно высказались о попытках отделить непроходимым барьером «научную форму истории» от «гуманистического

³⁰ *Davis N.Z. Women on the Margins...*, p.2-4.

³¹ *Davis N.Z. The Shapes of Social History// Storia della Storiografia. 1990. V. 17. P.28-34.*

подхода» и ряд других американских и британских историков³². Совершенно справедливо и очень точно (в еще более ранней дискуссии на рубеже 1970 и 1980-х годов) охарактеризовал эпистемологическую дилемму Дэвид Ливайн:

«Изучение истории требует от нас организовывать множества событий в хронологические последовательности и структуры..., которые неизбежно и существенно отличаются от того, как они могли пониматься людьми прошлого. Это противоречие создает проблему для социальной истории: признавать процесс общественных изменений и одновременно постигать эти структуры так, как они переживались людьми прошлого. По существу, эта проблема подобна той, которая была поставлена Максом Планком и Вернером фон Гейзенбергом в попытке прийти к согласию с новым пониманием физического мира, когда общие теории оказались неспособными объяснить поведение микрочастиц. Здесь требуются два типа объяснения - каждое из которых зависит от типа задаваемых вопросов, причем каждый из этих способов исследования является "правильным" в своей части... Средние показатели могут нам кое-что прояснить, но слишком часто их анализ извращается скрытым предположением о том, что "все картофелины в мешке похожи друг на друга". И это верно, если мы сравниваем их с бананами. Однако, если мы сравниваем их друг с другом, тогда различия становятся более важными и более реальными. Ведь это как раз те различия, которые принимались и переживались людьми прошлого... Но, обращая внимание на эти различия, которые индивидуализировали мужчин и женщин и превращали их жизненный опыт в уникальный, следует избегать феноменологической ловушки... Именно выяснение средних показателей дает возможность лучше осознать степень соответствия между общественными нормами и реальным поведением... Но сами по себе они не могут рассказать нам о том, как эти нормы интерпретировались индивидами, которые слишком часто изучаются в этом "общем мешке". Только заглядывая за эти средние показатели и рассматривая способы, которыми социальные нормы инкорпорировались в повседневность, мы можем понять жизненный опыт людей прошлого. Ключ к пониманию предложен Бурдьё в концепции "стратегий", которая прямо признает разнообразие конкурирующих интересов внутри кажущегося господства нормативных стандартов»³³.

Значительное число практикующих историков гласно или негласно принимают теорию структуризации А.Гидденса. Как правило, речь не идет об открытой артикуляции лежащих в ее основе предположений, но их

³² В частности, Барбара Ханавалт писала: «Количественные подходы могут многое дать для нашего понимания изучаемых текстов (особенно таких массовых, как судебные протоколы), поскольку они предлагают нам некий контекст для их интерпретации... Судебные дела можно читать и как тексты... в то же время комбинация количественного и литературного анализа обогащает интерпретацию сугубо нарративных источников. — Hanawalt B.A. *The Voices and Audiences of Social History Records*// *Social Science History*. 1991. V. 15. N 2. P.159-161.

³³ *Levine D. Tunnel Vision // Theory and Society*. 1980. V. 9. N 5. (Problems in Social History: A Symposium). P.677-678.

исследовательская платформа так или иначе приближается к тому, что Кристофер Ллойд назвал, может быть, не очень удачным рабочим термином «методологический структуризм». Согласно этой модели, социальные структуры понимаются как складывающаяся совокупность правил, ролей, отношений и значений, «в которых люди рождаются и которые создаются, воспроизводятся и преобразуются их мыслью и действием. Именно люди, а не общество, порождают структуры и инициируют изменения, но их креативная деятельность и инициатива являются социально вынужденными»³⁴.

Концепция возникающей структуры в этой модели требует многоуровневого видения социокультурного пространства, новые свойства которого возникают на верхних уровнях. Структура может охватывать общество или культуру как системное целое, системные отношения на разных уровнях, или какой-то один общественный институт. Историки могут описывать действия индивида или группы в социокультурных пространствах, выстраивающихся по ранжиру от макроструктур (например, группы государств или их экономических, социальных и культурных систем) до структур среднего уровня (внутриполитических институтов, бюрократий, корпораций, социальных организаций, региональных субкультур) и микроструктур «наверху», «внизу», «в центре» и на общественной периферии (олигархии, элитные клубы, маргинальные группы, семьи). Индивиды и группы имеют большую или меньшую действенную силу и определяют баланс причинности различными способами, нет никакой фиксированной формулы, определяющей взаимосвязи макро- и микроструктур: они могут быть организованы в различные схемы. Более того, структурные отношения изменяются разными темпами (иногда катастрофически) и возможности действующих субъектов предположительно меняются вместе с ними.

С этой теоретической платформы ведётся сокрушительная критика ложной альтернативы социального и культурного детерминизма, которой считает индивидов как полностью формируемых социальными или культурными факторами. Во всем подчеркивается активность действующих лиц: индивиды не только естественно сопротивляются властям, которые обучают их правилам, ролям, ценностям, символам и интерпретивным схемам, они имеют тенденцию обучаться не тому, чему их учат, поскольку индивиды не только интерпретируют и преобра-

³⁴ Согласно онтологии Ллойда «люди имеют действенную силу, а структуры – обуславливающую», она «отвергает легитимность той дихотомии действия и общества, как которую другие – индивидуалистическая и холистская методологии – опираются, и пытается концептуализировать действие и общество как *взаимопронизывающую дуальность* (курсив мой – Л.П.)». – Lloyd C. *The Structures of History*. Oxford, 1993. P.43.

зуют то, чему их научили, в соответствии со своими нуждами, желаниями и принуждением обстоятельств, но их рецепция культуры также отражает причуды культурной трансмиссии. Короче, социализация и окультуривание не дают единообразных результатов и люди часто ресоциализируются и рекультурируются в разные моменты своей жизни и в различных социокультурных «локациях»³⁵. Это плюралистическое и динамическое видение влечет за собой множество следствий: гораздо более богатое понятие социокультурной гетерогенности, чем предполагалось раньше, гораздо более сложную картину социокультурных изменений, больший простор для деятельности – как индивидуальной, так и коллективной – и для случайности.

Тем не менее, эта модель имеет свои ограничители, которые не позволяют исследователю пройти до конца весь путь «восхождения к индивиду», оставляя непроторенным его важный отрезок, связанный с интериоризацией непосредственного жизненного опыта и формированием психологических установок, готовности и склонности воспринимать, реагировать, думать, оценивать, действовать определенным образом. Известный британский историк Теодор Зелдин так описал перипетии своего исследовательского поиска:

«Чтобы избавиться от априорных представлений о том, как именно следует в процессе изучения группировать людей и события, я постарался разбить свой материал на мельчайшие элементы. Я использовал своего рода пуантилизм, который сводит сложные явления к самым элементарным формам. Я разбил классы на группы, группы на меньшие группы, а затем показал, какое разнообразие характеризует даже мельчайшие группы. Когда доходишь до индивида, то убеждаешься, что он очень сложен, что в зависимости от обстоятельств он по-разному реагирует на всякое воздействие, причем так, что это выглядит противоречивым и практически непредсказуемым. Поэтому я не стремился найти единый ключ к объяснению человека. Вместо этого я перешел от пуантилизма к изучению индивида одновременно с разных сторон, как будто рисовал не только видимую часть лица, но и затылок, располагая их так, чтобы видеть все сразу. Я старался представить жизнь во всем ее богатстве и противоречивости... Для себя я решил эту проблему, поставив индивида в центр своей книги. Я посмотрел на мир его глазами, вместо того чтобы смотреть в обратном направлении и изучать множество не связанных между собой факторов. Я старался больше, чем это обычно делают историки, использовать психологию, но не как разъясняющую теорию, а как доступ к потаенным сторонам человеческой личности»³⁶.

³⁵ Речь идет о вовлечении индивида в группу, придерживающуюся таких правил, которые иногда требуют от него осуществить насилие или отречься от той группы, в которой он был до этого социализирован и окультурен, – будь это банда, армия, религиозная секта, бюрократия, политическая партия или прочее.

³⁶ Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // *THESIS*. 1993. Т. I. Вып. 1. С. 161.

Впрочем, даже умелое использование «психологического микроскопа», не снимает всех преград на пути к изучению исторического индивида.

Инструменты микроанализа имеют в истории многообещающие перспективы. Безусловное преимущество как «персонального» подхода, так и всех других микроисторических стратегий состоит в том, что они «работают» на экспериментальной площадке, максимально приспособленной для практического решения тех сложных теоретических проблем, которые ставит перед исследователем современная историографическая ситуация. Более того, постоянно возникающая необходимость ответить на ключевые вопросы: чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, каковы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились массовые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внешние факторы и внутренние импульсы – настоятельно «выталкивает» историка из уютного гнездышка микроанализа в то исследовательское пространство, где царит макроистория.

Специфика микроистории заключается не в масштабе ее объектов, несмотря на нередкие утверждения подобного рода, и даже не в разглядывании подробностей и мелочей. Один и тот же объект равным образом может стать предметом и макро-, и микроисторического исследования. Дело в другом – в том, с какой стороны к нему подходит исследователь, под каким углом зрения этот объект рассматривается, то есть, в конечном счете, в позиции наблюдателя, которую он выбирает в зависимости от своей теоретической платформы и принятой модели развертывания исторического процесса. Иными словами, эта специфика заключается в направлении движения исследовательской мысли: идет ли она от настоящего к прошлому, пытаясь проследить в ретроспективе становление настоящего, то есть мира, в котором мы живем сегодня, или же внимание обращено на само прошлое как нечто находящееся в стадии становления. В последнем случае это движение направлено «проспективно» – от прошлого к настоящему, и исследователь ищет ответ на вопрос, какие потенциальные возможности скрывались в последовательных ситуациях исторического выбора, как и почему в этом процессе реализовались именно те, а не иные возможности, каким именно образом субъективные представления, мысли, способности, интенции индивидов действовали в пространстве свободы, ограниченном объективными коллективными структурами, которые были созданы предшествовавшей культурной практикой. В первом ракурсе мы получаем некую одномерную проекцию прошлой реальности на траекторию развития и, таким образом, видим лишь свершившуюся Историю в ее «победившем» варианте, во втором – рассматриваем саму эту

исчезнувшую реальность как бы с открытым, непредопределенным будущим, то есть несущей в себе различные (а то и прямо противоположные) потенциальные варианты развития, а значит во всем ее действительном многообразии и полноте.

Экспериментирование с методами не может быть самоцелью, его смысл заключается в том, чтобы приблизить исследователя к решению поставленной им проблемы. Одна из самых трудных задач, с которой сталкивается историк, состоит в том, как концептуализировать взаимодействия между индивидами и обществом, соотношения конкретного и абстрактного, частного и целого, как не теряя из виду единичности, рассмотреть все же «за деревьями лес», как представить себе общность, не элиминируя индивидуальные качества составляющих ее частей – в духе платоновской диалектики.

«Тот, кто жаждет узреть совершенное целое, должен разглядеть оное в его отдельных частях... Ты аккумулируешь частности и убиваешь их, анализируя, для того чтобы получить совокупность, и называешь эту совокупность Моральным Законом... Но общие формы обретают свою жизнеспособность только в частностях, а всякая частность есть человек...»³⁷.

К сказанному остается добавить, что именно логическая «разнонаправленность» и взаимодополнительность микро- и макроисторического подходов делают их комбинационные возможности исключительно перспективными.

³⁷ Blake W. Jerusalem. Emanation of the Giant Albion// The Complete Poems/ Ed. by W.H.Stevenson. L. – N.Y., 1989. Ch.4. Pt.91: 20-30.

Дональд Р. Келли (США)

Основания для сравнения

«Компаративная история» – это или оксюморон, или некорректный термин (неверный и с точки зрения грамматики). Она предполагает либо сравнивать истории разных явлений путём признания наличия общих для них элементов и терминов – в таком случае она не является историей; либо же она сопоставляет разные феномены, описанные в их собственных терминах и контекстах – в таком случае она не может прийти к серьезным сопоставлениям. По меньшей мере, таковы методологические крайности, между которыми располагаются компаративные и исторические исследования, и я хочу сохранить в уме эту теоретическую предпосылку в качестве основания моих рассуждений о практике так называемой «компаративной истории» и областях, в которых за последние два столетия пересекались и взаимодействовали сравнение и история.

1. Предположительные сравнения

Компаративизм стар, как Плутарх, а может – и как Аристотель; но практика и особенно теория компаративной – или, правильнее, компаративистской – истории возникли в эпоху европейского Просвещения. В действительности, Просвещение само стало целью компаративного изучения. На известный вопрос, поставленный Берлинской Академией Наук: «Что есть Просвещение?», Иммануил Кант дал известный ответ; но его рационализм не удовлетворил более исторически мыслящих учёных той эпохи, таких, как критик Канта Кристоф Майнерс, который перефразировал вопрос: «Что есть истинное Просвещение?» Отвечая на него, Майнерс опубликовал в 1793 г. «Историческое сравнение обычаев, правительств, законов, промышленности, коммерции, религии, науки и образования в Средние века и наше время» (1793)¹. Вызывающая сама по себе, эта работа является хорошим примером не только практики компаративной истории, но также и её теории, показывающим, как в данном случае, основную задачу компаративизма – поиск совре-

¹ С любезного разрешения автора публикуется доклад Дональда Р.Келли (Rutgers University), прочитанный на Круглом столе по компаративной истории в рамках XIX Международного конгресса историков в Осло.

¹ C. Meiners, *Historische Vergleichung der Sitten und Verfassungen, des Gesetz und Gewerbe, des Handels, und der Religion, der Wissenschaften, und Lehranstalten des Mittelalters mit denen unsers Jahrhunderts in Rücksicht auf die Vortheile und Nachteile der Aufklärung* (Hannover. 1793), 465.

менной мудрости в бесконечном разнообразии исторического опыта. Причем здесь идея Просвещения обеспечивает метаисторические основания для сравнения с менее продвинутыми или «варварскими» эпохами, и традиционной «теорией четырёх стадий», фиксирующей периодизацию этой предположительной истории².

Другой иллюстрацией компаративистского импульса была работа более молодого современника Майнерса, барона М.-Ж. Дежерандо – также созданная как ответ на вопрос, поставленный Берлинской Академией (1802) – его «Сравнительная история систем философии относительно принципов человеческого знания» (1804), написанная после опыта изгнания и под влиянием французской «Идеологии»³. В этом исследовании Дежерандо сравнивал широкий ряд учений, чтобы, как он объяснял, «посредством изучения истории различных сект, их зарождения, развития, преемственности, конфликтов и взаимоотношений понять подлинные точки расхождения, причины их противостояний и истоки их споров»; и, таким образом, судить об их полезности для современных проблем. В 1799 г. Дежерандо также опубликовал этнологическую работу «Обозрение диких народов», которая, расширяя его горизонты схожим с Майнерсом образом, следовала от базиса эмпирического исследования и компаративного анализа рас к общим законам человеческой науки в свете философии и к теории человеческого прогресса от варварства к цивилизации⁴.

Это два примера «предположительной истории», как называл её Дугалд, сравнивая её с французской «разумной историей» и ссылаясь на Дежерандо. Эта линия была продолжена другими учёными XIX в.⁵ В 1820 г. Гизо прочел известный курс компаративной истории, прослеживающий развитие «представительного управления» в Англии, Франции и Испании, общие элементы, ставшие политическими принципами разделения властей, выборов и публичности⁶. Европейские социальные и политические «системы», утверждал он, «все имеют определённое сходство, определённое семейное подобие, в котором невозможно ошибиться... Теократические, монархические, аристократические и

² См. Ronald L. Meek, *Social Science and the Noble Savage* (Cambridge, 1976), и *Smith, Marx, and After* (London, 1977).

³ М.-Ж. Дегерандо, *Histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines* (3 vols.; Paris, 1804), following *De la Génération des connaissances humaines* (Berlin, 1902).

⁴ М.-Ж. Дегерандо, *The Observation of Savage Peoples*, tr. F.C.T. Moore (Berkeley, 1969); and see George Stocking, Jr., *Race, Culture, and Evolution* (Chicago, 1968), 21-28.

⁵ *The Collected Works of Dugald Stewart* (11 vols.; Edinburgh, 1858), II, 48.

⁶ F. Guizot, *History of the Origin of Representative Government in Europe*, tr. William Hazlitt (London, 1852), 77.

народные убеждения пересекаются, сталкиваются, ограничивают и модифицируют друг друга». В позднейших лекциях (1828–1829) Гизо взывал к универсалистским фантазиям Августина и Боссюэ, утверждая, что «европейская цивилизация вошла, если можно так сказать, в вечную истину, в план провидения; она прогрессирует согласно намерению Бога.»⁷ Это предположение не только утверждало моральное превосходство Европы, но и определяло основания для сравнения внутри семьи западных наций.

Как и его просвещённые предшественники, Гизо принял стадиальную точку зрения, согласно которой все европейские государства проходили через четыре эпохи – варварство, феодализм, роялизм и репрезентативную систему – каждая из них давала основания для сравнения. По поводу древней категории варварства, например, Гизо комментировал: «Я знаю только один путь достижения чего-либо, приближающегося к верному представлению о социальном и моральном состоянии германских племён: это сравнение их с племенами, которые в современную эпоху в разных частях земного шара – во внутренних областях Африки, на севере Азии – всё ещё пребывают почти на такой же стадии цивилизации и ведут практически такую же жизнь»⁸.

Для обоснования этого вывода он поместил в параллельных колонках описания Тацитом древних германцев и описания современными учёными, включая Майнерса, Робертсона, Гиббона, Лафито и лорда Кеймса, гуронов, ирокезов, народов Сибири, гренландцев, арабов, татар, и др. Этот тип сравнения, берущий начало у Липсия в XVI в. и продолженный Вико и Робертсоном в XVIII в., стал общим местом компаративной истории в XIX в.

Как и его предшественники, Гизо был столь же человеком своего времени, сколь и компаративистом, и не скрывал этого. «Отойти от этой точки зрения не в нашей власти, – соглашался он, – против нашей воли и вне нашего знания идеи, которые занимают настоящее, последуют за нами, куда бы мы ни пришли в изучении прошлого. Напрасно нам пытаться бежать от света, который они отбрасывают вслед»⁹. Свет, на который ссылался Гизо, был представительной формой управления, которая «повсюду... востребована», и которая также является фактом, «имеющим корни в прошлых политических судьбах наций», продолжал он, «поскольку она имеет свои обоснования в их нынешнем положении». В своём прославлении прогресса он не был выше майнерсовского типа

⁷ F. Guizot, *The History of Civilization in Europe*, tr. William Hazlitt (N.-Y., 1997), 32.

⁸ *The History of Civilization*, tr. William Hazlitt (3 vols.; London, 1887), 421.

⁹ *Representative Government*, 3.

превосходства: «Слава Богу, – восклицал он своим студентам, цитируя Гомера, – мы бесконечно лучше, чем те, кто шёл до нас»¹⁰.

Другой целью компаративистского подхода Гизо был феномен революции, особенно Франция в 1789 г., и Англия в 1640 и 1688 гг. Эти революции не были неожиданными; каждая из них основывалась на вековых принципах сопротивления абсолютизму и приверженности «свободному согласию людей в отношении законов и налогов» – принципов, лежащих в основе «естественного права» человеческого прогресса. Для Гизо это сравнение также лежало в основе его политической повестки дня – поскольку он всегда был в первую очередь государственным деятелем, а во вторую учёным – которая привела его к власти во время Французской революции 1830 г. и которая добавила другое сравнение. «Наши умы были всегда полны Английской революцией», – писал он о своих коллегах-доктринёрах, которые присоединились к нему в правительстве Июльской монархии¹¹.

В целом, Гизо опирался на ту же идейную базу, что и историки эпохи Просвещения, такие, как Майнерс и Дежерандо, исходившие из теоретической структуры, позволявшей производить сравнение, невзирая на хронологические и культурные границы, – так что варварство, феодализм, представительное правление – и революция изменила их цвета, но не их природу в рамках европейской традиции. Майнерс полагался на идею культуры и «разума» в развивающем смысле; Дежерандо – на условности и терминологию формальной философии и способы её передачи, особенно системы, идеи, доктрины и школы; Гизо – на аналогичные категории политического мышления и деятельности. В каждом случае история в результате оказывалась вспомогательной дисциплиной, источником примеров и (по словам Гизо) «фактов», означающих либо широкие абстракции, такие, как «цивилизация», либо меньшие элементы, общие для разных культурных традиций. Все три этих источника работали в рамках эволюционной структуры, хотя биологическая аналогия в большей степени предполагалась, нежели критически рассматривалась.

Этот тип эволюционного компаративизма, производный от предположительной истории, предполагал, что каждая культура или нация занимает место в траектории прогресса, простирающейся от примитивного, или отсталого, состояния до цивилизованного, или продвинутого. На этой основе теоретически достаточно легко сравнивать и даже градуировать положение отдельных культурных традиций. Это точка зрения, которая была распространена от Вико и Монтескье до Шпенглера, Тойнби и Фукуямы, и далее, но, я думаю, она не единственная из поль-

¹⁰ History of Civilization, 25.

¹¹ D.R.Kelley, *Historians and the Law in Postrevolutionary France* (Princeton, 1984).

зующихся большим доверием среди историков в наши дни, кроме, возможно, экономических историков, привязанных к узкой версии теории либеральной модернизации или вульгарному марксистскому, или марксоидному, материализму – или ещё к неовогустиновской всемирной истории в глобалистской форме. Всё это пережитки прекрасной мечты Просвещения, каковой была предположительная история¹².

2. Родовые сравнения

XIX век был временем расцвета компаративистских исследований, не только в истории, но также и в языке, литературе, праве, мифологии, религии и философии; и в этих областях всё чаще применялась эволюционная модель. Она была основополагающей для исторической школы права, возглавлявшейся Карлом Фридрихом фон Савиньи, который подчёркивал «органическую связь права» с питающими его нациями. «Право растёт с ростом и усиливается с усилением нации, – писал Савиньи, – и в конце умирает вместе с потерей нацией своей национальности». То же самое можно сказать об истории и литературе, и здесь также берёт своё начало компаративный метод. Коллега Гизо по Сорбонне, Абель-Франсуа Виллемэн, читал лекции по этому предмету до своего присоединения к Гизо на политической арене после 1830 г. Прослеживая связь между обществом и литературой, Виллемэн включал сюда взаимосвязи между французской и английской литературами и влияние французской словестности на итальянскую литературу – всё это в качестве производных от латинской традиции. На деле, Виллемэн был, видимо, первым, кто использовал термин «сравнительное литературоведение».

Другой главной областью компаративистских исследований в середине XIX в. была этнология, построенная на идеях и открытиях XVIII в. и покоившаяся, как указывал Питер Боулер, «на предположении, что примитивные в технологическом отношении народы представляют собой точные эквиваленты более ранних стадий в развитии более продвинутых обществ»¹³. В Англии подобными предпосылками оперировали Эдвард Тайлор, Джон Лаббок, Джон МакЛеннан и Генри Самнер Мэйн, но они делали это не как историки, а как приверженцы гуманитарных наук – этнологии, антропологии и правоведения¹⁴. Под «наукой»

¹² См. Paul Costello, *World Historians and their Goals: Twentieth-Century Answers to Modernism* (Dekalb, 111., 1993), а также обширную литературу по теории «мировой системы» и "World Historians and their Critics", *History and Theory*, Theme Issue 34 (1995).

¹³ P. Bowler, *The Invention of Progress* (Oxford, 1989), 35-36.

¹⁴ George W. Stocking, Jr., *After Tylor: British Social Anthropology 1888-1915* (Madison, 1995), 138; Annemarie de Wahl Malefijt, *Images of man: A History of Anthropological Thought* (New York, 19974); и John Lyons, "Linguistics and the Law: the Legacy of Sir Henry Maine", *The Victorian Achievement of Sir Henry Maine* (Cambridge, 1991), 297.

они подразумевали не «историческую науку», посвящённую установлению фактов, а систематическое знание, которое давало бы общие, причинные объяснения и даже «законы».

Ключевой дисциплиной для компаративного метода, однако, была историческая лингвистика, или сравнительная филология, особенно когда она обрела форму в ходе открывавших глаза открытий «восточного Возрождения»¹⁵; и здесь компаративизм сдвинулся от предположительной к критической фазе. История начинается с осознания Уильямом Джонсоном того, что санскрит, греческий и латынь должны иметь общий исток. В 1816 г., опираясь на работу Фридриха Шлегеля, Франц Бопп опубликовал своё сравнение спряжения в санскрите со спряжением в греческом, латыни, персидском и германских языках, что «ознаменовало рождение компаративного метода». Идея изначального «арийского» или «индогерманского» языка (Бопп предпочитал националистическому, расистскому термину «индогерманский» термин «индоевропейский»), от которого произошли современные языки, подкреплялась теорией Дарвина о происхождении от общего предка. Налицо была и обратная, так как на самого Дарвина оказала влияние филология, в том числе Уильям Джонс и, позднее, Фридрих Макс Мюллер с их идеями о происхождении языков¹⁶.

Наконец, существовала противоречивая школа сравнительной мифологии, порождённая Максом Мюллером, аналогичная сравнительной филологии и основанная на арийской гипотезе¹⁷. Методам М.Мюллера и антрополога Э.Б.Тайлора следовал также историк Эдвард Фримен в том, что он называл «компаративной политикой», в особенности применяемой к его изучению западного федерализма, который он воспринимал как решение международных проблем в Европе конца XIX в.¹⁸ Что же касается изучения мифологии и религии, компаративизм имел тенденцию к сохранению своего изначального универсалистского подхода. Для Мирчи Элиаде этот универсализм оправдывался концепцией «священного», которое своими различными символами и ритуалами сближало наиболее далекие друг от друга культуры¹⁹. Элиаде постулировал то, что он называл «логикой символов», которая возвысила уровень его поисков с религиозной истории до философии. Схожие компаративные методы использовались в социологии религии, как выяснено

¹⁵ Holger Pedersen, *Linguistic Science in the Nineteenth Science*, tr. John Webster Spargo (Cambridge, Mass., 1931).

¹⁶ Stephen G. Alter, *Darwinism and the Linguistic Image* (Baltimore, 1999), and Thomas R. Trautman, *Aryans and British India* (Berkeley, 1997).

¹⁷ См. Thomas R. Trautman, *Aryans and British India* (Berkeley, 1997).

¹⁸ W.R.W. Stephens, *The Life and Letters of Edward A. Freeman* (London, 1895), II, 57.

¹⁹ M. Eliade, *Patterns in Comparative Religion*, tr. Rosemary Sheed (Lincoln, NB, 1958).

Вебером, Иоахимом Вахом, и др.²⁰. Жорж Дюмезиль был исключением в том, что придерживался индоевропейской ориентации, хотя поиски мифических начал, протоязыков и трёхчастных структур вновь приводит нас обратно к предположению – к идеологии.

В своей развивающейся и особенно эволюционной форме компаративизм был обречён выведение родственных связей – происхождения, установления связей, наследования – которые сделали лингвистическую (и дарвинистскую) парадигму специфической и зависящей от эмпирического исследования. Новый компаративизм превзошёл старый своим настойчивым требованием исторического исследования. Общие аналогии, основанные на интуиции или логическом доказательстве, были недостаточными; что требовалось – это доказательство связей в какой-либо точке времени. Для филологии такие исторические связи надо было устанавливать в рамках общих грамматических, синтаксических и фонетических категорий, разделяемых родственными языками, но не применимых к таким чуждым традициям, как китайская и «Вавилон Нового Света»²¹. Старые понятия «универсальной грамматики» и «универсального языка», кроме того, были неуместными для исторического изучения языковых семейств, реконструированных филологами-компаративистами согласно естественным, но конкретным «законам» трансформации²². Но, как полагал Антуан Мейе (один из учителей Дюмезиля), сравнение даёт не реальные языки, а лишь изменения в словах и некоторые их структурные черты²³. Остальное – это дело мифа и предположения.

В исторических исследованиях компаративизм следовал похожим путём, работая в рамках культурных традиций, происходящих от общих истоков, к которым также нет доступа иным способом, кроме предположения. Так, Марк Блок прослеживал компаративным путём власть королей-чудотворцев во Франции и Англии, в то же время отвергая возможность нахождения истоков этой мистической практики и отмечая, что это дело сравнительной этнологии²⁴. Компаративистская работа Блока по феодальному обществу так же, как и работа Гизо до него, была направлена в область общего наследия римского и германского права и взаимосвязанных языков, и, таким образом – общего семанти-

²⁰ См. Joachim Wach, *Sociology of Religion* (Chicago, 1944).

²¹ Edward G.Gray, *New World Babel: Languages and nations in Early America* (Princeton, 1999).

²² N.E.Collinge, *The Laws of Indo-European* (Amsterdam, 1985); см. также Calvert Watkins, *How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics* (Oxford, 1995).

²³ A.Meillet, *The Comparative Method in historical Linguistics*, tr. Gordon B. Ford, Jr. (Paris, 1967), 29.

²⁴ M.Bloch, *The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and France*, tr. J.E.Anderson (London, 1973), 4.

ческого поля²⁵. Аналогичная задача была поставлена Шарлем Пти-Дютайи, который сравнивал «эволюцию» феодальных монархий во Франции и Англии и делал вывод, что их сходные черты были обязаны собой не общей отправной точке, а «атмосфере», в которой они росли, и их общим «националистическим устремлениям»²⁶. В недавнем обзоре по данному вопросу Сюзан Рейнолдс пришла к заключению, что «в первую очередь необходимо сравнение»²⁷.

Историография XIX в. генетическим методом, который следовал за ведущими биологическими и лингвистическими науками, возводила национальные культуры к античным и средневековым истокам и схожим образом вызревала в компаративные исследования. Так, «Франция» и «Германия» прослеживались в своих традициях до Карла Великого и далее, до эпохи варварских племён – германцев, описанных Тацитом и другими классическими авторами²⁸. К континуитету, доказываемому и источниками, и правоведами, добавлялись сфабрикованные генеалогии и институциональные параллели; с XVII в. проводились сравнения королевской власти, сословных ассамблей, судов и правовых систем – научная традиция, продолженная и заимствованная Гизо, Блоком, Пти-Дютайи, и др.

Более поздним вкладом в эту традицию является сравнительное исследование средневековых парламентских ассамблей Антонио Маронгу, которое продолжает эволюционистский метод интерпретации. Маронгу исследует процесс развития с предшественников в лице раннесредневековых советов, как церковных, так и светских, чтобы показать вызревание парламентских институтов²⁹. Как и Гизо, он фокусирует внимание на принципах представительства, но расширяет его точку зрения с тем, чтобы включить сюда итальянские и немецкие примеры, так же, как и английские, французские и испанские; и он добавляет глоссарий терминов, чтобы наполнить содержанием параллели, которые он проводит через национальные границы. Сравнения Маронгу шли далеко, включая исландскую ассамблею X в., но он не отваживается выйти за пределы традиций западноевропейской мысли и практики. Таков же случай со сравнительным исследованием «конституционализма» К.Х.МакИлвейна, которое растягивается до древних

²⁵ M.Bloch, *La Société féodale* (2 vols.; Paris, 1949).

²⁶ C.Pepit-Dutaillis, *La Monarchie féodale en France et en Angleterre Xe-XIIIe siècles* (Paris, 1933).

²⁷ S.Reynolds, *Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted* (Oxford, 1994), 479.

²⁸ См. Carlrichard Brühl, *Deutschland-Frankreich: Die Geburt zweier Völker* (Vienna, 1990).

²⁹ См. Marongiu, *Medieval Parliaments: A Comparative Study*, tr. S.J.Woolf (London, 1968).

прецедентов, но аналогичным образом остаётся в рамках терминологической структуры западной традиции³⁰.

Институциональную историю старого типа сменили самопровозглашённые «новые» экономическая и социальная история, которые предпочитали смотреть под поверхность политических и правовых институтов, на лежащие в основе экономические силы и социальные структуры³¹. Эти подходы, вдохновлённые методами социальных наук, упростили задачи компаративной истории, но также и вернулись разными путями к предположению. В каком-то случае недавний «культурный поворот» имел тенденцию к вытеснению таких радикальных и редуccionистских взглядов и частичному восстановлению сложности исторического опыта. Но этот методологический (и идеологический) поворот вновь создал угрозу основанию компаративной истории.

3. Общие сравнения

Следует ли компаративной истории находиться в плену этой эволюционной, обычно европоцентристской парадигмы? На деле, компаративная история не была удовлетворена ограничениями биологической модели, и продвинулась, или вернулась, к более широким структурам, в которых историческим связям не придавалось значения – и в которых ответы на политические, социальные, экономические и культурные вопросы ищут за пределами особенностей локального опыта, контекстов и традиций. Предпосылка состоит в том, что сопоставление двух или более подобных традиций, разделённых во времени ли, или в пространстве, даёт такой тип знания, которого обычная нарративная история достичь не может. Это прекрасная мечта, и об этом мечтали лучшие из современных историков – прежде всего, наверное, Марк Блок, который отваживался бросить взгляд – хотя и бегло, и гипотетически – за пределы европоцентристских горизонтов, в направлении более широких связей, или аналогий.

Блок открыл возможность расширения феодальной модели за пределы западного контекста – например, на Японию – и рассмотрение её в качестве «социального типа». «Прошли ли другие нации (через эту фазу), – спрашивал Блок, – и если да, то под воздействием каких, возможно, общих, причин? Это секрет, который должен быть раскрыт будущими исследованиями»³². Сам Блок, несмотря на влия-

³⁰ С.Н. McIlwain, *Constitutionalism, Ancient and Modern* (Ithaca, 1940), 26.

³¹ О призыве вернуться к старой традиции институциональной истории см. Blandine Kriegel, *The State and the Rule of Law*, tr. Marc A. LePain and Jeffrey C. Cohen (Princeton, 1995).

³² M.Bloch, *La Société féodale*. II, 252; см. также *Protect d'un enseignement d'histoire comparee des sociétés européennes* (Strasbourg, 1933), Eng. tr. in *Land*

ние Дюркгейма, имел сомнения относительно подобной инфляции компаративного метода, ссылаясь на обычай записи параллельных колонок по истории Азии и Европы. «Но эта процедура немного даёт для решения проблем взаимного влияния, – продолжал он, – которые имеют первостепенное значение»³³.

На деле, компаративным исследованиям следовало развиваться в направлении не дальнейшего эмпирического исследования, а скорее теоретических – предположительных – основ. Проблема заключается в том, что для историков не существует общего основания для глобальных сравнений, кроме тех концептуальных (и ограниченных), которые даются учёными и их терминологией; ибо история и мифология феодального общества и права в эпоху от Меровингов до Французской революции действительно специфически присущи Европе, и в особенности франко-германскому сердцу Европы, чьи правоведы создавали терминологию институционального комплекса «фьеф-и-вассал» и доказали – как историки всё ещё доказывают – его историческое происхождение (германское, или романское, или двойное?), но не его статус как «социального типа». Узкоэмпирические и генетические вопросы стали неадекватны гуманитарной науке; и в конце XIX в. компаративистские исследования вернулись к универсалистским идеалам Просвещения. Это было, безусловно, повесткой дня новых наук – антропологии и социологии – в XX в.

Антропологи использовали понятие культуры как тип универсального растворителя обычаев, социального поведения и религиозной практики во всей человеческой сфере. Порождением этого подхода стал известный труд Дж.П.Мёрдока «Досье области человеческих отношений», своего рода лапласовский демон антропологии, который, кажется, имеет пересекающиеся с историей цели. Однако, некоторые из них осознали опасности повальных сравнений, например, Франц Боас в своей работе 1986 г. «Ограничения сравнительного метода антропологии», критиковавшей поиск универсальных эволюционных законов, а также взгляды Рут Бенедикт на культуру, подчёркивавшие различия контекстов и необходимость ограничения сравнений исторически, этнографически и географически родственных обществ³⁴.

Социологи были менее осторожными в своей привязанности к компаративным методам. Великими именами компаративизма всё ещё являются Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер, чьё видение, превосходя даже мировую историю, стремилось к универсальной науке о человечест-

and Work in Medieval Europe, tr. J.E.Anderson (New York, 1967) – изначально доклад, прочитанный на международной конференции в Осло.

³³ M.Bloch, *Like and Work*. 175.

³⁴ Stocking, *Race*. 209; Benedict, *Patterns of Culture* (New York, 1934).

ве³⁵. Дюркгейм хотел выйти за пределы отдельных событий – событийной истории, как её назвали позже, полууничтожительно – к коллективным образцам и процессам; и его концептуализация имела огромное значение для Блока и других историков школы «Анналов». Социологический метод Дюркгейма был вариантом позитивизма, основанным на собирании и классификации фактов, которые были де- (или ре-) контекстуализированы вокруг отдельных социальных абстракций, начиная с общности и «Общества» самого по себе, его структур и возникающей в нем напряженности; компаративная история, особенно во Франции, унаследовала эти обобщающие склонности.

В целом, социология в своей классической французской форме придерживалась рационалистических, универсалистских и систематизирующих идеалов, изобретая социальные категории, в широком смысле лишённые культурной специфичности, «локального знания» и исторического понимания – и делала это во имя научного «объяснения», которое историческое исследование часто было неспособно завершить. «Если кто-то проследил происхождение одних идей от других и показал так называемое интеллектуальное «влияние», – спрашивал Франсуа Симиан, – то что он в действительности объяснил?»³⁶

Вебер придерживался более критического взгляда на социологический метод и компаративистское исследование, отвергая понятие общих законов и функционалистскую и механическую идею Дюркгейма о причинности; он обращался к объяснительным методам с целью установления социального и исторического значения. Но, осознавая различия и каузальное разнообразие, он также зависел от метаисторических категорий, таких, как «идеальный тип», и интеллектуального класса «почётнейших»; и он отделял социологию от истории в том, что она обращается не только к важным действиям (для истории и человеческой «судьбы»), но и к типам действия (для социальной теории). Вебер был в достаточной степени плюралистом, чтобы допускать разные рационализмы, но он ещё зависел от типа факторного анализа, который мог со многими значениями применяться через границы обществ и культур; а история оставалась вспомогательным средством для более высокой науки, продолжающей говорить о своих систематических компаративистских проектах на языке, далеко возвышающимся над «данными».

4. Компаративная история

Так где же посреди этого вавилонского столпотворения сравнений, этого бедлама компаративизмов находится «компаративная история»? Поколение или два тому назад изучение компаративной истории попало

³⁵ Peter Burke, *History and Social Theory* (Ithaca, 1992), 22-28.

³⁶ F.Simiand, "A propos de l'histoire des idées" (1903), *Méthode historique et sciences sociales*. ed. Marina Cedrono (Paris, 1987), 172.

под огонь критики, по меньшей мере, не прямой, как мне кажется, прежде всего из-за опоры на эти устаревшие, предположительные установки. Старомодная или даже модернизированная социология Вебера и Дюркгейма и их наследников содержат ряд предположений, которые нелегко примирить с некоторыми новейшими тенденциями в гуманитарных науках. Я говорю не о нерелективном позитивизме, который недоверчив к теории любого сорта, а скорее о том, что было названо «объяснительной социальной наукой», и о фундаментальной важности «локального знания», внесшего сомнение в универсальные категории, на которые традиционно опиралась социологическая наука³⁷. Интерпретация в большей степени; чем объяснение, герменевтика в большей степени, чем анализ – таким стал девиз этой школы; и её взгляды были подкреплены постмодернистским подходом, который даже ещё более скепичен по поводу рациональных и универсальных «оснований для сравнения».

Компаративизм действительно имеет место в гуманитарных науках, но только на основе метаисторических категорий и терминологии, явной или скрытой, которая определяет эти дисциплины как политологию, экономику, социологию и антропологию – каждая из которых, чтобы быть эффективной, должна иметь редукционистский взгляд на человеческое поведение. Какими бы ни могли быть теоретические разделения, политическая мысль привязана к публичной сфере и, обычно, к государству, экономика – к рынку, социология – к более или менее абстрактным идеям общества, а антропология – к идеям «культуры», переводимой из контекста в контекст. Различия, которые являются сущностью исторического исследования, избегаются или маргинализируются, заслоняются теоретическими конструкциями, которые могут быть основаниями гуманитарной науки, но являются схоластическими фикциями исторического исследования.

Вот слова автора одной из, по меньшей мере, трёх книг, написанных о «постмодернизме и социальных науках» за последние три года. Полин Мари Розено пишет: «Сам акт сравнения в попытке раскрыть сходства и различия есть бессмысленная деятельность, поскольку постмодернистская эпистемология считает невозможным адекватно определить элементы, которые нужно противопоставлять или уподоблять»³⁸. Возникает уверенность или, по меньшей мере, подозрение в том, что культуры несоизмеримы и не располагаются – для учёных, обладающих ограниченными познаниями, (каковыми мы все должны быть при нашем опыте и подготовке) – в семантическом поле, в котором может быть установлено значение, по меньшей мере – историческое значение.

³⁷ Clifford Geertz, *Local Knowledge* (New York, 1983).

³⁸ Post-Modernism and the Social Sciences (Princeton, 1992), 105.

Я должен добавить, что если следовать линии новой антропологии, современные исторические или этнографические исследования экзотического, «чуждого» и «Иного» (изначально теологическое понятие, как я думаю) укрепили это скептическое неверие в лёгкие исторические сравнения. Подобные исследования, особенно если мы послушаем учёных, подготовленных в литературной и лингвистической областях, «ведут к радикальной постановке под вопрос основ западной мысли», как написал один историк женщин и женской литературы³⁹. И это в особенности приложимо к компаративной истории, которая создавалась по явно западному методу – колониальному ли, или постколониальному – и которая последовательно (как добавляет этот учёный), в интересах своего собственного уполномочивания, пыталась отрицать «инаковость Иного». То, что Мишель де Керто называет «гетерологией», переносится за пределы «варварского иного», наблюдавшегося Геродотом, на бесчисленные чужие, иностранные, иноземные группы, некоторые только ещё обнаруженные, лежащие за «нашими» культурными горизонтами⁴⁰.

5. За пределами сравнения

Эти заметки по вопросу об изменчивости, или гетерологии, предлагаются не в качестве обсуждения безысходности, а для того, чтобы предложить своего рода критику того, чему компаративизм должен противостоять с целью избежания дисциплинарной маргинализации, как это произошло со столькими историческими специальностями. Понятно, что многие компаративисты предпочли бы продолжать свою деятельность без размышления над эпистемологическими или методологическими проблемами; но объявление исторической базы, направления и цели этой практики несёт в себе некоторую обязанность рассмотреть подобные вопросы.

Основания для сравнения в истории не могут быть ограничены природными основаниями, такими, как низшие общие знаменатели, определяемые физическими, биологическими, медицинскими или генетическими факторами. Также они не могут быть очерчены лишь знакомыми категориями политологии, экономики, социологии, или даже антропологии в их классических западных формах – усовершенствованных версиях «предположительной истории» эпохи Просвещения. Историческим сравнениям необходимо включать в себя и акцентировать в большей степени различия, нежели общие черты. Прошлое в самом деле является (повторяя то, что уже стало клише) «чуждой страной», а историки – не туристы, ищущие знакомого опыта шопинга или подтверждения своих предубеж-

³⁹ Например, Gisela Brinker-Gabler (ed.). *Encountering the Other(s)* (Albany, 1995), 1.

⁴⁰ M. De Certeau, *Heterologies: Discourse on the Other*, tr. Brian Massumi (Minneapolis, 1986), 68.

дений; они – исследователи, ищущие различия и странные, часто несоизмеримые, пути иного. В классическом понимании, история была «наставницей жизни», и всё ещё является таковой – однако, не в наивном и вульгарном смысле преподавания прямых уроков для предсказания и выработки политики, а скорее как путь открытия интеллектуальных горизонтов до беспрецедентного и неожиданного, которое ниспровергает устоявшиеся категории и провоцирует вопросы за пределами условностей (по словам Куна) «нормальной» гуманитарной науки.

Это, как кажется, может идти против природы западной науки и философии. Как заявлял Гегель, «курс истории не показывает нам становления вещей, чуждых нам, а показывает становление нас самих и наших знаний»⁴¹. Но чем бы ни могла быть «История» для «нас» и «нас самих» по гегелевской формуле, историческая практика не может быть столь самоуверенной, эго- и этноцентричной. Иногда герменевтический круг не может быть завершён. Протестуя против объяснительных усилий фрезеровского «золотой ветви», Витгенштейн однажды заметил: «Здесь можно только описать и сказать: это то, чему подобна человеческая жизнь»⁴².

«История» началась как исследование, и, на самом деле, деятельность Геродота имплицитно являлась компаративным исследованием – «варварства», составляющего для него Иное в его этнографических рассуждениях, – и спустя два с половиной тысячелетия она придерживается этой эвристической функции, возможно, приближаясь к другим концептуальным традициям философии и гуманитарных наук, но ещё будучи привязанным к наблюдению и доказательству, которые придают форму вопросам, равно как и ответам.

Здесь мы снова можем обратиться к антропологии. Некоторым образом эти крайности сходны с полярностью или парадоксом, испытанным и описанным Клодом Леви-Строссом в «Унылых тропиках», который является условием непроницаемого чуждого, отражающегося в иноземной культуре при первом контакте; оно контрастирует с близким знакомством, достигающимся в результате продолжительного изучения чужих обычаев и языка⁴³. Такие мосты часто могут строиться между чужим и близким, между настоящим и прошлым, между «Я» и «Ты», но как одному повести других через эти мосты, или, в самом деле, вернуться самому? И как насчёт описанных туземцев – являются ли они

⁴¹ Hegel, *Introduction to the Lectures on the History of Philosophy*, tr. T. M. Knox and A. V. Miller (Oxford, 1985), 11.

⁴² Wittgenstein, "Remarks on Frazer's Golden Bough." in *Philosophical Occasions 1912-1951*. ed. James Klagge and Alfred Nordmann (Indianapolis, 1993), 121.

⁴³ C. Levi-Strauss, *Tristes Tropiques: An Anthropological Study of Primitive Societies in Brazil*, tr. John Russell (New York, 1967).

чужими обитателями или антропологизированными куклами – Пиноккио, которым почти нельзя верить? Мне кажется, единственный проход через эти мосты возможен путём своего рода исторической или антропологической лицензии или скачка веры, креативной аналогии или анахронизма, интерпретации и перевода, или парафразы, в которой что-то, должно быть, уже потеряно; разумно было бы определить границы этой версии герменевтического круга.

Компаративной истории, если она должна так называться, следует продолжаться где-то между этими полюсами скептицизма и легковерия, между знакомством, объединённым мостом критической науки. Я не хочу сказать, что за такими парадоксами не стоят добрая воля, понимание, и даже интересные результаты в достижении некоторых целей, но это значит предположить, что они занимают междисциплинарную область, требующую стандартов и методов, лежащих за пределами границ исторической дисциплины, и что необходим определённый скачок веры для того, чтобы найти подходящее основание, где относительность можно преодолеть или избежать. Компаративная история ведёт нас за пределы того, что Леруа-Ладюри называет «территорией историка».

После этих очень общих размышлений позволю себе привести несколько примеров, чтобы проиллюстрировать мои критические замечания и дать некоторые конкретные основания для компаративистской дискуссии. Среди историков-компаративистов, работающих в моей общей области исследования, двумя яркими примерами были Фернан Бродель и Уильям МакНейл, несмотря на то, что трудно здесь и где-либо ещё отделить компаративную историю от глобальной (всемирной, всеобщей) истории. И Бродель, и МакНейл делают широкие суждения, но они опираются в основном на универсальных основания, такие, как климат, география, биологические режимы, групповое поведение и другие контексты, которые можно воспринимать как природные – или ещё материальные цивилизации и мировые экономические или протокапиталистические рыночные системы, связанные с наиболее рудиментарным (и, в самом деле, доисторическим) уровнем культуры – «сначала идёт еда» (нем.) То, что они предлагают – это некий вид универсального растворителя, в котором исчисляемые данные могут однообразно раствориться и, таким образом, подчиниться общим суждениям. Но непосредственно исторические вопросы часто остаются, как в существенной демографической равнозначности, которую Бродель усматривает между Китаем и Европой – и которую всё же надо объяснять несколько иными факторами. Действительно ли этот тип факторного анализа даёт основания для «компаративной истории»?

Другой пример, более близкий к типу истории, которым я обязан исследованиям этих дней – это «компаративная история идей», если обратиться к заголовку совершенной работы профессора Хаджиме Накамуры,

которая следует путём Дежерандо, но с поистине глобальными горизонтами⁴⁴. Здесь снова кажется необходимым искать общий знаменатель, чтобы приспособить друг к другу разброс и разноплановость идей и убеждений цивилизаций Востока и Запада; и Накамура находит его в том, что он называет «стержневыми проблемами» философии, такими, как природа богов, или Бога, природа абсолюта, поиск первичных принципов (вода, пространство, ветер, огонь, и т.д.), себя, эпистемологических и этических оснований. В этом смысле философия, мифология и религия совпадают, и Накамура находит, что разделение между философией и религией есть западная посылка, подрывающая компаративное исследование. Я нахожу интересным то, что теологически-философская структура, в которой работает Накамура, требует лишь идеи примитивной мудрости, за высвобождение от которой историки философии (западной философии, во всяком случае) боролись на протяжении поколений. Один шаг вперёд в компаративистских терминах, заключают некоторые критики – это два шага назад в исторических терминах.

Наконец, пример плодотворного компаративного исторического исследования, которое ещё продолжается, дает нам история науки, совершившая компаративный поворот, особенно известная работа Джозефа Нидхема – хотя на деле учёные раннего Нового времени ещё задолго до этого заложили основания для подобных исследований. В своем труде Нидхем вышел за пределы незрелых посылок классической социологии; но, как пишет Тоби Хафф в своём исследовании науки раннего Нового времени в исламских странах, Китае и на Западе, компаративистский проект Нидхема вышел за пределы его эклектических (и марксоидных) попыток объяснить различия языком того, что полезно было бы назвать внешней историей науки – то есть, проявления географических, экономических, социальных и политических факторов, хотя и исключая по большей части религию и культуру⁴⁵.

Что касается внутренней истории, нужно сказать, что задача легче была вызвана тем фактом, что современная наука, – по меньшей мере, точные науки – достигла универсального языка, который Галилей, как известно, называл «языком математики, (чьими характерными чертами являются) треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человеку невозможно понять её слово». Интерпретация природы, наиболее сокровенной книги, открытой человеческому исследованию, величайшего и наиболее непроницаемого Иного из всех, требует такого метаязыка для коммуникации – как, в известной степени, и всякая компаративистика.

⁴⁴ H. Nakamura, *A Comparative History of Ideas* (London, 1992).

⁴⁵ T. Huff, *The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West* (Cambridge, 1993).

В целом, как мне кажется, компаративная история – то есть, компаративные исследования, зависящие от истории – не может претендовать на что-то вроде больших нарративов старомодной всеобщей истории или спекуляций по поводу заглавных букв «П» – «Просвещение» и «К» – «культура». Скорее ей следует заниматься проблемами, которые являются доказанно общими – то есть, «природными», как говорят учёные – для разных культур, такими, как гендер, семья, наследование, ритуалы рождения и смерти, самоубийства, торговля, технология, собственность, рабство, расизм, империализм, революция, наука; и нужно осознавать не только концептуальные ограничения компаративной линии постановки вопросов, но также и неизбежно неисторический и интерпретативный характер её ответов. Слишком много не поддающихся классификации факторов избегают сети компаративизма. Это значит, что компаративные исследования должны быть междисциплинарными в подходе, и в этом отношении должны превзойти условные методы истории. Практика и теория того, что называется компаративной историей, должны включать в себя находки и метаисторические послылки других гуманитарных наук, включая социологию, политологию, возможно, философию, и особенно антропологию; и в поиске надёжной почвы она должна выйти за пределы «территории историка».

Ныне я, по меньшей мере, избирательно симпатизирую таким метаисторическим и синтетическим проектам, но я предпочитаю не путать их с историческим исследованием и критикой как таковой. Я приношу свои извинения тем, кто имеет более широкие устремления, за явно негативную направленность этих заметок; но я говорю лишь как скептик и, несмотря на заигрывания с другими дисциплинами, в основном не компаративист. Сама по себе история всегда лучше ставила вопросы, нежели находила на них ответы, и я надеюсь, что эти вопросы могут быть полезными в нахождении приемлемых оснований для сравнения.

Перевод М.М.Горелова

Л.М.Макарова (Сыктывкар)

Идеология нацизма: основные аспекты создания и функционирования

Проблема идеологии национал-социализма, начиная со времени ее возникновения, привлекает внимание исследователей разных стран. И все же ее изучение еще не завершено. Даже из всей совокупности работ, в разной степени ее рассматривающих, нельзя составить единого представления ни о понятии идеологии, ни о ее содержании или тем более функционировании. Анализируются лишь отдельные элементы идеологии, реже констатируется связь между ними.

Сложность изучения проблемы обусловлена, в частности, тем, что нацистская идеология была ориентирована на создание типа личности, единственно приемлемого для режима. Эта установка вызвала необходимость соединения систем ценностей разнородных социальных групп, что должно было негативно отразиться на целостности создаваемой идеологии¹. Преодоление потенциального эклектизма потребовало от составителей идеологии разработки особых методов не только ее конструирования, но и внедрения в массовое сознание, в результате чего идеология и пропаганда должны были функционировать по принципу взаимодополнения и составить единый механизм.

Для исследования этих особенностей необходимо изменить подход к традиционным источникам, обратить особое внимание на тесную связь между ними, определить уровень их преемственности и взаимодополняемости. В первую очередь это касается трех ведущих источников – Программы НСДАП, книг А.Гитлера «Моя борьба» и А.Розенберга «Миф двадцатого столетия»². Все они появились в те-

¹ У некоторых исследователей возникало даже искушение поставить под вопрос самое ее существование. Считалось, что нацисты были людьми действия, опирающимися на интуицию. См., в частности: *Koel R. Feudal aspects of National Socialism//American political science review. 1960. N4. P.925; Maltitz H. The evolution of Hitler's Germany. New York, 1973. P.19, 21.* Несколько меньшей прямолинейностью отличается точка зрения М.Баркина, который считает отсутствие системы лишь формой изложения нацистской идеологии и отмечает, что это обстоятельство, а также памфлетный характер большинства нацистских публикаций, способны лишь создать впечатление отсутствия идеологии. *Barkin M. Disaster and the millennium. New Haven – London, 1974. P.194.*

² Программа НСДАП анализируется по изданию: *Tyrell A. Führer befiehl.. Selbstzeugnisse aus der "Kampfzeit" der NSDAP. Gondrom Verlag GmbH+Co. KG, Bindlach 1991. S.23-26.* Гитлер А. Моя борьба. /Пер. с нем. ИТФ "Т-Око", Лобанов С.Н., 1992; *Rosenberg A. Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Munchen, 1942.*

чение десяти лет – соответственно в 1920, 1926 и 1930 гг., до захвата нацистами власти.

В самом раннем из них – 25 пунктах Программы – содержатся краткие формулировки будущих основных нацистских действий. Для удобства анализа целесообразно сгруппировать эти пункты по основным блокам с точки зрения их значимости не только в момент создания программы, но и на более отдаленную перспективу. В программе доминируют те пункты, в которых идет речь о расовых ограничениях при получении германского гражданства, о специфике религиозных предпочтений и о правовых и социальных нормах. Именно на этой основе планируется создание нового германского государства и формулируются его цели. Таким образом, изначально закладывается подчеркнуто конфронтационный характер нацистского господства, агрессивное неприятие послевоенной реальности.

Разумеется, будущие нацистские идеологические установки обозначены в Программе лишь поверхностно, однако их формулировка изначально предусматривает расширительное толкование. Так, суждения о «позитивном» христианстве уже на уровне программы позволяют предположить наличие также и его «негативной» разновидности, и при расовой заданности программы легко предположить, что речь пойдет о критике Ветхого Завета³. Пункт о поддержке материнства впоследствии нашел выражение в организации «Lebensborn»⁴, сыгравшей роль при создании нацистского типа человека, пункты 1 и 3 о Великой Германии и необходимости разместить избыточное население превосхищают формулирование и реализацию тезиса о «жизненном пространстве»⁵.

В работе Гитлера содержится уже более подробная расшифровка программы. Основная тема та же – величие Германии при условии в первую очередь освобождения от еврейского засилья во всех сферах жизни и воссоздания прежнего, физически здорового и политически подчиненного арийского человека. Эти две идеи – антисемитизм и новый человек – абсолютно доминируют в книге и представлены в разных комбинациях, так что в конечном итоге смысл получается один –

³ Впоследствии А.Розенберг первую часть своей книги построил по принципу противопоставления Ветхому Завету.

⁴ Lebensborn – «Источник жизни», программа селекционного отбора, осуществлявшаяся СС с целью укрепления арийской расы. Программа включала также вывоз из оккупированных стран «расово приемлемых» детей с целью их последующей передачи в немецкие семьи.

⁵ Анализ программы с политической точки зрения содержится, в частности, в работе: Фест И. Гитлер: Биография. Т.1. Пермь: Алетейа, 1993. С.202-203. Идеологические параметры, помимо антисемитизма и «жизненного пространства», он не рассматривает.

расовая борьба, в которой арийский человек должен одержать безусловную победу и обеспечить величие Германии или погибнуть. На это основной смысл указывает и название книги⁶. Таким образом, уже здесь закладывается нацистская философия истории пока применительно только к Германии. Впоследствии с гораздо большей детализацией и уже относительно всего мира эта концепция будет изложена в книге А. Розенберга.

В то же время суждения Гитлера не ограничиваются расистским моделированием лишь социальных и политических отношений. Гитлер часто подчеркивает зависимость человека от внешних сил, которые он называет «природными», и таким образом борьба с еврейством приобретает в книге эзотерический смысл: еврейское господство, по Гитлеру, не ограничивается земным планом, оно имеет космический характер. Гитлер не только излагает содержание основных идей и способы их пропаганды, но и рассматривает процесс создания идеологии, подчеркивая ее искусственный характер. В его сочинении очень тесно переплетается механизм конструирования идей с механизмом их внедрения. По сути дела, это два уровня одного действия, при котором недостаточная целостность идеологии преодолевается при помощи перевода идей на иррациональный уровень.

В работе А. Розенберга наиболее важны первая и третья книги, представляющие расширенное толкование ведущих сторон книги Гитлера, но несколько в ином ключе. Хотя обе работы появились в один период, предшествовавший приходу нацистов к власти, в них по-разному оценивается прошлое и настоящее Германии. Если Гитлер занят чисто утилитарной целью – при помощи разоблачения Веймарской республики подготовить общественное мнение к признанию надвигающихся перемен, то Розенберг излагает в своей работе историю человечества, сводя это человечество лишь к представителям арийской расы, а историю – к их борьбе с врагами из низших рас. Германская история расплывается, таким образом, до масштабов арийской, охватывая иное пространство и время, заявляя о будущих притязаниях на мировое господство. Декларируется онтологически иной принцип, основанный на мифе крови, события мировой истории и культуры получают совершенно иное толкование. Арийский человек у Розенберга описан очень подробно, включая телесность, развернуто интерпретируется его социальная функция.

⁶ Ф.А. Ротштейн считает, что название «Моя борьба» Гитлер позаимствовал у доктора Ф.В. Фёрстера. Его книга под названием «Моя борьба против милитаристской и националистической Германии» (1920) имела успех и широкий круг читателей. Однако книга Гитлера – своеобразное отрицание Фёрстера, поскольку последний был пацифистом. См. *Ротштейн Ф.А. Из истории прусско-германской империи. М.-Л., 1948. С.197.*

Максимальное, сравнительно с предыдущими двумя источниками, внимание Розенберг уделяет эзотерической стороне проблемы, его борьба рас охватывает не только земное, но и космическое пространство. Много места в его работе поэтому занимает рассмотрение древних религиозных культов как атрибутов арийской культуры, а также христианства и других мировых религий – индуизма, буддизма, в том числе и с точки зрения степени арийскости библейских и других персонажей.

При сопоставлении книг Гитлера и Розенберга обращает на себя внимание стиль изложения. Популяризаторское красноречие Гитлера и уровень его аргументации предполагают в качестве адресата низкообразованные слои общества⁷, в то время как бесконечные перечисления имен богов, героев, политических и религиозных деятелей разных времен и народов у Розенберга явно предназначены для интеллектуалов, причем скорее технического, а не гуманитарного профиля, поскольку гуманистический, за исключением студенчества, само по себе нагромождение имен и ссылок еще не убеждает в правоте автора. Для обеих книг характерны также не логические, а ассоциативные внутритекстовые связи.

Помимо перечисленных работ, дополнительные сведения о создании и функционировании идеологии можно также почерпнуть из речей Гитлера и других нацистских лидеров, материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками, воспоминаний узников нацистских концлагерей⁸.

Осмысление нацистской идеологии как единого целого предполагает привлечение данных смежных дисциплин, также занимающихся проблемой человека – психологии, лингвистики, социологии, философии, религиоведения, частично биологии. Это вызвано необходимостью более широкого обращения к проблеме психологических особенностей человека, генерации идей, специфики их восприятия.

Нацистский способ отношения к действительности – это переписывание мира на свой лад. Основные элементы идеологии в таком случае предстают в качестве совокупности элементов этого мира, которую можно для удобства изучения обозначить понятием текста.

⁷ Католический исследователь Р.д'Аркур оценивает лексику, которой оперирует Гитлер, как вульгаризированное ницшеанство, вероятно, имея в виду налет реакционного романтизма. *Harcourt R. de Catholiques d'Allemagne*. Paris, 1938. P.46-47.

⁸ *Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера.* / Пер. с нем. Смоленск, 1993; *Паушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны.* М., 1993; *Nazi conspiracy and aggression.* V.1-8. Washington, 1946. Мемуары принадлежат французской пианистке Ф.Фенелон, австрийским психотерапевтам Б.Беттельхейму и В.Франклу. *Fenelon F. Sourcis pour l'orchestre.* P., 1980; *Bettelheim B. The informed Heart: Anatomy in a mass age.* London, 1961 (русский перевод: Беттельхейм Б. Просвещенное сердце // Человек. 1992. №2-6); *Франкл В. Человек в поисках смысла.* М., 1990.

Единственным признаком этого текста должно быть лишь наличие какого-либо значения, тогда возникает возможность применения герменевтического метода. Такой подход, в свою очередь, предполагает возникновение герменевтического круга, включающего предсуждения относительно каждого элемента, а затем расширение этого круга до уровня историографии предмета, которой в данном случае будет принадлежать роль метаязыка. Однако отмеченных значений может быть множество, поскольку элементы идеологии в силу их исходной релятивности имеют зачастую противоречащие друг другу значения, и выбор единственно верного невозможен. Этим, в частности, объясняется многозначность историографических трактовок нацистской идеологии, временами доходящих до отрицания самого ее существования.

Необходимо поэтому найти такие скрытые связи в структуре идеологии, благодаря которым конгломерат идей и образов различного уровня рационализируемости будет прочтен как ясная и четкая структура. В этом случае каждый элемент внутреннего контекста выступит в качестве единицы языка и одновременно элемента мира, будет иметь единственное, лишь ему присущее значение и соответственно этому собственное вполне определенное место.

Поэтому главной задачей оказывается выявление собственной природы этой многозначности, которая и ставится в центр исследования. Для этого необходимо представить иную организацию элементов идеологии, где самим идеям отводится второстепенное место относительно интегративных (синтезирующих) качеств, критерием для которых может быть уровень рационализируемости включенных идей. Соответственно этому можно выделить рационализируемые идеи, условно рационализируемые (к ним относятся все утопические построения, касающиеся арийского будущего Германии) и нерационализируемые (все, что связано с мифотворчеством). В силу специфики нацистской идеологии эти три уровня могут присутствовать внутри одной идеи, в зависимости от обстоятельств и адресата проявляясь разными сторонами.

В первую очередь интерес представляет понятие идеологии. Гитлер свои рассуждения на эту тему начинает с терминологической замены. Самый термин «идеология» он не употребляет, вместо него прибегая (как впоследствии и Розенберг) к другому – «мировоззрение», предполагающему не осмысление, а интуитивное восприятие, делающее невозможным опровержение нацистской идеологии при помощи рациональных доводов. Такой эффект достигается за счет значащего оформления идеологии – использования значков, флагов, цветовое значение которых Гитлер подробно разбирает.

В трудах историков понятие чаще всего фиксировано на интуитивном уровне и обозначает просто совокупность идей. Однако в некоторых случаях дается и ее определение как строгой рациональной фи-

лософской системы, подчиненной единой цели и изложенной в виде компактного сочинения⁹. Политологи и философы при анализе проблемы временами также используют заимствованный из нацистской публицистики термин «мировоззрение», придавая ему иной относительно нацистского концептуальный смысл. Так, политолог Ц.Касинелли считает, что этот термин призван подчеркнуть отсутствие в нацистской идеологии позитивного содержания¹⁰.

Развернутая характеристика политической идеологии принадлежит политологу Ф.Гросу. В его работе 1948 г. отмечается обусловленность структурных элементов идеологии политической, экономической и социальной системами общества. Что же касается целей идеологии, по Гросу, они яснее всего выражены в программах. На этом основании Грос и автор вступительной статьи цитируемой работы Р.Макайвер объединяют идеологию и программу общим понятием идеологической системы¹¹. Принцип не нов, авторы являются последователями французского философа и политика А.Дестюта де Траси (1754–1836). Предложенный ими системный подход может быть плодотворным при анализе идеологии нацизма. Механизм связи идеологии и программы в трактовке Гроса выглядит следующим образом: идеология понимается как система ценностей, из нее вытекают цели, формирующие ядро политических программ. Однако представление об указанных ценностях, как и о целях, особенно рассчитанных на длительные сроки, может быть неадекватным. В этом случае идеология скорее приближается к религии, приобретает качества социального мифа, ее связь с программой становится условной. Наибольшую сложность в идеологической системе, как полагают Грос и Макайвер, представляет вопрос о формах материализации идей и о степени соотношения идей и меняющихся условий. Последнее обстоятельство, по их мнению, усложняется еще и тем, что в массовом сознании идеология и программа синонимичны¹². Как представляется, у нацистов связь идеологии и программы продолжала сохраняться в большей степени за счет краткости и неопределенности формулировок последней.

Политологи и социологи, в частности, Грос и Д.Белл, традиционно выделяют в идеологии истинные и ложные идеи. К истинным идеям в их понимании относятся любые программы и системы ценностей, к ложным – утопия, миф. Понятие истинности и ложности не связано в их трудах ни с научностью, поскольку они отрицают научность любой

⁹ См., в частности: *Maltitz H.* Op.cit. P.21.

¹⁰ *Cassinelli C.W.* Totalitarianism, ideology and propaganda// *Journal of politics.* 1960. N1. P.72.

¹¹ *Gross F.* The mechanics of european politics// *European ideologies: a survey of the 20th century political ideas.* Introd. by R.M.Maclver. New York, 1948. P.XIII, 5-7.

¹² *Ibid.* P.XVIII, 12, 45.

идеологии, ни с гуманностью, так как идеи не анализируются с точки зрения их прогрессивности или реакционности.

Больше всего внимание исследователей разных специальностей привлекает миф. Как и другие приводимые понятия, он лишен конкретного содержания и в зависимости от контекста может означать как частный пример ложной идеи (такое мнение присутствует в работе Р.Сэмюэла, профессора германской филологии в Мельбурне), так и часть идеологии (таков взгляд американского историка Ф.Карстена)¹³. Ученики французского социолога Ж.Сореля распространяют этот термин на всю идеологию. В исследовании проблематики мифа особое место принадлежит философу и специалисту в области истории религий М.Элиаде¹⁴. Из нескольких значений мифа, которые он предлагает, наибольшую ценность в данном случае имеет понимание мифа как формы коллективного мышления. Миф предлагает особое восприятие времени и пространства, исключаящее причинно-следственное построение. В силу этого обстоятельства в мифе нет главного и второстепенного. Для мифа характерно создание типичных моделей для всего общества. Исторический персонаж может превратиться в архетип, реально действующее лицо приобрести черты мифического героя. В таком его качестве миф может быть не только составной частью идеологии, но и одним из механизмов ее формирования и функционирования.

По мнению политологов А.Крамника, Ф.Уоткинса, частично Р.Сесла, нацистская идеология была типичным примером ложного сознания (как и все остальные, она предлагала «царство божие на земле»), иной была только основа – не абстрактная гуманистическая идея или личное «я», а раса и почва. В то время как другие доктрины предлагали спасение всему человечеству, нацизм был исключительно предан делу «расы господ» и не предусматривал равенства¹⁵. Приведенные суждения – один из примеров анализа, фрагментарно затрагивающего как содержательный, так и структурный аспекты.

С этими суждениями связан вопрос о степени научности идеологии нацизма. В основном исследователи полагают синонимичными антинаучность и иррациональность. Они считают, что главная особен-

¹³ Samuel R.H. The origin and development of the ideology of National Socialism// Australian journal of politics and history. 1963. N1. Carsten F.L. The rise of fascism. 2d ed. Berkeley and Los Angeles, 1980.

¹⁴ Основные работы, в которых рассматривается проблематика мифа: Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000; он же. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998; он же. Мифы, сновидения, мистерии. Рефл-бук, Ваклер, 1996; он же. Священное и мирское. М., 1994. Написаны эти работы были в 40-50-е гг.

¹⁵ Kramnick I., Watkins F.M. The age of ideology – political thought 1750 to the present. 2d ed. New York, 1979. P.84-90; Cecil R. The myth of the master race. London, 1972. P.85.

ность идеологии как проявления ложного сознания заключается в стремлении придать идеям трансцендентность, то есть выйти за пределы чувственного опыта. Для подобных взглядов характерны иногда прямые аналогии между нацизмом и мистическими откровениями средневековья или религиозными движениями, что, в свою очередь, оказывает воздействие на вопрос о времени возникновения основ идеологии. Главное расхождение обусловлено тем, насколько внимательно и объективно исследуются иррациональные черты идеологии.

Одни историки (например, Ж.Амслер) относят истоки идеологии к раннему средневековью и обосновывают ее реакционность, относительно которой авторы единодушны, простым несоответствием духу XX в. Слабой стороной приведенных суждений является их недостаточная аргументированность, поскольку специфику XX в. они не раскрывают и не принимают во внимание многообразия идеологий этого времени. Подобные концепции характерны для работ как 30-40-х, так и 60-80-х гг.¹⁶ Между тем относительный успех всего нацистского мероприятия по созданию «мировоззрения» обеспечивался тем, что общие идеологические тенденции в Германии этого периода (что отмечают лишь исследователи религиозного сознания)¹⁷, отражали тяготение к иррациональному, поиск неизвестного, ожидание чуда – защитную реакцию населения на невозможность справиться с ситуацией.

Представители второй группы (Р.Сэмюэл, М.Штайнерт) придерживаясь противоположной точки зрения, считают, что выводить нацистскую идеологию из глубин германского прошлого – от Лютера, а тем более от Тацита – значит попасть в ловушку национализма¹⁸. Наибольшее распространение получили суждения представителей третьей группы (И.Крамник, М.Биддис), стремящихся отнести истоки идеологии фашизма к XVIII–XIX вв., приурочить ее начало ко времени становления буржуазного национализма, а точнее – к появлению того или иного труда, впоследствии использованного в нацистской публицистике.

Общая оценка идеологии нацизма как простой суммы идей определила основной принцип ее изучения как отечественными, так и зарубежными исследователями: стремление с разной степенью полноты осветить произвольно избираемые составные части этой идеологии и

¹⁶ *Amsler J. Hitler. Paris, 1960. P.90, 150. Dumézil G. Mythes et dieux des Germains. Paris, 1939; Nova F. The National Socialist Fuereerprinzip and its background in German thought. Philadelphia, 1943; Cohn N. Les fanatiques de l'Apocalypse. Paris, 1962; Koehl R. Op.cit. P.928.* Правда, Р.Коуль, говоря о феодальном характере идеологии германского фашизма, замечает, что термин феодальный применительно к фашизму не означает феодального происхождения последнего.

¹⁷ См., например: *Patry R. La religion dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Paris, 1926.*

¹⁸ *Samuel R.H. Op.cit. P.60; Steinert M.G. L'Allemagne national-socialiste 1933–1945. Paris, 1972. P.14.*

отсутствие системы при определении ее теоретических основ и источников заимствования. Любая идеология, претендующая на влияние, обосновывает свою значимость опорой на традиции и авторитеты, зачастую создавая видимость логического развития там, где в реальности наличествует лишь технический прием. Эта опора в разные периоды существования нацизма менялась, многие идеи, необходимые в период подготовки к захвату власти и популярные до 1933 г., впоследствии не фигурировали в официальной публицистике. Коуль и Касинелли утверждают, например, что почти не переиздавались в нацистской Германии труды основоположника теории «жизненного пространства» Ф.Ратцеля¹⁹. Однако есть некоторая недоговоренность в таких работах: из наблюдений не следует вывода о ситуативности как неотъемлемом качестве идеологии нацизма и о трансформации идей. В частности, теория «жизненного пространства» была поглощена идеей «нового порядка».

В некоторых случаях исследователи (в частности, Х.Мальтиц), подразумевая под идеологией только ее рационально понимаемую политическую составляющую, полагают, что нацисты включали в свой арсенал многие идеи, составляющие часть немецкой культуры (например, культ германского прошлого или германский романтизм), даже не испытывая в них прямой необходимости²⁰. Между тем именно немецкие романтики, в частности, Р.Вагнер, подняли на щит националистический культ прошлого. Помимо этого, эмоциональность восприятия романтизма нацисты противопоставили рационализму, который они считали чуждым по духу. Внутренние религиозные расхождения в Германии между лютеранством, иными разновидностями протестантизма и католичеством привели к тому, что ни одно из существующих религиозных течений не могло сыграть мобилизующей национальной роли. Поэтому в основе нацистских иррациональных построений оказались гораздо более архаичные источники национального единения. В нацистской публицистике, в первую очередь у А.Розенберга, начали оживать старые тевтонские мифы, еще в XIX в. питавшие романтический национализм. В массовое сознание они вошли через музыкальное творчество Р.Вагнера, в первую очередь его оперную тетралогия «Кольцо нибелунга», приблизившую к рядовому обывателю мистический мир раннего немецкого средневековья.

Характерное для нацистов стремление причислить к арийскому прошлому все сколько-нибудь значимые имена и явления мировой истории делает спорным понятие «предшественники», о которых много говорилось как в отечественной, так и в зарубежной историографии.

¹⁹ Koel R. Op.cit. P.928; Cassinelli C.W. Op.cit. P.71.

²⁰ Maltitz H. Op.cit. P.15.

В историографии к предшественникам идеологии нацизма в одних случаях относят авторов трудов, непосредственно использованных для конструирования этой идеологии (в первую очередь Ж.А.Гобино, писавшего о неравенстве человеческих рас), в других – популяризаторов, а зачастую и фальсификаторов научных сочинений более раннего периода. Так, Х.С.Чемберлена почти единодушно считают предшественником идеологии нацизма, но одновременно отмечают, что его книги не оригинальны, а являются переложением идей Гобино и Ж.Ваше де Лапужа²¹. Такая прямолинейная постановка вопроса представляется не совсем корректной, поскольку не отражает сути вопроса. Нацистская идеология была искусственной конструкцией, поэтому значение имели не столько теоретики, сколько пригодность их идей или отдельных высказываний для использования в нужном направлении. Их целостное мировоззрение в таком случае, при признанном расовом соответствии, не имело значения. Примером может служить Ч.Дарвин, труды которого оказали существенное воздействие на исследователей разных специальностей и частично по этой причине были использованы нацистами²². Поэтому и в данном случае интерес представляют не только и не столько источники заимствования, сколько способы организации заимствованных идей. Очень показательна в этом отношении книга А.Гитлера, в которой он начинает с того, что обращает внимание на негативную роль евреев для истории Германии, создает образ не только враждебный политически, но и крайне непривлекательный телесно²³, воздействуя одновременно на интеллектуальное и эмоциональное восприятие потенциальных читателей. Затем он постепенно объясняет негативным влиянием евреев отрицательные стороны германских политических институтов, прессы, наконец, проводит прямую связь между марксизмом и евреями. Он следует собственным пропагандистским рекомендациям – ограничиваться небольшим количеством идей – и одновременно выдвигает ключевую идею, которая придает единство прежде разрозненным компонентам.

Источники заимствования из работы Гитлера вычлнить крайне сложно: он ссылается в тексте лишь на австрийских пангерманцев Шёненера и Люгера, пропагандистов националистической идеи *völkisch*. Однако местами он почти дословно цитирует «Протоколы

²¹ Carsten F.L. *Op.cit.* P.31; Grasse P.P. *Op.cit.* P.319; Samuel R.H. *Op.cit.* P.66; Racisme, science and pseudoscience. Paris, 1982. P.66.

²² Влияние трудов Дарвина на другие науки наблюдал еще Н.И.Кареев. См. его «Историко-философские и социологические этюды». СПб, 1895. С.60. Прим. 30. Использование идей Дарвина нацистами отмечают: Biddiss M.D. *The age of the masses: Ideas and society in Europe since 1870. Atlantic Highland (N.Y.)*, 1977. P.227; Grasse P.P. *L'homme en accusation de la biology a la politique*. Paris, 1980. P.38.

²³ Гитлер А. Указ.соч. С.50-51.

сионских мудрецов» – реакционное сочинение, автором которого считается С.Нилус²⁴. Поскольку общая идея безусловной вины евреев во всех бедах человечества и их притязания на мировое господство составляют содержание книги Нилуса, создается впечатление о ней как единственном источнике Гитлера²⁵.

Что касается книги А.Розенберга, в ней присутствуют многочисленные ссылки на работы, появившихся в период с конца XIX в., однако они выполняют роль камуфляжа, придавая книге вид научного сочинения. Главное здесь не в цитируемых работах, а в общей концепции труда, развивающего далее идеи, заложенные в книге Гитлера. В соответствии с изменением политических позиций нацистов в Германии Розенберг несколько иначе расставляет акценты: так, к 1930 г. уже начала действовать под его руководством Лига борьбы за немецкую культуру, и Розенберг разрабатывает в своей книге арийский эстетический идеал. Далее, помимо неарийцев, у него появляется еще один объект атак – церковь, а точнее, религиозная идеология, с иной системой ценностей, а потому в качестве альтернативы представляющая опасность. Розенберг развивает идею «позитивного» христианства и подвергает резкой критике «неарийские» разделы Библии.

Все же, несмотря на резко негативное (по свидетельству Г.Раушнинга) отношении Гитлера к христианству, открыто на религию нацисты не покушались и последовательно отвергали обвинения в атеизме, настойчиво подчеркивая, что речь идет о новой «религии крови», обладающей неопределимыми преимуществами перед сектантством существующих церквей²⁶. Нацистская символика внедрялась в храмы, создавая, вначале в зрительном восприятии верующих, устойчивую связь несоотносимых на первый взгляд положений: расизма и

²⁴ В моем распоряжении было издание: Нилус С. Близь есть при дверехъ. Б.м., 1997. Перепечатка с издания 1917 г. Максимальное сходство его с книгой Гитлера касается вопросов о связи евреев с масонами, о налогах и процентах, об университетах и власти. В целом создается впечатление, что Гитлер черпал свои идеи именно из этого сочинения. Подробно влияние «Протоколов...» на нацизм рассмотрено в работе: Кон Н. Благословение на геноцид: Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов» / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1990. Однако речь там идет в основном о программе уничтожения евреев.

²⁵ Совершенно иного мнения на этот счет придерживается известный итальянский политолог Дж. Галли, который утверждает, что в мюнхенский период Гитлер много читал и поддерживал важные деловые контакты, без чего необъясним быстрый взлет его популярности, в том числе среди интеллектуалов. Правда, основное внимание Галли уделяет анализу контактов Гитлера с представителями эзотерических обществ. См.: *Galli G. Hitler e il nazismo magico. Milano: Rizzoli, 1989. P.28.*

²⁶ *Rauschnig H. The voice of destruction (Hitler speaks). New York, 1940. Ch.4. Rosenberg A. Op.cit. S.143.*

троичности Бога, идеологических постулатов нацизма и религиозного откровения.

Сопоставляя христианские направления в Германии после первой мировой войны, исследователи подчеркивают, что при общей неустойчивости послевоенного религиозного сознания наиболее склонными к трансформации культа были тогда в Германии протестанты, находившие, что их вероучение слишком схоластично, лишено элемента поклонения, который у католиков занимает серьезное место. И постепенно, к началу 30-х гг., среди протестантов выделились два пронацистски ориентированных направления: *Deutsche Christen*, последователи Гитлера, и *Glaubensbewegung*, больше ориентированная на мистические установки Розенберга. Нацизм заполнил вакуум в жизни многих немцев, предложив эмоциональный, полурелигиозный язык, пригодный как для обоснования его собственных политических целей, так и для правдоподобного объяснения послевоенных германских трудностей.

Нерационализируемая система ценностей, присутствующая в сознании индивида, может при определенном сочетании идеологических и политических факторов размываться, интегрируя мистический иррационализм, по большей части не религиозный, а политический²⁷. В Германии распространенный тогда иррационализм был ориентирован не только на христианство. Там существовала разветвленная сеть разного уровня мистических и полумистических обществ. Поскольку в связи с проигранной войной и на фоне незавершенности складывания немецкой нации обострились национальные проблемы, многие из этих обществ, в частности, *Thülegesellschaft*²⁸, или созданная в 1924 г. генералом Э.Людендорфом Лига Танненберга, были проникнуты националистической идеологией, часто переходящей в расизм.

Нацистская мифологизация общественного сознания последовательно осуществлялась через обращение к наиболее универсальным архетипам – времени и пространства. Существенной частью обращения к средневековью была хилиастическая идея «тысячелетнего царства» (*Tausendjährige Reich*), традиционно связанная с антисемитизмом, поскольку одной из ее составных частей была концепция еврейского заговора, препятствующего реализации этой идеи. Как многие хилиасты, нацисты смотрели назад, в «золотой век». Ситуация с идеей тысячелетнего царства была в Германии иной сравнительно с другими странами, поскольку там не было институционального центра –

²⁷ Этот вопрос рассматривала, в частности, группа исследователей под руководством Т.Адорно: Adorno Th. et al. *The authoritarian personality*. N-Y, 1969.

²⁸ Подробная его история изложена в работе: Mabire J. *Thulé: le soleil retrouvé des hyperboréens*. Paris, 1978.

единой церкви с готовой теологией. Поэтому развитие идеи должно было пройти более сложный путь. В результате манипулирования конкретно-историческими данными с целью придания им трансцендентности – в частности, широких апелляций к истории реально существовавшей на протяжении тысячи лет Священной Римской империи германской нации (800–1806) – нацистская идеология при помощи термина «тысячелетний рейх» дословно воспроизвела идею позднесредневекового мессианизма. В итоге получилось мистическое параллельное пространство, где разворачивалась эсхатологическая драма борьбы с «космическим злом», олицетворением которого считались евреи. Однако, в отличие от традиционной эсхатологии, это новое пространство принадлежало земному, плотному плану, тысячелетний рейх оказался царством «мира сего», что вместе с попытками обожевления фюрера вызвало со стороны священнослужителей, особенно католиков, обвинение в сатанизме.

Размывание христианства шло в сторону попытки его контаминации с языческими культами древних германцев, безусловно, модернизированными, поскольку языческие ритуалы искусственно накладывались на менталитет человека XX в. и чисто формально заполняли в нем нишу, отведенную иррациональному в сознании. Однако в реальности это оказалось одним из способов перевода конкретных идей на интуитивный уровень. В своей наиболее расплывчатой части нацистская идеология представляла собой симбиоз примитивного космизма, сведенного к псевдоязыческому обоснованию германского превосходства, и элементов христианства. Синкретизм, таким образом, получался крайне поверхностным, в суть разнородных концепций нацисты не вникали. На этом уровне не принимались в расчет и различия между протестантизмом и католицизмом, учитывались лишь их организационные особенности, в частности, для католиков – необходимость считаться с Римом.

В то же время нельзя недооценивать умение нацистов максимально подключить к общей пропагандистской обработке населения магию псевдоязыческих обрядов: факельных шествий, праздников летнего и зимнего солнцестояния, а впоследствии попытку создать в этой области (правда, без особого успеха) и альтернативу христианству по обслуживанию жизненного цикла человека – крещения, свадьбы, похорон. Для практики подобных ритуалов характерен полилингвизм: разноплановые пространства сливаются, привычное пространство трансформируется в сакральное, четкие его границы отсутствуют, и зрителю достаточно смотреть на стилизованную процессию из окна (для этого требовалось лишь наличие соответствующего костюма, в большинстве случаев из времен германского средневековья), чтобы чувствовать себя включенным в общее участие.

Функция обрядов была традиционной – создание групповой энергии как варианта самогипноза. Ставка делалась на интуитивное, нерационализируемое приобщение к нацизму на основе эксплуатации как национального, так и религиозного чувства. Ритуал в данном случае являлся только вопросом формы, которая помогала выразить религиозное чувство при изменившейся его направленности. Происходило явление, именуемое иногда в научной литературе «ритуалистической заменой», когда прежний, известный из другого опыта ритуал включается в новую, отличную от прежней, систему идей. Для таких целей нацисты отбирали жизнеспособные ритуалы, имеющие универсальный характер и позволяющие многоплановое прочтение. Нацистское манипулирование христианскими и псевдоязыческими обрядами имело целью доказать ведущую роль ариев в космическом масштабе. Об этом свидетельствует и символика с преобладанием в ней солярных и планетарных символов: рунический знак СС, свастика, факельные шествия, ритуальные танцы с обязательным включением движения по кругу были солярными символами и апеллировали к древней арийской традиции, колыбелью которой нацисты полагали Индию. Все это не только обеспечивало зрелищность, но и придавало нацистской идеологии видимость глубины. Вероятно, такой заданностью можно объяснить и стремление нацистов сконцентрировать в Германии предметы, которым традиция устойчиво приписывает магические свойства – чудодейственное копье, некогда пронзившее Христа, чашу Грааля.

Социальная и религиозная функции символов однозначны с точки зрения их консолидирующей роли. С подобными целями могут использоваться как экстралингвистические, так и лингвистические знаки, если они обладают способностью нести соответствующий эмоциональный заряд. Таковыми в Германии были названия месяцев реформированного нацистами календаря (что дополнительно, наряду с хилиастической идеей, создавало иллюзию существования в параллельном времени). К тому же типу относились слова нацистских приветствий. Можно предполагать в этой связи, что нацистские приветствия типа "Heil Hitler" или "Sieg Heil" оказывали на произносящих их воздействие, подобное мантрам (магическим формулам призывания и заклинания богов в древнеиндийской традиции). В истории древних германцев нечто подобное применялось при подготовке к сражениям.

Параллельно этому наличие соответствующего костюма обеспечивало эмоциональное перемещение его владельца в ритуализированный мир восприятий древних германцев, мир доблестных арийцев, славного германского прошлого и грядущих побед. Влияние язычества в этих случаях выражалось еще и в возвеличивании героической

смерти, жертвенности, в презрении к старости. По мере поражения нацизма именно жертвенность постепенно выдвигалась на первый план, сообщая всем нацистским мистериям специфику деструктивности и все больший отрыв от реальности.

Разумеется, такое замещение христианства языческой обрядовостью, а тем более покушение на догматику вступало в конфликт с традиционным религиозным сознанием, хотя и пыталось опереться на привычные формы. Тем не менее, возмущение священнослужителей традиционных вероисповеданий было значительным и выражалось вначале в осуждении ими наиболее одиозных с их точки зрения проявлений, в частности, попыток сакрализации фюрера, а позднее способствовало консолидации сил представителей оппозиционной режиму исповедальной церкви (Bekennende Kirche) во главе с Мартином Нимеллером.

Одним из способов придания целостности и респектабельности идеологии были манипуляции с семантикой. Как уже отмечено, началось это с замены термина. Далее, уже в 30-е гг. историки (Э.Вермей, Р.д'Аркур) отмечают нацистские попытки, сохранив термин, изменить содержание понятия. У французского историка Э.Вермея сведения остаются на уровне простой констатации факта. Католический исследователь Р.д'Аркур весьма критически анализирует нацистские религиозные спекуляции, попытки трансформации католицизма, поэтому прежде всего его настораживает агрессивная направленность соответствующей терминологии, начиная с программы НСДАП и затем в книгах Гитлера и Розенберга.

Манипулированием д'Аркур считает в первую очередь использование расплывчатых терминов, предполагающих неоднозначное толкование. Термины он приводит выборочно, не имея в виду анализа функциональных стилей нацистского языка, главная проблема для него – защита нравственного аспекта религиозного мировоззрения²⁹.

Расовой заданностью, но вне религиозного контекста, объясняет манипуляции с семантикой американский журналист У.Дьюэл в 1942 г. Он анализирует нацистские суждения о ритме языка как расовом критерии, поскольку в нем задействована психомоторика, различная у разных рас и наиболее замедленная у нордической³⁰. Здесь можно увидеть параллель с нацистскими установками относительно мажор-

²⁹ Vermeil E. Hitler et le christianisme. Paris, 1939. Harcourt R. de. Catholiques d'Allemagne. Paris, 1938. P.9-15, 46-47, 54.

³⁰ Deuel W. People under Hitler. London, 1942. P.120.

ной тональности в музыке как показателя «внутреннего ритма арийской души»³¹.

Дьюэл отводит языку важную роль в механизме связи теории и практики. Приспособлением к практике расовой теории он считает замену терминов «арийский» и «нордический» иными, более нейтральными, что, по его мнению, могло облегчить лавирование в вопросе о потенциальных союзниках.

Особо останавливается Дьюэл на функциональной роли имен, выбор которых должен был свидетельствовать в первую очередь о генетической принадлежности к определенному арийскому роду (с этой целью поощрялось обращение к именам патриархов фамилии, а не использование новых, прежде ей чуждых). В более широком смысле, по Дьюэлу, выбор имени становился одним из методов нацистской социализации, поглощения индивида арийской общностью³².

Очень подробно проблему нацистских имен и в целом специфику переименований рассматривает немецкий филолог В.Клемперер. Его работа, посвященная языку в нацистской Германии, появилась в 1946 г. Отметив, что изменение имен, как один из наиболее явных символов перемен, закономерно сопровождает любую революцию, Клемперер таким образом расширяет вопрос до уровня языкового знака. Функционально язык выступает здесь как средство расчленения общества по расовому принципу за счет использования разных слоев языка: верхнего и среднего при отборе имен существительных для оценки арийского окружения; нижнего, с уничижительным оттенком – для неарийского. В нацистской Германии, подчеркивает Клемперер, имена создают арийское окружение, микросреду В его работе прямо или косвенно затрагивается вопрос о роли языка в создании нацистского типа человека. Клемперер обращается к этой проблеме на протяжении всей книги, говоря как о «языке победителей», так и о подавлении «недочеловека» при помощи языковых средств³³.

В рецензии О.Вормсер, исследовательницы из Комитета истории второй мировой войны, на книгу Э.Мишле о Дахау приводится упоминание Мишле о том, как некоторые из заключенных, пытаясь сохранить человеческое достоинство, говорили нормальным языком. Из контекста неясно, идет ли речь об отказе от нацистских неологизмов

³¹ См., в частности: *Grunberger R. A social history of Nazi Germany 1933–1945.* London, 1971. P.409; Дэйл Р.Э. К социальной истории музыкальной гаммы// Современная прогрессивная философская и социологическая мысль в США. М., 1977.

³² *Deuel W. Op.cit. P.96, 104.*

³³ *Klemperer V. LTI. Notizbuch eines Philologen.* Leipzig, 1987. S.81–83, 202–212. По мнению отечественного философа Н.Шульгина, имя (название) задает подсознанию изначальную ориентацию// Век XX и мир. 1990. N11. С.15.

или просто от ненормативной лексики, универсальное употребление которой в концлагерях отмечает психоаналитик, бывший узник концлагеря В.Франкл³⁴.

Австрийский детский психоаналитик Б.Беттельхайм, также прошедший через нацистский концлагерь и изучавший психологию заключенных, дает еще одну интерпретацию роли языка. Уделяя особое внимание проблеме деградации личности узников, Беттельхайм считает одним из ее проявлений попытку максимально полно воспринять систему ценностей СС, включая поведенческие стереотипы и «вербальную агрессию», под которой понимается заимствование лексики, употребляемой охраной в отношении узников³⁵. Его точку зрения разделяет английский исследователь М.Биддис, но уже применительно в целом к населению Германии. Он обращает внимание на постоянную девальвацию языка, наблюдаемую в нацистской Германии с ее «риторикой свободы», направленной на ассимиляцию личности. По его мнению, ситуация с языком является одним из проявлений кризиса системы ценностей и способна оказывать разрушающее воздействие на психику человека³⁶.

В рассмотренных работах речь идет, таким образом, о нацистском нормировании языка, создании и в этой области унифицированной модели, не предназначенной для оптимального выражения мыслей, а сведенной до уровня клише, подтверждающих идеологическую благонадежность. Несомненным является существование по меньшей мере двух уровней применения языка в соответствии со статусом личности в его нацистском понимании: сверхчеловека и недочеловека.

Исследователи не анализируют в этом контексте вопрос номинации этноса (манипуляции с терминами «немецкий», «германский», «арийский»), важного фактора самосознания нации, и замену собственных имен узников концлагерей личными номерами. Между тем А.Ф.Лосев еще в работе 1927 г. подчеркивал, что человек без имени неиндивидуален, антисоциален, может приравниваться к животному³⁷. Лишение имени, таким образом, можно считать одним из основных

³⁴ Wormser O. Sur la Déportation// Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale. 1956. N22. P.103. Франкл В. Указ.соч.С.135. Участник дискуссии о тоталитаризме в 1989 г. филолог Г.Ч.Гусейнов считает закономерной для этого режима инфляцию верхних слоев языка и преобладание нижних. Причина, по его мнению, в том, что высокопарные фразы не отражают действительности. О языке как критерии лояльности и в этом смысле факторе социализации он не упоминает.// Вестник Академии наук СССР. 1989. N9. С.129.

³⁵ Bettelheim B. Op.cit. P.171. В психиатрии знание собственного имени – критерий вменяемости.

³⁶ Biddiss M. Op.cit. P.224, 262.

³⁷ Лосев А.Ф. Философия имени. М., 1990. С.49.

методов дегуманизации, начало которой – нивелирование индивидуальности путем регламентации имени.

Частично эта тематика остается актуальной и в 60-е гг., но рассматривается на ином теоретическом уровне, с применением системного анализа. Й.Вульф, исследователь из Западного Берлина, анализирует нацистские попытки языкового камуфляжа, что роднит его книгу с работами более раннего периода. Главное употребление языка, по его мнению имеет целью неадекватное отражение реальности, умышленный обман. Вульф упоминает о манипуляциях с семантикой, о нацистской синтактике, делает общий вывод о негуманности лексики. Однако отдельные элементы семиотического анализа у Вульфа не образуют системы, поскольку, как он объясняет, нацистские методы словотворчества были полностью ситуативными, определялись нуждами практики, идеология отсутствовала. Язык, связующее звено между теорией и практикой оказывается у Вульфа поэтому односторонне ориентированным лишь на практику, прагматика определяет семантику³⁸.

Р.Сэмюэл, в отличие от Вульфа, помещает в центр нацистской лингвистической комбинаторики именно идеологию. Язык, по его мнению, служит углублению неадекватности отражения, поскольку для нацизма характерна тенденция замены разума и рационального мышления мифом. Так, термин Reich, предпочитаемый более демократичному Staat, приобретал через идею «тысячелетнего рейха» дополнительно эсхатологический смысл.

Несомненным достоинством работы Сэмюэла является анализ механизмов фальсификаций, сведения рациональной идеи к мифу. Происходит это, как показал Сэмюэл, на этапе вычленения новой научной дисциплины, когда возникает возможность некритического перенесения данных одной науки для обоснования другой и в связи с этим подмены понятий. В качестве примера Сэмюэл анализирует использование немецкими учеными романтической школы (Ф.Шлегелем, Я. и В.Гриммами) сравнительного языкознания для придания националистического смысла арийской теории. Особое место в этом процессе Сэмюэл отводит филологу М.Мюллеру, в 1851 г. применившему термин «арийский» для обозначения языка, и параллельно упоминав-

³⁸ Wulf J. Aus dem Lexikon der Morder. Gutersloh, 1963. S.7-10, 19. Подробнее о нем см.: Макарова Л.М. Нацистская программа подчинения культуры (по материалам Й.Вульфа) // Вопросы историографии всеобщей истории. Томск, 1986. С.176-186.

шему об арийской расе, хотя формально считавшему недопустимым смешение этологии и лингвистики³⁹.

В работе английского исследователя «социальной истории» Р. Гранбеджера семантические манипуляции представлены как основной прием дехристианизации Германии. Гранбеджер показывает внедрение неопаганизма при помощи древней германской лексики на примере изменения названий месяцев года, отмечает, что и в случаях сохранения прежнего названия религиозного праздника менялось его содержание⁴⁰. Историк Х. Мальтиц трактует проблему языка чисто иллюстративно, на уровне дополнительного аргумента к уже известному по другим источникам явлению. Анализируя синтактику, он делает общий вывод о нацистской терминологии как бесформенной, интеллектуально анархичной, призванной придать ведущим идеологическим понятиям трансцендентальный смысл (например, понятию *völkisch*). По этой причине, считает Мальтиц, большинство нацистских терминов оказываются непереводаемыми, что затрудняет изучение проблемы⁴¹. В нацистской лексике Мальтиц выделяет как наиболее употребительные слова (*Kampf* и производные, с замечанием, что героическая борьба считалась при нацизме свойственной только германцам), так и изъятые из употребления, в частности, германскими солдатами (*Revolution*).

Хотя претендующие на исключительность идеологии ставят своей целью создание соответствующего типа человека, эта проблема в научных исследованиях появляется довольно поздно. Лишь в 60-е гг. начинает широко применяться термин «новый человек», понимаемый в историографии как условный. Создание «нового человека» рассматривается как главная цель нацизма. Относительно его прототипов в историографии не обнаруживается единого мнения. Американский консервативный историк Дж. Моссе считает первыми примерами этого рода, с одной стороны, нацистов, погибших до 1933 года⁴² (или тех, кого сами нацисты считали единомышленниками, в частности, Л. Шлягетера, убитого в период французской оккупации Рура в 1923 г.).

³⁹ *Samuel R.H.* Op. cit. P.59. Аналогичные сведения приводит польский исследователь нацизма К.Грюнберг. *Grunberg K. Adolf Hitler: Biografia Fuhrera.* Warszawa, 1988. S.95.

⁴⁰ *Grunberger R.* The 12-Year Reich: A social history of Nazi Germany. New York, 1971. P.446.

⁴¹ Действительно, во многих случаях исследователи, не занимающиеся специально проблемами языка, искажают в переводе смысл нацистских понятий. В частности, это проявляется в англоязычной литературе по проблемам внутрицерковной борьбы в нацистской Германии. См.: *Duncan-Jones A.S.* The struggle for religious freedom in Germany. London, 1938; *Maltitz H.* Op.cit. P.185, 198, 213, 214.

⁴² В предисловии к своей книге Гитлер перечисляет 16 имен сподвижников, погибших во время «пивного путча».

С другой стороны, по утверждению Моссе, нацисты относили к числу примеров для подражания прусского короля Фридриха II (1712–1786). Единство этих типов определялось, как полагает Моссе, наличием в обоих случаях метафизически понимаемой воли⁴³. Отрицательно относясь к подобного рода параллелям, Моссе не анализировал принципов создания моделей нацистского человека. В его работах имеется лишь суждение о том, что «новый человек» может быть порождением только «правильного», по нацистским понятиям, мировоззрения, суть которого, по Моссе, заключалась в замене одной идеологической концепции – реализма, другой – романтизмом, приобретшим у фашистских теоретиков иную заданность⁴⁴.

Как представляется, налицо здесь стремление нацистов в очередной раз опереться на традицию для придания престижа собственным «героям», иными словами, очередная спекуляция в данном случае на произвольно препарируемых эпизодах из истории Пруссии.

Более реальным типом «нового человека» стало немецкое крестьянство. Нацисты стремились апеллировать к системе ценностей, свойственной доиндустриальному обществу, и считали органичным в этом случае выход на соответствующий религиозно-культурный тип. Особое отличие крестьянства – в «массовости» его как прототипа нацистской модели человека, по крайней мере, именно эта сторона дела фигурировала в пропаганде первых лет фашистского режима, когда крестьянство подавалось как источник биологического возрождения нации.

Можно выделить несколько направлений, по которым осуществлялась эта политика и подчеркивались преимущества крестьянства перед городским населением. В первую очередь объявлялась крестьянская чистота крови, тесная связь с матерью-землей, что в совокупности создавало весьма распространенный пропагандистский штамп «крови и почвы». Земля становится подлинно немецкой, лишь будучи политой кровью немецких крестьян. Этот тезис оказался достаточно плодотворным и для реализации внешнеполитических амбиций, в первую очередь на Востоке – на пути, проторенном Тевтонским орденом. В этом регионе предполагалось со временем воссоздать тип крестьянина-воина, по аналогии с колонистами эпохи средневековья. В оккупационной политике «возврат к земле» означал целенаправленную аграризацию экономики завоеванных стран. Теоретиком в этой

⁴³ Mosse G.L. *Nazi culture: Intellectual, cultural and social life in the Third Reich*. New York, 1966. P.XXVII-XXVIII.

⁴⁴ Mosse G.L. *The culture of Western Europe: The nineteenth and twentieth centuries*. London, 1963. P.353; Idem. *Nazi culture..* P.XXVIII.

области был министр сельского хозяйства нацистской Германии В.Дарре⁴⁵.

Апелляция к чистоте крови (по нацистским понятиям, основному условию «правильного» – нацистского – мировоззрения) была основой решения весьма существенной идеологической проблемы создания «нового человека». Такая постановка дела позволяла, помимо прочего, заметно усилить антисемитизм, прежде мало проявлявшийся в концепциях *volkisch*, а впоследствии сделать эти понятия синонимичными, при предпочтительном употреблении второго, поскольку первое носило саморазоблачительный характер⁴⁶.

Консолидирующая функция универсального понятия *volkisch* проявилась и в стремлении с его помощью составить весомую альтернативу официальным религиозным доктринам, поскольку романтический национализм Германии базировался на старых тевтонских мифах. Считалось поэтому, что германское крестьянство сохранило верность основанному на «крови и почве» языческим идеям, полному и окончательному доминированию которых мешают крупные города и лишенные «здоровых народных корней» интеллектуалы. Пропаганда предпринимала достаточно масштабные попытки дехристианизации крестьянства, внешне выразившиеся, в частности, в красочных шествиях, с поклонением Солнцу и огню, с возрождением рунических знаков. Архаические образы и средневековые языческие культы провозглашались выражением примитивной духовной силы нордического человека⁴⁷.

Крестьянство и аграрная экономика занимали преимущественное положение в мифологической части идеологии фашизма, по крайней мере вначале. Как и в других аналогичных случаях, идея быстро оторвалась от первоначального содержания. Противопоставление деревни городу при общей цели консолидации не могло быть продолжительным. Первоначально расширилось само понятие крестьянства, которое стало включать и крупных аграриев, и владельцев предприятий перерабатывающей промышленности. Затем наступила очередь конструирования синонимичности понятий крестьянства и нации, что было достигнуто через промежуточный термин *Volk* – народ. Хотя при каждом удобном случае пропаганда подчеркивала значимость крестьянства для нацистского государства, были даже приняты покровитель-

⁴⁵ В своих сочинениях он подробно рассматривал идею создания новой нацистской аристократии. См.: *Дарре В. Blut und Boden*. Berlin, 1936; *Idem. Neuadel aus Blut und Boden*. München–Berlin, 1939.

⁴⁶ Из собственно нацистских сочинений на эту тему наиболее показательна работа: *Krieger E. Volkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung*. Leipzig, 1933.

⁴⁷ К этому вопросу неоднократно обращался А.Розенберг в своей основной работе. См.: *Rosenberg A. Op.cit.* Раздел *Rasse und Rassenseele*.

ствующие его развитию законы, тем не менее при нацизме, в условиях масштабной индустриализации и создания огромной завоевательной армии, продолжалось закономерное сокращение сельского населения.

Исследователи, говоря об очередном «новом человеке», в каждом конкретном случае различают чисто пропагандистский и реальный смысл применения того или иного штампа, отмечают выдвигание на первый план не разума, а инстинкта в человеке нацистского типа.

В 60-70-е гг. много внимания в этом смысле уделяется СС. По мнению французского исследователя А.Бриссо, философия СС предусматривает «активную деперсонализацию», в результате чего создается возможность получения сверхчеловека, в терминологии Бриссо – абсолютной личности. Такое мнение об СС как организации, где создается и функционирует фашистский «новый человек», разделяется и в 70-е гг.⁴⁸ Исследователи на примере этой организации показывают связь между фашистским «новым человеком» и «новым порядком», подчеркивая, что именно на СС возлагалась задача как завоевания «жизненного пространства» – осуществления курса на мировое господство – так и уничтожение евреев⁴⁹. Местом формирования стереотипных представлений как о сверх-, так и о недочеловеке стали концлагеря, где эти две категории непосредственно соприкасались. Бывший заключенный Б.Беттельхейм очень подробно, на многих страницах своих воспоминаний анализирует создание стереотипов, которым должны были соответствовать как заключенные, демонстрируя всегда лишь ожидаемые от них поведенческие реакции, так и охранники из СС. Это была, по убеждению Беттельхейма, запланированная стандартизация, в результате которой оба названных типа переходили к полному автоматизму действий, утрачивая непосредственность восприятия реальности⁵⁰.

При формировании нацистской модели человека серьезным критерием является понятие самооценности человеческой личности, права распоряжаться собственной судьбой. Как и многие другие, это понятие, особенно в кардинальном показателе – отношении к смерти – должно было претерпеть трансформацию при столкновении с национал-социализмом.

В самом факте умирания для человека всегда содержалось нечто нерационализируемое, большое место в его представлениях (часто вне зависимости от социального статуса) продолжали занимать рели-

⁴⁸ См., в частности: *Maltitz H.* Op.cit. P.214; *Steinert M.G.* Op. cit. P.41; *Biddiss M.D.* Op.cit. P.230-232.

⁴⁹ *Kogon E.* *Der SS-Staat: der System der deutschen Konzentrationslager.* Frankfurt am Main, 1959; *Reider F.* *Histoire de la SS.* Paris, 1975; *Wulf J.* *Heinrich Himmler.* Berlin, 1960.

⁵⁰ *Bettelheim B.* Op.cit.

гиозные объяснения случившегося, включая подсознательные апелляции к дохристианским верованиям. Наиболее важным среди других представлялся вопрос посмертного существования, судя по тому вниманию, какое христианство всегда уделяло погребению, посещению заботливо сохраняемой могилы, наконец, поклонению мощам христианских святых. С долей условности можно бы считать это частичным сохранением бессмертия, своеобразной альтернативой самой пугающей стороне смерти – забвению.

Погребальный обряд строго соотносился с качеством прожитой жизни с точки зрения общепринятых для данного народа норм и ценностей, поэтому малейшие отклонения в его отправлении, а тем более отказ церковников от его выполнения, играли роль общественного осуждения, переходя из религиозной сферы в моральную. Изначально можно было говорить о достойной и недостойной кончине. Понятие достойной смерти в традиционной морали оказалось наиболее устойчивым ценностным показателем.

Все три стороны вопроса – жизнь, условно понимаемое бессмертие и смерть – интегрированы в универсальное понятие человеческой личности, поэтому любые попытки идеологического вмешательства в одну область с неизбежностью должны вызвать сдвиги в других.

Нацистам требовалось приспособить существующие представления о смерти, сформированные христианством, к программе уничтожения политических и иных противников. Чтобы стать легитимными, репрессивные программы требуют согласования с традиционной моралью или хотя бы идеологического обоснования, а поскольку рациональные объяснения массовых уничтожений не выдерживают критики, выдвигаемые концепции ориентируются в основном на нерационализируемые системы ценностей. Вновь был привлечен социальный миф, имевший в основе тезис об особых свойствах арийской крови, единственно обладатели которой предназначены для господства над миром. Создавалась таким образом бинарная модель общества с жестким противопоставлением «своих» и «чужих». Убийство в этих условиях приобретало сакральный оттенок, представлялось необходимым и законным действием.

Миф исключал рациональное осмысление действительности, поэтому возможность общественности влиять на события оказалась ограниченной, от населения зачастую требовалось апробировать уже не только принятые, но и реализованные решения. Мифологизация жизни приобрела настолько широкий масштаб, что рядовые обыватели оказались участниками гигантского маскарада, систематически подкрепляемого театрализованными мистериями на темы германского прошлого и грядущих побед. Разрыв с реальными представлениями увеличивался по мере поражения нацизма.

Поскольку в первую очередь изменениям должна была подвергнуться социальная структура общества, миф обслуживал нацистскую стратификацию, которой соответствовала вариативность жизненного цикла. В зависимости от расовой чистоты дозировались социальные и политические права. Максимальное выражение эта кампания нашла в Нюрнбергских законах. Уже в 1935 г. был принят закон о немецком гражданстве, по которому ликвидировались гражданские права евреев⁵¹. Проблема решалась поэтапно, начиная с изоляции части населения в гетто, концлагеря, тюрьмы. При всем различии назначения этих средств они имеют общую черту – десоциализацию личности, для которой наступала гражданская смерть, а в результате расширялись возможности и физического уничтожения.

Смертная казнь, в цивилизованном обществе отмененная или сокращенная до минимальных пределов, здесь теряла характер правового процесса, превращаясь в биологическое уничтожение людей, в том числе по частным мотивам. Правда, по мере укрепления нацистского режима правительство старалось бороться с бесконтрольными расправами, по крайней мере на территориях, включенных в рейх, поскольку правовая неопределенность, возникавшая в этом случае, составляла слишком много свободы исполнителям. Но вместе с тем террор продолжал оставаться средством укрепления власти, в частности, для СС. Поэтому смерть теперь можно было рассматривать как функциональную сторону режима.

При помощи постоянной угрозы смерти, с одной стороны, и безнаказанности самых изощренных убийств – с другой происходило формирование особого, нацистского типа ментальности. Создавались две на первый взгляд противоположные категории (в фашистской терминологии – сверхчеловека и недочеловека), на практике единые в отказе от общечеловеческой системы ценностей.

Как в Германии, так и за ее пределами, в районах военных действий и на оккупированных территориях террор применялся для регулирования состава и численности населения. Характерно, что на территории Германии принудительная смерть не приобретала масштабов геноцида, потенциальные жертвы предварительно выселялись за ее пределы. Лагеря уничтожения, типичным примером которых являлся Освенцим, размещались по преимуществу в пограничных районах. Проблема умерщвления в концлагерях из моральной или юридической превращалась в техническую, ограниченную лишь пропускной способностью средств уничтожения (печей, газовых камер). Орудием уничтожения являлись и особо жестокие условия содержания и труда

⁵¹ См. изданные в США материалы Нюрнбергского процесса: *Nazi conspiracy and aggression*. V.1. P.980-982.

узников⁵². Введение института концлагерей свидетельствовало о превращении массовых убийств из исключительного средства в постоянный атрибут реальности.

Из естественного процесса смерть превратилась в крайнюю форму деперсонализации, окончательного лишения индивида не только социальной, но и биологической свободы, поскольку решение о зарождении и прекращении жизни, в том числе и генетически, через стерилизацию, стало прерогативой нацистского государства.

В массовом сознании четко работало лишь разграничение «свой» – «чужой», что же касается передачи государству власти над жизнью германских граждан, по-прежнему нужна была апелляция к общественному мнению. В некоторых случаях одобрения не было. Так, нацистам не удалось открыто ввести в Германии практику уничтожения неизлечимо больных. Для обработки общественного мнения в 1941 г. был выпущен на экраны Германии фильм «Я обвиняю» с пропагандой эвтаназии⁵³. Однако население воспротивилось этому шагу. Высказывались, в частности, опасения, что среди жертв окажутся чистокровные арийцы и даже герои войны. Между тем понятию достойной смерти эвтаназия не соответствовала, так как принудительное умерщвление допускалось традиционной моралью только в качестве меры наказания. В результате реализация программы была отложена.

Необходимость считаться с общественным мнением обуславливалась озабоченностью сохранения стабильности в обществе, что возможно лишь при условии устойчивости традиционной морали основной части населения. Этим, в частности, объясняется размещение мест массовых репрессий на маргинальных территориях, пограничных между рейхом и оккупированными землями. В этом случае создавался пояс отчуждения между узниками и местными жителями, в основном за счет замены коренного населения региона немецкими колонистами.

Этой же цели служили попытки многопланового камуфляжа, выраженного в первую очередь языковыми средствами. На первый план здесь выдвигается роль лексики в попытках нацистов камуфлировать преступную политику. Польский исследователь М. Борвич бывший узник Освенцима, позднее член Центральной еврейской исторической комиссии в Польше, в 40-50-е гг. опубликовал серию работ о нацистских преступлениях. В работе 1956 г. он приводит примеры языковых манипуляций с названиями концлагерей, цель которых – скрыть на-

⁵² Обширный материал на эту тему содержится в издании: Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов в трех томах. Т.3. Преступления против человечности. М., 1966. Раздел о преступлениях германских концернов.

⁵³ *Manvell R. Film and the second world war. South Brunswick and New York, 1974. P.95.*

значение лагеря как с точки зрения типа заключенных (женский, лагерь военнопленных), так и их судеб (уничтожения). Ч.Мадайчик, директор Института истории ПАН, приводит в своей монографии многочисленные сведения из работ Борвича, относительно весьма развитой у нацистов терминологии, в том числе и, означающей убийство, замечая, что широкая практика этого рода не могла не найти отражения в лексике⁵⁴.

Аналогичную проблему затрагивает Р.Рур в предисловии к книге М.Мазора о фашизме. Необходимость языкового камуфляжа преступного поведения он объясняет сознанием, что даже идеологически обоснованное преступление не перестает оставаться таковым в глазах общественности⁵⁵. Все эти меры нацистов свидетельствуют о том, что государство не обладало полнотой власти над жизнью подданных, несмотря на постоянную обработку в этом направлении массового сознания.

Неотъемлемое свойство жизни – память о человеке, в первую очередь как представителе рода, продолжающем его историю. Поэтому шагом к погружению в небытие, помимо социальной изоляции, можно считать замену личного имени, наиболее явного способа самоидентификации личности, номером в концлагере. Происходит крайняя деиндивидуализация, утрата бессмертия как возможности сохраниться в памяти других, а в религиозном сознании – условия контакта с ангелом-хранителем. На этом фоне физическая смерть, сохраняя биологическое значение, играет второстепенную роль относительно социального небытия. Психологический эффект этого обстоятельства оказывался настолько значительным, что постепенно мог привести к потере смысла существования. С точки зрения психиатра В.Франкла, бывшего узника концлагеря, этим обстоятельством можно объяснить самоубийство в условиях, когда жизнь могла ежесекундно оборваться и без усилий со стороны заключенного. Понимание смерти личностью, таким образом, не всегда подразумевает исключительно физическую кончину. Человек перестает осознавать себя таковым, когда исчезает ощущение его нужности, теряются контакты с другими людьми, трансформируются представления о времени, которое превращается в бесконечность. Поэтому специфической чертой антифашистской борьбы в концлагерях, где в основном речь шла о выживании, становится не просто сохранение биологического существования, но и стремление всеми силами воспрепятствовать деградации личности.

⁵⁴ *Borwicz M.* Les "Solutions finales" à la lumière d'Auschwitz-Birkenau // *Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale.* 1956. N24. P.57-58; *Madajczyk Cz.* *Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce.* Warszawa, 1970. T.II. S.360-361.

⁵⁵ *Mazor M.* *Le phénomène nazi.* Pref. de R.Roure. Paris, 1957. P.11-12.

Франкл приводит и другую причину концлагерных самоубийств: стремление сохранить независимость, умереть «своей», осмысленной, а не навязанной извне смертью⁵⁶. Такой акт, вероятно, можно считать модификацией смерти применительно к экстремальным условиям.

Представления о смерти можно считать идентичными у тюремщиков и заключенных. Биологическая смерть не всегда считалась самодостаточной и у нацистов. Недостаточно было, например, простого физического уничтожения политических и идеологических противников. Необходимо было первоначально добиться их дискредитации, поскольку иначе оставалось в силе понятие смерти мученической или героической и в итоге – преодоление смерти-забвения. Главным было стирание памяти. Способ дискредитации соотносился с личностью и еще более со статусом противника и опирался на общепринятую систему ценностей. Так, священнослужителям обыкновенно приписывались преступления против нравственности, политических противников обвиняли в государственной измене. В таком случае сохранялась видимость легитимности как репрессий, так и осуществлявшей их власти.

Погребение также оказывалось сферой манипуляций. Нацистский тезис о сверх- и недочеловеке предусматривал не только два вида смерти: героическую и смерть-уничтожение, но и соответствующие им особенности погребения. Жертвам массовых уничтожений не полагалось ни индивидуальных захоронений, ни кладбищ в привычном понимании слова, ни погребального обряда. Такая ликвидация останков противоречила традиционным представлениям о погребении, ее цель – не сохранить, а уничтожить память о погибших, параллельно ликвидируя следы совершенного преступления.

Героическая смерть как таковая не является чуждой массовому сознанию. Она апеллирует к языческим ценностям, провозглашает презрение к старости и восхваляет воинственность. Почва для культивирования таких взглядов была подготовлена первой мировой войной. Впрочем, нацисты, учитывая результаты этой войны для Германии, чаще и охотнее апеллировали к героизму древних германцев⁵⁷ или восхваляли жестокости периода империи Оттонов.

В новейшее время героическая смерть стала одним из проявлений полного подчинения человека нуждам общества. Это тем более ясно, что сам по себе героизм – явление исключительное, обуслов-

⁵⁶ Франкл В. Указ. соч. С.142-143,152.

⁵⁷ О трансформации германских языческих богов в богов войны и о германском милитаризме писал специалист по примитивным культурам Ж.Дюмезил: Dumézil G. Mythes et dieux des Germains. Paris, 1939. P.153-156.

ленное несоответствием целей и средств. Поэтому героизм в нацистском варианте мог быть лишь очередной иллюстрацией мифа. Не случайно тема жертвенности и героической смерти в безнадежной ситуации все шире пропагандировалась в Германии по мере приближения конца войны.

В случае героической смерти бессмертие реализовалось также в духе скорее языческой, чем христианской традиции – при помощи создания мавзолеев и монументов иного рода, помещаемых уже не в местах традиционного погребения, а среди живущих – как правило, на площадях, где эти памятники организуют пространство и в какой-то степени выступают силой, консолидирующей живых. Подобное проявление некрофильских тенденций в идеологии является результатом продвинутой мифологизации, ориентированной на фантомы и символы, а не на живых людей.

В некоторых случаях бессмертие начиналось при жизни. Так, вплотную примыкает к понятию бессмертия нацистская сакрализация харизматического лидера. Она реализуется при помощи перенесения на лидера атрибутики, прежде употреблявшейся лишь для поклонения Богу. Более того, хотя постоянно рядом с именем Гитлера упоминалась направляющая рука Бога, содержание последнего понятия модифицировалось, и в нацистской эзотерике под термином «Бог» понимался уже не творец неба и земли, а мистическая составляющая арийской крови, наличие которой гарантировало в числе прочих преимуществ еще и единственно верное мировоззрение.

Нацистов не могла не привлечь также иррациональность религиозной идеологии, внушавшая определенные надежды на возможность симбиоза с еще более иррациональной расовой теорией. Заимствуемые внешние формы – например, помещение над алтарем в храме изображения Гитлера – приобретают новое значение обожествления, отнюдь не тождественное прежней иконе. Налицо здесь стремление воспользоваться уже готовыми, апробированными формами для сообщения им нового содержания, отвечающего целям нацизма: обоснованию единоличной власти фюрера в обстоятельствах ее недостаточной легитимности. Концепция нацистского третьего рейха, хотя и апеллировала к реально существовавшим двум империям, была по сути эсхатологической, в ней ясно просматривается хилиастическая идея. Возможно, этим объясняется и мессианизм фюрера, и попытки использования трансформированной ортодоксальной религии вместо ее упразднения в качестве конкурирующей идеологии. Самое понятие бессмертия в этих условиях перестает быть привязанным к физической смерти. Распространяется это не только на фюрера, но и на другие фигуры режима – в частности, при попытках создать собственную галерею героев и мучеников.

Распространение принудительной смерти ставит на повестку дня вопрос о роли в нацистском обществе палачей. Американский политолог М.Баркин полагает, что именно к нацистам восходит идея поручений заказов на преступления с целью последующей изоляции исполнителя от нормальной жизни общества⁵⁸. Действительно, когда основным занятием становится убийство, традиционная система ценностей рушится, и вернуться в общество такие люди уже не могут. Максимально эта роль отводилась СС как организации, воплощающей миф крови, в первую очередь за счет отбора наиболее «ценных» с расовой точки зрения индивидуумов. В силу своей исключительности СС претендовала на роль расовой элиты в германском обществе, хотя она имела преимущество лишь перед низшими расами, что подчеркивалось привлечением СС для охраны концлагерей. Однако методы, при помощи которых СС утверждала свое могущество, в корне расходятся с представлениями об элите, поскольку палачи и полиция в традиционных обществах не только не являются привилегированной категорией, но принадлежат к числу изгоев, так как постоянный контакт со смертью и преступлением отчуждает. Поэтому и в нацистской Германии этот вопрос не мог быть решен однозначно. Послевоенная программа предполагала изоляцию СС путем создания особого замкнутого ордена за пределами собственно Германии, в Бургундии, где СС стали бы элитой для поработенных народов.

В нацистском мировоззрении прослеживается попытка обоснования власти над жизнью населения. Но, расшатывая традиционные мировоззренческие стереотипы, нацисты ограничились расовым противопоставлением, оставляя в неприкосновенности представления о смерти у лиц, обладающих гражданскими правами. Для покушения на их жизнь требовалась хотя бы видимость индивидуального обоснования и апелляция к общественному одобрению. Такая попытка совмещения подходов привела к созданию мифологизированной идеологии, в результате внедрения которой жизнь как антипод смерти утратила сущностные характеристики, связанные с понятием свободы личности, и превратилась в лишенный смысла ритуал, адекватный не-жизни.

Однако прежний закон соответствия жизни и смерти остался: с уменьшением ценности жизни смерть начала играть соответственно большую роль в жизни общества, вторгаясь в повседневность. Созданная на основе мифа крови нацистская модель сверх- и недочеловека, объединенная антигуманизмом, сохранила единство и в типе смерти, неестественной в обоих случаях, и в особенностях захоронения, поскольку к обоим вариантам применялись манипуляции с посмертной памятью – искусственная ее фиксация или столь же искусст-

⁵⁸ Barkin M. Op.cit. P.118.

венное стирание. Вопрос об отношении к смерти оказался, таким образом, ключевым для мировоззренческой характеристики нацизма.

Нацистская идеология – сложное и неоднородное образование, вобравшее в себя как спекуляции на научных достижениях, в основном в биологической сфере, так и элементы архаических представлений. Мифологизация, соединившая разнородные элементы, позволила придать им органическое единство, создать конструкт, отвечающий ментальным установкам всех слоев общества. В частности, элитарную теорию разделяли и интеллектуалы. Нацисты использовали почти механистический подход, конструируя идеологию из прежде существовавших идеологических систем, исходное назначение которых роли не играло. Имело значение и то обстоятельство, что любая идеология в своей основе мифологична. Был создан вариант идеологической системы, в которой программа, пропаганда и собственно идеология, составляли неразрывное, взаимодополняемое единство. Все это позволяет выстроить единую модель нацистского конструирования идеологии: отбора нужного информационного материала, препарирования его до уровня, вызывающего доверие, но не поддающегося научному анализу, и придания ему иллюзорного единства. Создание системы началось с программы. Этим нацистская идеология отличается от классической модели. Последняя предполагает формирование теоретической модели в интеллектуальной среде. Затем принципы и идеалы этой «высокой» идеологии переводятся на общедоступный язык программ и лозунгов, которые внедряются в массы и используются для обоснования политических стратегий.

А.Ю.Серегина

Веротерпимость и религиозные преследования: августиновская традиция в английской религиозной полемике конца XVI – начала XVII вв.

Проблема веротерпимости занимала умы многих европейских мыслителей и политиков в течение ряда столетий, однако в XVI в. она стояла как никогда остро. Реформация вызвала невиданный ранее раскол христианского мира, создав ряд национальных церквей и множество мелких сект. Представители разных протестантских конфессий, католики и сектанты зачастую оказывались вынужденными сосуществовать в рамках одних и тех же государств, что порождало противоречия, доходившие до кровавых столкновений. А правители этих государств, с одной стороны, обязаны были исполнять свой долг перед церковью (официально признанной в их владениях) и, следовательно, очищать страну от инаковерующих; с другой, они, как государи, призванные охранять мир и спокойствие своих подданных (вне зависимости от их религиозных убеждений) должны были стремиться к прекращению столкновений. Между этими двумя полюсами колебалась политика многих европейских правителей, изменяясь в диапазоне от прямых религиозных гонений до законодательно оформленной веротерпимости, примером чему могут служить Польша, австрийские владения Габсбургов (до эпохи Фердинанда III), Франция после Нантского эдикта.

Англию не минула судьба прочих европейских стран – религиозный раскол и враждебность. В годы правления Марии Тюдор гонениям подвергались протестанты, с приходом к власти Елизаветы роли переменились: гонимыми оказались католики, получившие серьезные основания задумываться над вопросом религиозной терпимости.

Проблема терпимости и нетерпимости в религиозной мысли Западной Европы XVI–XVII вв. часто привлекала внимание ученых и неоднократно исследовалась. Традиционная историография, представленная трудами У.Джордана¹, Ж.Леклера² и др., обычно описывала поступательное, хотя и непрямолинейное развитие представлений и о терпимости в Европе: от нетерпимого средневековья к терпимости христианских гуманистов (Эразма, Томаса Мора), затем вновь обращение к нетерпимости в эпоху Реформации и Контрреформации, религиозные войны и,

¹ *W.K.Jordan, The Development of Religious Toleration in England, 4 vols (London, 1932-40).*

² *J.Lecler, Histoire de la Tolérance au siècle de la Réforme, t.1,2, Paris, 1955.*

наконец, усталость от противостояния в сочетании с ростом религиозно-скептицизма³ и интересами развития торговли, приведшие к победе основанной на здравом смысле религиозной терпимости.

Начиная с 1980-х гг. эта схема постоянно оспаривалась многими историками, опровергшими ее отдельные положения (тезисы о веротерпимости гуманистов⁴, влиянии скептицизма⁵ и т.п.). В последние десятилетия терпимость и религиозные преследования обычно исследуются в контексте политических и социальных конфликтов в отдельных странах и провинциях, а выбор политики объясняется прагматической оценкой соотношения сил различных конфессиональных групп в той или иной местности⁶.

В данной статье будет предпринята попытка проанализировать подход английских католических богословов к проблеме терпимости и религиозных преследований, но несколько в ином контексте. Если для современного исследователя терпимость и нетерпимость относятся к сфере политической теории, то в раннее новое время они гораздо чаще относились к церковной политике и теологии (даже если и были, как представляется на первый взгляд, связаны с идеей государственного интереса). Для европейца XVI–XVII вв. идея терпимости связывалась не только (и не столько) с гражданским миром, сколько с миром в христианском сообществе, но прежде всего – с идеей спасения христианина, а следовательно, с обращением от греха к праведности. Поскольку такое обращение в данный период осмыслялось в категориях обращения от «протестантской ереси» или «римского суеверия» к «истинной вере», то оно оказывалось напрямую связанным с рассуждениями о возможности или невозможности сосуществования разных конфессиональных групп, границы между которыми предполагалось преодолевать в поисках спасения души.

Представляется, что попытка проанализировать представления о терпимости и нетерпимости в контексте представлений англичан-католиков об обращении более точно отображает отношение к данному вопросу в XVI–XVII вв.

³ О роли религиозного скептицизма см., например, Q.Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol. 2 (Cambridge, 1978), 247-50.

⁴ См. G.R.Elton, 'Persecution and Toleration in the English Reformation', in W.J.Sheils (ed.), *Persecution and Toleration* (Oxford, 1984), 163-87, а из недавних публикаций – I.Bejczy, 'Tolerantia: a Medieval Concept', in *The Journal of the History of Ideas*, 58 (3), 1997, 365-84.

⁵ R.Tuck, 'Scepticism and Toleration in the Seventeenth Century', in S. Mendus (ed.), *Justifying Tolerance: Conceptual and Historical Perspectives* (Cambridge, 1988), 21-35; R. Tuck, *Philosophy of Government 1572-1651* (Cambridge, 1993), 58.

⁶ Из последних публикаций такого рода см., например, O.P.Grell and B.Scribner (eds), *Tolerance and Intolerance in the European Reformation* (Cambridge, 1996).

Августиновская традиция

Представления европейцев XVI в. о терпимости и нетерпимости опирались на средневековую традицию, в свою очередь восходившую к святоотеческой и апеллировавшей, в основном, к посланиям Св.Августина, в которых тот обосновывал допустимость и даже необходимость принуждения и насилия над еретиками (послания 93 к епископу Винцентию, 173 к Донату, 185 к Бонифацию и др.). Возражая донатистам и прочим оппонентам, полагававшим, что религиозные преследования противоречат свободе совести христианина, Св. Августин писал:

Причина, по которой добрая воля проявляется в добрых делах, состоит в том, чтобы дать руководство злой воле человека. Ибо кто же не знает, что человек не является проклятым без его злой воли и, с другой стороны, не получает освобождения, если не имеет доброй воли? Однако из этого не следует, что тех, кого мы любим, должно предоставить их злой воле без исправления; напротив, где дана власть, их следует отвратить от зла и привести к добру.

Таким образом, возможность принуждения обосновывается христианской любовью. По мнению Св.Августина, принуждение, совершаемое во имя спасения души грешника, по сути, является лекарством, даваемым больному против его воли⁸. В своих рассуждениях Св.Августин опирался на толкование евангельской притчи о господине и рабе (Лк 14:21-23). Ее текст гласит: «Господин сказал рабу: пойдя по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой⁹». Обращая его против еретиков, Св. Августин пишет:

Если бы вы шли спокойно вне праздника святого единства церкви, мы должны были бы вас найти «на дорогах»; ныне же поскольку вы словно бы полны хитрости и грубости по причине зла и страданий, причиненных нашим людям, мы находим вас словно бы «в пустошах» и заставляем войти. Тот, кого заставили, вынужден идти против своего желания, но когда он уже вошел, он участвует в празднике вполне по собственной воле¹⁰.

⁷ Ep.173:2 ad Donat.: 'Ideo voluntas bona misericorditer inpenditur, ut mala voluntas hominis digiratur. Nam quis nesciat nec damnari hominem, nisi merito malae voluntatis, nec liberari nisi bonam habuerit voluntatem? Non tamen ideo, qui diliguntur malae suae voluntate impune et crudeliter permittendi sunt, sed ubi potestas datur, et a malo prohibendi et ad bonum cogendi'.

⁸ Ep.93 ad Vincent.

⁹ Так в синодальном переводе. Латинский текст Вульгаты имеет существенное отличие: Et ait domunus servo: Exi in vias et saepes et *compelle intrare*, ut impleatur domus mea. 'Compelle intrare' может быть переведено как «заставь прийти». Во всех западноевропейских переводах Евангелия этот смысловой оттенок сохраняется (в том числе и во всех английских переводах).

¹⁰ Ep.173: 'Si ambularetis quieti extra hoc convivium sanctae unitatis ecclesiae, tamquam in viis vos inveniremus; nunc vero, quia per multa mala et saeva quae in nostros committitis, tamquam spinis et asperitate pleni estis, vos tamquam in saepibus invenimus et intrare compelimus. Qui compellitur, quo non vult cogitur, sed, cum intraverit, iam volens pascitur'.

Таким образом, смысл принуждения, совершаемого по отношению к еретикам, заключался, по мысли Св.Августина, в том, что его принуждали принять наставления церкви, что должно было привести его «к знанию или принятию истины»¹¹ и, в конечном счете, к спасению. Эти рассуждения вполне вписываются в представления св. отца о греховности человеческой природы. Как следствие первородного греха, воля и в меньшей степени интеллектуальные способности человека подчинены его греховной природе. Поэтому, хотя в принципе все могут спастись, немногие сами по себе способны обратиться на верный путь (т.е. поиск наставлений церкви, хранительницы истинного учения). Тех же, кто отклонился от верного пути, необходимо вернуть принуждением. По мнению Св.Августина, осуществлять принуждение должны были церковные власти при содействии светских властей¹². Особенно суровые меры необходимы в том случае, когда еретики многочисленны, и их учение не встречает широкой поддержки.

Однако Св.Августин оговаривал и ситуации, когда терпимость к еретикам предпочтительнее. При этом он опирался на свое толкование притчи о злаках и плевелах (Матф 13:24-30) и подчеркивал, что терпимость необходима в том случае, когда еретиков слишком много, и действия против них могут затронуть и добрых христиан: «Не следует оставлять добрых из-за злых, но ради добрых нужно терпеть злых»¹³. Толкуя притчу подобным образом, Св.Августин явно не придавал терпимости (*tolerantia*) никакого позитивного значения. Сам термин впервые появился у стоиков и означал умение человека принять жизненные тяготы и выпавшие на его долю страдания. Примерно в том же значении употребляли этот термин раннехристианские авторы. Св.Августин перенес понятие *tolerantia* из области этики в сферу церковной политики, применив его к действию (вернее, бездействию) властей. Св.Августин подразумевал под ним проявление снисходительности власти ко злу (в данном случае, ереси), которое могло бы быть уничтожено. Такое самоограничение власти должно было иметь место лишь в тех случаях, когда насилие над еретиками могло привести к еще большему злу (например, нарушению мира церкви и т.п.)¹⁴.

При этом необходимо оговориться, что Св.Августин, говоря о принуждении, никогда не доходил до возможности физического насилия и тем более казни еретиков. Это сомнительное достижение принадлежит последующим поколениям.

¹¹ Ibid.: 'trahendi estis ad veritatem vel cognoscendam vel eligendam'.

¹² Epp.134.4, 185.6 etc.

¹³ 'Non propter malos boni deserendi, sed propter bonos mali tolerendi sunt'.

¹⁴ См. I. Bejczy, 'Tolerantia: a Medieval Concept', in The Journal of the History of Ideas, 58 (3), 1997, 365-84.

Средневековые западные богословы и канонисты полностью восприняли подход Св.Августина к проблеме терпимости и преследований еретиков. Вплоть до XII в. признавалась допустимость принуждения по отношению к еретикам, но не их казнь. Изменения в трактовке сочинений Св.Августина и евангельских текстов, на которые тот опирался, связаны с трудами Св.Бернарда Клервосского: в его проповедях прослеживается мысль о том, что упорствующие еретики заслуживают казни (так как надежды на их обращение не остается)¹⁵. Эта же идея (т.е. представление о невозможности покаяния и обращения еретиков) появляется и в трудах канонистов, в частности, у Грациана¹⁶ и таким образом входит в церковное право. А на протяжении XIII в. ряд булл пап Григория IX и Иннокентия IV окончательно оформили практику передачи осужденных еретиков светским властям для казни¹⁷.

Развернутое обоснование необходимости религиозных гонений было представлено аристотелианцами, и прежде всего, Фомой Аквинским. По его мнению, для спасения человек должен иметь правильное понимание учения и добрую волю, которая проявляется в искренних добрых делах. Но если воля человека не направила его к поиску наставлений церкви, необходимых для правильного понимания вероучения, то насилие над совестью христианина вполне допустимо и необходимо. Фома Аквинский допускал, что насилие может привести человека к обращению только из страха смерти или мучений. Однако он предполагал, что страдания, вызванные насилием, вынуждают человека задуматься над своими действиями и суждениями, а позднее – принять наставление церкви, и тем самым дают шанс на обращение грешника. Признавал Аквинат и необходимость смертной казни для нераскаявшихся еретиков, т.к. их существование угрожает спасению других христиан¹⁸.

Фома Аквинский здесь явно разделял еретиков на «упорствующих», т.е. тех, чья воля направлена ко злу, и «заблуждающихся», увлекшихся ложным учением. Для первых спасение невозможно, т.к. ко злу склонились и воля, и интеллект, и они не способны к покаянию и обращению. У «заблуждающихся» еще остается шанс, но освободиться от своих ошибок они способны только по принуждению. Кстати, способность к отрече-

¹⁵ Sermo 64 et 66 in Cant. PL, CLXXXIII, 1084-88, 1093-1104.

¹⁶ См. J.Leclef, Histoire de la Tolérance, t.1, p.109-112.

¹⁷ Булла папы Григория IX 'Excommunicamus' (1231 г.) говорила о передаче еретиков светской власти для казни, но касалась только земель империи. В 1252 г. Иннокентий IV распространил это правило на весь католический мир (булла 'Cum adversus haereticam pravitatem'). См. J.Leclef, Histoire de la Tolérance, t.1, p.108.

¹⁸ Thomas Aquinas, Summa Theologica, 2.2.q.11,a.3; 2.2.q.10,a.8 ad.3; 2.2.q.10, a.11 См. также I. Bejczy. Tolerantia: a Medieval Concept// The Journal of the History of Ideas, 1997, 58, 3, pp.365-84; Toleranz im Mittelalter. Hsgb. Von A.Patschovsky und H.Zimmermann. Sigmaringen, 1998, S.336-389.

чению от прежних мнений под давлением оказывается критерием, при помощи которого можно отделить «заблудших», но еще способных к покаянию, от закоренелых грешников, обреченных на смерть.

Такой подход явно противоречил основополагающему принципу свободы совести, ведь тот же Фома Аквинский провозглашал: «Все, что не идет от веры, т.е. от совести, есть грех»¹⁹. Вместе с тем он существенно ограничивал «свободу заблуждения»: по мнению Фомы Аквинского и его учителя, Альберта Великого, заблуждение в вопросах веры прощительно лишь тогда, когда оно проистекает из незнания истинного учения, причем незнания «невольного». Если же такое знание, распространяемое церковью, было человеку хотя бы теоретически доступно, его заблуждению нет прощения, так как здесь речь идет уже о злонамеренности и о воле, направленной ко злу (к ереси). В этом случае вполне возможно говорить и о принуждении²⁰.

Наряду с этим средневековые авторы не забывали и августиновской идеи «терпимости» = «терпения» власти. Она присутствовала и у канонистов (у Грациана, в «Декреталиях» папы Иннокентия IV), у богословов-схоластов, прежде всего в «Теологической сумме» Фомы Аквинского²¹. Здесь «терпимость во избежание большего зла» представляла собой принцип, на котором строились отношения католической церкви к «внешним», неверным – иудеям, мусульманам и язычникам. Впрочем, отношение к ним никогда не было однозначным. Принцип «терпимости во избежание большего зла» (т.е. насильственного обращения) применялся к иудеям, жившим на территории христианских государств. Что касается язычников и мусульман, то на них этот принцип мог быть распространен только после того, как на них распространялось политическое господство христиан. Поэтому на практике отношение к ним строилось по принципу *compelle intrare*. Так, Бруно Кверфуртский призывал к насильственному обращению язычников-пруссков, апеллируя именно к нему²². А идеолог крестовых походов Св. Бернард Клервосский считал, что язычники могут быть обращены мирными средствами только там, где нет войны; если же они оказывают вооруженное сопротивление, против них необходимо применять силу²³. Наконец, Фома Аквинский полагал, что хотя язычников и нельзя обратить силой, только сила способна удержать их от богохульства, оскорбления веры и открытых пре-

¹⁹ 'Omne quod non est ex fide, i.e. contra conscientiam, peccatum est' (глосса к Римл. 14:23). См. также *Summa Theologica*, I, 2q.19, a.5.c.

²⁰ *J. Lecler, Histoire de la Tolérance*, t.1, p. 121.

²¹ *I. Bejczy, Tolerantia: a Medieval Concept// The Journal of the History of Ideas*, 1997, 58, 3, pp.365-84.

²² *J. Lecler, Histoire de la Tolérance*, t.1, p.101.

²³ *Epist.*, 363,7; PL, CLXXXII, 567.

следований христиан²⁴. Но подчиненных власти христианского государя неверных следовало терпеть; таким образом, принцип «терпимости во избежание большего зла» оказывался способом включения этих маргинальных групп в христианское общество.

В историографии второй трети XX в. было принято считать, что на рубеже XV–XVI вв. под влиянием идей христианского гуманизма, акцентировавшего свободу совести верующего, старое представление о терпимости и преследованиях сменилось принципом «свободы веры», и только религиозные войны середины XVI столетия вернули Европу к нетерпимости²⁵. Это утверждение верно лишь отчасти. В самом деле, гуманисты (в частности Эразм) допускали определенный разброс мнений по догматическим вопросам внутри христианского сообщества, исходя из принципа недопустимости насилия над совестью христианина²⁶. Подобные идеи были распространены в начале XVI в. и вполне соотносятся с воцарившимся в Европе того времени доктринальным хаосом, затронувшим не только вновь возникшие протестантские церкви, но и католиков. Лишь по завершении Тридентского собора оказалось возможным четко определить конфессиональные границы, и теологи каждой конфессии столкнулись с необходимостью определять свое отношение к представителям других исповеданий.

Английские католики и идея веротерпимости

Как и большинство других конфессиональных групп, подвергавшихся гонениям, английские католики в своих сочинениях часто затрагивали тему терпимости, высказывая различные доводы в пользу отмены карательных мер. А поскольку значительная часть их памфлетов имела форму обращения к монарху или правительству в целом, то, естественно, приводимые ими аргументы в пользу терпимости затрагивали основную задачу правителей – сохранение мира и законного порядка в стране. Таким образом, веротерпимость увязывалась с государственным интересом.

Так, неформальный лидер английских католиков, кардинал Уильям Аллен в одном из своих памфлетов доказывал, что смена официального исповедания и насильственное насаждение новой веры привели к разделению подданных, что чревато смутами и гражданскими войнами²⁷. Единственным шансом сохранить государство остается

²⁴ Thomas Aquinas, 2.2.q.10, a.80.

²⁵ W.K.Jordan, *The Development of Religious Toleration in England*, 4 vols. London, 1932-40, J.Lecler, *Histoire de la Tolérance au siècle de la Réforme*, Paris, 1955; Q.Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol.2. Cambridge, 1978.

²⁶ G.R.Elton, 'Persecution and Toleration in the English Reformation', in W.J.Shels (ed.), *Persecution and Toleration*. Oxford, 1984, 163-87; I.Bejczy, *Tolerantia* ...

²⁷ W.Allen. *A true, sincere, and modest defense of the English Catholics*, v.2 (London, 1914), p.107-110.

введение режима веротерпимости²⁸. А другой католический полемист, Томас Фицджерберт, прямо спрашивал:

Сочетается ли с истинным государственным интересом стремление возбудить Ее Величество против ее подданных ложью и клеветой, а их против нее нелереносимыми жестокостями, что, несомненно, стало бы простейшим способом привести все в смятение, если бы верность, повинование и терпение католиков были бы не таковы, как они есть благодаря Господу, ... если бы они искали средств, которыми пользовались раньше другие недовольные, из-за чего правление в Англии изменялось уже два или три раза со времени завоевания?²⁹

При Елизавете католики часто прибегали к этому приему, показывая, как гонения провоцируют вражду и гибель государства. С восшествием на престол Якова I ситуация изменилась, так как с ним связывались надежды на освобождение от гнета карательных законов, да и сам он, по крайней мере, на первых порах, достаточно терпимо и мягко обращался со своими подданными-католиками. Поэтому тональность памфлетов изменилась. Многочисленные петиции католиков в 1603-04 гг. подчеркивали, что прекращение гонений, несомненно, способствует нормализации отношений Англии с католическими державами (а Яков как раз тогда вел мирные переговоры с Испанией). Католики предлагали Якову способ достичь стабильности внутри страны, указывая на действия его соседа Генриха IV Французского, даровавшего в 598 г. своим подданным-гугенотам свободу исповедания³⁰.

Однако после раскрытия Порохового заговора 1605 г. и последовавшего за ним ужесточения антикатолического законодательства католические памфлетисты вернулись к мрачным пророчествам относительно грозящей стране гражданской войны. Новым (но вполне предсказуемым) сюжетом стало лишь установление прямой связи между веротерпимостью и личной безопасностью монарха. Католический священник Ричард Брутон так и называл ее – «гарантия безопасности Вашего Величества»³¹. Ему вторили иезуиты. Так, Дж.Кресуелл писал:

Если Его Величество без необходимости хочет жить в страхе, пусть он боится их [католиков], тех, кто более всего пострадал от его законов, чья

²⁸ Ibid., p.148-149.

²⁹ T.Fitzherbert, *An Apologie of T.F. in defence of himsefe and other Catholyks* [1599]. ERL, v.146 (1973), p.31: 'Let it be considered whether ... it stand with true reason of state to incence her Majestie against her subiects by lyes and slaunders. And them against her, by unsupportable wrongs and cruelties and which were no dout the next way to put all in combustion, yf the Catholykes loyalty, obedience, and patience, were not such, as God be thanked yt is, ... yf they would seek the remedy that other discontented people have sought in former tymes, whereby the state of England hath ben changed, and turned upsyde downe, twyse or thyrse aalready since the conquest'.

³⁰ The Catholic Supplication, paragraph 8.

³¹ R.Broughton, *A just and moderate answer to a most injurious and seditious pamphlet* [1606]. ERL, v.93 (1972), A4: 'a warrant of security to Your Majesty'.

совесть не может успокоиться перед лицом столь явной угрозы вечного проклятия. Но если, будучи осторожным и разумным Государем он захочет устранить возможные опасности, пусть он решится устранить причину этих раздоров, и он сам, и его подданные смогут жить спокойно.³²

Созвучна этому и позиция иезуита Роберта Парсонса:

Я никогда не слышал и не читал о том, что жестокость по отношению к свободным подданным хорошо кончалась, особенно когда их карали за предполагаемые проступки, которые они не признавали таковыми... Некоторые могут подчиниться из страха, но их любовь для государя потеряна навсегда. Разумная терпимость и дружеское соглашение залечили бы кровоточащие раны обеих сторон.³³

Нетрудно заметить, что аргументация в пользу веротерпимости напоминает об августиновском принципе терпимости во избежание большего зла, в данном случае – гражданской войны и/или покушения на жизнь государя, т.е., возникновению угрозы для «государственного интереса». Таким образом, новая для XVI в. идея *raison d'état* связывалась со вполне традиционной, причем идея терпимости сама по себе здесь не приобретает самостоятельного положительного смысла.

Считали ли английские католики терпимость благом? Этот вопрос на первый взгляд кажется праздным – ведь именно католические авторы постоянно призывали терпимо относиться к своим единоверцам. Терпимость (понимаемая как свобода отправления католического культа в частных домах)³⁴ должна была принести католикам освобождение от гонений, фактически она дала бы им шанс сохраниться как конфессиональной группе. Но отношение к терпимости (даже по отношению к ним самим) не было однозначным.

По словам Джозефа Кресуелла

гонения и бедствия сами по себе, хотя они и доставляют страдания телу, укрепляют душу, если она такова, какую должна быть, дают ей силу, внут-

³² J.Creswell, A Proclamation published under the name of James King of Great Britain with a briefe moderate answer therunto [1611] ERL, v.58 (1971), p.15: 'If His Maiesty will needes lyve in feare, without necessity, let him feare these as most wronged by his lawes in that their conscience is restlesse, and doth not suffer them to be quiet, in so evident daunger of eternall damnation. But if as a prudent and discreet Prince he will take away occasions of feare, let him resolve to take away the cause of this disquieties, and so both he & his subjects shall live in rest'.

³³ R.Persons, A Judgement of a Catholicke man to his friend in England [1608]. EERL, v.82 (1973), p.128: 'I never heard or read, that too much viole[n]ce towards free Subjects ever ended well, especially for supposed faultes that are not acknowledged as such, by the punished... Some may dissemble for feare, but they are more lost in their affections then the other. Some reasonable toleration and friendly treatie would bynd up woundes from bleeding an all sydes'.

³⁴ См. A.J.Loomie, 'Philip III and the Stuart succession in Egland, 1600–1603' Revue de philologie et d'histoire, 43 (1965), p.498; A Catholic Supplication, Dodd-Tierney, v. IV (1971), p. lxxiv, lxxxii-lxxxvii; J Colleton, A Supplication to the Kings most excellent Maiestie [1604]. ERL, v. 247 (1975), p.2-3.

рнее утешение и постоянную радость ... , так что они делают внешние потери и страдания не только переносимыми, но радостными³⁵.

Католики должны терпеливо переносить страдания, ведь таким образом они могут достичь Царствия небесного.

Благодаря долготерпению, которое, несомненно, дарует им [католикам] Господь, они будут достаточно защищены и победят, а в награду за их любовь и верность они получают венец бессмертной славы³⁶.

Поэтому некоторые английские иезуиты высказывали свои сомнения относительно необходимости веротерпимости. Так, Роберт Парсонс полагал, что постоянное ожидание послаблений от короны ослабило английских католиков и воспрепятствовало укреплению их собственной «подпольной» церкви, а это, в свою очередь, привело к усилению протестантизма в Англии³⁷.

Конечно, Парсонс отдавал себе отчет в том, что выдержать гонения способны лишь самые стойкие, несклонные к компромиссу с правительством католики, то есть абсолютное меньшинство. Следовательно, терпимость нужна остальным, слабым людям, тем, кто «не знает, что должен делать, и не имеет достаточно терпения, чтобы вынести все, что должен»³⁸. Таким образом, и здесь мы опять сталкиваемся с принципом избежания большего зла – отпадения всех английских католиков от веры из страха перед преследованиями.

Необходимо подчеркнуть, что, призывая к терпимости по отношению к себе, католики не отвергали самой идеи религиозных гонений. Напротив, преследования не-католиков были, по их мнению, вполне законными и обоснованными. Кардинал Аллен в памфлете 1584 г. утверждал, что гонения на католиков и преследования протестантов при Марии Тюдор нельзя сопоставлять, так как, во-первых, смертная казнь за ересь и заблуждения в религиозных вопросах была отменена парламентскими статутами 1559 г., а во-вторых, католиков нельзя и обвинить в ереси, ибо они исповедуют истинное учение

³⁵ A.J.Loomie (ed.), J.Creswell's 'Letter to the Ambassador from England' [1606] (New York, 1993), p.53: 'the very persecution and affliction it selfe though it presse and molest the bodye with greefe, yet if it finde the soule disposed as it should, it dilateth it and giveth it strength and worketh in it such inward consolation and present joye, as it maketh the exterior losses and paines not onli tollerable but joyful also'.

³⁶ J.Creswell. A proclamation, p.64-65: 'by the patience & longanimity, which their Lord and Master undoubttdedly will give them, they shalbe sufficiently defended, and get the victory: and in reward of their charity, and fidelity receive a Crowne of immortal glorie'.

³⁷ R.Persons. A Briefe apology or defence of the Catholic Ecclesiastical Hierarchy. 1601. ERL, V.273, 1975. Preface.

³⁸ R.Persons. A discussion of M. Barlowes Answere [1612]. ERL, v.227, p.130: 'al men have not true knowledg[e] what they ought to do, and much lesse patience in what they ought to suffer'. См. также J.Creswell. A Proclamation, p.64; A Letter to the Ambassador, p.59f.

апостольской церкви³⁹. Протестанты же – несомненные еретики, и могут быть подвергнуты наказанию. Католическая Церковь, являясь Христианским сообществом на земле, имеет власть наказывать протестантов, пуритан, лютеран, ариан и других сектантов, которые существуют или появятся впоследствии. Но последние не имеют этой власти карать других в делах веры, хотя бы они имели светскую власть в каком-либо месте, так как они суть всего лишь частные граждане и члены тела Христова (если они вообще имеют к нему отношение), а остальные составляют тело Христово и истинное сообщество христиан, которому только и принадлежит право карать⁴⁰.

Правда, католические авторы-англичане обычно не слишком углублялись в эту тему, так как это было для них явно невыгодно (при обращении к протестантской аудитории). Поэтому в их трудах практически не встречаются размышления о допустимости или недопустимости религиозных преследований и веротерпимости. Единственным исключением является Роберт Парсонс. В его многочисленных памфлетах и трактатах встречается довольно много рассуждений о религиозной терпимости вообще, а не только применительно к Англии. Помимо этого, проблема веротерпимости подробно рассматривается им в «Записке о Реформации Англии» (1596 г.). Она представляет собой план мероприятий, которые должен был провести в жизнь католический правитель Англии по восшествии на престол, и была написана, по всей видимости, в связи с подготовкой новой Армады против Англии⁴¹.

Конечно, невозможно по произведениям одного автора судить о позиции английского католического сообщества в целом. Однако сле-

³⁹ *W.Allen. A True ... Defence*, I, p.48-49. См. также *R.Persons, A Treatise of three conversions of England from Paganisme to Christian Religion*, v.1 [1603], ERL, v.300 (1976), p.99-151, 189-205; *A Discussion*, p. 44; *J. Colleton*, op.cit., p.10-45; *M.Walpole. A Briefe Admonition to all English Catholikes* [1611]. ERL, v.159 (1973), p.20-55.

⁴⁰ *R.Persons, The Warn-Word to Sir Francis Hastings West-word* [1602]. ERL, v.302 (1976), p.15: 'The Catholike christian churche being the universal body of Christs common wealth upon earth, hath authoritie to punish Protestants, Puritans, Lutherans, Arrians or any other sect that doth or shal aryse: but not that these have authoritie, or may have to punish the other, for matter of religion, though they should get superiority of temporal power in any place of the world, for that they are but particuler men and members (if members at all) and the other the body and true common wealth to whom only it appertayneth to punish'.

⁴¹ Подробнее об обстоятельствах написания «Записки» см. *T.Clancy. Notes on Persons's "Memorial" for the Reformation of England*// RH, 5, 1959, p.17-34. *J.J.Scarisbrick. Robert Persons' plan for the "true" Reformation in England*// *Historical Perspectives: Studies in English Thought and Society*. Ed. by N. Mc Kendrick. London, 1974, p.19-42; *Серегина А.Ю. "Истинная" Реформа Церкви в представлении английской католической эмиграции конца 16 в. ("Записка о реформации Англии Роберта Парсонса")*// СВ, вып. 60, 1997, с.107-117.

дует помнить, что Парсонс к концу XVI столетия был одним из признанных лидеров эмиграции и неофициальным главой английских иезуитов, а с 1598 г. возглавил Английскую Миссию Общества Иисуса. Таким образом, его мнение отчасти можно считать официальной позицией руководства миссии. С другой стороны, у нас нет ни одного свидетельства, которое говорило бы о неприятии взглядов Парсонса относительно веротерпимости английскими католиками, тогда как другие его суждения – например, касательно власти государя и прав подданных по отношению к нему – резко и многократно оспаривались. Поэтому можно предположить, что подход Парсонса к проблеме веротерпимости не вызывал отторжения у его единомышленников в Англии.

В своих произведениях Парсонс часто оперирует понятием «свобода совести» [a libertie of conscience]. Под ним понималась, прежде всего, невозможность принуждения в вопросах веры, «которые из всех дел более всего требуют свободы суждения и воли и менее всего терпят насилие»⁴². Данное утверждение обосновывалось тем, что поступать против собственной совести, подчиняясь давлению, есть смертный грех⁴³.

Истина состоит в том, что человек должен следовать своей совести, даже если она заблуждается, и тем более, когда она права. Причина же состоит в том, что наша совесть есть ничто иное, как голос и решение нашего разума и способности выносить суждения относительно того, что следует или не следует делать; соответственно, мы должны следовать этому указанию (верному или неверному) до тех пор, пока не достигнем иного источника света, способного направить нас. В соответствии с этим нас будут судить на Страшном суде, а именно, согласно с тем, как совесть каждого человека станет обвинять или защищать его (по словам Св.Павла), а не по природе и качеству самих поступков, совершенных им⁴⁴.

А рассуждая о перспективах обращения в католицизм заблудших англичан, он предпочитает «с самого начала не оказывать давление на совесть людей в делах веры... чтобы каждый мог смело и с довери-

⁴² R. Persons. *Newes from Spayne and Holland*. 1593. ERL, V.365, 1977, p.27.

⁴³ Idem. *A Brief discourse containyng certayne reasons why catholiques refuse to goe to Church*. 1580. ERL, V.84, 1972, p.4-5.

⁴⁴ R. Persons, *A Temperate Ward-Word to the turbulent and seditious Wach-Word of Sir Francis Hastings [1599]*, ERL, v.31 (1971), p.75: 'It is a manifest truthe, that a mannes conscience is to be followed, though it did erre, and much more when it erreth not, and the reason of the former is, is that forasmuch as our conscience is nothing els[e] but the voice and determination of our reason and judgement, about matters to be donn[e] or not to be donne, it followeth that we are bound to obey that direction (be it right or wrong) so long as we have no other light to guyde us. For that according to this we shalbe judged at the last day, to wit, according as each each mannes conscie[n]ce (sayth Saynt Paule) shal accuse or defend him [Rom., 2:15]: and not according to the nature or qualitie of the thing it self that he doth...'

ем показать свои раны и быть исцеленным; в противном случае, если бы он скрыл их, или отрицал их существование, или притворился, это повредило бы ему еще больше и вызвало бы порчу всего общества»⁴⁵.

Впрочем, подобные утверждения вовсе не означали, что Парсонс был противником религиозных преследований. Напротив, он допускал насилие над совестью еретиков и гонения, опираясь при этом, прежде всего, на труды Св.Августина, а также Св.Игнатия, Св.Киприана, признававших за церковью такую власть, поскольку еретики «суть волки, воры, грабители и убийцы (которых можно по закону карать смертью), следовательно законно предавать еретиков смерти, когда это нужно для защиты паствы Христовой»⁴⁶.

Соответственно, преследование еретиков входит в обязанность пастырей, использующих отлучение, и государей с их светским мечем. Однако Парсонс, вновь апеллируя к святоотеческой традиции (к Св.Августину и Св.Иоанну Златоусту), оговаривается, что в некоторых случаях терпимость предпочтительнее:

Терпимость может быть применена к тем, кого нельзя искоренить без угрозы для добрых посевов⁴⁷.

Критерием применимости или неприменимости карательных мер становится здесь политическая необходимость (стабильность в обществе). Только когда еретиков в стране явное меньшинство, разумный государь может их преследовать (как это и происходило в прошлом). В современной же Парсонсу Европе это очень часто оказывалось затруднительным и просто опасным. Католическая церковь имеет власть над протестантами, так как они вышли из нее, однако она может не использовать эту власть и проявлять терпимость к разным сектантам, когда они столь многочисленны, что их нельзя обуздать без того, чтобы не вызвать волнения, мятежи и бедствия, в соответствии со словами Спасителя о плевелах, выросших среди пшеницы. Христос желает, чтобы их оставили в покое до сбора урожая, поскольку если вырвать их до срока, можно выдернуть и добрые злаки⁴⁸.

⁴⁵ A Memorial of the Reformation of England. 1690, p.32f: 'Perchance it would be good, considering the present state of the Realm and how generally it is and has been plunged in all kind of heresies, not to press any man's conscience at the beginning for matters of religion, for some few years; to the end that every man may more boldly and confidently utter his wounds and so be cured thereof, which otherwise he would cover, deny or dissemble to his greater hurt and more dangerous corruption of the whole Body'.

⁴⁶ A Treatise of three conversions, V.2. p.388: 'wolves, theeves, robbers, murderers and the like' ... yt is lawful to putt heretiks also to death, when the defense of Christ flocke requiereth the same'.

⁴⁷ Ibid., p.392: 'Some toleration may be used with them [heretics] when they cannot be rooted out, without danger of the good come'.

⁴⁸ A Discussion, p.260: 'The Catholike Church hath that right upon them [heretics] as going out of her: yet may shee leave to use that right oftentimes, and toler-

Все эти абстрактные рассуждения были применены Парсонсом к английской ситуации при написании «Записки». Поскольку она была адресована будущему католическому монарху⁴⁹, которому пришлось бы столкнуться с наличием массы протестантов в стране, Парсонс много рассуждает на данную тему. Он разделяет еретиков на группы, выделяя «слабых католиков» [weaker Catholics] – схизматиков, и называя их «нашими братьями» [our brethem]. Парсонс считает, что следует «проявить искренне сочувствие к их слабости и падению и помочь им подняться». Говоря об убежденных протестантах, он пишет: «они могут стать нашими братьями ... мы должны со всей любовью стремиться к их истинному и искреннему обращению»⁵⁰.

Поскольку за годы правления королей-протестантов большинство населения Англии впало в ересь из-за незнания учения католической церкви, по отношению к ним необходимо было проявлять терпимость, которая должна была выражаться в разрешении совершения протестантских богослужений (в частных домах) в течение определенного периода. При этом протестантские проповеди подлежали строгому запрету, не говоря уже об обращениях в протестантизм⁵¹.

Предполагаемые Парсонсом меры вовсе не означали свободы вероисповедания, так как в его глазах «нет ничего столь опасного, позорного и оскорбительного для Господа Всемогущего, чем когда какой-либо государь позволяет поклоняться одновременно ковчегу Божию и Дагону, Богу и Дьяволу»⁵². Однако в английских условиях гонения были невозможны, во-первых, потому, что это было чревато политическими потрясениями, а во-вторых, потому, что главной задачей Парсонс считал обращение еретиков. И именно режим ограниченной веротерпимости, на его взгляд, предоставлял такую возможность.

Во-первых, можно было бы опровергнуть лживое и клеветническое утверждение тех, кто говорят, что Католическая церковь карает преж-

ate different sectaries also, when they are so multiplied, as they cannot be restrained without greater scandall, tumult, and perturbation, according to the parable of our Saviour, concerning the cockle growne up among the weat, which our sayd Saviour willed rather to be let alone, untill the harvest day, lest by going about to weed out the one out of due time, they might pluck up the other'.

⁴⁹ По всей видимости, инфанте Изабелле, дочери Филиппа II, кандидатуру которой на английский престол Парсонс выдвинул еще в 1594 г. (См. A Conference about the next succession to the crown of Ingland. 1594).

⁵⁰ A Memorial, p.25: 'we ought to have sincere compassion of their [schismatics] weakness and fall, animating them hereby to rise and stand hereafter ... [Protestants] may be our brethem ... we must use all charity seeking their true and sincere conversion'.

⁵¹ Ibid., p. 33.

⁵² Ibid.: 'no one thing is so dangerous, dishonorable, or more offensive to Almighty God in the World, than that any Prince should permit the Ark of Israel and Dagon, God and Devil stand and be honoured together'.

де, чем учит. Во-вторых, откроются и будут исцелены раны, которые в противном случае станут еще более опасными. И в третьих, станет легче обращаться еретиков, и они с уверенностью и готовностью изменят свое мнение и окажутся способными принять истину. Я думаю, что терпимость завоюет тысячи душ, которые иначе были бы потеряны⁵³.

Парсонс вовсе не отрицал, что еретиков в Англии нужно преследовать, но оговаривался, что гонения должны начаться «в соответствии с обстоятельствами времени, места и ситуации, когда появится возможность»⁵⁴. Он не объяснил, что за возможность имеется в виду, но легко предположить – речь идет о том времени, когда вне католической церкви останутся только наиболее убежденные еретики. Тогда в дело должна вступить Инквизиция⁵⁵. Таким образом, применение карательной политики обуславливается, во-первых, ситуацией – возможностью искоренить ересь без ущерба для общего блага, и во-вторых, ее объектом.

Схизматики должны были быть возвращены в лоно церкви мирными средствами. Путь их обращения (и обращения в широком смысле этого термина, т.е., обращение на путь спасения души) мыслился как возрождение воли человека через благодать. Для еретика «возрождение воли» означало изменение ее направленности, от греховного заблуждения к истине. Однако для английских иезуитов объектом обращения обычно становились не еретики, а те, кого они именовали схизматиками. Считалось, что схизматики пребывали в состоянии «духовной апатии», что грозило им полным отпадением от веры и, следовательно, потерей надежды на спасение. Для них обращение должно было начинаться с наставлений в вопросах веры и побуждению к покаянию (часто в сочетании с «Духовными упражнениями», служившими здесь как средство духовной переориентации): покаяние в грехах, наконец, давало грешнику шанс обрести благодать, без помощи которой он не мог рассчитывать обратить свою волю к истине⁵⁶.

⁵³ Ibid., p.34: 'First there would be taken away that slander wherewith the enemies are wont ordinarily to charge the Catholic Church, though perversely and falsly, that she persecuteth before she instructeth. And secondly, the wounds be opened and cured ... that otherwise would be dissembled and more infected. And thirdly, there would be more liberty for men to deal for the true conversion of heretick; and they with more confidence, comfort and alacrity would alter their minds, and be more capable of the Truth; and I think it would be the gaining of thousands of souls that otherwise would be lost'.

⁵⁴ Ibid., p.45: 'according to the circumstance of time, occasion, and place, when opportunity shall be offered'.

⁵⁵ Ibid., p.99.

⁵⁶ О практике обращений см. *M.C. Questier, Conversion, Politics and Religion in England, 1580–1625* (Cambridge, 1996), p.178–186; о деятельности Парсонса и его представлении об обращении см. также *А.Ю. Серёгина. Английская бла-*

Что же касается собственно еретиков (= протестантов), то они представлялись Парсонсу неоднородной группой. Преследовать, по его мнению, можно лишь убежденных врагов церкви, сделавших сознательный выбор (собственно, только их и можно с полным основанием называть еретиками).

Я думаю, что человек становится еретиком только тогда, когда он, узнав католическое учение, решает противостоять ему и избирает иные взгляды, отличные от тех, которых он придерживался ранее. Именно этот выбор, а также решимость придерживаться его и защищать его против власти Церкви делает ересь то, что раньше было лишь заблуждением⁵⁷.

Следовательно, отличительным признаком ереси является не просто отклонение от католической догмы («ошибка в суждении»); это отклонение должно быть осознанным действием, соединением заблуждающегося ума и дурно направленной воли⁵⁸. Поэтому Парсонс подчеркивал разницу между «еретиком и тем, кто ему поверил и был им обманут»⁵⁹. По отношению к таким людям его план предусматривал мирную проповедь католического учения.

Здесь Парсонс расходился во мнении с рядом своих континентальных единоверцев, считавших вполне допустимым использовать силовое давление как средство побудить еретика перейти в католицизм⁶⁰.

Что же касается тех протестантов, кого оказалось бы невозможным обратить, то, по всей видимости, для Парсонса это означало, что их воля окончательно подчинена греху, и надежды на спасение уже нет. Именно для них он и предназначались костры инквизиции.

Позиция Парсонса в вопросе веротерпимости во многом определяется его принадлежностью к ордену иезуитов. Для основателей ордена, прежде всего, для Игнатия Лойолы и его преемников (Лайнеса, в частности) борьба с ересью заключалась в борьбе с грехом, ее порождавшим. Следовательно, главным становилось «внутреннее обращение», то есть изменение образа жизни, отречение от греха, необхо-

гочестивая литература рубежа 16–17 вв., религиозная полемика и обращения в «истинную веру»// Книга в эпоху Возрождения (в печати).

⁵⁷ A Treatise tending to Mitigation towards Catholicke-Subiectes in England [1607], ERL, v.340 (1977), p.64-65: 'I doe not thinke this man as yet to be an Hereticke, except when the doctrine of the Catholicke faith ... being made cleere and manifest unto him, he shall resolve to resist the same, and shall make choice of that which before he held: so as now this choice or election with obstinate resolution to hold and defend the same against the publicke authority of the Church, maketh that to be properly heresy, which before was but error...'

⁵⁸ Ibid., p.220-221.

⁵⁹ Ibid., p.63: 'an Hereticke, and one that believeeth Hereticks, and is deceived by them'.

⁶⁰ Такова была позиция Дж.Ботеро, Юста Липсия (эта тема затрагивается во втором издании его «Политики» 1596 г.), иезуита А.Контцена (См. R.Bireley. The Counter-Reformation Prince. Chape Hill, 1990, p.62-63; 89-91, 144-146).

димое не только еретикам, но и тем, кто считал себя католиками. По мнению первых иезуитов, мирная проповедь католического учения способна подготовить даже заблуждающегося человека к восприятию истины. Исходя из этих соображений Лойола в первые годы существования ордена ограничивал богословскую полемику с еретиками, предпочитая проповедь и катехизацию⁶¹.

Особенно сильное впечатление на взгляды Парсонса оказал его испанский собрат по ордену Педро де Рибаданейра и его «Трактат о религии и добродетелях, которые должен иметь христианский государь, чтобы управлять своим государством и сохранить его» (1595 г.). Трактат этот интересен тем, что во время его создания автор явно имел в виду английскую ситуацию. Рибаданейра посетил Англию в 1558-59 гг. в свите испанского посла герцога Ферии, став свидетелем смерти Марии Тюдор и смены официального вероисповедания. Начиная с этого момента он постоянно проявлял интерес к этой стране и положению английских католиков, получая информацию благодаря своим личным связям – Рибаданейра находился в хороших отношениях с Хуаном Идиакесом – королевским секретарем и советником по делам Англии, а также с группой английских эмигрантов при испанском дворе. Позднее он познакомился с Парсонсом (вероятно, в 1582 г., когда тот впервые посетил Испанию). Парсонс посылал ему письма с информацией о преследованиях католиков в Англии⁶², которые Рибаданейра использовал при написании «Церковной истории английской схизмы» (1588 г.), где призывал к войне против английского правительства (и возведению на престол католического монарха).

Но даже имея в виду перспективу изменения официального вероисповедания после свержения Елизаветы и проблему обращения английских протестантов (а Рибаданейра так же, как и Парсонс, был осведомлен о подготовке Армады 1596 г.), он не был готов принять веротерпимость в таком виде, как это сделал последний. Считая, что «свобода совести есть разрушение веры и благочестия» (и явно понимая под ней свободу вероисповедания), Рибаданейра посвятил четыре главы отрицанию принципа веротерпимости⁶³, и лишь затем оговорился, что в определенной ситуации она необходима.

⁶¹ J.W.O'Malley. Attitudes of the Early Jesuits towards misbelievers// The Way, Suppl. 68, 1990, p.64-73.

⁶² L.Hicks (ed.). Letters and Memorials of Father Robert Persons, S.J. CRS, V.39, London, 1942, p.227-235.

⁶³ Ribadeneira P. de. Tratado de la religion y virtudes que debe tener el principe cristiano para gobernar y conservar sus estados// Obras escogidas. Biblioteca de autores españoles, V.60. Madrid, 1868, p.483-500; p.500: 'la libertad de conciencia es la destruccion de toda la religion y piedad'.

Когда все королевство или большая его часть состоит из еретиков, и плеве-лы не могут быть вырваны без ущерба для злаков или без серьезной угрозы переворотов и войн, христианская осмотрительность требует избрать иной путь [помимо гонений], чтобы не принести больше вреда, чем пользы⁶⁴.

Парсонс был высокого мнения о трактате Рибаденейры и рекомендовал его как полезное чтение для будущего католического монарха⁶⁵. Однако сам он, используя его как источник идей (о чем свидетельствуют текстуальные заимствования из «Трактата», присутствующие в тексте «Записки»⁶⁶), явно сместил акценты. И в «Записке» и в других его текстах о «нормальной» ситуации (т.е., такой, когда терпимость не нужна) упоминается крайне редко, тогда как исключительность английского случая подчеркивается постоянно.

Как вписываются взгляды Парсонса и английских католиков в целом на проблему веротерпимости в контекст католической мысли?

Если до Тридентского Собора ряд католических теологов под влиянием идей христианского гуманизма выступали против насилия в вопросах веры и стремились к мирному восстановлению единства церкви путем доктринального компромисса, то после его завершения о подобном компромиссе не могло больше идти речи.

Соответственно изменился и подход к проблеме терпимости. Надежда на примирение конфессий исчезла, и на ее смену приходили новые принципы. Французские «политики» видели выход в четком разграничении духовной и светской сфер, полагая, что хотя наилучшим выходом для государства является сочетание политического единства и религиозного единообразия, при отсутствии последнего следует придерживаться политики терпимости ради сохранения государства⁶⁷. К этому же кругу авторов примыкал Юст Липсий⁶⁸. Нетрудно заметить, что сторонниками этого подхода были юристы, с точки зрения которых взаимные обязательства подданных и государя не зависели от вероисповедания обеих сторон. Но при этом идея терпимости не приобретает положительного смысла сама по себе: по-прежнему звучат отголоски принципа избегания большего зла.

Католические богословы Лувенского университета Жан де Ланс и Жан Вермелен на рубеже 1570-80-х гг. распространили традиционное для средневековой теологии отношение к иудеям и язычникам на современных им протестантов, призывая к терпимости по отношению к

⁶⁴ Ibid. p.499: 'quando todo el reino ó la mayor parte es de herejes, y no se puede arrancar la zizaña sin arrancar el trigo, ó sin grave peligro de revoluciones y guerres, la prudencia cristiana enseña a disimular por no hacer mas daño que provecho'.

⁶⁵ A Memorial, p.219.

⁶⁶ См. A Memorial, p. 33 и Ribadeneira P., op.cit, p.422.

⁶⁷ J.Leclef. Toleration and the Reformation, V.2, p.477f.

⁶⁸ R.Bireley, op.cit., p.89-91.

последним, поскольку искоренить их силой не представлялось возможным. Это мнение стало популярным среди католических авторов (тех, кто вообще признавал возможность веротерпимости), в особенности среди иезуитов. Помимо упоминавшихся Парсонса и Рибаденейры, к нему склонялись испанский иезуит Хуан Маркес и голландец Мартин ван дер Бек (исповедник императора Фердинанда II)⁶⁹.

Таким образом, позиция английских католиков была идентична позиции их континентальных единоверцев. Единственным отличием можно считать лишь большую распространенность среди англичан данного мнения, но это совершенно естественно, принимая во внимание условия, в которых им приходилось существовать.

Нетрудно заметить, что представления католиков XVI–XVII вв. о терпимости вполне вписывается в августиновскую традицию в ее средневековой, томистской интерпретации. Существенным отличием англичан, впрочем, был отказ от применения насилия при обращении схизматиков и заблуждающихся (с этой позицией не были согласны все их континентальные единоверцы). В данном вопросе английские теологи под воздействием иезуитской мысли несколько отступили от принципа *compelle intrare*.

Впрочем, подобное отступление выглядит скорее тактическим ходом. В Англии конца XVI–XVII вв. так и не произошло реставрации католицизма, в расчете на которую сочинял свою «Записку» Парсонс. Но его план в основных чертах вполне соотносим с реализованным проектом – Нантским эдиктом 1598 г. Здесь мы наблюдаем период мирного (относительно) сосуществования двух конфессиональных групп, который (теоретически) должен был стать и периодом обращения заблудших в истинную веру. Когда же гугеноты утратили свое политическое влияние, а затем и стали менее многочисленной группой населения, эдикт был отменен, а к оставшимся гугенотам применили насилие.

Принцип веротерпимости в современном смысле (приравнивающим ее к свободе вероисповедания), видимо, вообще не мог возникнуть в рамках католической мысли, ибо он предполагает определенную степень равенства конфессий (с точки зрения их истинности), а для католика единственной истинной церковью является его собственная. Те же, кто отпал от нее – еретики, которых нужно вернуть или уничтожить.

⁶⁹ *Ibid.*, p. 123, 144–145.

Н.В.Корякина

Религиозные убеждения Жана Бодена в контексте лингвистического анализа

Вопреки стереотипам, сложившимся в историографии, религиозные убеждения Бодена представляют собой оригинальный комплекс духовных установок, которые можно назвать монотеистическим синкретизмом.

Проблема теизма Бодена пока не решена до конца. А.Дежарден полагал, что он «вовсе был лишён религиозных верований»¹. О светских элементах в мировоззрении Бодена писал Дж.Хупперт. Этот исследователь работал с трактатом «Метод лёгкого познания истории». Признавая религиозность Бодена и роль иудаистского мистицизма в его мировоззрении, Хупперт утверждал, что философ отделил человеческую историю от божественной, ссылаясь на пассаж, в котором говорится о необходимости изучать историю еврейского народа, усваивая особенности их политического устройства, а не религии². Он уверен, что, по мнению Бодена, человеческая история независима от божественной. Н.Сперанский говорил о нём как о «католическом юристе»³. То же мнение в одной из своих работ высказал Д.Р.Келли⁴, хотя позднее он писал об эклектичности представлений Бодена о мире⁵. Существует значительная группа исследований, авторы которых признали «проиудаизм» Бодена⁶. В их числе книга Э.Бартельми⁷, работа Берцольда, диссертация Ф.А.Коган-Бернштейн. Все эти точки зрения получают оценку ниже. Общими чертами историографии является, во-первых, недостаточное внимание к источникам при решении проблемы вероисповедания Бодена и, во-вторых, стремление найти новые доказательства сложившегося стереотипа о парадоксе личности Бодена.

До сих пор выводы о вероисповедании Бодена почти всегда делались на основе текстов его произведений, которые прямо не связаны с религиозной тематикой, а также на основе книги «Семичастный разго-

¹ Desjardins A. Les Moralistes Francais du sezieme siecle. Paris, 1869. P.318.

² Huppert, George. The idea of Perfect History. Historical erudition & Historical Philosophy in Renaissance France. Urbana, Chicago, London. 1970. P.101.

³ Сперанский Н. Ведьмы и ведовство. М. 1906. С.197.

⁴ Kelley, Donald R. The Beginning of Ideology. Consciousness and Society in the French Reformation. Cambridge. 1981. P.48.

⁵ Kelley, Donald R. History, Law and Human Sciences. London. 1984. P.48.

⁶ Коган-Бернштейн, Ф.А. Жан Боден. Жизнь и творчество. Дис. д-ра ист. Наук. М. 1943. С.151.

⁷ Barthelemy. Etudes sur Jean Bodin, sa vie et ses travaux. Paris. 1864.

вор», авторство которой оспаривается К.Ф.Фальтенбахером⁸. Более подходящим источником, на мой взгляд, является трактат «Демонomanия колдунов», первое издание которого относится к 1578 г. Данное произведение недостаточно изучено, хотя и широко известно в научных кругах⁹. На него уже обращали внимание Бартельми и Берцольд. Этот источник, как и комплекс других источников, тесно с ним связанных, представляет большую ценность. Трактат создан с целью обличения преступления колдунов и проникнут обвинительным пафосом против этих «слуг дьявола». Само его существование опровергает вышеуказанное мнение А.Дежардена¹⁰. Другие трактаты Бодена тоже содержат немало информации о его религиозных убеждениях. В этой работе используется перевод на русский язык «Метода лёгкого познания истории».

Главным источником божественной истины, которым пользовался Боден, была, разумеется, Библия. Во всех его произведениях библейские цитаты приводятся на латыни, что свидетельствует о работе с католическим канонem. Обращает на себя внимание любопытная особенность – преимущественное обращение к книгам Ветхого Завета и очень редкое – к Евангелию. Например, в «Демонomanии колдунов» упоминается только один эпизод из Нового Завета – перенесение Христа дьяволом по воздуху. Эта легенда имеется в рассказе об искушении Христа сатаной. В то же время, сюжеты из Ветхого Завета используются очень часто, так что можно указать только наиболее часто встречающийся эпизод – последнее пророчество Самуила Саулу. При этом словосочетание «Ветхий Завет» (L'Ancien Testament), возникшее в христианской традиции, ни разу не употребляется. Судя по всему, тексты первой части Библии, которая в целом соответствует Танаху – одному из священных текстов в иудаизме, более значимы для Бодена, чем Евангелие, являющееся важнейшим источником божественной истины для любого христианина.

О значительном влиянии иудаизма на мировоззрение Бодена можно судить по использованию священных текстов иудеев, хотя ссылки на них отсутствуют или скрываются, как в случае с Танахом, за видимостью

⁸ Фальтенбахер, Карл Ф. «Семичастный разговор» и новая картина мира Галлея. М. 1996. С.8.

⁹ См., например, Кучеренко Г.С. Исследование по истории общественной мысли Франции и Англии XVI – перв. пол.XIX вв. М. 1981. С.171; Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе XV–XVII вв.СПб. 1909. С.37; Коган-Бернштейн, Ф.А. Жан Боден. Жизнь и творчество. Дисс. д-ра ист. наук. М. 1943. Baudrillart, Htnri.I. Bodin et son temps. Paris. 1853. P.111; Mandrou, Robert. Magistrats et sorciers en France au XVIIe siecle. Plon. 1968. P.120. Monter E. William. Witchcraft in France and Switzerland. London. 1976. P.34.; Mushembled, Robert. The Witches in Cambresis./ Religion and the People. 800–1700. Chapel Hill. 1979. P.232; Pernot, Michel. Les guerres de religion en France 1559–1598. Paris. 1987. P.286. Реньяр, Поль. Умственные эпидемии. СПб. 1889. С.13.

¹⁰ Desjardins, A. Op.cit.

христианского канона. Довольно трудно, например, ответить на вопрос о значении Торы для Бодена. Пятикнижие Торы является частью Танаха, но почитается в иудаизме особо. В связи с этим внимание привлекает часто встречающееся в трактате «Демонomanия колдунов» словосочетание «Закон Божий» (*La Loy de Dieu*). Если рассматривать его в контексте христианской культуры Западной Европы, то оно не вызывает никаких определённых ассоциаций (Второзаконие в западно-христианском каноне имеет название *Deuteronomium*, по-французски – *Deuteronomie*), тем более что случаи употребления этого понятия Боденом не перекликаются с содержанием Нагорной проповеди. Дело в том, что слово «Тора» переводится на французский язык словом «loi» – закон, которое в «Демонomanии» записано в устаревшем варианте.

Раввинистическую традицию, использованную Боденом, можно разделить на несколько типов, согласно принятой хронологии. Первый тип представлен произведениями, относящимися к периоду создания Талмуда; из них наиболее выраженным является агадический пласт. В некоторых случаях еврейский источник не называется, но прямые сюжетные заимствования не оставляют сомнений в том, что Боден знал и уважал еврейскую теологию. В текст «Метода лёгкого познания истории» включена легенда о мученической смерти за веру семи мальчиков и их матери в правление «короля Антиохей»¹¹. Эта история взята из Агады. Другая часть Талмуда – Галаха, не упоминается совсем, хотя, возможно, Боден был знаком с ней. Это легко объяснить, так как она содержит нормы обычного права, регулирующие жизнь еврейских общин. Правоотношения французского общества, к которому принадлежал Боден, строились во многом на основе римского права, галахическим нормам в нём не было места. Второй тип раввинистики – теологическая литература средневековья. Из них у Бодена чаще всего встречается имя Маймонида¹². Его влияние на мировоззрение Бодена будет рассмотрено ниже. Кроме того, в «Демонomanии» упоминается одна из книг Моисея Ибн Эзры¹³. К более позднему периоду относятся труды Давида Кимхи и, возможно, Элазара Азикри (довольно трудно понять, кого именно Боден подразумевает под именем Элизер). Особняком стоит учение Филона Александрийского (25 г. до н.э.–50 г. н.э.) – иудейско-эллинистического религиозного философа, учение которого было известно Бодену¹⁴. С

¹¹ Боден, Жан. Метод лёгкого познания истории. М. 2000. С.113.

¹² Моисей бен Маймон (Маймонид) или Рамбам (1135 или 1138–1204 гг.). Теософ, раввин и судья иудейской общины Каира, врач при дворе везира Салах ад Дина: Сформулировал основную догматику иудаизма, используя некоторые идеи Аристотеля. Автор большого числа книг, главными из них считаются два: «Повторение закона» (другое название – «Мощная длань») – систематический свод галахических решений и «Руководство блуждающим».

¹³ Моисей Ибн Эзра (ок. 1055–1135) – еврейский поэт и философ в Испании.

¹⁴ *Demonomanie des sorciers*. La Roche-sur-Yon. 1979. P. 8, f.2.

«устной» мистической традицией в иудаизме, представленной Каббалой, Боден был знаком. Это учение он считал источником мудрости, но осуждал тех, кто использовал его в магических целях¹⁵.

Следует отметить, что возможен другой способ характеристики еврейской теологии, – тот, который связан с особенностями отношения Бодена к текстам «учителей». Для него достоверность Ветхого завета была абсолютной, поэтому он верил, что книги пророков написаны самими пророками. Таким образом, зарождение раввинистической традиции произошло для него раньше, чем для современных исследователей Библии, которые связывают её начало со временем создания Талмуда.

В работах Бодена можно найти множество ссылок на труды христианских теологов, начиная с «отцов церкви». Среди них особенно часто встречаются упоминания Августина и Фомы Аквинского, но в большинстве случаев Боден ограничивается указанием на «всех христиан» (*tous les chretiens*). Он знал христианскую теологическую традицию. Однако современники, например Пассевин, упрекали его в том, что он уделял ей слишком мало внимания. Причину этого нужно искать в характере ссылок. Приведём несколько примеров. В предисловии к «Демонии» (Изд. 1581, с.3) Боден пишет: «Вот почему святой Августин в книге «О Граде» говорит, что все секты, которые когда-либо существовали, установили кары колдунам». Здесь текст Августина используется в интересах Бодена для доказательства, что колдуны – общие враги всех вообще людей, независимо от их религиозной принадлежности, а не только благочестивых христиан. В другом месте он признаётся, что рассуждения о морали «отцов церкви» не соответствуют современной ему практике процессов по делам о колдунах (Там же, с. 192, л.2.): «... святой Августин в книге «О лжи» и Фома Аквинский полагают, что не никогда нельзя лгать восемью видами лжи, которые они подробно описывают, но судьи не исполняют этого решения». В обращении Бодена с идеями теологов-христиан видится подход, ставший оружием христианских схоластов, обращённым против них. Кроме того, Боден подвергал критике произведения христианских авторитетов. Будучи человеком раннего нового времени, когда представления европейцев об окружающем мире значительно расширились, он указывал на недостатки эрудиции Августина¹⁶. Поэтому, хотя Боден в некоторых богословских вопросах соглашался с «отцами церкви», его позиция вызвала возмущение у католика Пассевина, благодаря которому «Демонии колдунов» в 1594 г. попала в индекс запрещённой литературы.

Соотношение христианской и еврейской богословских традиций неодинаково. Существуют показательные примеры, связанные с толкова-

¹⁵ Ibid. P.68, f.2.

¹⁶ Метод... С.267.

нием Писания. Вот что пишет Боден в трактате о колдунах, разъясняя эпизод о последнем пророчестве Самуила царю Саулу: «Следует отметить, что ответ, переданный Саулу от лица Самуила, которого считают самим дьяволом, содержит пять раз упомянутое имя Бога Яхве, от которого демоны приходят в ужас, только один раз услышав его. Вот почему я могу следовать мнению раби Давида Кимхи об этом отрывке, но ни Тертуллиана в его книге «О душе», ни Святого Августина, которые настаивают, что это был дьявол»¹⁷. Таким образом, Боден иногда предпочитает еврейскую богословскую традицию христианской теологии. Мне не удалось найти ни одного примера того, что в спорном вопросе на теологическую тему Боден перешёл бы на сторону христианских богословов наперекор еврейской традиции.

В книгах Бодена упоминается большое количество имён магов-европейцев предшествующего Бодену поколения: Марсилио Фичино, Лоренцо Валла, Пико делла Мирандола. Все они были приверженцами герметизма. Боден считал их мудрецами, внимательно читал их книги, но учение Гермеса Трисмегиста не принял. В трудах магов его больше всего заинтересовали проблемы естественной философии, в которых он охотно следовал за упомянутыми философами.

Следует теперь вновь обратиться к историографии и дать оценку мнениям историков по вопросу о религиозных убеждениях Бодена. Точку зрения историков, считавших его католиком, можно оспорить, так как имеются доказательства того, что Боден не был христианином по убеждению, внешне демонстрируя свою принадлежность к христианству. Например, его трактовка образов бога и дьявола противоречит католическим догматам. Вот что сказано в трактате о боге: «Ведь существует только вечный Бог, то есть тот, кто не имел начала и никогда не будет конечен, или, как сказал Исаия, – тот, кто был прежде всего и пребудет после всего»¹⁸. Господь изображается как Творец, Хранитель и Судья. Боден называет его «Creatuer, Pere, Genegateur», что означает – «Создатель, Отец, Порождающий (или Первоначало)». Творческая способность бога безусловна. Созидание является его основной целью, главным актом божественной воли. Условием к тому, чтобы Всевышний пожелал сохранить человеческий род как главное своё творение, является добрая воля человека, избирающего поклонение богу основой всех своих помыслов и поступков. Божественному суду подчиняется абсолютно всё.

Среди перечисленных характеристик божества отсутствует важный для католицизма и вообще для христианской религии стереотип Спасителя, бога, страдающего ради искупления грехов человека. Жан Боден вообще не считал Христа богом. Признавая только человеческую приро-

¹⁷ Demonomanie. Paris. 1988. P.70, f.2.

¹⁸ Demonomanie. 1979. P.6, f.2.

ду Иисуса Назаретянина¹⁹, автор «Демонии» ставил его в один ряд с мучениками, пророками и лже-богами.

Из имён бога Боден употребляет ветхозаветные, особенно почитая имя Яхве, как это указано выше. Именно в них, по его мнению, заключена сила, отпугивающая злых духов. Говоря о Троице, он ссылается на множественные случаи упоминания Отца, Сына и Святого Духа колдунами во время ворожбы²⁰ или дьяволом для совращения людей²¹. Боден строго осуждает такой обычай, но вывод очевиден: имена Троицы не имеют для него особой священной силы. В то же время, упоминание имени Яхве способствует изгнанию демонов.

Дьявол представлен традиционно, как абсолютная противоположность богу, Разрушитель²² и истребитель божественных творений. Из-за него в мир пришла смерть. Однако существенное отличие от христианской догматики, согласно которой он называется падшим ангелом, состоит в уверенности Бодена в том, что сатана был источником гибели изначально, именно таким его создал бог²³. Легенда о низвержении Люцифера отвергается. Такое представление о природе зла принято в иудаизме.

Боден употребляет множество имён дьявола, большинство которых относятся к древним языческим богам, упоминаемым в Библии, чаще всего это Ваал (Бел) – «господин» – имя целого ряда божеств Древнего Востока, в основе своей финикийского происхождения. Все они обобщаются под именем Сатаны (библ. ивр. – враг). Кроме того, в «Демонии» можно обнаружить большое количество имён демонов, слуг Сатаны. Среди них также много имён языческих божеств, в основном античных.

Главной целью Сатаны является нанесение вреда божественным творениям. Исполнителями его замыслов признаются демоны, а его цель – души людей.

Нужно сказать несколько слов о священной истории, которая стоит в числе четырёх историй, согласно классификации Бодена. Вопреки сложившемуся убеждению, что трактат «Демонии колдунов» посвящён именно ей, в нём всего лишь 7 страниц (в издании 1581 г. с.1-7) содержат то, что можно назвать священной историей. Этот материал весьма интересен для нашей темы. Легенда о сотворении сатаны входит в неё. Боден верил, что дьявол создан «в начале мира» как разрушительная сила в чудовищном облике Левиафана и Бегемота, являющаяся проявлением божественного могущества. Бог сам создал себе соперника, чтобы победить его. Таким образом, сатана не вечен и когда-нибудь погибнет. Божественное воинство (ангелы) и воинство зла (демоны) также созданы богом.

¹⁹ Ibid. Hildesheim-Zurich-New York. 1988. P.255, f.2.

²⁰ Demonomanie. 1988. P. 128, f.1.

²¹ Ibid. P.163, f.2.

²² Demonomanie. 1979. P. 1, f.2.

²³ Ibid. P.2, f.1.

Любопытно, что на них распространился, по мнению Бодена, принцип свободы воли, то есть они, сотворённые во благо, выбрали, соответственно добро или зло, присоединившись к богу или к дьяволу, отчего ангелы обрели бессмертие, а демоны удостоились ограниченного времени существования (не более тысячи лет). Слуги сатаны телесны, следовательно, они являются частью элементарного мира, как и животные. В этой легенде, преобразованной Боденом, видится попытка примирения легенды о падших ангелах с убеждениями самого философа. Из неё следует вывод автора о том, что в мире нет ничего, что не было бы благом. Возникает вопрос: куда же отнести дьявола с его слугами? Отвечая на него, Боден прибегает к сравнению зла со «сточными канавами, клоаками и другими и прочими вместилищами нечистот, которые необходимы в самых прекрасных дворцах мира» (1581, р.5, f.2). От зла, таким образом, можно избавиться, но помнить о нём необходимо, чтобы отличать от него добро.

Говоря о месте человека в мире, Боден имеет в виду его религиозный выбор. Оценивая действия человека, философ оперирует нравственными категориями добродетель – зло, хорошо – плохо. Однако сам по себе человек ни плох ни хорош. Создавая его таким, бог предоставил ему свободу нравственного выбора, дал ему свободную волю выбора между добром и злом. Таким образом, отвергается идея предопределения Кальвина. Боден притом вовсе не отрицает всемогущества Творца, его способности вмешиваться в жизнь человека. Но он полагает, что бог сознательно предоставляет человеку свободу, чтобы тем самым увеличить его ответственность за свои поступки.

Следует отметить, что свобода воли является в иудаизме скорее идеей, чем догматом. Цитата из Второзакония (30,19), которой он пользуется, такова: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь...». Боден, говоря о свободе выбора человека, ссылается на мнение теолога-иудея Маймонида. Но его настойчивость в данном вопросе наводит на мысль о полемическом характере отрывка. Уверенность в свободе человека выбирать свой путь противоречит кальвинистскому учению о предопределении. Конечно, нет оснований утверждать, что Боден стремится опровергнуть самого Кальвина, но нужно учесть одну из целей создания трактата «Демонomanия колдунов», а именно опровержение мнения Иоганна Вира²⁴, кальвиниста, автора кни-

²⁴ Иоганн Вир (Жан Визр, Вейер). (1515–1588). Кальвинист. Философ и врач. Родился в городе Граве-на-Мезе. Ученик знаменитого мага-герметика Агриппы Ноттесгеймского с 1533 г., но в отличие от него не был практикующим магом, хотя живо интересовался демонологией. Издание книги «О ламиях», которым пользовался Боден, вышло в свет в Базеле в 1577 г. Главным сочинением считается трактат *De prestigiis daemonum et incantationibus ac veneficiis*, впервые изданное в Базеле, в 1576 г., которое уже в 1579 г. вышло во французском переводе под заглавием *Histoires, disputes, et discours des illusions et impostures*

ги «О ламиях». В работе Бодена специально критике Вира посвящена отдельная книга, но и весь трактат «Демонomanия», фактически, создан на основе конспекта труда «О ламиях». Одной из идей Вира была идея невинности перед законом тех, кого называют колдунами. Он полагал, что все их видения – это фантазии, вызванные болезнями. В этом вопросе Вир придерживался учения Кальвина, согласно которому эти люди признавались несчастными с рождения, обречёнными богом на муки в земной и загробной жизни, но вести в суд их было не за что. Боден, напротив, был уверен в преднамеренности действий «слуг дьявола». Подчёркивая идею о свободной воле, он пытался доказать, что это право человека только увеличивает его ответственность за свои действия перед богом и людьми. Колдун якобы сознательно выбирает своим покровителем дьявола и по своей воле нарушает божественные заповеди. Боден думал, что выбор зла всегда осознан.

Духовный выбор добродетели может быть, согласно Бодену, осознанным и неосознанным. Человек, знающий истинного бога, любящий его, сознательно исполняет его заповеди, считая их единственно справедливыми. Другие люди могут исполнять основные заповеди бога, но не поклоняться истинному богу, не зная и, может быть, не желая знать о нём. Вот что пишет об этом автор «Демонomanии»: «Самыми злостными колдунами являются те, кто отрекается от Бога и от служения ему. Или же, если они не почитают истинного Бога, так как исповедывают какую-нибудь ложную религию, – те, кто отрекается от неё, чтобы предаться дьяволу посредством определённого договора. Ибо не существует религии, столь ложной, которая не удерживала бы людей в границах закона природы, чтобы они слушались отцов, матерей и судей из страха причинить кому-нибудь зло»²⁵. Из круга опасных грешников исключаются люди, подверженные суевериям. Кроме того, можно понять, что под именем самых злых колдунов подразумеваются сатанисты (в том широком смысле, которое вложила в это понятие христианская теология) и безбожники. Между этими понятиями Боден находит близость. По его мнению, человек, отрицающий бытие бога, служит сатане, так же, как и тот, кто отворачивается от бога и обращается к дьяволу. Религии тех, кто поклоняется другим божествам, соблюдая нормы общечеловеческой морали, Боден называл суевериями (*religions superstitieuses*). К ним он, видимо, относил католицизм, различные ветви протестантизма и прочие современные ему монотеистические религии, о которых он знал. В иудаизме, согласно требованию терпимости к иноверцам, идолопоклонниками (*les idolâtres*) безоговорочно признавались только древние язычни-

des diables (Орсье, Жозеф. Агриппа Неттесгеймский. Историко-биографический очерк. Томск. 1996. С.406).

²⁵ Ibid. P.86, f.2.

ки²⁶. Католиков и протестантов, строго говоря, таковыми назвать нельзя; с точки зрения Бодена, которую он прямо не высказывал, их религии можно признать суевериями. Для доказательства этого утверждения необходимо воспользоваться работами Моисея Маймонида, оказавшими значительное влияние на мировоззрение Бодена. В «Демонии колдунов» содержится 20 ссылок на его труды. В книге «Повторение Закона» Маймонид пишет, в частности, о своём истолковании божественного предписания «Не бесчестите святого имени Моего» (Левит 22: 32): «Если восстанет идолопоклонник и принудит кого-нибудь из Израиля нарушить какую-нибудь заповедь, упомянутую в Торе, угрожая, что в противном случае он предаст его смерти, то пусть совершит нарушение, но не умрёт»²⁷. Нарушать разрешалось все заповеди, кроме запрета идолопоклонства, убийства и инцеста. При этом выдвигаются два условия: если принуждение к нарушению заповеди происходит в присутствии менее десяти единоверцев и если в это время нет гонения на иудеев²⁸. Толкование Маймонида объясняет факты изменения конфессиональной принадлежности автором «Демонии». Хотя, если вспомнить о кровопролитных религиозных войнах эпохи, в которую жил Боден, то его действия можно обосновать страхом смерти, а также большими выгодами, которые приносила принадлежность к различным религиозно-политическим лагерям в разное время. В биографии Бодена можно найти много примеров для этого. За свою жизнь он часто подвергался смертельной опасности из-за подозрений в ереси. В 1548 г. Он предстал перед судом Огненной Палаты и был приговорён к тюремному заключению²⁹. В 1552 г. под угрозой преследования бывший кармелит бежал в Женеву, где стал кальвинистом. В 1568 г., находясь на королевской службе в Париже, Боден, хотя и принёс католическую присягу, был заподозрен в сочувствии гугенотам и арестован³⁰. В 1572 г. Он чудом уцелел во время резни в Варфоломеевскую ночь. Вполне естественно было бы оправдать его беспринципность желанием выжить. Но смена веры, кроме того, способствовала удаче в карьере Бодена. Принесение католической присяги позволило ему впоследствии продолжить службу при дворе, где он добился немалых успехов. В книге «Метод лёгкого познания истории» имеется мнение автора об этом: «Золотая середина означает среднее между непостоянством и упрямством. [...] Как в мореплавании, надо искусно поддаться буре, особенно если вы не можете найти убежище. [...] А тот, кто упорствует в отстаивании своего мнения до конца, полагая, что недостойн отказаться от него, и стыдится признать пораже-

²⁶ Мировоззрение талмудистов. М. 1994. Т.3. С.23.

²⁷ Рамбам. Избранное. Иерусалим. 1990. Т.1. С. 21.

²⁸ Там же.

²⁹ Бобкова М.С. Жизненный путь Жана Бодена. ВИ. 1997. №9. С.150.

³⁰ Там же.

ние, как и тот, кто предпочитает уйти из жизни, нежели отказаться от своего тщательно сформулированного мнения, – такие люди живут без пользы для себя и своих сограждан, и они часто приводят к гибели государства»³¹. Как видно, практическая сметка Бодена несколько не противоречила его религиозным убеждениям.

Как же представляет себе Боден добродетельного человека в религии? В тексте «Демономании» имеются самые подробные сведения об этом. В первой книге, в главе, посвящённой общению добрых духов с людьми, находится рассказ о некоем «персонаже», с которым знаком автор трактата, и который к моменту написания книги *est encore en vie*. «У него был дух, который усердно заботился о нём»³². Этого духа автор считал «добрым ангелом»³³. Далее излагаются обстоятельства жизни «персонажа» после того, как ему исполнилось 37 лет, и дух явился ему в первый раз. Этот человек, читая Библию, искал ответ на вопрос о том, какая из всех религий является истинной. Один день в неделю, но не воскресенье («из-за излишеств, которым, как он сказал, предаются в этот день»³⁴), он посвящал чтению Библии и размышлениям о прочитанном. В это время он возносил хвалу богу и «совсем не выходил из дома в день, который он праздновал»³⁵. Здесь дано точное описание обычая соблюдения субботы, обязательного для каждого приверженца иудаизма. Весь рассказ призван быть доказательством того, что человек, поступающий таким образом, является добродетельным, а дух-наставник послан ему самим богом. Думается, героем рассказа, содержание которого изложено здесь вкратце, является сам Жан Боден (так же считали Э.Бартельми и Берцольд)³⁶. Об этом свидетельствует пристальное внимание к эмоциям «персонажа», подробное описание его внутренних переживаний и снов, что не характерно для сообщений о других людях, упоминаемых в «Демономании», имена которых автор трактата не считает нужным скрывать. Кроме того, «персонаж» якобы слышал во сне чей-то голос, сказавший: «Кто пребывает под защитой всевышнего Бога, чтобы никогда не отстраниться от него?»³⁷. Именно эта фраза составляет первую и вторую строки стихотворения, которое содержится в другой части трактата³⁸. О его авторстве Боден также умалчивает. Судя по всему, он сам написал эти стихи. Их содержание заключает в себе отношение автора к возможному нравственному выбору. Наличие данного отрывка свидетельствует о том, что духовный выбор для Бодена был нелёгким.

³¹ Метод... С.113.

³² *Demonomanie*. 1979.Р.11, f.2.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* P.12, f.2.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Коган-Бернштейн, Ф.А. Указ. соч. С.90.

³⁷ *Demonomanie*. 1979. P.13, f.2.

³⁸ *Ibid.* P.158, f.2.

Нужно отметить расхождение убеждений Бодена с догматами иудаизма. Оно выражается в различных подходах к решению проблемы божественного воздаяния и высшего произвола. Ответ в этом случае очень важен, поскольку он относится не только к сфере теоретического богословия, но определяет поведение любого члена религиозной общины или конфессии. В Агаде много внимания уделено следующему вопросу: почему бог подвергает страданиям добродетельных людей³⁹? Ответ почти всегда один и тот же: для того чтобы за счёт земного, тленного благополучия увеличить их блаженство в загробной жизни, так как безгрешен только Бог. И напротив, чтобы отказать грешнику в радостях рая, ему порой посылается процветание в этом мире.

Жан Боден решает этот вопрос в полном соответствии с христианским учением: земное благополучие является знаком божественной милости и вознаграждением за выполнение заповедей. Данная концепция наиболее ярко выражается в кальвинизме, для адептов которого нехарактерно подражание идеалу страдающего бога. Боден высказывает её в вышеупомянутом стихотворении. Я приведу лишь несколько строк из него в моём переводе:

Все страхи ночные тебе не грозят,
Пусть даже опасность близка.
Ни копья, ни стрелы тебя не пронзят
От утреннего ветерка
Чумное поветрие, жизни губя,
До мрака вечерних часов
И горе внезапно не тронут тебя.
А в полдень от злых голосов
Созреет измена, и встанут враги
Тысяча к тысяче слева⁴⁰.
Их зло не достигнет тебя, не беги
От их нечестивого гнева.
И всё лишь за то, что ты произнёс:
Боже, хранитель мой,⁴¹...

Согласно христианской традиции, бог карает за грехи уже в земной жизни, чтобы заставить человека раскаяться. Несчастья напоминают грешнику о его проступках. Это относится и к колдунам – самым великим грешникам, по мнению Бодена. Он верил, что их «ремесло» не приносит им ни богатства, ни славы, ни красоты, ни других благ⁴².

Отклонения от догматов иудаизма можно объяснить влиянием, которое оказывала на мировоззрение Бодена христианская культура, традициями которой жило окружавшее его общество. Он получил образование в центрах католической теологии – монастыре ордена кармелитов, уни-

³⁹ Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. М. 1993. С.220-221, 236, 271.

⁴⁰ Левая сторона издревле связывалась с недобрым влиянием, враждебными замыслами.

⁴¹ Demonomanie. 1979. P.158, f.2.

⁴² Ibid. P.155, f.1.

верситетах Тулузы и Парижа. Критикуя христианство, Боден всё же принимал часть догм, считая, например, недопустимым оскорбление христианских святынь. Не сохранилось никаких сведений о том, что автор «Демонии» когда-либо принадлежал к еврейской общине. Видимо, этого не могло быть, так как политика французских королей по искоренению иудаизма в XVI в. способствовала почти полному исчезновению еврейских общин на территории Франции. Но этот вопрос требует особого внимания исследователей и, возможно, привлечения новых источников.

В отношении Бодена к колдунам проявилась характерная черта менталитета общества эпохи средневековья, состоящая в восприятии этого феномена как злой болезни, которая внезапно вторгается в жизнь общества и своей стихийной силой причиняет ему ущерб. Это видно даже из названия, которое Боден даёт колдовству — *ceste peste des sorciers* (эта чума колдунов). Логика его умозаключений следующая: Болезнь, поражающая тело, разрушает его, и при контактах больного с другими людьми переносит своё губительное воздействие на них. Зло, вселяясь в человека, губит его душу, но и заставляет его совершать бесчисленные преступления с целью погубить как можно больше людей. Отличием является вера в то, что злодей добровольно отдаёт себя во власть зла. Поэтому причину вспышек «чумы колдовства» видели в желании человека причинять зло. Способом остановить колдовство считали, прежде всего, гибель колдуна и обрушивали на него весь свой гнев, разжигаемый страхом перед «слугой дьявола». Огненная казнь, на применении которой настаивал Боден, получила широкое распространение с древних времён благодаря вере в очистительную силу огня, избавляющую от заразы и нечистой силы.

Будучи твёрдо убеждённым в том, что человек свободен в выборе между добром и злом, Боден верил в божественный детерминизм. Законы, определяющие жизнь и смерть человека и всего общества, он связывал с числами. Нумерология Бодена, наиболее полно изложенная в трактате «Метод лёгкого познания истории», требует особого внимания. Это эклектичное учение, в котором сочетается пифагореизм и платоновские числа (как их называет Боден). Возможно, на него оказала влияние Каббала. Его изложение начинается с фрагмента теории музыкальной гармонии Пифагора, в которой наиболее близким к совершенству соотношением считается 4 к 3 (эпитрит). Боден, легко заменив его на 3 к 4, оспаривает его гармоничность и начинает манипулировать с этими числами, возводя их в куб, и, отыскивая такие ряды чисел, чтобы соотношения между двумя ближайшими равнялось 3 к 4, то есть, составляло гармонию. Затем Боден оставляет эту игру и переходит к тому, «что было опущено другими, или, возможно, намеренно не принято ими во внимание». Он пытается доказать связь определённых чисел с судьбой человека. Так, фатальную роль в жизни мужчин играло число 7, а в жизни женщин — 6. На обоих влияло число 9. Эти манипуляции с числами, изо-

бретённые во времена античности, стали очень популярны в эпоху Возрождения. Боден приводит много примеров из истории, подтверждающих его правоту, по необходимости подстраивая хронологию под свои вычисления. Затем он внезапно вспоминает о числе 500 (время существования империй, по мнению «древних»). Но это число «неприложимо к циклам в человеческих делах или делах природы. По правде говоря, оно и не совершенное, не квадрат, не куб, не сферическое, не сложенное из 7 и 9, не произведено из корней или квадратов этих чисел»⁴³. Определить смысл этих манипуляций достаточно трудно, поскольку они отличаются бессистемностью. Я попытаюсь только найти источники, по которым Боден научился им. Пифагореизм выкристаллизовывается достаточно ясно. Приверженцы этого учения связывали все процессы в мире с законами музыки. Отсюда взят эпитрит и соотношение 2 к 3, которые, помноженные друг на друга дают «совершенное» число 6. «Сферические числа» – также наследие античности. Вторым источником является Библия, точнее, книга Даниила (9,24), где имеется пророчество о «семидесяти седминах» и упоминание семи небесных сфер). Отсюда, видимо, взята роковая семёрка и её производные. Неизвестно, откуда почерпнуты сведения о влиянии на судьбу женщин чисел 6 и 9. Понятно, что 6 и 9 – это 2 и 3, умноженные на 3 (священное число бога, представляющее собой в Каббале сочетание трёх высших сефирот (Кетер, Бина, Хохма), а в христианстве – Троицу). Данная теория чисел отличается эклектичностью, в основе её заложена идея провиденциализма.

Нумерология Бодена свидетельствует о том, что разделение на четыре истории (божественную, естественную, человеческую и математику) не следует считать доказательством его отказа от интерпретации истории человеческого общества и природы через призму религии. Хупперт приводит искажённую цитату из «Метода лёгкого познания истории» и на её основе делает свои выводы. В действительности, Боден писал следующее: «Затем мы предпримем исследование истории евреев, выстроив материал таким образом, чтобы сначала изучить систему государственности и только после этого заняться религией, которая относится к третьему виду истории и требует более отвлечённого состояния ума»⁴⁴. Здесь автор трактата рекомендует постепенно переходить в изучении истории от объектов низшего порядка к высшим, и не более того. Он не рассматривает эти виды в отдельности. В соответствии с задачей исследования внимание историка сосредоточивается на одном из трёх миров – сверхчувственном, интеллектуальном или элементарном. Есть и другие доказательства. В трактате «Театр природы», который считается попыткой описания естественной истории, некоторые главы посвящены

⁴³ Метод... С.203-204.

⁴⁴ Там же. С.25.

природе ангелов и демонов как неотъемлемой части всеобщей природы. Представление Бодена о мире и об истории отличается большей целостностью, чем принято считать⁴⁵. Он не желал смешивать божественный промысел и человеческие дела, чтобы человек не искал оправдания своим действиям в божественном законе, чтобы он не пытался поставить бога на свою сторону в политической борьбе, как это было во Франции в эпоху религиозных войн. Бог правит судьбами, но государством правит человек со свободной волей выбора между добром и злом, и тем больше его ответственность за свой выбор.

Итак, на основе текста «Демонии колдунов» можно прийти к выводу, что в мировоззрении его автора доминировали духовные установки иудаизма. Одной из причин этого стало, видимо, происхождение и воспитание Бодена. Согласно традиции, его мать была еврейкой из семьи, покинувшей в конце XV в. Испанию, где люди, исповедывавшие иудаизм, преследовались королевской властью⁴⁶. Другую причину следует искать в теологии Реформации с её тенденцией возвращения к «чистому золоту»⁴⁷ Священного Писания и буквального понимания библейских текстов, когда теолог, избавившись от влияния христианских комментаторов, неизбежно попадал в мир древней еврейской культуры, памятником которой является Ветхий Завет.

Религиозные убеждения Жана Бодена представляют собой сочетание традиций иудаизма с элементами христианских учений при заметном влиянии богословских тенденций эпохи Реформации. Для нас этот вывод представляет тем больший интерес, что во Франции в XVI в. нетерпимость по отношению к адептам иудаизма достигла своего апогея, так что к концу века еврейская диаспора во Франции почти прекратила своё существование. Небольшие группы евреев, открыто исповедывавших иудаизм, остались только в Эльзасе и Лотарингии. Жан Боден, хотя и завуалировано, излагает свои представления о боге в книге «Демонии колдунов», выдержавшей в XVI–XVII вв. более десяти изданий, написанной на французском языке, что свидетельствует о расчёте на широкий круг читателей. В этом и состоит парадокс Бодена, если о нём вообще стоит говорить. В своих работах Боден пытается примирить религию, которую он считал истинной, с другими, сосуществующими с ней культурами. Таким образом, мы имеем дело с одним из редких случаев в Средние Века поиска компромисса со стороны иудаиста с враждебным окружением приверженцев другой монотеистической религии. Данный феномен вводит нас в обширную тему существования нехристианских верований во Франции XVI в.

⁴⁵ Bodin, Jean. *Universae Naturae theatrum*. Hanoviae 1605. P.511-523, 632-633.

⁴⁶ Larousse P. *Grand Dictionnaire Universel du XIXe siecle*. V.2. P.851.

⁴⁷ Йейтс, Фрэнсис А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М. 2000. С.9.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНИХ ВЕКОВ

М.С.Петрова

Макробий и его метод цитирования латинских авторов

(на примере психологических и натурфилософских глав
Комментария на 'Сон Сципиона')

Комментарий на 'Сон Сципиона'¹ Макробия Феодосия (fl. V в.)² представляет собой изложение греческого знания в интерпретации латинского интеллектуала. При изучении источников этого произведения основное внимание традиционно уделяется греческим текстам³. Это вполне обоснованно, так как первичным материалом для Макробия, прямо или опосредованно⁴, служили сочинения греческих фило-

* Эта статья является расширенным вариантом части нашего доклада «Macrobius's treatment of Latin sources in the *Commentary on the 'Dream of Scipio'*», сделанного на *Международном конгрессе по средним векам* (Лидс, Великобритания, 1998).

¹ *Комментарий* – довольно значительное по объему произведение, состоящее из двух книг (в первой книге – двадцать две главы, во второй – семнадцать). Макробий комментирует заключительную часть трактата Цицерона *О государстве*, озаглавленную *Сон Сципиона* (VI,ix,9-xxvi,29). Цель Макробия не столько разъяснить сам текст античного классика, сколько изложить в упрощенном и популярном виде различные греческие теории, а также поимпировать на избранные темы.

² О творческом наследии Макробия см.: В.И.Уколова, «Комментарий на *Сон Сципиона* Макробия и средневековая философия», *Из истории философского наследия древнего средиземноморья*, часть II (М.: ИФ РАН, 1989), сс. 135-160; А.Ф.Лосев, А.А.Тахо-Годи, «Макробий и Марциан Капелла – философствующие писатели поздней античности», *Античность в контексте современности* (М.: Изд-во МГУ, 1990); В.И.Уколова, *Поздний Рим. Пять портретов* (М.: Наука, 1992); А.Ф.Лосев, «Макробий», *История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития*, т. VIII (2 часть) (М.: Искусство, 1992); о времени жизни Макробия см. нашу статью: «Макробий Амвросий Феодосий: просопографический очерк», *Диалог со временем*, выпуск 6 (далее ДсВ, вып. 6) (М.: УРСС, 2001), сс. 164-176.

³ Например, см.: W.H.Stahl, *Macrobius, Commentary on the 'Dream of Scipio'*, trans., introd., and notes, (New-York – London, 1952); J.Flamant, *Macrobe et le néoplatonisme latin a la fin du IVe siècle* (Leiden, 1977); S.Gersh, *Middle platonism and neoplatonism, the latin tradition* (Notre Dame, IN, 1986), vol. II, pp. 502-522.

⁴ Все источники, как греческие, так и латинские, которые использовал Макробий, можно разделить на три группы: (1) прямые источники, которые цитируются или в точном переводе с греческого, или, если автор латинский, – дословно; (2) косвенные источники, когда Макробий берет цитату не непосредственно у ее

софов (Платона, Аристотеля, Нумения, Никомаха, Плутарха, Плотина, Порфирия и др.). Однако, Макробий писал для латинского читателя и помимо греческих использовал и латинские сочинения. Рассмотрение последних весьма важно для понимания того, каким был круг цитируемых латинских авторов у Макробия, насколько они были значимы для него. Кроме того, представляется небезинтересным проследить как сам автор воспринимал и излагал греческие теории, каким образом он адаптировал их применительно к латинской культуре. Интересно, в чем состоит специфика обращения Макробия к латинским авторитетным текстам; какие произведения он использовал и насколько точно сохранял исходный контекст заимствованных отрывков. Следует выявить те латинские тексты, которые Макробий использовал чаще других, показать, каким образом цитаты из латинских произведений «вплетены» в собственное изложение Макробия.

Решение подобной задачи во всей ее полноте потребовало бы целой монографии, поэтому здесь мы ограничимся рассмотрением лишь тех латинских текстов, которые Макробий использовал при изложении теории о нисхождении отдельной души с небесной сферы в земные тела и теории об устройстве мира (книга I, главы 8-14 и 17; книга II, главы 12-13 и 17)⁵. Специфика обращения Макробия с источниками в рассматриваемых главах типична для него, а потому полученные нами выводы применимы ко всему его методу цитирования латинских авторов. Для нашего анализа важно насколько точны приводимые Макробием цитаты, насколько смысловой контекст *Комментария*, в который помещается цитата, соответствует контексту этой цитаты в оригинальном произведении.

Вначале обратим внимание на произведения Цицерона. Обычно Макробий помещает цитату или отдельную строку из *Сна Сципиона* в начало главы *Комментария* и посвящает последнюю толкованию. Если исключить цитаты из самого *Сна*, то легко убедиться, что Макробий практически не использует другие сочинения Цицерона. С ними в рассматриваемых нами главах *Комментария* имеется лишь шесть смы-

автора, а у хронологически более позднего автора-посредника; (3) источники, которые, не цитируются дословно (или вообще не цитируются), но которые повлияли на Макробия в доктринальном плане.

⁵ Наш комментированный перевод указанных глав см. в *Историко-философском ежегоднике* '95 (далее ИФЕ) (М.: Мартис, 1996), сс. 221-230; ИФЕ '96 (М.: Наука, 1997), сс. 68-97 или в сборнике *Философия природы в античности и в средние века* (далее ФП) (М.: Прогресс-Традиция, 2000), сс. 371-414. Отметим, что эту часть сочинения Макробия можно рассматривать как самостоятельный трактат, подобно существовавшим в средние века астрономическим выдержкам из его *Комментария*, имеющим конкретные названия. Например, *Ex libris Macrobiani de differentia stellarum et siderum* (Из книг Макробия о различии планет и звезд) или *De decem circulis* (О десяти кругах) и др.

словых (и текстуальных) параллелей, причем большая их часть взята из *Тускуланских бесед*. Ниже приводится перечень таких мест из *Комментария* Макробия, с указанием на контекст (в круглых скобках), в который встраивается цитата из Цицерона⁶:

Комм. I,8,7 (свойство справедливости в том, чтобы сохранять каждому то, что ему принадлежит) – «каждая из них [добродетелей] обладает собственной функцией, как, например, ...справедливость – в том, чтобы воздавать каждому свое», *О пределах блага и зла* V,23(67);

Комм. I,9,10 (о возвращении к месту своего рождения тех душ, которые этого заслуживают) – «...кто сохранил себя чистым и незапятнанным, меньше всего занимался делами телесными и всегда был от них отрешен, тот и в людском теле вел жизнь, подобную богам, и такие люди легко находят возвратный путь туда, откуда пришли», *Тускуланские беседы* I,30(72);

Комм. I,10,2 (о проявлении в душах семян добродетелей) – «Есть в наших душах врожденные семена добродетелей, и если дать им развиваться, природа сама поведет нас к счастью», *Тускуланские беседы* III,1(2);

Комм. I,10,16 (пересказ отрывка Цицерона о тиране Дионисии и Дамокле) – *Тускуланские беседы* V,21(61-62);

Комм. I,11,7 (о приращении и умалении роста тел, связанного с лунным светом) – «...устрицы и другие моллюски увеличиваются и уменьшаются в размерах вместе с луной; ...деревья в зимнее время лучше подрезать, когда луна в ущербе: они как бы заодно с луной усыхают⁷», *О дивинации* II,14(33); «...многое от них [луны и солнца] проистекает такого, отчего и живые существа питаются, и растения, порождаемые землей, растут и вырастают и достигают полной зрелости»⁸, *О природе богов* II,50;

Комм. II,12,5 (о том, что душа не только бессмертна, но является богом) – *Тускуланские беседы* I,26(65)⁹.

Сравнивая соответствующие отрывки у обоих авторов, можно заключить, что Макробий достаточно точно следует и тексту, и контексту Цицерона. Тем не менее, как представляется, сочинения Цицерона не очень интересовали Макробия. Скорее, цитируя римского классика, наш автор желал сделать свое, основанное на греческих учениях, сочинение более доступным для латинского читателя.

Ниже, мы рассмотрим заимствования Макробия из произведений других латинских авторов.

⁶ Выдержки из сочинений Цицерона приводятся в переводах М.Л.Гаспарова (*Тускуланские беседы*), М.И.Рижского (*О дивинации, О природе богов*), Н.А.Федорова (*О пределах блага и зла*).

⁷ Ср. Катон, *О земледелии* XXI,2; XXXVII,4.

⁸ Нет сомнений в том, что в основе подобных рассуждений лежат натурфилософские работы греческих авторов (ср.: Аристотель, *О частях животных* IV,5; Плутарх, *О лике видимом на диске Луны* (см.: ФП, сс. 132-169) и др.). Однако, мы не ставим перед собой цели указывать на подобные соответствия.

⁹ В данном отрывке из *Тускуланских бесед* Цицерон пишет о том, что душа божественна, при этом он упоминает Еврипида, говорившего, что душа – бог.

Об индивидуальной душе

Вкратце, излагаемое Макробием учение об индивидуальной душе заключается в следующем. Души, обитая на неподвижной сфере звезд, именуемой по-гречески *Апланес*, изначально знают о своем божественном происхождении. Как только отдельную душу охватывает желание телесного, она ниспадает вниз, вселяясь в смертное тело. Спускаясь из своего звездного жилища на Землю, она последовательно проходит через планетарные сферы, вбирая на них качества, которые проявятся у нее тогда, когда она уже будет облечена в тело. Всякий раз, когда душа пересекает каждую последующую небесную сферу, она испытывает своего рода смерть. Вселяясь в тело, душа свыкается с его привычками и может забыть о своем небесном источнике. Те души, которые не утратили знания о своем божественном происхождении и не испортились загрязнениями телесного мира, после смерти земного тела возвращаются обратно в свои небесные обители. Те же души, которые настолько свыклись с телом, что забыли о своем божественном происхождении, не способны вернуться назад на небо. После смерти тела они витают около него, не находя себе места до тех пор, пока не вселятся в другие тела – не обязательно человеческие, но, возможно, и звериные, избрав тот род живых существ, который наиболее соответствует прежним, усвоенным еще в теле, привычкам и наклонностям. Именно брренное тело является темницей для души, из которой та вырывается, когда тело умирает. Таким образом, попадая в тело, душа умирает и, напротив, смерть тела – это начало подлинной жизни души, ибо теперь души могут отправиться в царство бессмертия. Однако, сделать это могут только души незапятнанные пороком и не забывшие своего небесного рождения.

Подобное учение лежит в основе этики Макробия, к нему он обращается, обосновывая необходимость праведного образа жизни. Он ставит в пример правителей и мудрецов, чьи души никогда не забывают о своем божественном происхождении и не дают телесному главенствовать над душой, в связи с чем им уготовано место на небе¹⁰.

Восьмая глава первой книги *Комментария* является своеобразным вступлением к учению Макробия о душе. Она начинается с цитаты из *Сна* Цицерона, в которой говорится, что высшему божеству наиболее угодны те правители государства, которые оберегают свое отечество и расширяют его пределы (XIII, 13). Говоря о том, что только таким правителям уготовано блаженство, Макробий рассуждает о четырех

¹⁰ См. нашу статью «Макробий о душе» в *ИФЕ* '96, сс. 65-67.

добродетелях¹¹, их видах и свойствах, побуждая и читателя к праведному образу жизни. Автор подчеркивает, что только добрые мужи (*virī bonī*) обладают гражданскими добродетелями, с помощью которых они в земной жизни управляют государством и защищают сограждан. Такие мужи заслуженно заставили других помнить себя (I,8,6: *sui memores alios fecere merendo*). Эту цитату Макробий заимствует из шестой книги *Энеиды* (VI,664) Вергилия. Однако, там поэт описывает загробный мир (называя его радостным краем), в котором мужам, погибшим в борьбе за отечество, жрецам, пророкам и всем, кто при жизни *оставил о себе заслуженную память* (VI,664: *sui memores alios fecere merendo*), венчают чело белоснежной повязкой. Очевидно, что Макробий точно цитирует строку Вергилия, но он не следует его контексту и не упоминает ни названия произведения, ни имени поэта.

Перечисляя свойства добродетелей, Макробий говорит, что для мужества характерно *не уметь раздражаться, не желать ничего* (I,8,9: *nesciat irasci, cupiat nihil*). Эту цитату Макробий взял из сатиры Ювенала, в которой речь идет о молящихся людям, испрашивающих у богов богатство, власть, талант оратора или полководца, долголетие, красоту, то есть то, что может оказаться для людей губительным и вредным. В конце сатиры Ювенал говорит, что человеку для себя можно просить лишь здравого ума и бодрого духа, *не склонного к гневу, к различным страстям* (X,360: *nesciat irasci, cupiat nihil*). Макробий, точно цитируя, вновь не указывает в своем тексте у кого и из какого сочинения он позаимствовал эту строку.

При описании страстей, мешающих человеку вести праведный образ жизни и появляющихся тогда, когда люди *боятся и жаждут, печалются и радуются* (I,8,11: *metuunt cupiuntque, dolent gaudentque*), Макробий вновь дословно заимствует цитату из шестой книги *Энеиды*. Но Вергилий говорит о духе, который движет всем миром, о рожденных на небе душах, тоскующих по плоти и желающих спуститься на землю, несмотря на то, что там их будет отягчать косное тело, а их жар погаснет внутри обреченной гибели земной плоти. Именно этого души, согласно Вергилию, *боятся и жаждут, это их печалит и радует* (VI,733: *metuunt cupiuntque, dolent gaudentque*). Здесь Макробий не упоминает имени поэта, не указывает названия произведения и оставляет без внимания исходный контекст, говоривший о нисхождении отдельной души в тело.

Лейтмотив следующей, девятой, главы *Комментария* – небесное происхождение души и необходимость для нее помнить о таком про-

¹¹ Это мужество (*fortitudo*), благоразумие (*prudētia*), умеренность (*temperantia*) и справедливость (*iustitia*). Такой же перечень добродетелей дает Цицерон, см.: *О пределах блага и зла* V,23(67).

исхождении. Путь к этому, согласно нашему автору, указывает оракул. Макробий приводит слова некоего поэта: *с неба нисходит үвѡѡи сеаүтѡн* [познай самого себя]¹² (1,9,2: *e caeli descendit үвѡѡи сеаүтѡн*). Эту цитату Макробий позаимствовал у Ювенала, из сатиры, в которой говорится о пирах: не только угощение должно быть сообразно достатку, но и все остальное – получение места в сенате, заключение брака и пр. И прежде чем человеку чего-то пожелать или предпринять, следует оценить и соизмерить собственные возможности. Применительно к этим поучениям Ювенал приводит древний завет: «*Познай себя*», *который дан небесами* (XI,27: *e caeli descendit үвѡѡи сеаүтѡн*). Макробий точно цитирует текст, но не называет имени автора, упомянув лишь о том, что это было сказано кем-то «среди прочего, смешного и язвительного».

Ниже Макробий пишет, что самопознание для человека возможно лишь в том случае, если он обернется к началу своего рождения и *не будет искать вне себя* (1,9,3: *nes se quaesiverit extra*). Эта цитата взята уже из сатиры Персия, в которой тот призывает писателей не следовать вкусам Рима, судить себя самих и *не искать вне себя судьи* (1,7: *nes te quaesiveris extra*). В тексте Макробия нет ни имени автора, ни указания на название произведения, хотя цитата приведена дословно.

В следующем пассаже Макробия речь идет о душе, сроднившейся с привычками бренного тела и боящейся отделиться от него. Но время отделения все же наступает, и душа, *негодую, к теньям отлетает со стоном* (1,9,4^a: *nisi cum gemitu fugit indignata sub umbras*). Здесь Макробий цитирует строку из двенадцатой книги *Энеиды* Вергилия. Этими словами поэт завершает свое произведение, говоря о том, что тело убитого Энеем Турна покидает жизнь, *отлетая со стоном к теньям* (XII,952: *nisi cum gemitu fugit indignata sub umbras*). При сравнении двух отрывков, очевидно, что Макробий точно цитирует строку Вергилия, но приспособливает ее к собственному изложению, переставляя акценты. Так, у Вергилия отлетает «жизнь», у Макробия – «душа». Имя автора и название произведения Макробий не упоминает.

Продолжая свою мысль, Макробий пишет, что душа оставляет тело неохотно, поскольку свыклась с его привычками и *ей не дано до*

¹² Знаменитое изречение, переосмысленное еще Сократом, полагавшим, что самопознание, то есть познание своей нравственной сущности, приведет к достижению счастья. Макробий, будучи платоником, воспринимает познание как припоминание врожденного и утраченного знания; в данном случае, познание – как осознание человеком собственного божественного происхождения. Обращением внутрь себя душа усваивает основные добродетели. И не случайно, среди тех, кто обладает этими добродетелями – государственные мужи. Это принципиальная установка Цицерона и, соответственно, Макробия. Характерно, что Цицерон (как, по-видимому, и Макробий) был видным государственным деятелем.

конца от зла, от скверны телесной освободиться (I,9,4^b: non funditus corporeae excedunt pestes). Эту строку Макробий вновь позаимствовал у Вергилия, но уже из шестой книги *Энеиды* (VI,736-737: nec funditus omnes corporeae excedunt pestes). Наш автор не указывает ни имени поэта, ни названия его произведения, но почти дословно следует поэту. Контексты обоих произведений совпадают: Вергилий (как и Макробий) также говорит о нежелании души покинуть тело (VI,735-738):

Даже тогда, когда жизнь их в последний час покидает,
Им не дано до конца от зла, от скверны телесной
Освободиться: ведь то, что глубоко в них вкоренилось,
С ними прочно срослось – не остаться надолго не может¹³.

Обратим внимание на тот факт, что при изложении своего учения об индивидуальной душе Макробий использует строки всего лишь из двух книг *Энеиды* (VI и XII), причем большей частью он заимствует их из шестой книги, в которой у Вергилия также идет речь о нисхождении души в тела. Но, несмотря на общую сюжетную схожесть, Макробий обращает мало внимания на контекст *Энеиды*, за исключением единственного места (I,9,4^b). Как правило, Макробий или выхватывает у Вергилия то, что кажется ему подходящим для собственного изложения (I,8,6; I,8,11), или же легко и умело переставляет акценты (I,9,4^a).

Иначе обстоит дело в следующем абзаце *Комментария* (I,9,8), в котором говорится о существовании «другого» мира. В поддержку этого утверждения Макробий вновь привлекает текст Вергилия, указывая на то, что поэт отправляет своих героев в преисподнюю, в которой не лишает их неба, но дает им «высокий эфир». Там, то есть в преисподней, они *знают свое солнце и свои звезды* (I,9,8: posse eos solem suum ac sua sidera profitetur). Макробий подчеркивает, что сам Вергилий не отрицает существования «иного» мира и ссылается на него как на авторитет. Эту строку Макробий также заимствует из шестой книги *Энеиды* (640-641: solemque suum, sua sidera norunt). Вергилий так описывает край, в который попали его герои (VI,638-641):

...взору отрадна
Зелень счастливых дубрав, где приют блаженный таится.
Здесь над полями высок эфир, и светом багряным
Солнце сияет свое, и свои загораются звезды.

Цитата Макробия не совсем точна. Однако, в отличие от предыдущих случаев, Макробий указывает имя Вергилия и пересказывает конкретный отрывок из его сочинения, что является скорее исключением, чем правилом.

¹³ Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, строки из *Энеиды* цитируются в переводе С. Ошерова.

Развивая тему потустороннего мира, Макробий, вновь ссылаясь на Вергилия и точно цитируя его строки из шестой книги *Энеиды* (VI,653-655), говорит, что на небе все люди – как правители и мудрецы, так и простые граждане – будут снова заниматься теми же делами, что и на земле (I,9,9):

*у забранных с земли [людей] будет та же удача
в [управлении] колесницами и в битвах, что при жизни, а
у тех, кто хохлил усердно коней, будет то же занятие –*

Латинский текст *Комментария*:

...quae gratia currum
armorumque fuit vivis, quae cura nitentis
pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

У Вергилия речь идет о том же. Он пишет, что люди получают те же занятия за гробом, какие имели при жизни (VI, 651-655):

... вот копыта воткнуты в землю,
Вот колесницы мужей стоят пустые, и кони
Вольно пасутся в полях. Если кто при жизни оружие
И колесницы любил, если кто с особым пристрастием
Резвых коней разводил, – получает все то же за гробом.

Соответственно, в латинском тексте у Вергилия можно прочитать:

...quae gratia currum
armorumque fuit vivis, quae cura nitentis
pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

Здесь налицо не только точное цитирование Макробием строк Вергилия, но и следование его контексту.

Далее, в десятой главе, наш автор говорит, что смертью является вселение души в тело. Он рассматривает жизнь в теле не просто как смерть, а как преисподнюю с ее мучениями и пытками (I,10,11-15). Этот отрывок Макробия имеет основой рассуждение Лукреция (*О природе вещей* III, 978-1023), полагавшего, что наказания, которые насылаются в глубинах Ахеронта – это аллегория страстей, переживаемых нами в нашей земной жизни¹⁴. Развивая тему Лукреция, Макробий подробно расписывает какой из страстей является то или иное адское мучение, какой именно аффект древние представляли в виде той или иной загробной пытки. Например, под стервятником, *терзающим бессмертную печень* (I,10,12^a: *iesur immortalae tondentem*), следует понимать угрызения совести, бередящей самое

¹⁴ Лукреций довольно решительно расправляется с древними мифами, рассматривая загробные мучения и пытки как аллегорическое описание человеческих страстей. Сизиф, катящий камень, – это ничтожный властолюбец, всегда кончающий крахом; Данаиды, обреченные бесконечно наполнять разбитый сосуд, – это те, кто не довольствуется имеющимся. Прочие страшные мучения происходят от сознания совершенных проступков (*mens sibi conscia factis*), являясь карой за содеянное.

нутро человека, повинного в бесчестном поступке. И если такой человек попытается успокоиться, то совесть всегда заново возбуждает заботы, словно стервятник, который *вливается в отрастающую заново печень* (I,10,12^b: *excitantis tamquam fibris renascentibus inhaerendo*), и не смягчается никакой жалостью. Ведь есть закон, что всякий преступник *не избежит стать судьей себе самому* (I,10,12^c: *se iudice nemo nocens absolvitur*).

Две первые цитаты Макробий вновь, практически дословно, позаимствовал из шестой книги *Энеиды* Вергилия (соответственно, VI,598: *immortale iecur tondens* и VI,600: *pec fibris requies datur ulla genatis*), где Вергилий описывает Тартар и мучения, которые там испытывают те, кто ранее жил несправедливо. В частности, поэт говорит о страданиях убитого стрелами Дианы Тития (VI,597-600):

...коршун ему терзает бессмертную печень¹⁵
 Клювом крючком и в утробе, для мук исцеляемой снова,
 Роется, пищи ища, и гнездится под грудью высокой,
 И ни на миг не дает отрастающей плоти покоя.

Последнюю цитату (I,10,12^c) Макробий взял уже не у Вергилия, а из сатиры Ювенала, в которой говорится о всеобщей преступности и о ставших обычными клятвopреступлениях. Ювенал начинает свое сочинение словами о том, что *виновник сам себя осуждает* (XIII,2-3: *se iudice nemo nocens absolvitur*). Характерно, что у Макробия *совесть* терзает человека (*tormenta conscientia*), у Ювенала – сам человек судит себя.

Кроме того, в рассматриваемой нами главе у Макробия имеется два заимствования из Вергилия (хотя здесь же на его текст повлияло упомянутое выше изложение Лукреция). Цитаты появляются при описании Макробием мучений, ожидающих в преисподней людей, живущих по воле случая, ничего не обдумывающих и ничего не обуздающих рассудком: такие люди – *распятые висят на спицах колес* (I,10,14: *illos radiis rotarum pendere districtos*). А те, кто растрчивает свою жизнь в безуспешных потугах – *огромные катят камни* (I,10,15^a: *saxum ingens volvere*), которые всегда готовы обратно упасть на их головы. Эти цитаты Макробий позаимствовал из одного и того же отрывка шестой книги *Энеиды*, в котором Вергилий также говорит о мучениях, выпадающих на долю несправедливых в Тартаре (VI,616-617: *saxum ingens uolunt alii, radiisque rotarum districti pendent*):

¹⁵ Древние считали печень средоточием жизни. Так, Гекуба жаждет умертвить Ахилла, вонзившись зубами в его печень (Гомер, *Илиада* XXIV,212–214). В языке зависимость настроения человека от состояния печени выразилась в том, что «гнев» именовался «желчью» [χολή], а гневный человек – «желчным» [χολώτος]. Подробнее об этом см.: Р.Онианс, *На коленях богов* (пер. Л.Б.Сумм) (М.: Прогресс-Традиция, 1999), сс. 101-108.

*Катят камни одни, у других распятое тело
К спицам прибито колес.*

Далее, при описании правителей, действующих по принципу: *лишь был бы страх* у подвластного народа (I,10,15^b: cogentes subiectum vulgus odisse dum metuat), Макробий привлекает известную строку из трагедии Акция *Атрей: Пусть будет ненависть, лишь был бы страх* (fr. 168: oderint dum metuant)¹⁶. Наш автор не указывает имени поэта, названия его сочинения, не обращает внимание на контекст трагедии. Ведь в этом фрагменте у Акция, в отличие от Макробия, говорится не о правителях, а о чудовищной вражде братьев Атрея и Фiestа и причинах их ненависти друг к другу.

Тему о месте преисподней Макробий завершает словами: *каждый [человек] страдает от собственных* (то есть присущих только ему) *манов*¹⁷ (I,10,17: quisque suos patimur manes). За этой цитатой он вновь обращается к шестой книге *Энеиды* Вергилия. Макробий точно цитирует строку поэмы (VI,743: quisque suos patimur manes), но не указывает имени поэта, не дает названия произведения и с легкостью переставляет акценты. У Вергилия в этом месте идет речь о том, что все души после смерти тела должны нести наказание за то, что не полностью освободились от загрязнений телесной жизни. За это каждая душа испытывает собственные, то есть назначенные только ей, мучения, *страдаая от собственных манов*. Лишь немногие уйдут отсюда, чтобы направиться в рай – Элизий (VI,735-745):

Даже тогда, когда жизнь их в последний час покидает,
Им не дано до конца от зла, от скверны телесной
Освободиться: ведь то, что глубоко в них вкоренилось,
С ними прочно срослось – не остаться надолго не может.
Кару нести потому и должны они все – чтобы мукой
Прошлое зло искупить. Одни, овеваемы ветром,
Будут висеть в пустоте, у других пятно преступленья
Выжжено будет огнем или смыто в пучине бездонной.
Маны любого из нас понесут свое наказание,
Чтобы немногим затем перейти в простор Элизийский.

Здесь Макробий соединяет учение Вергилия (о посмертных мучениях душ в преисподней) с учением Лукреция (о том что преисподняя – это наша здешняя земная жизнь), делая собственный вывод: смерть души – это погружение ее в преисподнюю земного тела, а жизнь – обратное восхождение ее к небесным сферам (I,10,17).

¹⁶ Эта строка принадлежит Эннию. Ее очень часто цитировали и перефразировали латинские авторы. Например, Цицерон, *Филippiки* I,14,34; *Речь в защиту Публия Сестия* X,8,102; *Об обязанностях* XXVIII,97; Сенека, *О гневe* I,20,4; Светоний, *Жизнь двенадцати Цезарей* (Тиберий) 63-67 et cet.

¹⁷ Маны – души умерших предков, души преисподней, здесь – души мщениа.

Таким образом, оттолкнувшись от хорошо известного латинскому читателю произведения Лукреция *О природе вещей*, применив отрывок из него к нуждам собственного изложения и подкрепив его перечисленными выше цитатами из *Энеиды* Вергилия (VI,598; 600; 616-617; 743), Макробий сделал собственное заключение, кратко сказав о месте нахождения преисподней: «преисподняя находится в наших телах».

Далее, в тринадцатой главе, Макробий рассуждает об определенных числовых отношениях, существующих между душами и телами. Пока числовые пропорции сохраняются, тело остается одушевленным, но как только они нарушаются, душа отделяется от тела и тело распадается. В подтверждение своих слов Макробий приводит слова «ученейшего из вещей певцов»: *я пополню число и вновь воссоединюсь с тьмой* (I,13,12: *explebo numerum reddarque tenebris*). Макробий имеет в виду Вергилия, точно заимствуя из шестой книги его *Энеиды*. Он опять не называет имени поэта, не указывает названия сочинения, не следует контексту, ибо у Вергилия в этом месте (VI, 540-545) говорится о двух дорогах. Одна из них ведет в Элизий, где праведные обретают блаженство, другая – в Тартар, где грешники должны искупить свою вину. Один из героев поэмы, друг Энея Деифоб, так говорит о своем возвращении в Тартар: *я пополню число и вновь воссоединюсь с тьмой* (VI,545: *explebo numerum reddarque tenebris*), имея в виду пополнение собою числа находящихся в Тартаре.

Об универсуме

Кратко, общая картина универсума по Макробию такова. Во главе всего у Макробия стоит Бог. Он создает Ум, который сохраняет полное подобие своему Создателю и творит (Мировую) Душу¹⁸. У Души имеются две составляющие: одна (высшая) относится к божественному, другая (низшая) – к бренному. Вверх от Души простирается природа, непричастная телам, то есть Ум, а вниз от Души – телесная природа. Душа производит тела неба, звезд, светил и планет и наделяет их божественным умом, то есть создает «цельное тело вселенной». Космос состоит из девяти сфер. Самая верхняя сфера – небесная (*Апланес*) – вращается, хотя кажется неподвижной. Она объемлет все остальные сферы: Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия, Луны, которые тоже вращаются, но в противоположном по отношению к небесной сфере направлении (с запада на восток). Движение Неба никогда не прекращается, как никогда не останавливается Мировая Душа, которая его создала и привела в движение. Мировая Душа является источником всех остальных душ космоса. Эти души впоследствии вселяются в земные тела, одушевляют их и дают им жизнь. Смертные

¹⁸ Очевидно, что речь идет о неоплатонической триаде «Бог (Единое) – Ум – Душа».

тела, созданные Мировой Душой делятся на три рода: тела людей, животных и растений. Все земные тела так или иначе причастны Душе, которая является их жизненной силой¹⁹.

Так, в четырнадцатой главе *Комментария* Макробий, рассуждая о природе мира (I,14,14), вновь привлекает к своему изложению небольшой отрывок из *Энеиды* Вергилия, заимствуя из него отдельные строки. Здесь мы приведем перевод этого места из сочинения Макробия, выделив курсивом заимствованный им текст поэта:

Такой порядок вещей устанавливает и Вергилий. Он наделил мир Душой и, дабы засвидетельствовать ее чистоту, назвал ее Умом. Ибо, говорит [поэт], небо и земли, и моря, и звезды *питают изнутри дыхание* (*spiritus intus alit*), то есть Душа. И в другом месте он называет дуновение [*spiramento*] «душой»: *насколько способны огни и души* (*quantum ignes animaeque valent*). Чтобы заявить о достоинстве этой Мировой Души, [Вергилий] объявил, что она есть Ум: *ум движет громаду* (*mens agitat molem*) [мира]. Равным образом, дабы показать, что вся совокупность живого движется и одушевляется самой Душой, он добавляет: *род оттуда людей и скотов* (*inde hominum residitque genus*) и прочие [твари]; а чтобы объявить, что жизненная сила в Душе всегда одна и та же, но ее действие притупляется в живых существах из-за плотности [их] тел, Вергилий уточняет: *в той мере, в какой не препятствуют вредоносные тела* (*quantum non noxia corpora tardant*) и остальное [бренное].

Все цитаты в этом отрывке Макробий взял из упомянутой шестой книги *Энеиды* (VI,724-732), за исключением второй, о которой мы скажем ниже. Интересно обратить внимание на содержание указанного отрывка Вергилия, в котором также идет речь о природе мира и о питающем его дыхании:

Небо и Землю, водной равнины просторы, Лунный блистающий шар и звезды Титана *изнутри питает дыхание* и Ум по членам разлитый, *движет громаду всего* [мира], *сочетаясь с его необъятным телом*. *Оттуда род и людей, и зверей, и пернатых, и чудищ, сокрытых под мраморной водной пучиной*. На небесах рождены семена тех [существ], *наделенных жизненной силой в той мере, в какой не препятствуют вредоносные тела*, не мешает земная и смертоносная плоть²⁰.

Латинский текст *Энеиды*:

724	Principio caelum ac terram composque liquentis
725	Lucentemque globum lunae Titaniaque astra
726	Spiritus intus alit, totamque infusa per artus
727	Mens agitat molem <u>et magno se corpore miscet.</u>
728	Inde hominum pecudumque genus uitaеque uolantum
729	Et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus,
730	Ingens est illis uigor et caelestis origo

¹⁹ Подробнее см. нашу статью «Природа мира в *Комментарии* на 'Сон Сципиона' Макробия» в сборнике ФЛ, сс. 361-370.

²⁰ С целью показать текстуальные соответствия, мы даем собственный перевод указанных строк из *Энеиды*.

731
732

Seminibus, quantum non corpora noxia tardant
Terrenique hebetant artus moribundaque membra.

Нет сомнения в том, что Макробий точно цитирует слова Вергилия. Однако он иначе расставляет акценты, указывая здесь на главенствующую роль Мировой Души, отождествляя ее с Умом. Что касается второй цитаты, то Макробий дословно позаимствовал ее уже из восьмой книги *Энеиды* (VIII,403: quantum ignes animaeque valent), из ответной речи Вулкана к Венере, уговаривающей мужа помочь Энею в битве, выковав ему доспехи (VIII,397-403):

... Если б ты захотела,
Я и тогда бы посмел сковать для тевкров оружие:
Не запрещал ведь ни рок, ни Отец всемогущий, чтоб Троя
Десять еще простояла бы лет и продлилась Приама
Жизнь. И если теперь ты решилась готовиться к битвам, –
Все посулю, что стараньям моим и искусству под силу,
Все, что создать я могу, расплавляя электр и железо,
Все, что горнам моим и мехам доступно²¹.

Очевидно, что контекст данного абзаца не имеет никакого отношения к природе мира.

Продолжая свое рассуждение об универсуме, Макробий, в семнадцатой главе *Комментария* (I,17,5), при описании цельного тела вселенной, т.е. всего мира сверху донизу, вновь точно цитирует строку Вергилия (I,17,5: et magno se corpore miscet), также говорившего об Уме, сочетающемся с большим телом (VI,727)²². Здесь Макробий не указывает названия произведения, но упоминает имя поэта и следует контексту.

Далее, в этой же главе, говоря о Небе, «которое древние называли Юпитером» (I,17,14), наш автор обращается к *Буколикам* Вергилия, не упоминая названия произведения. Макробий объясняет, что слова: *от Юпитера начало, о Музы, все полно Юпитером* (I,17,14: ab Iove principium, Musae, Iovis omnia plena), взято у «богословов», которые считали душой мира Юпитер, то есть Небо. Эти слова точно заимствованы Макробием из того места поэмы, в котором воспроизводится состязание в пении двух участников. Один из певцов произносит слова: «от Юпитера начало – все полно Юпитером, Музы! Он покровительствует полям и внимателен к песням поэтов» (III,60: ab Iove principium Musae, Iovis omnia plena).

Последнее заимствование сделано Макробием у Вергилия в двенадцатой главе второй книги *Комментария* (II,12,12-13). Наш автор ссылается на поэта, когда пишет о том, что смерть – это не исчезновение, но трансформация, и уничтожение жизни – лишь види-

²¹ Перевод указанного отрывка достаточно свободен, что не влияет на контекст этого места.

²² См. выше, с. 180 (Вергилий, *Энеида* VI,724-732).

мость. Здесь Макробий приводит в пример бездыханное живое существо, угасший огонь или высохшую влагу, ибо все это представляется исчезнувшим. Отталкиваясь от слов Вергилия из поэмы *Георгики*, Макробий продолжает эту тему, и говорит: *для смерти места нет* (II,12,13: *pes mortis esse locum*). То, что, как кажется, исчезает, изменяется только по внешней форме, и то, что перестало быть таким как прежде, возвращается к своему началу, то есть к месту своего рождения и происхождения. Точность цитаты, взятой у поэта (IV,226: *pes mortis esse locum*), – очевидна, контекст у обоих авторов также совпадает, в чем легко убедиться (IV,219-227):

...есть божественной сущности доля
 В пчелах, дыханье небес, потому что бог наполняет
 Земли все, и моря, и эфирную высь, – от него-то
 И табуны, и стада, и люди, и всякие звери,
 Все, что рождается, берет тончайшие жизни частицы
 И, разложившись, опять к своему возвращает истоку.
 Смерти, стало быть, нет – взлетают вечно живые
 К сонму сияющих звезд и в горном небе селятся²³.

Итак, мы рассмотрели метод цитирования и использования Макробием латинских текстов. Отметим, что если исключить прозаические цитаты, взятые из сочинений Цицерона, то, очевидно, что все остальные заимствования Макробий сделал из поэтических текстов. По частоте привлечения стихотворных цитат, на первом месте у Макробия – Вергилий, а именно – небольшой отрывок, размером чуть более двухсот строк (545-773) из VI книги *Энеиды*. Из других книг *Энеиды* у Макробия имеется только два заимствования – из двенадцатой книги (952) и из восьмой (403) – причем последняя цитата «влетена» Макробием в *Комментарий* (I,14,14), наряду с цитатами из VI книги. Заимствований из других произведений Вергилия практически нет. Однажды Макробий приводит строку из *Буколик* (III,60), в другой раз, он цитирует строку из *Георгик* (IV,226). Большею частью Макробий не называет имени Поэта (I,8,6; I,8,11; I,9,4^{ab}; I,10,12^{ab}; I,10,14; I,10,15^a; I,10,17; I,13,12; I,17,14), за исключением отдельных случаев (I,9,8; I,9,9; I,14,14; I,17,5; II,12,13).

Цитат из произведений других латинских поэтов у Макробия также немного. Автор включает в свой *Комментарий* по одной строке из трех сатир Ювенала (X,360; XI,27; XII,2-3), по одному заимствованию он сделал из сатиры Персия (I,7) и трагедии Акция *Атрей* (fr. 168). Существенное влияние на Макробия (I,10,11-15) оказал фрагмент из поэмы Лукреция *О природе вещей* (III,978-1023), хотя наш автор не включил ни одной строки из него, привлекая лишь контекст.

²³ Пер. С.Шервинского.

Таким образом, на основании сравнения текстов и контекстов, которые Макробий использовал при написании разделов об отдельной душе и об универсуме, можно заключить, что он умело привлекал произведения самых разных латинских авторов для подкрепления положений тех греческих теорий, которые излагал. Его не смущало то, что в оригинале зачастую речь шла совсем о другом (таков, например, контекст рассмотренных выше цитат из *Сатур* Ювенала и Персия). По-видимому, большинство выбранных фраз, вставленных Макробием в собственный текст, были хорошо известны латинским читателям – как, например, цитата из трагедии *Атрей* Акция: *пусть ненавидят, лишь бы боялись* –, они были на слуху и широко использовались. В этой связи у Макробия скорее всего было нужды упоминать имя автора, заимствованных им строк.

Употребляя знакомые цитаты, Макробий делает шаг навстречу латинскому читателю, для которого не могло остаться незамеченным то, что весь *Комментарий* является переложением греческого материала. Как представляется, целью Макробия было сделать свой текст узнаваемым, адаптировав его по форме для своих современников. При изложении сложного учения греков о душе и о природе мира, Макробий намеренно следует принципу Цицерона (который для него, также как и Вергилий – основатель римского красноречия II,5,7). Макробий пишет красиво и пространно, обильно используя множество цитат из самых различных произведений, сочетая в себе оба типа учености: точность философии греков и красноречие латинян²⁴. Именно в этом проявляется его оригинальность как автора. К этому можно добавить, что Макробий вполне органично следует традиции, которая станет господствующей в раннем средневековье, когда при заимствовании цитаты были важны ее принадлежность к авторитетному тексту или наличие в ней определенных ключевых слов. При этом оригинальный контекст или исходный смысл имели лишь второстепенное значение.

²⁴ Здесь интересно обратить внимание на письмо Авиена (sic!), предваряющее его *Басни*. Это письмо обращено к Феодосию, отождествленному с Макробием Феодосием (об этом см. нашу статью «Баснописец Авиен и Макробий Феодосий», *ДсВ*, вып. 6, сс. 185-191). Авиен пишет о Макробии как о человеке, превосходившим афинян греческой ученостью, а римлян – чистой латыни (*Fabulae*, praef. 4-5).

П.П.Шкаренков

Rex Theodericus princeps:

формирование концепции королевской власти в Остготской Италии

Проблемы истории перехода от античности к средневековью всегда привлекали внимание исследователей. Это время было наполнено бурной борьбой, когда окружающий мир стремительно менялся: на смену монолитной и стабильной политической системе римской государственности заступали разрозненные и политически обособленные варварские королевства, которые, постоянно враждуя между собой, вели римский мир и античную культуру к постоянному ослаблению. Происходил распад прежде единого мира, сопровождающийся усилением раздирающих его противоречий и военных конфликтов, в которых сталкивались политические, экономические и социальные интересы различных слоев римского и варварского общества. Эта эпоха выдвинула на историческую арену целую плеяду крупных деятелей в сфере политики, идеологии, религии, культуры. События, свидетелями и в известной мере участниками которых им суждено было стать, создавали, с одной стороны, новую, отличную от всего предшествующего, политическую и культурную реальность, а с другой стороны, требовали иного подхода к осмыслению и изображению этой реальности.

Среди них особое место по масштабу деятельности и по ее значимости для дальнейшей средневековой культуры принадлежит Флавию Кассиодору. Масштабная фигура Флавия Магна Аврелия Кассиодора Сенатора – одного из величайших культурных деятелей рубежа античности и средневековья – как бы замыкает собой историю поздней Римской империи и римской литературы. При переходе от рах готана к средневековой Европе непосредственные интеллектуальные связи между уходящим античным миром и складывающимся средневековым по-прежнему являлись основой культурной жизни общества. Нагляднее всего это видно в деятельности выдающихся государственных деятелей, эрудитов и просветителей, главной целью которых было сохранение преемственности античной культурной традиции в условиях постепенного распада античного мира, общей варваризации, упадка культуры и образованности.

Флавий Кассиодор (около 490 – после 585) был в первой половине VI века одной из самых значительных и выдающихся личностей в Ост-

готском королевстве¹. Крупный государственный деятель и выдающийся дипломат, Кассиодор сделал блестящую карьеру, пройдя весь

¹ Основной работой по истории Остготского королевства остается фундаментальное исследование Вильгельма Энслина (W.Ensslin. *Theoderich der Grosse*. 2^e ed. München, 1959). Не меньшее значение имеет и монография П.Ламмы (P.Lamma. *Teoderico*. Brescia, 1951), в которой автор, критикуя исследователей-германистов за излишнее по его мнению увлечение юридическими памятниками, своей главной задачей видит рассмотрение культурно-идеологических основ правления Теодориха (См. также: P.Lamma. *Recenti studi su Teodorico// Convivium* I. 1951. P.296-298). Роль и место Кассиодора в Остготском королевстве еще не стали предметом обобщающего самостоятельного исследования. Работа Дж.О'Доннелла (J.J.O'Donnell. *Cassiodorus*. Berkeley; Los Angeles, 1979) скорее подводит определенный итог предшествующему изучению жизни и деятельности Кассиодора, нежели намечает новые линии исследования. Несколько особняком стоит важная статья А. ван де Вивера (A. van de Vyver. *Cassiodore et son oeuvre// Speculum* VI. 1931. P.232-292), в которой в самом общем виде отмечается, что роль Кассиодора как основателя Вивария заслуживает гораздо большего внимания, чем его государственная деятельность. Культуре образованной части римской аристократии, к которой, бесспорно, принадлежал и Кассиодор, а также становлению новой культурной парадигмы посвящены книга П.Курселя (P.Courcelle. *Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore*. Paris, 1943) и глава в монографии В.И.Уколовой (В.И.Уколова. *Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – середина VII веков)*. М., 1989. С.73-144). Основные направления интеллектуальной жизни Остготской Италии во времена Кассиодора стали предметом исследования в важной работе А.Момильяно (A.Momigliano. *Cassiodorus and Italian Culture of his Time// Proceedings of the British Academy* XLI. 1955. P.207-245). Эволюция стиля мышления и формирование нового типа организации культурной жизни рассматриваются в статьях В.И.Уколовой (В.И.Уколова. *Кассиодор и средневековая культура// Взаимосвязь социальных отношений и идеологии в средневековой Европе*. М., 1983. С.66-95; *Культура Остготской Италии// Средние века*. 1983, Вып.46. С.5-26; *Флавий Кассиодор// Вопросы истории*. 1982. №2. С.185-189; «Последние римляне» и парадигмы средневековой культуры// *ВДИ*. 1992. №1. С.104-118). Участию Кассиодора в политической жизни Остготской Италии посвящена большая статья Х.Леве, переизданная в сборнике его работ (H.Löwe. *Von Cassiodore zu Dante*. Berlin, 1973). Аке Фриду, подготовившему издание *Variae* в *Corpus Christianorum* (CC, XCVI, 1973), принадлежит целая серия исследований, затрагивающих проблемы языка и стиля этого памятника в широком контексте языковых изменений поздней античности (Å.J.Fridh. *Études critiques et syntaxiques sur les Variae de Cassiodore*. Göteborg, 1950; *Terminologie et formules dans les "Variae" de Cassiodore: études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité*. Stockholm, 1956; *Contributions à la critique et à l'interprétation des Variae de Cassiodore*. Göteborg, 1968). Исследование дипломатической переписки, имеющейся в *Variae*, содержится в статье П.Классена (*Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatiche Studien zum römische-germanischen Kontinuitäts-problem// Archiv für Diplomatik* I. 1955. P.1-87). Наконец, необходимо упомянуть две работы П.Ламмы, которые очень важны для понимания интеллектуальных основ культуры Италии VI века и специфической роли Кассиодора как государственного деятеля, так и просветителя на рубеже античности и средневековья (P.Lamma. *Due descrizioni di orologi: il significato della*

cursus honorum от квестора до magister officiorum и префекта претория. Он сумел без особых потрясений и неудач оставаться необходимым всем остготским королям, папскому престолу и византийским императорам. Когда гибель Остготского королевства стала неизбежной, Кассиодор отошел от политической деятельности и основал на юге Италии в своем поместье монашеское общежитие Виварий – крупнейший культурный центр, скрипторий, школу и библиотеку, ставший образцом для средневековья.

Перу Кассиодора принадлежит много разнообразных сочинений. Особой популярностью пользовались написанные им так называемые *Variae* – сборник актов и официальных посланий, составленных Кассиодором в качестве квестора дворца и magister officiorum от имени короля Теодориха и высших должностных лиц. Сборник преследовал как литературные, так и политические цели, являясь образцом изысканного дипломатического и административного стиля, вызывавшего восхищение еще в эпоху Возрождения. Язык *Variae* – «смесь риторики и очень точного языка юриспруденции и государственной практики»² – сформировал уникальный, эталонный, вневременной, идеализированный образ Остготского королевства, как законного и естественного преемника Западной римской империи, традиций римской государственности, образованности и культуры.

Variae Флавия Кассиодора замыкают в латинской литературе традицию, начатую письмами Плиния Младшего и продолженную сборником писем и реляций Квинта Аврелия Симмаха. *Variae* – уникальный памятник, являющийся одновременно и литературным произведением, и сборником государственных документов – представляют собой ценнейший источник по истории Остготского королевства в первой трети VI века, и в первую очередь по истории позднеримской государственной традиции. При этом изящество стиля Кассиодор считал чуть ли не важнейшим элементом официальной переписки. Эта эlegantность достигалась автором виртуозным владением приемами и правилами риторического искусства³.

Произведения Кассиодора вобрали в себя духовный опыт многих поколений и, заключив его в совершенную литературную форму, надолго определили восприятие образа и роли античного наследия в даль-

tecnicа nella cultura e nella politica del VI° secolo; *Cultura e vita nell'esperienza di Cassiodoro// Oriente e occidente nell'alto Medioevo*. Padova, 1968. P.161-171, 173-186).

² Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – середина VII веков). М., 1989. С.98.

³ Cassiod., *Var.*, Praefatio: "Decreta ergo nostra priscorum resonant constituta, quae tantam suavitatem laudis inveniunt, quantum saporem vetustatis assumunt – Изданные нами постановления, должны зазвучать голосом предков, и они постольку достойны похвалы, поскольку наполнены благоуханием древности".

нейшие эпохи. Римская империя не только продолжала оставаться для Кассиодора реальным политическим строем реального государства (ибо Остготское королевство воспринималось им как естественное продолжение Западной Римской империи), но, более того, под его пером она приобретала черты идеального, эталонного, не подвластного силе времени государственного устройства. Конечно, риторический образ вступал в противоречие с исторической действительностью, и именно поэтому в дальнейшей традиции *Variae* Кассиодора нередко воспринимались как оторванная от жизни, бессодержательная утопия, а сам Кассиодор считался наивным или лукавым (в зависимости от мнения исследователя), напыщенным и многословным ритором.

Итак, рассмотрим, что же включают в себя двенадцать книг *Variae*. Два наиболее многочисленных типа документов в *Variae* – это эдикты и рескрипты. Эдикты (*edicta, edictalia programmata*) – правительственные постановления, адресованные либо всему населению государства, либо жителям конкретной провинции, например, «всем готам и римлянам», «римскому народу», «всем посессорам Арелатской области» и т.д. Рескрипты – распоряжения короля или высших магистратов, направляемые чиновникам центрального и местного управленческого аппарата, а также и частным лицам. В эту группу актов входят и судебные решения, принятые королем, *magister officiorum* или префектом претория в порядке апелляционного судопроизводства. Среди адресатов мы встречаем известнейших лиц этой эпохи – Боэция, Симмаха, сенаторов Фауста, Альбина, Киприана, римских пап Иоанна I, Феликса и Агапита, многих епископов. Кроме того, в *Variae* содержатся многочисленные послания-формулы, представляющие собой типовые распоряжения о назначении тех или иных должностных лиц: *magister officiorum*, префекта претория, квестора, губернатора провинции, *comes sacrarum largitionum*, судьи, *praefectus annonae*, многих чиновников местной администрации и др. Новой для традиционно римского делопроизводства является формула назначения коми́та готов⁴. Значительное место занимает в *Variae* дипломатическая переписка с византийским императорским двором, королями тюрингов, вестготов, франков, вандалов, герулов, бургундов и правителями таких отдаленных земель, как, например, прибалтийские. Кстати, *Variae* начинаются с письма византийскому императору Анастасию. Наконец, самая небольшая группа посланий – это рекомендательные письма, адресованные римскому сенату и содержащие просьбу о приеме в его состав новых лиц.

При расположении документов по книгам Кассиодор придерживался, по всей видимости, тематическо-хронологического принципа. I–

⁴ Cassiod., *Var.* VII,3.

V и VIII–XII книги составляют, в основном, эдикты, рескрипты, и послания, написанные от имени Теодориха, Аталариха, Амаласунты, Теодата, Гуделины, Витигиса и самого Кассиодора в качестве префекта претория. Формулы назначений составляют большую часть VI–VII книг. Дипломатическая переписка сконцентрирована в VIII–X книгах, несколько посланий подобного рода встречается в I и V книгах.

Ни одна из работ, посвященных истории Остготской Италии, особенно в русле истории власти и государственной традиции⁵ не обходится без более или менее частых ссылок на *Variae* Кассиодора, являющиеся нашим основным источником по данной эпохе и проблематике. Тем более кажется странным, что никто еще не пытался комплексно рассмотреть проблему теоретических оснований королевской власти в Остготском королевстве.

Основной отличительной особенностью Остготского королевства является чрезвычайно высокая степень его романизации. Располагаясь в сердце римской цивилизации, остготские владыки были вынуждены в целях поддержания внутренней стабильности в королевстве провозгласить себя преемниками и защитниками традиционной римской системы ценностей, в которой идеи четкой организации государством социальной и политической жизни общества занимали не последнее место, «хотя римский мир распался, универсалистская идея римской государственности продолжала жить в общественном сознании эпохи»⁶.

Считая залогом политической стабильности в своем королевстве союз готов и римлян, объединенных в одном государстве, Теодорих

⁵ Дворецкая И.А. Организация управления в Остготском королевстве// ВВ. Т. XXI. М., 1962. С.3-28; Ее же. Эдикт Теодориха Остготского как источник по социально-политической истории раннего средневековья// Ученые записки МГПИ им. В.И.Ленина; Вып.217: Проблемы экономического и политического развития стран Европы (из истории средних веков и древнего мира). М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1964. С.147-157; Ее же. Западная Европа V–IX веков. Раннее средневековье. М., 1990. С.119-147; Ее же. Из Паннонии в Италию (христианизация завоевателей и генезис варварской государственности в Италии VI–VIII вв.)// Античность и раннее средневековье. Социально-политические и этнокультурные процессы. Н.Новгород, 1991. С.128-142; Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. М., 1959. С.159-180; Dumoulin M. Le gouvernement de Théodoric// Revue historique. Paris, 1902. Vol.78. P.5-28; Vol.79. P.35-103.

⁶ Уколова В.И. Культура остготской Италии// СВ. Вып.46. М., 1983. С.6; См. также: Удальцова З.В. Раздел земель между остготами и римлянами в Италии в конце V века// СВ. Т.VIII. М., 1956. С.44: «Большая часть длительного, 33-летнего правления этого остготского короля (Теодориха. – П.Ш.) знаменуется политическим сближением остготской знати с римской земельной аристократией и отличается значительной "веротерпимостью", что являлось свидетельством стремления правительства Теодориха поддерживать благоприятные отношения с католической церковью».

всеми силами пытался подчеркнуть естественную преемственность своего государства с поздней Римской империей во всех областях государственной и общественной жизни. В остготской Италии в неприкосновенности остались и римская система права, и организация центрального и местного управления, и крупное сенаторское землевладение⁷. Обращаясь от лица короля к населению страны Кассиодор писал: «...Вам всем следует без сопротивления подчиняться римским обычаям, к которым вы вновь возвращаетесь после длительного перерыва, ибо должно быть благословенно восстановление того, что, как известно, служило процветанию ваших предков. Обретя по божественному соизволению древнюю свободу, вы опять облачаетесь в одеяния римских нравов...»⁸. В другом послании Теодорих заявляет, что главной целью его политики является «...объединение не только владений, но и душ готов и римлян..., общность поместий является основой мира и согласия..., за часть поля римлянин нашел себе защитника...»⁹, король указывает, что «...готов и римлян связывают единый образ жизни, единый закон, единая власть»¹⁰. Кроме внутренней стабильности такая политика повышала авторитет остготского короля как в глазах византийского императора, так и среди прочих варварских королей.

Наряду с информацией об экономическом, социальном и политическом положении в Остготском королевстве *Variae* включают в себя еще один пласт, представляющий для нас наибольший интерес и содержащий то, что П.Курсель назвал «теоретической базой нового правления»¹¹. Фигура короля занимает в этой теории центральное место. Действительно, стоит ли специально говорить о том, какую важную роль играл личностный фактор при становлении ранних варварских королевств. Для Италии же это обстоятельство и вовсе оказа-

⁷ И.А.Дворецкая указывает, что стараясь установить согласие между землевладельцами римского и варварского происхождения, Теодорих дал единую правовую защиту имущественным интересам местного населения и завоевателей-поселенцев (Дворецкая И.А. Западная Европа V–IX веков. Раннее средневековье. М., 1990. С.126). См. также: Удальцова З.В. Италия и Византия в VI веке. М., 1959. С.220-225; Ее же. Крупное светское и церковное землевладение в Италии VI в. // ВВ. Вып. IX. М., 1956. С.78-116.

⁸ Cassiod., *Var.* III, 17 (Пер. В.И.Уколовой).

⁹ Cassiod., *Var.* II, 16, 5: "...et possessiones junxit et animas...".

¹⁰ Cassiod., *Var.* III, 3, 3; Anon. *Vales.*, 60 "...sic gubernavit duas gentes in uno Romanorum et Gothorum... – так правил он двумя народами – римлянами и готами, соединенными в единое целое". См. также: Hodgkin Th. *Theodoric the Goth, the Barbarian Champion of civilization*. N.-Y., London, 1981; Mommsen Th. *Ostgothische Studien*// Mommsen Th. *Gesammelte Schriften*. Bd. VI. Berlin, 1910. S.362-484.

¹¹ Courcelle P. *Histoire littéraire des grandes invasions germaniques*. Paris, 1964. P.207. П.Ламма отмечает, что с приходом Кассиодора во власть должность квестора "acquista quasi la fisionomia di un ministro della propaganda".

лось решающим, так как Теодориху власть была делегирована императором Византийской империи Зеноном, законным представителем которого он и пришел в сердце римской цивилизации. К тому же дуалистический характер готто-римского государства позволил королю занять позицию арбитра, исключительно благоприятную для установления и поддержания личной власти.

Организация и идеология государственной власти в Остготском королевстве уже были достаточно подробно описаны в книге В.Энсслина¹² и делать это еще раз нет никакой необходимости. Цель данной работы – не показать как функционировало Остготское государство и что оно из себя представляло в реальности, а попытаться очертить тот литературный образ, который это государство получает под пером Кассиодора. *Variae* дают нам уникальную возможность увидеть не только то, чем была остготская монархия сама по себе, но и чем она хотела быть, и, наконец, то, какими средствами конструировался или даже режиссировался ее образ одним из наиболее образованных людей эпохи. Именно этот последний аспект интересует нас прежде всего. Иными словами, мы рассмотрим *Variae* как попытку вписать новое королевство в традиционную римскую систему ценностей и римскую же систему государственного управления.

Основное идеологическое напряжение *Variae* заключается в тонкой стилистической игре автора на королевском титуле Теодориха и его преемников. Задача, надо заметить, изначально не из легких. Для Римской империи слово *гех* содержало в себе намек на узурпацию власти, что безусловно не могло приветствоваться в Константинополе, но особенно оскорбляло патриотические чувства провизантийски настроенной римской знати. Для интеллектуалов понятие *гех* было неразрывно связано с тиранической формой правления, что ясно проявилось в «Утешении философией» Боэция. Наконец, для всех римлян не зависимо от их образования и социального положения, как на Востоке, так и на Западе, королевская власть являлась синонимом варварского господства. Перед Кассиодором, таким образом, стояла задача попытаться как-то нейтрализовать эти без сомнения негативные ассоциации, связанные с термином *гех*.

Нам очень мало известно о правлении Одоакра, однако, несмотря на все знаки уважения и внимания, которые он оказывал сенату, несмотря на его попытки добиться расположения римского народа, доброй памяти о себе он не оставил, выступая во всех немногочисленных сохранившихся источниках как захватчик и узурпатор¹³. В начале

¹² Ensslin W. Op.cit. P.152-212.

¹³ Редкий пример преданности Одоакру продемонстрировал сенатор Либери (Cassiod., *Var.* II, 16). Теодорих не преследовал Либерию за его верность

правления Аталариха, когда уже не было необходимости уличать Одоакра, прославляя таким способом его победителя Теодориха, Кассиодор тем не менее пишет о *abiecta saecula Odovacris*¹⁴. Этот первый опыт готского правления в Италии не внес успокоения в сердца и души римлян, не приучил их к новой государственной власти, а скорее укрепил все имеющиеся предубеждения. Принимая во внимание, что приход к власти Одоакра вовсе не означал в глазах римлян падение империи, нужно было найти что-то другое, что примирило бы сам факт установления в Италии готской королевской власти с образом мысли и чувствами римского народа. Речь могла идти только о том, чтобы стереть всякую память о *rex Gothorum* и создать вокруг титула *rex* систему гармонично связанных с римской традицией ассоциаций. В этом смысле, *Variae* занимают особое место в истории политической мысли, так как представляют собой попытку включить в традиционную римскую систему представлений новый образ королевской власти. Для реализации подобной программы требовалось исключительное политическое и стилистическое мастерство и богатое воображение.

Поскольку в свете последующих событий, путь, намеченный в *Variae* оказался перспективным, нам не следует забывать, сколь многочисленны были те предубеждения и стереотипы, которые требовалось преодолеть Кассиодору. Весь масштаб предприятия читателю становится понятен не сразу. Нужно долго и внимательно вчитываться в *Variae*, сопоставляя, о чем говорит автор, о чем умалчивает, и о чем даже не упоминает. Наряду с наблюдениями над структурой текста, которая отражает эволюцию представлений о королевской власти, очень важен также и порядок расположения документов в книгах *Variae*, избранный автором при их публикации. Этот порядок одновременно хронологический и логический, диктуется осторожностью, и еще более четко выявляет основную задачу Кассиодора. Пять первых книг, относящихся ко времени правления Теодориха, демонстрируют непрерывный рост могущества короля. Шестая и седьмая книги, где собраны формулы назначения должностных лиц, являют собой прекрасный пример торжественно-официальной административной риторики, в зеркале которой величие королевской власти проявляется во всем великолепии. Наконец, последние королевские акты из восьмой, девятой и десятой книг представляют собой проявления королевской воли по самым раз-

Одоакру и отказ от участия в войне с последним на стороне Теодориха. Удивительная карьера этого римского аристократа рассматривается в работе L.Cantarelli. *Il patrizio Liberio e l'imperatore Giustiniano*// *Studi Romani e bizantini*. Rome, 1915. P.289-303.

¹⁴ Один раз при Теодорихе (Cassiod., *Var.* V,41) и один раз при Аталарихе (Cassiod., *Var.* VIII,17). Следует отметить, что и Прокопий Кесарийский тоже очень негативно относится к Одоакру.

нообразным поводам, демонстрируя личное участие короля во всех сферах государственного управления. Таким образом, *Variæ* позволяют изучать одновременно эволюцию королевской власти в Остготской Италии и изменения в литературном оформлении этой власти.

Другие исторические источники, оставшиеся от этого периода, – литературные, эпиграфические, нумизматические – помогают нам оценить масштабность и грандиозность задачи, стоящей перед Кассиодором. В частности, особая важность королевского титула, являющегося стержнем концепции Кассиодора, со всей совокупностью связанных с ним отрицательных и положительных ассоциаций, вынуждает нас рассмотреть теоретико-идеологические основания королевской власти у остготов и особенности титулатуры Теодориха. В историографии сложилось несколько точек зрения по этому поводу, и среди них нам нужно четко сформулировать свою позицию, которая должна сводиться, в конечном счете, к ответу на вопрос, является ли титул *rex* в *Variæ* римским или германским.

Все известные нам источники сходятся в одном пункте: Теодорих пришел в Италию со своими войсками с санкции и по просьбе императора Восточной Римской империи Зенона, чтобы изгнать узурпатора Одоакра. Но, какой титул носил Теодорих, когда выполнял эту миссию? Сначала вспомним, что Теодорих, принадлежащий к готской королевской династии Амалов, был в то же время и высоким должностным лицом империи. От императора Зенона он получил пост *magister militum praesentalis* в 483 г., а в следующем году консульство¹⁵. Прокопий сообщает нам, что он был патриkiem¹⁶. Можно предположить, что Зенон не поручил бы столь значительную миссию Теодориху, четко не определив его полномочия и должностное положение. Э.Штейн полагает, что перед экспедицией в Италию Теодорих получил звание *magister militum*, но это звание не следует путать с *magister militum praesentalis*. Скорее он был возведен в ранг *magister militum per Italiam*, хотя это звание не встречается в наших источниках¹⁷. Эта точка зрения была позднее поддержана Л.Мюссе как «наиболее вероятная»¹⁸. Что касается В.Энслина, то он полагает, что Теодорих был послан в Италию «в качестве патрикия в точном смысле этого слова, то есть как представитель императора»¹⁹.

Ни один из наших источников не позволяет разрешить этот спор. Аноним Валезия, который, как кажется, всегда был очень точен в во-

¹⁵ Marcel. Comes, Chron.// MGH. AA. XI, 2. P.92 (год 483).

¹⁶ Procop., BG, I, 1. Ср.: Anon. Vales., 49.

¹⁷ Stein E. Histoire du Bas-Empire. T.II. Paris; Bruxelles; Amsterdam, 1949. P.40.

¹⁸ Musset L. Les invasions. Les vagues germaniques. T.I. Paris, 1965. P.96.

¹⁹ Ensslin W. Theoderich der Grosse. P.61.

просах титулатуры, так как отражал официальную точку зрения²⁰, различает три этапа служебной карьеры Теодориха. Сначала он указывает на ту роль, которую сыграл Теодорих, помогая императору Зенону против узурпатора Василиска, называя при этом Теодориха *dux Gothorum*²¹. Затем он упоминает с назначении Теодориха патрикием, о получении им консулата и об его отбытии в Италию для свержения Одоакра²². Начиная с этого момента и до параграфа 57, где говорится о провозглашении Теодориха королем его войсками, Теодорих именуется патрикием. И, наконец, с параграфа 57 и до конца текста речь идет только о *rex Theodericus*. Таким образом, Теодорих последовательно был *dux*, *patricius* и *rex*.

Однако должны ли мы на основании того, что Аноним Вalezия называет Теодориха патрикием при отбытии в Италию, прийти к заключению, что именно с этим титулом Теодорих выполнял поручение императора? Вспомним уже упоминавшуюся гипотезу В.Энсслина, согласно которой речь может идти о патрикиате в собственном смысле этого слова. Действительно, как это прекрасно показал В.Хейл, нужно различать почетный патрикиат, введенный Константином и существовавший в восточной части империи, и патрикиат специфически западный, известный с начала V века, который неразрывно связан с должностью *magister utriusque militiae*²³. Именно ссылаясь на патрикиат этого типа, В.Хейл объясняет, каким образом Рицимер единолично и законно обладал всей полнотой власти между правлениями Севера и Антемия с 14 ноября 465 г. по 12 апреля 467 г.²⁴ Этот тезис не вполне убедителен и исходит из стремления подвести законные основания под все революционные события, происходившие на заключительном этапе существования Западной римской империи. Во всяком случае, остается еще доказать, что патрикиат Теодориха давал ему те же са-

²⁰ Об истории создания Анонима Вalezия см.: Wattenbach-Levison. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger. I. P.56.

²¹ Anon. Vales. P.12.

²² Ibid. P.14.

²³ О патрикиате см.: Чекалова А.А. Патрикиат в ранней Византии// ВВ. Т.57. М., 1997. С.32-44; Magliari G. Del patriziato romano del secolo IV al secolo VIII// Studi e documenti di storia e diritto. XVIII. 1897. P.153-217; Picotti G.B. Il patricius nell'ultima età imperiale e nei primi regni barbarici d'Italia// Archivio storico Italiano. Ser.VII,IX.1. Florence, 1928. P.3-80; Ensslin W. Der patricius praesentalis im Ostgotenreich// Klio. 29. 1936. P.243-249. Л.Шмидт придерживался точки зрения, что титул короля для Теодориха не имел реального значения, только почетное, а власть над готами и римлянами он имел только благодаря патрикиату: Schmidt L. Theoderich römischer Patricius und König der Goten// Zeitschrift für Schweizerische Geschichte. XIX. 1939. P.404-414. О возникновении и истории патрикиата см.: Heil W. Der konstantinische Patriziat. Bâle-Stuttgart, 1966.

²⁴ Heil W. Op.cit. P.34.

мые права, что и Рицимеру и Азцию. Э.Штейн имел все основания не соглашаться с В.Энслином по этому поводу²⁵.

Если мы еще детальнее рассмотрим все источники, в которых упоминается соглашение, заключенное между Зеноном и Теодорихом, нам тем не менее не удастся точно определить круг полномочий последнего при отъезде в Италию. Аноним Валезия пишет: «С ним (Зеноном) Теодорих пришел к соглашению, что если Одоакр будет побежден, то Теодорих в качестве компенсации за труды станет править вместо него»²⁶. Марцеллин комит скупко сообщает: «В тот же год король Теодорих, собрав толпу своих соплеменников, двинулся в Италию... Тот же Теодорих, король готов, по своему желанию занял Италию»²⁷. И даже Прокопий не проясняет ситуацию²⁸. Все тексты едины в своем интересе к ситуации, сложившейся в Италии после победы Теодориха, и они практически не уделяют внимания, каким был его титул в начале кампании. Как в дальнейшем разворачивались события известно. Одоакр потерпел поражение и был предан казни, а Теодориха войска провозглашают королем. Это провозглашение, упоминаемое только Анонимом Валезия, и составляет суть проблемы, связанной с установлением королевской власти Теодориха.

Еще до окончания войны Теодорих посылает первое посольство к Зенону, возглавляемое Фестом, «надеясь получить от него (императора) право облачиться в королевские одежды»²⁹. Позднее будет послано еще одно посольство, руководимое Фаустом Нигером, миссия которого ничем не окончится из-за смерти императора. Именно тогда «...при известии о смерти императора и до того, как посольство вернулось, после того как Теодорих вошел в Равенну и убил Одоакра, готы утвердили Теодориха своим королем, не дожидаясь приказа нового императора»³⁰. Этому событию придается столь большое значение, что когда в 497 г. между Теодорихом и императором Анастасием было заключено мирное соглашение, Аноним Валезия, тем не менее, говорит о *praesumptio regni*, которое, главным образом, и привело к согласию³¹. Выражение может означать только одно – узурпацию королевского титула. Теодорих, таким образом, стремился к титулу *rex*, который оказывается вовсе не

²⁵ Stein E. Op.cit. P.177.

²⁶ Anon. Vales., § 49. P.14.

²⁷ Marcel. Comes, Chron. P.93 (годы 488 и 489).

²⁸ Procop., BG, I,1. Более подробный рассказ Иордана ясности тоже не прибавляет.

²⁹ Anon. Vales., § 53. P.15: "ab eodem sperans vestem se induere regiam".

³⁰ Ibid., § 53. P.16: "at ubi cognita morte ejus, antequam legatio reverteretur, ut ingressus est Ravennam et occidit Odoacrem, Gothi sibi confirmaverunt Theodericum regem, non exspectantes jussionem novi principis".

³¹ Anon. Vales., § 64. P.19.

лишенным политического значения, раз императоры Восточной римской империи – сначала Зенон, а затем и Анастасий – не спешат, кажется, за ним его признавать. Таким образом, этот титул по необходимости должен был бы иметь в рамках империи определенную, если можно так выразиться, конституционную ценность.

Другими словами можно сказать, что Теодорих имел римский титул, а не германский: *Theodericus rex* – это не просто перевод *Theoderich reiks*. Сын Тиудимера, Теодорих принадлежал к королевской семье Амалов. Но с того момента, когда королевство Германариха, расцвет которого относится к IV веку, рухнуло под ударами орд Аттилы, остготская королевская власть также исчезла. Народ рассеялся и его раздирали внутренние противоречия. Последним из них оказалось соперничество Теодориха Амала с его тезкой Теодорихом Страбоном, сыном Триария. Получив образования при константинопольском дворе, Теодорих Амал собрал часть своих соотечественников и увел их в Нижнюю Мезию, где они и расселились³². Затем они войдут в число тех, кто будет сопровождать Теодориха в походе на Италию. В это время Теодорих не мог претендовать на титул короля. В этот период жизни восточные источники называют его ἰγυεῶν, а Аноним Валезия – *dux*, как мы это уже видели выше. Что же касается готов, если они и считали Теодориха своим королем, у них не было никакой необходимости провозглашать его таковым в Равенне³³. Возможно, таким образом он хотел дать понять своим воинам, что восстанавливает к славе Амалов прежнюю национальную династию. Целью Теодориха могло быть и стремление поставить императора перед свершившимся фактом, навязать ему свою волю. Как бы то ни было, провозглашение Теодориха королем имело смысл только в том случае, если оно сопровождалось обретением нового значимого титула.

Само собой разумеется, что этим новым титулом не мог быть титул *reiks*, который, возможно, у Теодориха и был. Скорее, это готское на-

³² Marcel. Comes, Chron. P.92.

³³ Естественно, можно было бы возразить, что *confirmare* означает скорее утверждение, чем провозглашение. R.Wenskus. *Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen Gentes*. Cologne-Graz, 1961. P.484, полагает, что провозглашение Теодориха королем после смерти Одоакра не означает, что его *Volkskönigtum* расширился. Теодорих никогда не прекращал быть королем. "In den Augen seiner Kernscharen hatte er nie aufgehört, König zu sein. Damit war die Kontinuität der Tradition gewahrt, und das Reich Theoderichs in Italian konnte daher mit Recht ein gotisches genannt werden. Die Königserhebung in Italian war deshalb nur die Anerkennung seines Königtums durch jene Scharen, die sich ihm nach seiner ersten oder zweiten Erhebung angeschlossen hatten". Если события разворачивались таким образом, зададимся вопросом, зачем войскам Теодориха надо было ждать смерти Одоакра, чтобы признать Теодориха своим королем.

именование короля – *thiudans*. Перевод Библии Ульфила, датируемый концом IV века, отличался скрупулезной точностью при передаче греческих слов βασιλεύς и ἄρχων. Мы находим следующие эквиваленты:

ἄρχων = princeps = reiks

βασιλεύς = rex = thiudans³⁴.

Rex и *reiks* принадлежат к двум разным регистрам. Если рассмотреть контексты, то станет ясно, что *reiks* (и его греческие и латинские соответствия) эквивалентны нашим словам «знатный», «сильный мира сего». Во втором случае гораздо четче проступает политическое значение термина, а также аллюзия на высшую власть. Самое яркое доказательство этого – фрагмент из Иордана (XIX, 12) в котором говорится, что тот, кто сделался королем, противопоставляет себя Цезарю. Употребление в данном контексте термина *thiudans*, ясно дает понять, что это единственное слово, которое означает высшую власть, способную составить конкуренцию власти императора. Принимая по внимание подобное распределение значений, весьма вероятно, что Теодорих, происходящий из Амалов, патрикий и консул империи, был провозглашен *reiks* своими соотечественниками, до того как они провозгласили его королем (*rex = thiudans*), и именно почетный титул *reiks* Аноним Валезия переводит словом *dux*³⁵.

Наконец, мы должны здесь привести и текст Прокопия, на который всегда ссылались, когда хотели доказать, что Теодорих удовольствовался готским титулом *reiks*, переводимым на латинский язык как *rex*. Византийский историк разъясняет позицию Теодориха: «Он обладал властью над готами и над италийцами. Он не стремился посягать на права императора римлян ни одеждой, ни титулом, повелев именовать себя *rex* на протяжении всей своей жизни (так варвары обычно называли своих правителей)»³⁶.

В этом отрывке все направлено на то, чтобы выставить Теодориха в самом выгодном свете. Прокопий стремится показать, что суверен Италии проявил во время своего правления все качества, достойные

³⁴ См.: G. Vetter. Die Ostgoten und Theoderich. Stuttgart, 1938. P.111. Эта работа в настоящее время практически не цитируется, так как в ней очень сильно ощущается влияние официальной идеологии Третьего Рейха. Главной целью автора является стремление доказать, что Теодорих воплощал в себе все качества истинного арийца.

³⁵ Все примеры употребления слова *dux* к сожалению находятся в тех частях текста, готский перевод которых не сохранился. См.: R.Wenskus. Op.cit. P.419 тонко подметил постепенную девальвацию заимствованного из кельтского языка термина *reiks*, тогда как *thiudans* сохраняет древние сакральные значения. Он отмечает (P.411), что сохранение *thiudans* свидетельствует о преемственности королевской традиции у готов, тогда как западным германцам потребовался новый термин для обозначения короля (**kuning*).

³⁶ Procop., BG, I, 1. P.8.

императора, не претендуя, однако, на императорское одеяние и титул. Несмотря на свои выдающиеся заслуги и исключительное положение, Теодорих, тем не менее, никогда не стремился поставить себя, по крайней мере на основании титулу, над прочими правителями варварских королевств³⁷.

Нам кажется совершенно неправильным приводить выше процитированный отрывок Прокопия в качестве доказательства того, что автор передает греческой транслитерацией ῥήξ готский титул *reiks*. Ни о каком особом языке в данном случае не может быть и речи, а варвары, о которых говорит здесь Прокопий, это варварские племена, расселившиеся по *pars Occidentis*, которыми правят *reges*. Таким образом ῥήξ оказывается в этом контексте простой транскрипцией латинского слова *rex*³⁸. Более того, считая, что Прокопий имел в виду готский титул *reiks*, мы должны предположить также, что он допустил серьезную ошибку, переводя *reiks* как ἡγεμών, так как в Библии Ульфила ἡγεμών соответствует *kindins*. В остальном же текст Прокопия остается двусмысленным. Что он хотел сказать? Что Теодорих никогда не носил титул βασιλεύς? Безусловно не носил, так как в переписке с константинопольским двором пользовался латинским языком. Но если предположить, что латинскому слову *princeps* соответствует греческое βασιλεύς, то тогда Прокопию было бы достаточно открыть *Variae* и убедиться, что Теодорих более сотни раз пользовался этим титулом, претендуя, таким образом, на императорскую титулатуру³⁹.

Итак, мы считаем, что Теодорих, уже имеющий перед итальянским походом титул *reiks*, был провозглашен в Равенне солдатами *thuidans*, что в переводе на латинский язык означает *rex*. Это вызвало гнев им-

³⁷ Н. Wolfram в своей статье (*The shaping of the early medieval kingdom// Victor. I. 1970. P.3*) замечает, что греческая транслитерация слова *rex* как ῥήξ встречается только со II в. н.э. Однако дальше он свою гипотезу не развивает, так как: "The latin title *rex* was certainly not the original Germanic word for king with which the barbarians used to name their leaders". Мы не стремимся делать какие-либо этнографические или лингвистические выводы на основании данного текста, но совершенно очевидно, что Прокопий основывает свое утверждение на официальных документах, направленных в Константинополь из Италии и составленных на латинском языке.

³⁸ Позднее титул ῥήξ будет официально признан Византией, см., например: Константин Багрянородный. Об управлении империей, 26.

³⁹ Заметим, однако, что текст Прокопия не претендует на абсолютную юридическую точность в использовании титулатуры, поскольку на самом деле термин βασιλεύς не являлся тогда официальным титулом императора. Он станет таковым только при Ираклии, когда греческий язык будет единственным государственным языком империи. Следовательно, мы можем предположить, что Теодорих не пользовался наименованием βασιλεύς, т.е. *imperator*, по-гречески αὐτοκράτωρ.

ператора, но в конце концов титул был официально признан в 497 г.⁴⁰ Это был латинский и римский титул, но без точно определенного юридического статуса. Такая ситуация предоставляла возможность для самых разных толкований, поскольку для римлян титул *rex* был многозначным. Теодорих был просто *rex*, а не *rex Gothorum*. Последний титул никогда не встречается в эпитафике⁴¹. *Theodericus rex* воплощает для Кассиодора образ идеального правителя.

Победив Одоакра и получив признание Константинополя, Теодорих оказался достаточно прозорливым, чтобы понять, каким принципам он должен следовать, управляя Италией. Не разрушать, а восстанавливать, и не отменять, а сохранять – в этом суть проводимой им политики, которая известна нам благодаря *Variæ* Кассиодора. Но для нас важны не действия Теодориха сами по себе, а избранная Кассиодором манера их изложения. Под пером Кассиодора создается новая политическая реальность, накладываемая на событийный ряд, никогда не воплощенная в реальной жизни, но и не абсолютно ей чуждая, в которой общественно-историческая эмпирия обретает всю свою полноту. Во всех деяниях Теодориха Кассиодор усматривает следова-

⁴⁰ Отметим, что в приведенном выше отрывке Прокопий ни слова не говорит о конфликте, вспыхнувшем между Анастасием и Теодорихом по поводу королевского титула последнего.

⁴¹ К юридической интерпретации королевского титула варварских владык, и Теодориха в частности, нужно подходить очень осторожно. Э.Штейн (Stein E. Op.cit. P.117) совершенно справедливо возражает против точки зрения Р.Фруэна (Frouin R. Du titre de roi porté par quelques participants à l'Imperium romanum// Revue d'histoire du droit. IX. 1929. P.140-149), который считает, что Сиагрию, Одоакра и Теодориха были римскими должностными лицами и носили титул *rex* как знак их принадлежности к *imperium romanum*. Р.Фруэн совершенно корректно и справедливо сопоставляет Сиагрию, Одоакра и Теодориха, хотя из них только последний, если верить источникам, был официально признан императором как *rex*. Однако проводимое им сравнение с Ганнибалианом, который на монетах обозначался только как *rex* (см.: Maurice J. Numismatique constantinienne. II. 1965. P.535), кажется неубедительным. В самом деле, Ганнибалиан, имея этот титул, был по своему положению согласно завещанию Константина Великого равным цезарям Далмацию, Константину II, Констанцию и Константу. Ганнибалиан действительно делил с ними императорскую власть. В случае же с Сиагрием, Одоакром или Теодорихом ничего подобного не было. В этой ситуации скорее всего говорить о чем-то похожем на *reges socii*. Впрочем, императорские юристы над этим вопросом не задумывались. Титул *rex* появляется в Западной римской империи под влиянием нашествий германцев и оказывается новым элементом имперской политической практики. И пример Сиагрия в этом отношении показателен, так как его королевский титул находит подтверждение только у Григория Турского, который называет его *rex Romanorum* по аналогии с Хлодвигом, именуемым *rex Francorum* (см.: Kurth G. Clovis. I. Bruxelles, 1923. P.245; Tamassia G. Egidio e Siagrio// Rivista storica italiana. III. 1886. P.229; Bloch M. Observations sur la conquête de la Gaule// Revue historique. CLIV. 1927. P.176).

ние определенному культурно-историческому идеалу. Все его действия являются проявлением его королевской природы, важным оказывается не то, что он имеет титул *rex*, а то, что он представляет собой воплощение всех качеств, присущих идеальному государю. На формирования этого комплекса идей и представлений, которые мы формулируем, конечно, более четко и прямолинейно, чем Кассиодор, сильнейшее влияние оказала античная политическая теория и философская традиция неоплатонизма, столь популярная в позднем Риме. Устойчивостью стилизованных форм, характерных для римской канцелярской риторики, на которую указывает В.Энслин, дело не исчерпывается⁴². Стиль не складывается на пустом месте, и если он сохраняется и даже становится еще более цветистым в сочинениях Кассиодора, то происходит это из-за того, что лежащие в его основании идеи были еще актуальны, отражаясь в формах мышления и поведения. Интеллектуальный ренессанс, переживаемый Остготской Италией в первой трети VI века, отразился и на политической жизни⁴³.

Рассматривая *Variae* в русле античной философской и политической традиции, мы лучше понимаем, почему такую важную роль играют в них различные абстракции⁴⁴. Тогда как распорядительная часть документа чаще всего составлялась от первого лица (*decernimus, praecipimus, sancimus*), в преамбулах обычно разворачиваются многословные описания королевских добродетелей или обязанностей правителя⁴⁵. Иногда получается, что панегирик достоинству короля пишется от его же имени, заранее отмечая, что предпринимаемая им

⁴² Ensslin W. *Theoderich der Grosse*. P.155. См. также прекрасную работу А. Фрида (Fridh Å.J. *Terminologie et formules dans les "Variae" de Cassiodore: études sur le développement du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité*. Stockholm, 1956. P.60). Автор сравнивает терминологию Кассиодора с терминологией, принятой в римском имперском делопроизводстве, и приходит к выводу, что Кассиодор тщательно следует традиции, сложившейся именно в Западной римской империи. Эта традиция существенно отличается от практики, распространенной на Востоке. Более того, А.Фрид подчеркивает (*ibid.* P.59), что в документах Остготской Италии используется больше формул, чем в «Новеллах» Юстиниана.

⁴³ Об остготском «ренессансе» см.: Уколова В.И. Особенности культурной жизни Запада (IV – первая половина VII в.)// *Культура Византии IV – первая половина VII в.* М.: Наука, 1984. С.78-97; Ее же. *Культура остготской Италии*// *СВ. Вып. 46.* М., 1983. С.5-12; Courcelle P. *Les lettres grecques en Occident de Marcrobe à Cassiodore*. Paris, 1943. P.257-287.

⁴⁴ Об этом см. подробнее: Шкаренков П.П. «*Variae*» Кассиодора в контексте позднеантичной интеллектуальной культуры// *Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории: Вып.2.* М., 2000. С.95-109.

⁴⁵ Классификацию преамбул см.: Fridh Å.J. *Op.cit.* P.32-35; Fichtenau H. *Arenga: Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln*. Graz and Cologne, 1957.

мера согласуется с традиционной для него линией поведения⁴⁶. В подобном контексте часто появляются слова *princeps*, *principalis*, *regalis*⁴⁷. Дело здесь не просто в замещении первого лица третьим, чтобы придать обороту большую торжественность; *propositum regale est* значит совсем не то, что *propositum nostrum est*. Цель этой замены – продемонстрировать, что король соотносит свои действия с тем, что от него ожидают. Таким образом, прилагательное не просто заменяет родительный падеж *regis*, оно оказывается в точном смысле слова определением, которое выражает не принадлежность, но сущностную характеристику, являясь атрибутом существительного. Подобное значение прилагательного прекрасно видно в послании Теодориха к королю вандалов Тразамунду, с которым он только что улаживал разногласия: «Мы оба действовали поистине по-королевски (*regalia fecimus*): так, с нашей стороны мы преодолели желание, достойное тирана, а с вашей стороны – ясно, что вы восторжествовали над ошибкой»⁴⁸. Если перевести начало фразы просто: «мы поступили как короли», – то некоторые нюансы смысла будут потеряны. Упоминание о *tyrannicam cupiditatem* ясно указывает на более торжественное значение *regalia*. Используемая Кассиодором риторика служит не просто украшением текста, она преобразует политику в этику.

В этом заключается и принципиальная новизна и хрупкость системы, создаваемой Кассиодором и Теодорихом. Ее эффективность зависит от одного единственного человека, который готов соотносить свои действия с идеальным образцом, нормативом поведения благого правителя. В тот день, когда правитель перестанет считать себя обязанным соответствовать этим требованиям, система управления, сложившаяся в Италии благодаря Теодориху, рухнет. В эпоху империи, напротив, император мог быть хорошим или плохим. Его образ действий порой доставлял подданным некоторые неудобства, но не подвергал опасности саму основу политического равновесия, которое опиралось на гораздо более мощный фундамент. Соответствие поведения государя идеальному образцу было желательным, для Теодориха это стало необходимостью. Изменилось и значение риторики, поскольку изменились основания власти: императора делала империя, а король создает свое королевство сам. Воспроизводя формулу Цицерона, Кассиодор провозглашает: «Легче природе, если можно так сказать, допустить ошибку, чем правителю создать государство, которое было

⁴⁶ Cassiod., Var. I,8; III,24; I,6.

⁴⁷ Cassiod., Var. I,23: "Decet regalis apicis curam..."; II,10: "Propositum regale est..."; III,27: "Propositum est pietatis regiae..."; 42: "Non occurritur sub principe benigno..."; IV, 19: "Decet principalem providentiam..."; 36: "Providentissimi principis est..."; 41: "Propositum regale est...".

⁴⁸ Cassiod., Var. 44: "Fecimus utrique regalia: sic nos superavimus tyrannicam cupiditatem, sicut et vos vicisse constat errorem".

чем правителю создать государство, которое было бы на него не похоже»⁴⁹. Королевство, таким образом, представляет собой образ короля. Соответствие идеальному образцу отличает короля от тирана, *legales domini* от *barbari reges*. Этот идеал должен быть зафиксирован в риторически организованном слове, ибо только ясная, эстетически совершенная форма делает содержание общественно значимым, понятным окружающим и потому единственно реальным⁵⁰.

С другой стороны, король ориентируется на императора, в котором заключается источник и модель королевской власти. Именно в этом смысл знаменитой фразы из послания к императору Анастасию, которым открываются *Variae*: *Regnum nostrum imitatio vestra est, forma boni propositi, unici exemplar imperii, qui quantum vos sequimur, tantum gentes alias anteimus*⁵¹. Это письмо, возможно, было написано после войны за Сирмиум, которая серьезно обострила отношения между Равенной и Константинополем. Цель письма, таким образом, восстановить отношения, напомнить и акцентировать то, что объединяет Остготское королевство и империю.

Однако, при том что намерение сомнений не вызывает, тщательное изучение текста показывает, что в нем лаконично и очень тонко изложены принципы взаимоотношений империи и королевства. Первое наблюдение заключается в том, что для изложения своей концепции Кассиодор пользуется философской, а не политической терминологией. Слова *imitatio*, *propositum*, *forma* и *exemplar*, в общем-то в латинском языке обиходные, соединяясь в данном контексте, используются в своем техническом значении. Любопытно, что теми же самыми словами (с заменой *exemplar* на *exemplum*) излагается теория искусства Аристотеля. Искусство – это имеющее цель (*propositum*) подражание (*imitatio*) образцу (*exemplum*) посредством формы

⁴⁹ Cassiod., *Var.* III,11: "facilius est quippe, si dicere fas est, errare naturam quam dissilem sui princeps possit formare rem publicam". См.: Suerbaum W. Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff. Über Verwendung und Bedeutung von *respublica*, *regnum*, *imperium* und *status* von Cicero bis Jordanis. Münster, 1977. S.265-266, который отмечает, что эта максима, заимствованная у Цицерона (Cic., *De re publica* I,47: "et talis est quaeque res publica, qualis ejus aut natura aut voluntas, qui illam regit"), произносит у него сторонник демократии, говорящий ее для обличения королевской власти.

⁵⁰ Cassiod., *Var.* IX,21: "Grammatica magistra verborum, omatrix humani generis, quae per exercitationem pulcherrimae lectiones antiquorum nos cognoscitur juvare consiliis. Hac non utuntur barbari reges; apud legales dominos manere cognoscitur singularis"; IX,25: "gloriosus quippe dominis gratiora sunt praeconia quam tributa, quia stupendum et tyranno penditur, praedicatio autem nisi bono principi non debetur".

⁵¹ Cassiod., *Var.* I,1.

(*forma*)⁵². Приводимый ниже фрагмент из Сенеки прекрасно объясняет разницу и иерархию понятий *exemplar* и *forma*: «...Слушай внимательно, что такое εἶδος, и в том, что это вещь не простая, обвиняй не меня, а Платона... Только что я приводил для сравнения живописца; если он хотел изобразить красками Вергилия, то глядел на самого поэта. Идеей было лицо Вергилия – образец будущего произведения; а то, что извлек из него художник и перенес в свое произведение, есть εἶδος. Ты спросишь, какая между ними разница? Идея – это образец (*exemplar*), а εἶδος – это облик, взятый с него (*forma ab exemplari sumpta*) и перенесенный в произведение. Идее художник подражает, εἶδος создает (*пер. С.А.Ошерова*)»⁵³. Это соотношение *exemplar* – *idéa* и *forma* – εἶδος не всегда строго выдерживается. Так, Цицерон предлагает переводить *idéa* как *forma*⁵⁴. Иногда *forma* и *exemplar* (или *exemplum*) выступают фактически как синонимы. Возможно, так обстоит дело и в нашем случае⁵⁵. Важно однако подчеркнуть, что если *forma* может иметь значение *idéa*, то есть модели, образца в смысле их воспроизведения, то, напротив, *exemplar-exemplum* всегда означает «идея», «модель». В рассматриваемом нами фрагменте *Variae* слова *unici exemplar imperii*, как кажется не могут значить «воспроизведение единой империи»⁵⁶. Мы полагаем, что выражения *forma boni propositi* и *unici exemplar imperii* относится не к *regnum* Теодориха, а к самой империи. Что касается грамматической конструкции, то *forma* и *exemplar* представляют собой приложения к *vestra* (= *vestri*) или, что еще проще, стоят в звательном падеже⁵⁷.

На первый взгляд может показаться, что это не имеет большого значения. Относятся ли два обсуждаемых выражения к королевству Теодориха или к империи, все равно суть не меняется: королевская власть всегда является *imitatio* императорской. Тем не менее, отме-

⁵² См.: Grimal P. *Essai sur l'Art Poétique d'Horace*. Paris, 1968. P.42, 46. См. также ThLL, VI,1, col.1084 (*forma*) и V,2, 1323 (*exemplar*).

⁵³ Sen., Ep. LVIII, 20-21: "Quid sit hoc idos, attendas oportet et Platoni inptes, non mihi, hanc rerum difficultatem... Paulo ante pictoris imagine utebar: ille cum reddere Vergilium coloribus vellet, ipsum intuebatur. Idea erat Vergilii facies, futuri operis exemplar: ex hac quod artifex trahit et operi suo imposuit, idos est. Quid intersit quaeris? Alterum exemplar est, alterum forma ab exemplari sumpta et operi imposita: alteram artifex imitatur, alterum facit".

⁵⁴ Cic., Or.10: "Has rerum formas appellat idéας ille non intelligendi solum sed etiam dicendi gravissimus auctor et magister Plato...".

⁵⁵ Cr.: Ennod., Vita Epiph. 38: "Vive tu tamen, vive, exemplum et forma honorum operum". См. также: Boet., Cons. III, metr. IX (описание творения Бого-творца): "...insita summi / Forma boni livore carens, tu cuncta superno / Ducis ab exemplo".

⁵⁶ В.Энслин так переводит этот фрагмент (Ensslin W. *Theoderich der Grosse*. P.149): "Unsere Herrschaft ist Nachahmung der Euren, die Gestaltung eines guten Vorsatzes, das Abbild des einen Reiches".

⁵⁷ Приведенный выше (сноска № 55) текст Эннодия свидетельствует, что абстрактные существительные вполне могут иметь форму звательного падежа.

тим, что все-таки не совсем одно и то же сказать, что королевство представляет собой копию единой империи, или сказать, что оно является подражанием империи, где император оказывается архетипом единой императорской власти, представляющей собой единственный способ управления, достойный римлян. В одном случае акцент ставится только на копировании империи, которым занимается Теодорих; в другом – добавляется еще и определение самой империи, причем определение чрезвычайно примечательное, основанное исключительно на философских и этических категориях, заведомо исключающих всякое обращение к юридическим аспектам.

Помещая империю в сферу платоновских идей, Кассиодор рассматривает императора и короля в одной и той же системе ценностей. Какое имеет значение разница титулов, если и тот и другой следуют одному и тому же единому образцу. Речь идет вовсе не о признании сюзеренитета императора и провозглашении единства империи в смысле единства территории⁵⁸. Конечно, слово *imitatio* в сочетании с *sequimur* на первый взгляд используется, кажется, для того, чтобы польстить императору. В действительности же, если внимательно рассмотреть значения слов, мы заметим, что Кассиодор, намеренно используя философскую терминологию, практически сводит на нет конституционно-юридический смысл своих утверждений. Бесспорно, для императора лестно считаться моделью и образцом, но перенесенный таким образом из сферы реальной политики в область идей, он, возможно, предпочел бы иметь более существенные подтверждения своей власти.

Вся система аргументации в этом послании выстраивается так, чтобы поместить императора как можно выше, чтобы у него даже и не возникало искушение спуститься на грешную землю, по крайней мере, в Италии. Несколькими строчками выше Кассиодор отмечает, что Теодорих получил в Константинополе достаточную подготовку, чтобы править в Равенне, следуя императорскому образцу: «Вы являетесь самым прекрасным украшением всех королевств, вы оплот спасения всего мира, вами справедливо восхищаются все другие владыки, поскольку они видят в вас что-то уникальное, и особенно мы, ибо изучили, с Божией помощью, в вашей республике способ управлять римлянами в соответствии со справедливостью»⁵⁹.

⁵⁸ Как это полагал Suerbaum W. (Op.cit. P.250).

⁵⁹ Cassiod., Var. I, 1: "Vos enim estis regnorum pulcherrimum decus, vos totius orbis salutare praesidium, quos ceteri dominantes jure suspiciunt, quia in vobis singulare aliquid inesse cognoscunt, nos maxime qui divino auxilio in re publica vestra didicimus quemadmodum Romanis aequabiliter imperare possimus".

В этих словах за императором признается только почетное первенство (*pulcherrimum decus*). Кассиодор не говорит, что император является единственным сувереном, вокруг него вращаются *ceteri dominantes*; император же заключает в себе только «что-то уникальное», возможно, что речь идет как раз о некоем образце. Кассиодор признает единство и единичность власть, но не империи. Есть только один тип цивилизованного правления, и его архетипом является император. Император предстает как источник, вдохновляющий других правителей, которые должны воспроизводить его как образец, созерцающая его персону (*suspiciunt*)⁶⁰. Таким образом, королевская власть представляется не делегированием части императорских полномочий королю, а непосредственным следованием идеалам правления, выработанным империей на протяжении столетий. Так что, если Кассиодор хотел заявить о принадлежности Италии к империи, он мог бы выбрать для этого менее двусмысленную форму. И уж тем более он не говорил бы, продолжая то же письмо, о двух *respublicae*. Здесь позиция Кассиодора резко отличается от позиции, например, Авита, который от имени Сигимунда обращается к императору: *patria nostra vester orbis est*. Кассиодор остается в сфере философии, морали и методов управления, а Авит прямо говорит о географической принадлежности Бургундского королевства к империи.

Подводя некоторые итоги, заметим, что расположенное в начале сборника *Variae* письмо, представляет собой не столько определение внешнеполитических принципов отношений с Византией, сколько декларацию методов и способов управления Италией. Полностью понять смысл письма, можно лишь учитывая его связь с длительной философской и политической традицией, последователем и выразителем которой является Кассиодор. Королевская власть определяется не как функция, должность или сан, а как, в первую очередь, сумма необходимых «добродетелей», которые реализуются благодаря доброй воли короля, или, говоря словами Кассиодора, его *bonum propositum*. Это идеал уже воплощен в персоне императора, и прочим властителям следует лишь ориентироваться на уже имеющийся образец.

Следует специально отметить, что подобная концепция королевской власти, ставящая во главу угла добрую волю суверена, исключает в своем пределе всякую деонтологию власти. У короля больше не

⁶⁰ Глагол *suspiciunt* очень характерен для данного контекста. Форма и *exemplar/exemplum* часто соотносятся с идеей взгляда. См. приведенный выше фрагмент из Сенеки (сноска № 53) "*ipsum intuebatur*". К этому можно добавить ссылку на Исидора Севильского: *Isid., Sent. II, 11: "qui sanctum virum imitatur quasi exemplar aliquod intuetur, seseque in illo, quasi in speculo perspicit, ut adiciat quod deesse virtutis agnoscit"*.

существует обязанностей, как нет обязанностей у Бога. Король не может потерпеть неудачу, его нельзя принудить сделать что-либо, так как он всегда действует по велению своего сердца. Понимая это, необходимо изучать *Variae* комплексно, как единое целое. Все предыдущие попытки были направлены на разделение формы, рассматриваемой как наследие делопроизводственной традиции императорской канцелярии Западной римской империи, и содержания, то есть исторических реалий Остготской Италии. Этот подход не учитывает основной смысл *Variae*, не каждого отдельно взятого документа, но всего произведения в целом, как его задумал автор, с тщательно продуманной композицией, отбором материала и т.д. Одно, два или три документа могли создаваться для того, чтобы воспроизвести официальный стиль императорской эпохи, но когда такое воспроизведение мы наблюдаем на протяжении сотен страниц, ясно, что это сознательный авторский выбор, определенным образом выстроенная система⁶¹.

Можно предложить следующие интерпретации. Или Кассиодор сознательно решил изображать Теодориха как императора, или же, желая представить Теодориха идеальным сувереном, он был вынужден создавать его по императорской модели, так как она представляла тогда собой единственно возможный и допустимый идеал правителя. Иначе говоря, Кассиодор не копировал напрямую императора. Обнаруживающееся сходство является результатом использования одной и той же модели, одного и того же, сложившегося за века существования греко-римской цивилизации, архетипа. Доказательством этому служит определенный схематизм и отсутствие индивидуальных черт в портрете Теодориха в *Variae*. Король обладает всеми добродетелями, которые соответствуют его положению государя римлян. Оппозиция *Romani* и *gentes* или *barbari* заключается в оппозиции двух способов правления, и Теодорих должен соответствовать образу идеального правителя, который зависит от того, кем он правит. Теодорих есть то, что он есть не потому, что он является представителем императора, а потому, что он управляет римлянами. Кассиодор обращается к далекому прошлому, к эпохе принципата – монархии, соответствующей римским традициям и римскому духу. Легитимность Теодориха проистекает не из императорского назначения, а из следования типу правления, соответствующему национальному самосознанию римлян. Хронологически находясь уже за империей, с точки зрения политической философии мы оказываемся на стадии, предшествующей оформлению политической теории эпохи домината. Модель, которой следует Кассиодор, это модель Траяна.

⁶¹ Ср.: Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V – середина VII веков). М., 1989. С.102-103.

В исторической науке не приветствуются аргументы a silentio. Мы не рискуем утверждать, что для Кассиодора империя уже не существует как территориальное единство, объединяющее духовное начало. Скорее всего, что это не так. Однако отметим, что ни один текст не доказывает это положение с безусловной однозначностью, как мы это уже видели на примере письма Анастасию. Тем не менее, уловить глухую неприязнь к Византии в *Variae* порой можно. В некоторых документах, не предназначенных для передачи в Константинополь, империя часто называется *Oriens* или *Graecia*⁶². Употребление этих географических наименований снижает значение Константинополя как метрополии. Некоторые политические круги в Остготской Италии испытывали, как кажется, недоверие к Константинополю. Поручая патрикию Агалиту отправиться с посольством в Византию, Теодорих радуется, что нашел человека, способного давать отпор тем, кого он называет *subtilissimi, artifices*, всезнайками⁶³. Артемидор, сделавший блестящую карьеру при Теодорихе, имел все основания быть довольным тем, что родившись в Византии, он покинул ее ради службы королю готов⁶⁴. Таким образом, Италию и Византию можно рассматривать как связанные друг с другом, но фактически независимые государства, объединенные, тем не менее, общими представлениями об идеальной высшей власти.

⁶² Cassiod., *Var.* II,6 (*Oriens*); VIII,9 (*Graecia*). Возможно, что *Graecia* в этом значении становится уже общеупотребительным, см.: Ennod., *Pan.*, Avit, Ep.46.

⁶³ Cassiod., *Var.* II,6: "Necesse est prudentissimum eligere qui possit contra subtilissimos disputare et in conventu doctorum sic agere, ne susceptam causam tot erudita possint ingenia superare. Magna ars est contra artifices loqui et apud illos aliquid agere qui se putant omnia praevidere".

⁶⁴ Cassiod., *Var.* I,43: "Hic est enim vir qui genitales soli relicta dulcedine nobis maluit inhaerere". Желание соперничать с Востоком и отделиться от него проанализировано в книге П.Ламмы (P.Lamma. *Teoderico*. P.92). Кроме цитируемого выше отрывка, он приводит еще *Var.* I,31, где Теодорих советует римскому народу не подражать *mores peregrini*, превращая устраиваемые в Риме игры в повод для беспорядков. В послании *Var.* I,45 адресованном Боэцию, где ему поручается заказать часы, предназначенные Гундобаду, философа хвалят за то, что он ввел в Риме греческую науку. Обратим внимание, в частности, на эту фразу: "sic palliatorum choris miscuisti togam, ut Graecorum dogmata doctrinam feceris esse Romanam". Удивительное сходство с фразой из *Var.* IX,25: "Originem gothicam historiam fecit esse Romanam". Сопоставление показывает, что по мнению Кассиодора Запад должен быть возрожден соединением силы готов и традиционной культуры. P.Lamma (*Op.cit.* P.162) сопоставляет текст *Var.* I,45 со сходным текстом Прокопия, убедительно демонстрирует, как противостояли друг другу два менталитета – западный и восточный.

П.Ю.Уваров

Университеты Российской империи глазами медиевиста (в защиту «идола истоков»)

У специалистов, занимающихся историей Российских университетов, есть обыкновение повторять одну формулу: «существовало серьезное противоречие между европейским по сути своей явлением, университетом, и российской феодальной действительностью». Это утверждение стало настолько привычным, что уже никого не удивляет, благо противоречий и коллизий в истории Российских университетов, действительно, хватало. Однако если о дефинициях российского общества XVIII–XIX вв. можно полемизировать, то средневековая, то есть в какой – то степени «феодальная» генеалогия университета неоспорима. Получается, что феодальное окружение вступало в противоречие институтом «феодального» происхождения. Очевидно, что авторы имеют в виду нечто иное понимая университеты в Европе как рассадники просвещения, как сугубо передовые институты капиталистического Запада, как нечто рядоположенное парламентаризму, правам человека, буржуазным свободам (хотя и первое и второе и даже третье также имеет средневековое происхождение).

Но насколько важно знать происхождение явления для определения его сущности? Часто вспоминают слова Марка Блока, предупреждавшего против увлечения «идолом истоков» – не так уж важно из каких источников возник феодализм, важнее определить его существенные черты. С этим трудно спорить как вообще, так и применительно к университетской истории в частности. И историки не только российских, но и западных университетов предпочитают не заниматься поисками неких извечных университетских традиций и ценностей, оценивая такой подход как дань устаревшему «университетскому романтизму»¹. Профессиональное сообщество специалистов по университетской истории давно и весьма успешно развивает тему «университеты и общество»², а это предполагает каждый раз погруже-

¹ См. Verger J. Les universités au Moyen Age. Paris., 1974. P.167.

² Stelling-Michad S. L'histoire des universités au Moyen Age et à la Renaissance au cours des vingt-cinq dernières années// XI Congrès international des Sciences historiques, Stockholm, 1960; Rapports, t.1; Le Goff J. Les Universités et les pouvoirs publics au Moyen Age et à la Renaissance// XII Congrès international des Sciences

ние в исторический контекст данной эпохи. Важно доказать, что университет или университеты хорошо интегрированы в *данное* общество *данного* периода, выполняя совершенно определенные функции, обладая отлаженной системой социальных связей. Такой подход оправдан и плодотворен, но акцент делается на уникальности университетской ситуации в каждом конкретном обществе.

И все же существовали некие константы университетской истории, для понимания которых все-таки нужно обратиться к ее истокам (к таким константам может быть отнесена, например постоянная склонность университетов оказываться в оппозиции к властям). Поэтому диалог между специалистами по разным периодам университетской истории может принести некоторую пользу. Что же может дать опыт медиевиста для истории российских университетов XVIII или XIX вв.?

Общеизвестно, что несмотря на желание основать университет в Москве, высказанное еще Лжедмитрием I в 1605 г.³, университеты в России возникли лишь в XVIII в. (если не считать новоприосоединенных территорий Литвы и Эстляндии). Общеизвестны также и споры о первородстве между патриотами Московского и Санкт-Петербургского университетов. Долгое время старейшим считался Московский Университет, но в последние годы петербуржцы путем кропотливых изысканий нашли доказательства того, что их университет существовал при Академии Наук, основанной еще в 1724 г. На что их московские коллеги возражают, что доказательства существования университета должны быть очевидны для современников, а не разыскиваться при помощи лупы. Но и те и другие сходятся во мнении, что университетская идея упала в России на крайне неблагоприятную почву и потому университеты испытывали огромные трудности. Даже об относительно многолюдном Московском университете, чья деятельность не прерывалась с момента его основания в 1755 г., его историк Ф.А.Петров считает, что начальной датой складывания системы университетского образования можно считать лишь утверждение Александром I первого общеуниверситетского устава⁴.

Университетская реформа Александра в 1804 г. создала для университетов более благоприятные условия, предоставив им широкую автономию на западноевропейский манер. Возникли университеты в Харькове,

Historiques, Vienne, 1965. Rapports III, Commissions. В еще большей степени такое стремление характерно для историографии российских университетов.

³ Margeret J. L'Etat de l'Empire de Russie et Grande Duché de Moscovie. Paris, 1607 P.58.

⁴ Петров А.Ф. Зарождение системы университетского образования в России// Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия/отред. В.В.Пономораевой и Л.Б.Хорошиловой. М., 1997 С.101.

Казани, получили статус императорских университетов старые образовательные центры в Дерпте и Вильно, чуть позже на базе Педагогического института был образован Петербургский университет (в 1819 г.). Но даже те исследователи, которые весьма положительно относятся к Александровской реформе, вынуждены признать, что декларации Уставов никак не согласовывались с общей культурной и политической ситуацией в России. Университетская автономия «повисла в воздухе».

Эпоха Николая I была менее благоприятной для университетов. При нем был открыт лишь один – Киевский университет, взамен Виленского, закрытого после польского восстания 1830 г. Курс на полное огосударствление российских университетов был закреплен в новом университетском уставе 1835 г. и достиг своего апогея после событий 1848 г. в Европе. В период «мрачного семилетия» 1848–1854 гг. значительно сократилась, без того смехотворно малая численность студентов (с 4 тыс. в 1847 г. до 3 тыс. в 1853 г.). Университеты подвергались мелочной полицейской опеке и гонениям; поговаривали даже о полном их закрытии или о переподчинении военному ведомству⁵. Но эту подозрительность по отношению к университетам саму по себе можно считать косвенным свидетельством роста их влияния на общественную жизнь.

События не заставили себя ждать. На рубеже 1850-60 гг. общественное мнение широко обсуждало необходимость университетской реформы и Россия впервые столкнулась с невиданным ранее феноменом студенческого движения («Университетские восстания» в Санкт-Петербурге и Москве, беспорядки в Казани, Киеве, Харькове).

Проведенная в контексте других «Великих реформ» Александра II, университетская реформа 1863 г. поучила одобрение большинства европейских экспертов. Новый устав предусматривал широкую автономию и создавал для них благоприятные условия. Число студентов многократно увеличилось, были открыты новые университеты (в Одессе и Варшаве⁶).

Университетские свободы были урезаны Александром III в период так называемых «Контрреформ» (хотя термин этот в последние годы все чаще оспаривается) с введением нового устава в 1884 г. При этом императоре был открыт только один университет в Томске (1888 г.), на его открытии, подготовленном еще в предыдущее царство, настояла общественность. Сложившаяся система российских университетов обладала рядом недостатков (недаром тысячи студентов предпочита-

⁵ Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985 С.31-49.

⁶ Видно, насколько изменилось отношение власти к университету: если Николай I после восстания 1830 г. закрыл университета в Вильно, то его сын после восстания 1864 г. открывает университет в Варшаве (1868 г.).

ли учиться в университетах Германии, Швейцарии и Франции), однако ее устойчивое существование и способность к самовоспроизводству уже ни у кого не вызывала сомнений.

Автономия университетов была расширена во время революции 1905 г. Вскоре новый университет был открыт в Саратове (1809 г.). При министре просвещения Льве Кассо (1910–1914 гг.) университеты были возвращены к уставу 1884 г., было уволено множество прогрессивных преподавателей, что вызвало массовые протесты и студенческие волнения. Лишь во время войны были основаны новые университеты в: Ростове (1915 г.) и в Перми (1916 г.) – во многом как следствие эвакуации университетов из Западных областей.

Вернемся к начальному этапу появления университета в России. Если задачей «просвещенного абсолютизма» было формирование системы университетского образования, то следует признать, что немалые средства были потрачены весьма неэффективно.

Историки отмечают в качестве причин этого относительного успеха отсутствие необходимой социальной и культурной почвы для их функционирования в XVIII в. и охлаждение Екатерины II к университетам в конце ее царствования под влиянием Французской революции. Оба эти замечания справедливы, но не достаточны.

Во-первых, было немало инноваций, которые хорошо прижились в России XVIII в.: «с нуля» сложилась неплохая система военного образования, успешно работали высокотехнологичные отрасли производства, архитектура и иные искусства ни в чем не уступали Европе, формировалась утонченная дворянская культура. У правительства имелись и средства и квалифицированные консультанты, чтобы успешно решать поставленные задачи. Университетские руководители ориентировались на лучшие западноевропейские образцы: Геттинген, Галле, Лейден, Глазго, Эдинбург, Упсала. Консультантами Екатерины по вопросам просвещения России были Дидро, Гримм, Гольбах и прочие энциклопедисты.

Во-вторых, хотя Екатерина II, как и ее преемники без энтузиазма относилась к французским революционерам, она действовала в одном с ними направлении, хотя и не столь последовательно. Революция уничтожила все университетские корпорации во Франции.

На мой взгляд, причины относительной неудачи насаждения университетов помимо прочего следует искать в недопонимании природы университетского феномена. Любопытно, что на торжественной речи в Московском университете в 1768 г. молодой русский профессор Иван Третьяков, обратившись к вопросу о зарождении университетов в Средневековой Европе, оценил его как вреднейшее мероприятие, выгодное лишь духовенству и только позднейшее вмешательство монар-

хов, обернула это учреждение ко всеобщей пользе⁷. Подлинная академическая свобода расценивалась деятелями XVIII в. как завоевание Реформации и, особенно – Просвещения. Но и сегодня в этом уверены многие как в России, так и на Западе⁸.

Любой историк-медиевист только удивится такому недоразумению. Однако речь идет о чем-то большем, чем недоразумение или фактическая ошибка.

Феномен университета нуждается в самостоятельном осмыслении. Что же было самым существенным в университетах с самого момента их возникновения в период Высокого Средневековья? Ясно, что в их задачу никак не входило развитие науки в смысле накопления позитивных научных знаний. Но и в качестве центра образования формально они были далеко не самыми эффективными учреждениями. Рядом с университетами и в Средние века и в Новое время существовали более доступные и более передовые научные и педагогические структуры – школы монашеских орденов, гуманистические академии, городские школы, иезуитские коллегии, протестантские академии, королевские ученые общества и др. Но только университеты имели право *присуждать степени*, причем имея статус “*Studium generale*”, в силу привилегий, выданных универсальной властью, университеты могли присуждать “*licentia ubique docendi*” – свидетельство, признаваемое повсюду в Христианском мире. Ни одно другое, пусть даже самое передовое учебное заведение не обладало таким правом. И это прекрасно осознавали современники. «Одни школы являются законными (*authentica*), другие же незаконными (*lenipota*). Та школа является законной, чьи занятия были похвальным образом утверждены апостольскими привилегиями и императорскими свободами; среди них, например, школы Парижская, Болонская, Падуанская и Оксфордская. Школа меньшего достоинства – незаконная, не имеющая привилегий глав мира... И большие различия в них происходят от того, что в законных школах готовятся воины [научных баталий] и господа наук увенчиваются, чтобы радоваться как одеждам, так и особым свободам; они пользуются также особым уважением как светских, так и духовных глав не менее, чем [уважением] народа, и такие магистры и господа наук титулуются похвальным образом. В незаконных школах сколько бы магистры ни кормились своей деятельностью, она не свя-

⁷ Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в., т.1. с.351.

⁸ Thomas Oppermann, “Freiheit von Forschung und Lehre”, in *Handbuch des Staats Rechts der Bundesrepublik Deutschland* 6, ed. J.Isensee and Paul Kirchhof (Heidelberg: C.F.Muller, 1989) section 145 Rn. 2.

зана с привилегированным титулом...»⁹. В этом анонимном трактате XIV в. «О похвале клиру» как о само собой разумеющихся говорится об основных отличительных чертах университета: наличие особых свобод и привилегий, способность присуждать академические степени («титулы»), признаваемые во всем Христианском мире, притязания на равенство обладателей таких степеней благородным воинам.

Полноценность университета и выдаваемых им степеней гарантировалась академической свободой корпорации. Как бы далеко ни заходил контроль со стороны властей, они не могли, да и не хотели, отменить принципов выборности университетских должностей, свободы дискуссий и не должны были вмешиваться в процесс присуждения степеней. Таков был «дар Христианского Средневековья Новой Европе»¹⁰.

И в средние века, и сейчас, по мнению социологов и, в частности — Пьера Бурдьё, степень обладает свойством социальной магии, то есть способностью придавать человеку новое, относительно высокое социальное качество, наделяя его социально признанным символическим капиталом¹¹. Особый «культурный код» университета его этика, самооценка и амбиции отводили ему высокое место в обществе, побуждая ставить знак равенства между рыцарским и докторским званием.

В XVIII в. лучшие университеты Европы могли играть роль центров науки уже в современном ее понимании, быть подлинными очагами Просвещения. Но это была лишь верхушка айсберга: большинство прочих европейских университетов были весьма посредственны в научном и педагогическом отношении, что не сильно снижало их привлекательности, поскольку от университета ожидали прежде всего получения степени.

М.В.Ломоносов, обладающий богатым университетским опытом, помноженным на выдающиеся аналитические способности ума, продемонстрировал понимание сущности этого института. В середине 1750-х гг. он выделил главные условия для полноценной жизни университета в России:

- по возможности полное самоуправление, подкрепленное надежными привилегиями;
- право корпорации присуждать ученые степени;

⁹ De commendatione clerici // Thorndike L., ed. University records and life in the Middle Ages. — N.Y., Columbia University, 1944. Цит. по «Антология педагогической мысли христианского Средневековья». Том 2, М., 1994 С.216.

¹⁰ Hoye W.J. The religious roots of Academic freedom // "Theological Studies", Sep. 97, Vol. 58 Issue 3, P.409.

¹¹ Bourdieu P. Homo Academicus, Paris, 1974, Eodem, La noblesse d'Etat. Paris, 1989.

– включение обладателей университетских степеней в систему Табели о рангах, признание равенства университетского статуса и степени дворянскому состоянию¹².

Но ничего этого не было реализовано в XVIII в.¹³, равно как и не была реализована идея о всеословности университета. Почему же «просвещенный абсолютизм» не внял этим простым требованиям? Как ни странно, именно идеология Просвещения мешала осознать природу университетского феномена. Знание ценилось этим веком необычайно высоко. Но только знание полезное, впрямую поставленное на службу государству, общественному благу. Не случайно властителем дум интеллектуалов и администраторов в XVIII в. повсюду, в том числе и в России, был Джон Локк с его утилитарной концепцией образования. Екатерина Дашкова, от которой во многом зависели судьбы науки и образования в екатерининскую эпоху, была горячей поклонницей Локка и утилитаристской Эдинбургской школы¹⁴. Неудивительно, что идея привилегированной независимой корпорации, самостоятельно распоряжающейся «символическим капиталом», не вызывала симпатий ни у императриц, ни у их просвещенных консультантов.

О том, как утилитарный подход со стороны государства тормозил формирование университетской среды в России, свидетельствуют примеры из истории Московского университета. Студентов здесь было относительно много, на них тратились немалые средства. Но из его 300 выпускников к 1770 г. лишь единицы прослушали все положенные курсы. Остальные либо сами покидали учение, либо забирались на государственную службу правительственными указами¹⁵.

К этому надо добавить и низкую привлекательность университетского образования для дворян¹⁶, отсутствие традиций и возможностей

¹² Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений т.9. М.-Л., 1955 с.538-539 см. также Иванов А.Е. Ученые степени в Российской империи XVIII в. – 1917 г. М., 1994.

¹³ Преобразования, схожие с предложениями М.В.Ломоносова выдвигал проект университетского устава 1787 г. таюке оставшийся не реализованным. См. Петров Ф.А. Зарождение системы университетского образования в России// Университет для России... С.95-97.

¹⁴ См. Кулакова И.П. Спор о первородстве: 275-лет Санкт-Петербургскому университету?// ВИЕТ., 1991 №3.С.85.

¹⁵ «... Хотя из оного более трехсот студентов в штатскую и военную службу вышли, токмо то были почти все не окончившие надлежащим образом ни одного факультета, и все были взяты указами...» – писал вице –директор Московского университета Тейльс в 1770 г. Цит. По: Арндреева А.Ю. Профессора// « Университет для России... С.196.

¹⁶ Чтобы привлечь дворянских детей российскому университету пришлось совмещать в себе два диаметрально противоположных типа образования. Университетский средневековый принцип предполагал всеословность. По-

его получения для прочих сословий. Студентов приходилось буквально палкой загонять в университет. Трудности создавал также и лингвистический разрыв между иностранными (в основном немецкими) преподавателями и местной аудиторией.

И все же университетская идея приживалась, несмотря на величайшие трудности. Причины этого – в жизненной силе университетского феномена. Университетской культуре, сложившейся в средние века, была присуща внутренняя логика, способная проявляться в относительной независимости от внешних условий и от господствующей идеологии. Иными словами, если хотя бы основные элементы университетской системы были намечены, далее вступала в действие «сила вещей», диктовавшая университетской публике определенные поступки и решения.

Это вполне спонтанное проявление черт университетской культуры в России особенно поучительно. Русский университет в XVIII в. не обладал ни малейшей автономией. Но стихийно возникает эмбрион университетской корпорации – конференция профессоров, которая могла действовать вопреки воли всесильных чиновников: директоров и кураторов, призванных руководить университетом. Впрочем, и профессора и директора были едины в попытках сохранить студентов, постоянно отвлекаемых для нужд государства, в попытках дать им возможность прослушать полные курсы и продолжить образование. Власти не предусматривали за российским университетом право присваивать ученые степени, но университетская среда спонтанно и самостоятельно предпринимала такие попытки (такая инициативность была редким явлением в России). Кто-то действовал так в силу привычек, обретенных во время собственного университетского заграничного опыта, кто-то повиновался навыкам, обретенным за время многолетнего пребывания в Московском университете, подчиняясь логике университетской культуры.

ступление в университет, а затем и получение степени «стирало» предыдущую социальную информацию (кто теперь помнит, что Фома Аквинский происходит из графской семьи, Жан Жерсон – из крестьянской, а Эразм Роттердамский – незаконнорожденный сын священника?). Но на рубеже XVI–XVII вв. на Западе возникают сословные учебные заведения, например – «Академия верховой езды» Плювенеля, в которой учился будущий кардинал Ришелье, готовивший себя к военной карьере. Это образование (дворянские Академии, шляхетские корпуса, институты благородных девиц) ориентировалось на то, чтобы воспитать «истинного» дворянина, во всем отличного от простонародья. В России поначалу этот тип образования был намного привлекательнее университетского. В какой-то мере университетская дворянская гимназия, отделенная от гимназии разночинной призвана была соответствовать более привычному для дворянству типу учебного заведения.

Тому, что именно на университетской почве расцвело московское масонство, было немало сугубо-местных причин. Но следует помнить, что университетская среда всегда и везде оказывается склонной к восприятию различного рода гетеродоксальных учений, что выражало помимо прочего еще и потребность магистров и студентов ощущать себя избранным меньшинством, посвященными адептами, противостоящими окружающей массе, но также и несущими свет истинного учения.

Еще со времен средневековья университетская культура отличалась глубокой противоречивостью¹⁷. Возможно, эти противоречия и обеспечили ее исключительную устойчивость и способность к адаптации. Стремление к свободе, борьба за автономию, желание подчеркнуть свою собственную исключительность, уживалось с неизменной экстравертностью, стремлением нести знания вовне, популяризировать высокую науку, переводить тайны знания на доступный язык. Московский университет, едва сложившись и еще корпоративно не оформившись стал активно выполнять эту миссию.

Точно также университетской культуре еще в XIII в. было свойственно сочетание уверенности в особом статусе знания, в особом характере своего благородства, подкрепленном системой степеней, с претензиями на благородство вполне традиционное, на дворянство. В России XVIII в. образование еще не давало никакого определенного ранга, не было аноблирующим фактором. Но уже студенты Петербургской Академии просили выдать им не только денежное довольствие, но и шпаги. А в Москве выпускникам университетской гимназии, по большей части принадлежавшим к неблагородным сословиям, уже с 1757 г вручалась шпага – символ дворянства. Университет стирает сословные различия, знание облагораживает – таков древнейший постулат университетской культуры, расходившейся с нормам Российской империи.

В российском университете XVIII в. проявлялись и иные характерные черты университетской культуры, ее движущие противоречия. Например, сочетание административной и территориальной обособленности от окружающей среды с многоканальной живой связью университета и города, тягой к публичности, к популяризации науки. Наличие собственных ценностей и уверенность в облагораживающей роли знаний уживалось со стремлением инкорпорироваться в иерархию Табели о Рангах. Российский университет, как и везде в Европе оказывался неразрывно связан с книжным делом. Роль Московской «университетской типографии» времен Н.Новикова в развитии русской культуры трудно переоценить. Но характерно, что вполне стихийно университет-

¹⁷ См. Уваров П.Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневековой Европе (спекурс) М., 2000.

ские деятели начинают претендовать на выполнение цензорских функций. Это – черта западных университетов, проистекавшая от их высокой самооценки и от их притязаний на универсальность своего знания.

Мало-помалу в университете складывалась особая среда, демонстрирующая явные отличия от окружавшего ее мира. Так, в официозной газете «Московские ведомости» не было места ничему приватному. Единственное исключение являли собой публикуемые известия из частной жизни профессоров университета. Не удивительно, что именно университетская культура могла поставить человека в ситуацию, невыносимую с точки зрения «духа законов» Российской империи. Так, привлеченный в 1794 г. по делу о масонской ложе медик Невзоров, заявил на следствии: «я принадлежу Университету и по его уставу должен отвечать не иначе, как при депутате университетском». Самое удивительное, что он сумел тем самым избежать строгих репрессий.

Через полвека своего существования Московский университет уже обладал культурной средой, из которой вышли люди, инициировавшие университетскую реформу. В 1802 г. М.Н.Муравьев, питомец Московского университета, составляет «Критическое начертание нужд Московского университета», ставшее основой для университетской реформы Александра I. Муравьев в качестве товарища министра просвещения и попечителя Московского учебного округа получил возможность претворить свои идеи в жизнь.

В новом уставе последовательно утверждался принцип университетской автономии и выборности должностей. Выборными были все университетские должности, включая ректора. На университетский совет возлагались все важнейшие функции присвоения степеней, управления университетом, и его обширным учебным округом, где данный университет должен был руководить просвещением и осуществлять цензорские функции. Руководил учебным округом его попечитель, назначаемый царем, но у ректора было право при необходимости мог действовать через голову попечителя.

По мнению Муравьева и других авторов университетской реформы «стремления профессоров не должны ограничиваться кругом университета, но простираются на все государство»¹⁸. Университетские деятели принимают живое участие в деятельности многих научных обществ – «Общество испытателей природы», «Вольное экономическое общество», «Общество древностей российских».

Университетская реформа в России оказалась удивительным образом созвучна немецкому романтическому «ренессансу» университетской идеи, полнее всего представленной титанической фигурой

¹⁸ Петров А.Ф. Немцы профессора в Московском университете. М., 1996. С.46.

Вильгельма фон Гумбольдта. Речь идет, однако не столько о прямом заимствовании его идей, хотя с идеями Гумбольдта в России были знакомы, сколько о заимствовании общего комплекса идей этого периода, почерпнутых главным образом из Геттингена. Муравьев, воспитанник московского университета, был при этом прекрасно интегрирован в европейское университетское пространство, он был почетным членом Лейпцигского университета, близким другом Кристофера Мейнера из Геттингена, знаменитого историка и теоретика университетского образования¹⁹. Впрочем, наряду с Муравьевым с Геттингеном было связано еще немало деятелей Московского университета, которым довелось претворять в жизнь университетскую реформу. В Москве она отнюдь не была лишь стремлением к поверхностному копированию норм университетской жизни, но – органичным продуктом университетской культуры, пустившей на российской почве уже солидные корни. Характерными представителями этого поколения были первые три ректора – Х.Чеботарев, Н.Страхов, Ф.Баузе, чьи биографии были неразрывно связаны с Московским университетом.

Для медиевиста очевидно соответствие идей «университетского романтизма»²⁰, высказываемых как в Германии, так и в России, представлениям средневековых теоретиков университета, например – Жана Жерсона. В значительной степени университетская реформа начала XIX в. была реакцией на утилитаризм предшествующего периода. Слова Гумбольдта о том, что государство... вообще ничего не должно требовать от университетов непосредственно для себя, а должно проникнуться тем внутренним убеждением, что достигая своих конечных целей, университеты тем самым отвечают и его конечным целям, и отвечают с высшей точки зрения, откуда открывается гораздо более широкий горизонт, причем в их распоряжении находятся такие рычаги и силы, какими не располагает само государство»²¹ была явным диссонансом с государственными традициями России. Но и Александровская реформа делала ставку на развитие независимых личностей.

Историки отмечают обычно, что российские университеты, максимально приблизившись в своих уставах к университетам европейским, повисли в воздухе, не соответствуя ни местным социально-

¹⁹ Большой известностью пользовалось исследование Мейнера по сравнительной истории университетов: Meyners K. Die Geschichte der Entstellung der hohen Schulen unseres Erdtheils. Göttingen, 4 Bde, 1802–1804.

²⁰ Об университетском романтизме см. Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии/ пер. с нем. Под ред. Н.В.Сперанского. М., 1908 С.187-198; Захаров И.В.; Ляхович Е.С. Миссия университета в европейской культуре. М., 1994.

²¹ Цит по: Паульсен Ф. Указ соч. С.205-206.

политическим условиям, ни общим целям властей. Это привело к неизбежному краху университетской реформы и пересмотру университетских уставов. Действительно, уставы чаще всего не соблюдались и ни возможностей, ни желаний противостоять попечителю у ректора и университетского совета обычно не было. Университет Казани, и только что созданный университет Санкт-Петербурга подверглись разгрому еще при жизни Александра I их попечителями М.Магницким и Д.Руничем, причем последний видел «корень зла в копировании уставами неприемлемых готических форм»²². Многое, впрочем, зависело от традиций. Критика казанского университета Магницким была во многом оправданной – высокая роль университета, предполагаемая уставом, плохо соотносилась с убогой университетской действительностью. Но характерно, что первым попечителем был С.Я.Румовский, человек образованный, но чуждый университетских традиций, руководивший Казанским университетом именно как гимназией. В то же время Харьковский университет был гораздо более жизнестойким, ведь им руководил В.Н.Каразин, воспитанный в традициях Московского университета²³.

Неслучайно, поэтому, именно Московский университет сумел лучше прочих воспользоваться плодами Александровской реформы, она была рассчитана на существование устойчивой университетской среды и традиций университетской культуры. Поэтому Московский университет оказался устойчивым к гонениям николаевской эпохи, породив плеяду оригинальных мыслителей, выступивших в 30-е годы XIX в. в традиционной для университетской культуры роли выразителей *национальной идентичности*. Мало кто задумывался над тем, что полемика западников и славянофилов, зародившаяся в среде московского университета вполне соответствовала одному из движущих противоречий университетской культуры. Университеты, были призваны обеспечивать интеграцию своего региона в европейскую культурную систему и цементировали единство Христианского мира. Но наряду со своей «космополитической» ролью они неизбежно становились лабораторией, где вырабатывался «национальная идея». Примеров может быть названо множество – гусизм в Пражском Университете, виклефизм в Оксфорде, галликанизм в Сорбонне, антиримский пафос университетов Виттенберга и Тюбингена времен Лютера и Меланхтона, или романтический национализм германских университетов рубежа XVIII–XIX вв.

²² См. Жуковская Т.Н. Российские университеты при Александре I и традиции европейского образования.

²³ Кулакова И.П. Спор о первородстве... С.62.

У Николая I, видимо, были основания интуитивно не доверять Московскому университету. Он называл его «Волчьим гнездом», а проезжая мимо зданий Московского университета хмурил брови и весь день был в плохом настроении²⁴. Не столько идеи, сколько дух, университет был несовместим с казарменным идеалом императора.

При Николае I университетское образование старались лишить его общего характера. Студентам специализирующимся на одном факультете, категорически запрещалось посещать лекции, читающиеся на других факультетах, из курсов изымали «общие» науки, оставляя лишь сугубо практические, содержание учебных курсов строго контролировалось властями²⁵.

И все же устав 1835 г. был в какой-то степени признанием важности университетов, попыткой их включения в общую систему имперских учреждений и причем место им отводилось довольно высокое. Раз так много усилий затрачивалось на их контроль, значит они считались важным элементом государственной машины²⁶.

Необходимость новой университетской реформы становилась все более очевидной после Крымской войны. Любопытен диагноз, поставленный российским университетам князем Щербатовым, работавшим над проектом их нового устава: «вопиющие недостатки университетского образования и науки в России объясняются предубеждением правительства против высшего теоретического образования и стремлением дать университетскому преподаванию утилитарный и практический характер»²⁷.

Борьба против утилитаризма со всей неизбежностью оказалась связана с борьбой за университетскую корпоративность и автономию. Характерна судьба идеи «открытого университета», аналогичного Коллеж де Франс. Ее высказывали как деятели левых взглядов (например, Н.И.Костомаров, А.В.Никитенко), так и чиновники-охранители, например барон Корф. С его точки зрения, «открытый университет» может преодолеть опасный корпоративный дух молодежи: «плохо, что университетские слушатели составляют как бы род самобытного гражданского состояния, отделенного от всех прочих»²⁸. К проекту высказывал неподдельный интерес граф Шувалов, управляющий III отделением, предло-

²⁴ Буслаев Ф.И. Мои воспоминания М., 1897 С.111.

²⁵ См. Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985.

²⁶ Государство виделось Николаю I не только как казарма, но и как отлаженный механизм – ведь он получил прекрасное военно-инженерное образование.

²⁷ Цит. по Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы. Шестидесятые годы XIX в. М., 1993 С.31.

²⁸ Там же С.35-36.

живший отменить вступительные экзамены в университет. Но и студенты и профессора решительно выступили против этих намерений.

Борьба за автономию, за «отгороженность» от общества и «свободу науки» парадоксальным образом предусматривала высокую роль университетов именно как рупоров общественного мнения. Университеты оказывались в центре общего движения за реформы. Назначенный в 1861 г. министром просвещения адмирал Путятин заявлял с военной прямоотой – «с некоторого времени студенты под влиянием профессоров стали смотреть на университеты не как на учебные заведения для высшего образования, но как на учреждения, в коих должны вырабатываться идеи о лучшем управлении государством, а на самих себя, как на деятелей, призванных играть роль в политическом существовании России»²⁹.

Харьковский университет слыл «спокойным» на фоне прочих. Но и там попечитель учебного округа Д.Левшин обеспокоено доносил царю: «некоторые профессора под видом охранения прав университета заходят так далеко, что позволяют себе вмешиваться в дела, не подлежащие их обсуждению». Генерал-майор И.В.Анненков, обследовавший Харьковский университет, делает вывод об: «ошибочном понимании студентами идеи о высоком призвании университетов... Они полагают, что каждый из них, со студенческим мундиров, который надевает на себя, становится во главе прогресса и просвещения всего края и приобретает право на решение всех современных вопросов»³⁰.

И вновь, историку, знакомому со средневековыми университетами, не трудно будет опознать в этих инвективах древний код университетской культуры. Наличие особых интеллектуальных достоинств (*«vertus escrits»* – по словам автора «Романа о Розе», французской поэмы XIII в.) не только ставило обладателей степеней вровень с рыцарями, если не выше их, но и позволяло вмешиваться в дела государственного и церковного управления. Во второй половине XIV в. – в начале XV века сложились основные элементы системы аргументации, подкрепляющей эти претензии. Так, университетская корпорация обладает наивысшей компетенцией, поскольку представители ее факультетов являются хранителями законов – божественных, человеческих и природных. Корпорация лучше других осведомлена о состоянии дел в королевстве и во всем Христианском мире. Ведь со всех краев в нее прибывают учащиеся, прекрасно знающие страдания своих родных и близких, которые сами лишены возможности поведать о них Государю. Поэтому Университет представляет все королевство. К тому же уни-

²⁹ Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох... С.266.

³⁰ Там же.

верситетская корпорация абсолютно беспристрастна, поскольку не гонится за земными благами и властью, ее не интересует ничего, кроме обучения и учения. На этом основании она может указывать на недостатки в управлении и давать советы по их устранению. Часто вспоминал об идеальном государстве Платона, где философы должны править, или правители – философствовать.

Власти, не склонные внимать рецептам университетских советчиков, рисковали навлечь на себя немало обвинений. Одним из самых страшных было обвинение в тирании, ведь, одним из признаков тирана, сформулированных юристом XIV в. Бартоло Сассоферато, является ненависть тирана к образованным людям, ученым, которые могут разоблачить тирана и просветить народ. Надо отметить, что именно университетские мыслители сформулировали учение о законности убийства тирана, преступившего божественные и человеческие законы. Тираноборческая доктрина, доставившая немало проблем властям и стоившая жизни многим правителям, во многом определила характер новоевропейской цивилизации.

Как бы то ни было амбиции университетов были чреваты их политизацией. В последние века Средневековья достаточно часто высказывались критические замечания против политических претензий интеллектуалов, но, характерно, что исходили они, как правило, также их университетской среды³¹. Постепенно к началу XVII в. европейское общество начинает осознавать взрывную силу социального явления «разочарованных интеллектуалов» – лиц, получивших университетскую степень, но не нашедших себе достойного места. Тезис о переизбытке интеллектуалов брался на вооружение властями и вел к постепенному оттеснению выходцев из малоимущих слоев от университетского образования. В итоге в Германии начала XIX в. студентов было меньше, чем в XVI в. Характерно, что утверждение о том, что выходцев из податных сословий в университете слишком много, и что никто не хочет ни пахать, ни сеять, ни торговать, – было в ходу и тогда, когда доля таких студентов в действительности была на порядок ниже, чем в эпоху Средневековья³². Таким образом и у российского «циркуляра о куракиных детях» также была вековая традиция.

При всей специфике российских университетов можно говорить об складывании общего университетского пространства. Помимо личных контактов русской профессуры с европейскими университетами, были

³¹ См. Уваров П.Ю. Лучшие люди христианства, лучшие люди королевства: интеллектуалы Средневековья // Элита и этнос Средневековья. М., 1995 С.206-217.

³² Chartier R. Espace social et imaginaire social: les intellectuels frustrés au XVIIe siècle // Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 2, 1982 P.389-400.

еще и сознательные попытки проникнуть в суть университетского феномена, обращение к проблемам истории и теории университетов. Статьи, посвященные этим проблемам, расходились в 60-е годы как бестселлеры³³. С другой стороны – проекты университетских реформ выносились на суд европейских университетских деятелей³⁴.

Единство европейского университетского пространства проявлялось и в удивительном созвучии российских борцов против административного утилитаризма, например, Н.И.Пирогова, с концепцией идеального университета Дж.Ньюмена³⁵. Вера в освобождающее (либеральное) значение университетского образования, акцент на формирование всесторонне развитых личностей, уживался в России, как и в Дублине с верой в то, что университеты – очаг мудрости, светоч вселенной, призваны преобразовать общество.

Студенческое движение, ставшее с 1861 г. постоянным фактом жизни российского общества и «головной болью» правительства, было одним из показателей окончательной интеграции университетов в социальную ткань. Таким же индикатором может служить борьба общественной ответственности за создание новых университетов, неутихающие страстные дискуссии по вопросу об образовании, интерес к происхождению и истории европейских университетов.

Конечно, российские университеты не могли не отражать специфики российского общества. К характерным чертам российской университетской системы следует отнести неизменно высокую (даже в периоды максимальной автономии) зависимость от государства и как следствие, большую зависимость от субъективного фактора – от личности попечителя, министра, от настроения монарха. Отсюда же проистекала большая, чем на Западе уязвимость университетов (хотя с годами этот фактор слабел). С другой стороны, в России особую роль играл образованный слой, пресловутая российская интеллигенция, гипертрофировавшая традиционное противоречие университетской культуры: особое социально-культурное положение, отгораживающее ее от основных сословий и от государства, сочеталось со стремлением преобразовывать общество и государство, служить стране, но и

³³ См. например ЖМНП за 1862–1863 гг. Подобный всплеск внимания к истории европейских университетов наблюдался также накануне и во время революции 1905 г. и во время министерства Кассо. В последнем случае следует отметить роль теоретика и историка образования, талантливого публициста Н.В.Сперанского, обойденного до сих пор вниманием исследователей.

³⁴ Среди прочих – Ф.Гизо, А.Тьера, К.Гакстгаузена, Ж. де Сент-Иллера. Эймонтова Р.Г. Русские Университеты на путях реформы... С.136-140.

³⁵ Newman J.H. The Idea of a University. New York, 1960.

руководить ей. Интеллигенция склонна была приписывать себе мессианскую роль в великом деле просвещения и освобождения народа.

Но несмотря на явную специфику российских университетов, и зависимость от окружавшей их действительности, для нас вполне очевидна также роль внутриуниверситетских импульсов, продиктованных логикой саморазвития университетской среды, традициями и кодом университетской культуры, имевших средневековые традиции.

Просветительская идеология с ее утилитарным подходом к образованию, затрудняла осознание сущности университета. И напротив, всякий раз борьба против утилитаризма и за академическую автономию вела к дебатам о сущности университетской идеи. Причем, это не мешало, а напротив, способствовало возрастанию роли университета в обществе.

Но как далеко можно заходить в этом парадоксальном утверждении чуждости университетской идеи Просвещению? Думается, что удивительная противоречивость университетского феномена, столько раз демонстрируемая историей университетов, должна предостеречь нас от прямолинейных заключений. Да, представление о том, что университеты должны приносить непосредственную практическую пользу для государства, являясь удобной формой добывания прикладного специализированного знания и формирования нужных специалистов – приводит к ошибочному пониманию природы и назначения университетов. Но эта ошибка властей не раз работала на пользу университетам, что особенно хорошо заметно на примере России. Утилитарно-просветительская иллюзия способствовала насаждению университетов в России в XVII в., она же спасла их от полного уничтожения при Николае I, защищала остатки университетской автономии в периоды гонений. Она же помогла университетам существовать, пусть даже и в весьма экзотическом в виде, в годы Советской власти. Впрочем, это уже предмет для отдельного исследования, в котором удивительная жизнестойкость средневекового по своему происхождению университетского феномена может быть продемонстрирована с еще большей убедительностью.

В.Г.Безрогов

Социальный идеал воспитания в Новом Завете (интерпретации современной западной историографии)

Воспитательные традиции в любой мировой культуре предполагают особую значимость неких базовых текстов. Их дидактико-образовательную роль трудно переоценить, поскольку каждый из них стал каноническим и порой даже не подлежащим критической научной оценке. Это индийские веды и Махабхарата, буддийские сутры и изречения Конфуция, Тора и Коран. В одном ряду с ними стоят и тексты, объединенные в Новый Завет. Изучение его с позиций истории образования, включающей в себя истории воспитания и социализации, тем более актуально, что в нашей стране в течение почти восьми десятилетий роль и значение христианской догматики в обучении и воспитании старательно стремились «затушевать» и даже предать забвению. Однако значимость древней дидактики оказалась мощнее идеологических потуг государственного атеизма. Новозаветные тексты остаются кладом философской мудрости, поэтому специалисты по истории воспитания по-прежнему часто обращаются к «священнокнижным традициям», стремясь увязать прошлое и настоящее.

В отечественной литературе последнего пятнадцатилетия – при всем относительно свободном обсуждении в обществе и науке религиозных вопросов – до 2000 года не появлялось ни одной работы, посвященной анализу социализирующих и воспитательных практик во времена Нового Завета¹. Этот пробел сказывается и в преподавании эдукологических дисциплин в системе высшего образования. Он показывает скептицизм светских профессиональных историков педагогики в отношении новозаветных текстов, их неготовность уделить время и исследовательские силы столь чуждому их предыдущему воспитанию тек-

¹ Автор благодарит Российский гуманитарный научный фонд и фонд Макаруров за содействие, гранты 99-06-00240а и; выражаю также благодарности Институту исторических исследований общества Макса Планка (Геттинген, Германия) и Дому наук о человеке (Париж, Франция) за предоставленную возможность поработать в германских и французских библиотеках.

¹ Уже после завершения работы над текстом данной статьи были опубликованы следующие работы, свидетельствующие об осознании актуальности для отечественной науки поднимаемой проблематики: Рогозянский А. У истоков педагогики христианства// Журнал Московской Патриархии, 3, 2000. С.68-81; 4, 2000. С.73-81; Ермаков С.А. Вопросы нравственного воспитания в Посланиях ап. Павла и их современное значение// Православие и проблемы воспитания. Материалы VII Рождественских православно-философских чтений. Н.Новгород, 2000. С.266-273.

сту, оставляемому «на откуп» теологам или по крайней мере глубоко верующим и воцерковленным людям.

Новый Завет представляет собой особый нарратив, некий текстологический «макрокосм», с мягкой, подвижной структурой, и каждый входящий в него отдельный текст также являет собой многослойный «микрокосм». В них причудливо сплетены религиозная и философская, педагогическая и этическая, психологическая и правовая составляющие. Их взаимопроникновение и взаимодействие, «сцепка» отдельных фраз, сюжетов, притч, наставлений может по-разному актуализироваться в сознании того или иного человека, группы, сословия и, шире, – общества, культуры, эпохи. Информационная емкость Нового Завета невероятно велика, и даже отдельные лексемы, использованные в нём, могут образовывать самостоятельные поля и паттерны значений².

Выявление педагогических «нитей» в ткани Нового Завета, изучение их «расположения», воссоздание новозаветной воспитательной «матрицы» – задача необычайной сложности. В небольшой статье возможно лишь обозначить эвентуальные подходы к ней. В свою очередь, их осмысление может стать основой методологической рефлексии по поводу возможностей изучения Нового Завета как источника по истории детства, воспитания, образования.

«Христианская педагогика»: споры о дефинициях

Христианская педагогика в целом и новозаветные воспитательные идеи в частности подвергались и подвергаются как безусловному восхвалению со стороны воцерковленных авторов³, так и столь же решительному отрицанию со стороны атеистически настроенных людей. Это предопределяет крайне редкое обращение светских историков к специальному анализу новозаветных нарративов, предпочтение иметь дело с каким-нибудь «менее избитым» историческим памятником.

Для обсуждения проблем новозаветной дидактической традиции как традиции священнокнижной с присущим ей особым типом передачи знания из поколения в поколение и особыми способами социализации через обращение/крещение, исповедь/причастие, проповедь/молитву, литургию/единение с общиной и т.д., – необходимо некое согласие в отношении терминологии.⁴ Религиозный дидактический тезаурус вклю-

² См. размышления об этом в книге Петера Мюллера «В центре общины: ребенок в Новом Завете» (Mueller P. In der Mitte der Gemeinde: Kinder im Neuen Testament. Neukirchen-Vluyn, 1992. S.33-80).

³ Шестун Е. Православная педагогика: Исторические психолого-педагогические очерки. Самара, 1998. С.26-27.

⁴ Имеются значительные различия в подходах к исследованиям Нового Завета протестантскими, католическими, православными авторами. В данной статье не ставится задача выделить и рассмотреть каждое из конфессиональных направлений в историографии особо. Такое рассмотрение должно стать предме-

чают такие словосочетания как «христианская педагогика», «педагогика Нового Завета», «библейская педагогика», «педагогика (в) Библии», «новозаветная педагогика», «религиозное воспитание (образование)», «христианское воспитание» и т.д., но каждый автор вкладывает в них свое понимание их содержания. Бесспорно одно: христианство насковзь педагогично, поскольку пронизано дидактической идеей создания сообщества *новых людей*, тех, что достойны спасения. Воспитательную традицию Нового Завета стоит рассматривать как *педагогиду обращения*.

Употребляя термины «педагогика», «воспитание» и «образование» при анализе новозаветных текстов, мы предполагаем возможность реконструкции путей научения не *знаниям о Боге* (как в светском образовании – знаниям о природе, обществе и о себе), но путей научения *знанию Бога*, то есть обучения соединению/слиянию в Боге и с Богом, с богоподобными персонами и со всем творением⁵.

Центральным моментом религиозного образования первых веков новой зры было открытие на персональном уровне «того, что происходит с человеком, когда он «духовно вращает» в Христа⁶ и вторично рождается водой и Духом, став членом Церкви⁷. Некоторые авторы считают обращение в христианскую веру настолько специфическим процессом, что видят сущностный разрыв между ним и рациональной системой образования, которую организует педагогика как особая сфера профессионального знания. Эту точку зрения выразил германский теолог Р.Бультман. Он полагал, что сам вопрос о специфике христианского воспитания неправомерен, так как христианство основано на вере, а не на неких «методах систематического преобразования человека»; вере же в Бога нельзя научить и ее нельзя воспитать с помощью только другого человека. Сравнивая библейскую и греческую культуры, он пришел к выводу, что в греческой – человеческое существование оправдывалось здравым смыслом, а развитие человека мыслилось как развитие его рациональных возможностей как индивида и людей как корпоративной группы. Христианская же вера предстает реакцией в виде «решения» и «ответа» на слово Бога, на Его призыв, переданный через благовестие о Нем; вера в Бога становится в известной степени даром Божьим. Германский теолог настаивал на том, что к подобному *решающему пониманию* человек не может попасть через

том особого исследования. В настоящем тексте автор постарался обговорить некоторые более общие проблемы.

⁵ Schmemmann A. *Liturgy and Life: Christian Development through Liturgical Experience*. N.Y., 1974. P.23.

⁶ См.: Miller R.C., ed. *Theologies of religious education*. Birmingham, 1995.

⁷ Tarasar C.J. *The Orthodox Theology and Religious Education*// Miller R.C., ed. *Theologies of religious education*. Birmingham, 1995.

«воспитание», и следовательно вопрос о христианской педагогике не может быть даже поставлен⁸.

Как «развести» понятия «образование» и «христианизация»? Вопрос этот беспокоит многих авторов, которые при всем уважении к кропотливости исследовательских трудов Р.Бультмана, часто полемизируют с ним⁹. Специалисты по Новому Завету полагают, что этот знаток евангельских текстов не воспринимал новозаветный текст как памятник общественной мысли соответствующей эпохи и не слишком вникал в историю раннего христианства. В то же время, и он признавал факт того, что исследователь евангельских нарративов так или иначе сталкивается с необходимостью проанализировать практики передачи информации, содержащейся в них, то есть изучить проблему посредничества. Представив на месте посредника обучаемого канону ребенка, исследователь оказывается перед педагогической проблемой. Таким образом, мы, несомненно, все же можем говорить о религиозном обучении и воспитании.

Новый Завет - педагогический текст?

Христианская педагогика, как известно, объединяет богослужение, обучение и практику. Помимо педагогического обычая и педагогического сознания, педагогической теории и педагогической практики, обычных

⁸ «Что ведет к христианской вере?», спрашивает Бультман и отвечает: «Слово Бога». См.: Bultmann R. Die Bedeutung des geschichtlichen Jesus fuer die Theologie des Paulus// Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. 1.Bd.Tübingen, 1980. S.188-213; Bultmann R. Erziehung und christlicher Glaube// Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. 4.Bd.Tübingen, 1984. S.52-54. Интересно, что в этом с протестантами солидарны и православные наставники. Например, в интервью, данном в начале 2001 года телевизионной программе "Русский Дом" настоятельницей Серафимов-Дивеевского монастыря игуменьей Сергией, были произнесены практически те же слова о невозможности воспитать веру без Божьей помощи, о том, что вера ребенка – прежде всего не заслуга воспитателей, а дар Божий.

⁹ Bultmann R. Erziehung und christlicher Glaube// Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. 4.Bd. Tübingen, 1984. S.52-55. Коренная проблема христианства – воспитание или обращение – не столь проста, как иногда может представляться. Идея взрывной «социализации», когда воспитанник переходит из внеобщинного состояния во внутриобщинное (воцерковляется), предполагает резкое отвержение привычного ранее и безоговорочное принятие новой системы ценностей. Однако, эта процедура не может повсеместно и постоянно проходить без предварительной подготовки воспитываемой аудитории, без подготовки тех, кого впоследствии стали называть катехуменами («оглашенными») и по отношению к кому был выработан дидактический метод катехизиса. О проблематике «обращения» и его роли в социализации и образовании см.: Sevestre J.N. Education or Conversion: Epictetus and the Gospels// Novum Testamentum, 8, 1966. P.247-262; Meeks W.A. The Moral World of the First Christians. Philadelphia, 1986; Meeks W.A. Understanding Early Christian Ethics// Journal of Biblical Literature, 105 (1), 1986. P.3-11; Meeks W.A. The Origins of Christian Morality. The First Two Centuries. New Haven, 1993.

для светских образовательных систем¹⁰, в ней есть также вероучительная и литургическая (ритуальная) компоненты. При рассмотрении Нового Завета с точки зрения выражения в нем дидактических идей можно сконцентрироваться вокруг трех основных направлений. *Во-первых*, насколько мы можем считать Новый Завет педагогическим памятником, а отраженные в нем идеи – характеризующими историю образования соответствующего времени? *Во-вторых*, возможна ли реконструкция исторической среды формирования личности Богочеловека и деталей его деятельности как учителя (т.е. исторической личности, обладавшей педагогическими и пророческими знаниями, умениями и навыками)? Каковы были основные черты его дидактического метода? *В-третьих*, какую информацию может почерпнуть историк образования, анализируя составляющие христианскую педагогику ученичества? Что «педагогического» в Новом Завете и почему его следует считать важнейшим памятником педагогической мысли?

Выдающийся немецкий историк В.Йенч, чьи работы, созданные полвека назад, не утратили значения по сей день, полагал, что в Ветхом Завете исследователь может и должен увидеть теоцентрическую воспитательную мысль. Раввинское иудейство, считал он, поставило на место созданной Богом воспитательной мысли законническую религиозную педагогику, хотя и видело себя истинными и праведными носителями древней традиции¹¹. Главным отличием Нового Завета от Ветхого Йенч считал подробно прописанную в Новом Завете роль воспитателя. Хотя в эпоху Нового Завета, полагал он, значение педагогики как таковой стало менее заметным, и сравнение Ветхого Завета с Новым заставляет признать, что в первом «чисто педагогического» больше. Положение первых христиан, писал германский автор, было «положением людей, живущих на переломном моменте истории в самом дурном смысле слова». Он подчеркнул, что в то время приходящий мир представлялся более значимым, чем уходящий, а в такой ситуации практически невозможно выработать систематическую педагогическую программу.

Обстоятельства исторического времени – по В.Йенчу – основная причина отсутствия «научно-рациональной педагогической традиции» в Новом Завете¹². Однако, закрытость христианской общины и богослужений, слушание христологических выступлений наставников, совместное пение гимнов, совместное же обращение к Господу о прощении грехов – все это были те возможные обстоятельства, при которых юные христиа-

¹⁰ Безрогов В.Г. Эпистемологические проблемы истории педагогики// Корнетов Г.Б., Безрогов В.Г., ред. Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография. М., 1996. С.24-31.

¹¹ Jentsch W. Urchristliches Erziehungsdenken. Die Paideia Kyriu im Rahmen der hellenistisch-juedischen Umwelt. Gutersloh, 1951. S.138.

¹² Jentsch W. Urchristliches Erziehungsdenken... S:194.

не могли получать воспитание и образование в соответствии с евангелием¹³. В Новом Завете, обратил внимание В.Йенч, нет систематически построенной догматики и этики. Это в большей мере событийный рассказ о Христе, попытка понять его и придать смысло-жизненную значимость человеческому существованию.

Работа Йенча вызвала оживленную полемику и сформировала за последние полвека целую историографическую традицию¹⁴. Внимательное чтение его работ часто заставляло исследователей приходиться к выводу о том, что если Новому Завету не была известна рационально систематизированная педагогическая мысль, то это еще не означает, что в те времена педагогическая мысль отсутствовала как таковая (хотя, конечно, в Новом Завете нет педагогики в современном науковедческом смысле слова). Итоги долголетней дискуссии подвела сравнительно недавно изданная книга В.Ребеля «Первоначальное христианство и педагогика»¹⁵.

Главной ошибкой Йенча В.Ребель считал то, что тезис об «отсутствии педагогики в Новом Завете» был не выводом аналитического исследования, а его исходной посылкой. В своей книге В.Ребель подчеркнул важность научного изучения эпохи первоначального христианства, которому уделялось несправедливо мало внимания историками образования, обычно начинающим свои штудии с более поздних времен¹⁶. Соглашаясь с В.Ребелем, стоит подчеркнуть важность обращения к ранним текстам для лучшего понимания воззрений на воспитание и перевоспитание, господствовавших как ментальный субстрат в эпоху создания Нового Завета и отразившихся в его структуре и последующем влиянии. Для этого достаточно признать, что первоначальное христианство защищало свое знание не через «классическую» педагогику и приобщало к себе на суггестивном уровне – через распространение веры, через проповедь и общую молитву, исповедь и литургию с ее кругом ритуальных действий и текстов.

¹³ Jentsch, Werner. *Urchristliches Erziehungsdenken...* S.249ff.; Rebell W. *Urchristentum und Paedagogik*. Stuttgart, 1993. S.75.

¹⁴ Stockmeier P. *Glaube und Paideia. Zur Begegnung von Christentum und Antike// H.-T.Johann(Hrsg.). Erziehung und Bildung in der heidnischen und christlichen Antike*. Darmstadt, 1976. S.527-548; Aland K. *Die Stellung der Kinder in den fruehen christlichen Gemeinden – und ihre Taufe// Aland K. Neutestamentliche Entwuerfe*. München, 1979. S.198-232; Stegemann W. *Lasset die Kinder zu mir kommen. Sozialgeschichtliche Aspekte des Kindrevangeliums// W.Schotroff und W.Stegemann (Hrsg.). Traditionen der Befreiung. Sozialgeschichtliche Bibelauslegungen. Bd.1: Methodische Zugaenge*. München-Berlin, 1980. S.114-144; Mueller P. *In der Mitte der Gemeinde: Kinder im Neuen Testament*. Neukirchen-Vluyn, 1992; etc.

¹⁵ Rebell W. *Urchristentum und Paedagogik*. Stuttgart, 1993.

¹⁶ Характерный тому пример, которого Ребель не мог привести, поскольку данная книга вышла в том же 1993 году, – обобщающая многотомная работа Евгения Пауля «История христианского воспитания» (Paul E. *Geschichte der Christlichen Erziehung. Band I: Antike und Mittelalter*. Freiburg im Breisgau, 1993).

Каково содержание педагогики первоначального христианства, основная особенность которой – способность «переводить» теологию в воспитательное измерение? Мы должны признать, подчеркнул В.Ребель, что те вероисповедные формулы, которые воспринимались общиной единоверцев (например, 1 Кор 15:3-5), были учебно-педагогическими, что теология так или иначе «педагогизировалась». Раз она воспринималась не только взрослыми, значит, те, кто ее распространяли, исходили и из «горизонтов понимания» детей. Поскольку же они учитывали такой «горизонт», постольку, следовательно, были вооружены теми или иными педагогическими приемами. Песни и гимны церковной службы запоминались благодаря своей поэтической форме и воздействовали на эмоциональном уровне (см.: Фил 2:6-11). Дети первохристиан пели вместе со взрослыми и сопереживали тому, что исполнялось, то есть формулы веры действовали на когнитивном уровне взрослого восприятия, а песни – на эмоциональном уровне детского.

Исследователь, однако, вряд ли найдет в Новом Завете информацию о детских службах¹⁷. Не было тогда и обучающих программ. Но были – учителя, которые способствовали тому, что подрастали новые поколения, прошедшие воспитание верой. Согласно предположению В.Ребеля и ряда других авторов, Новый Завет как текстуальный комплекс может рассматриваться даже как... творение школьных учителей, составленное ими, обработанное и переданное посредством их деятельности последующим поколениям. «В любом случае, – писал В.Ребель, – рядом или в тени Нового Завета явно проглядывает фигура школьного учителя». По его мнению, «раннее христианство представляло собой идеальную воспитательную сферу, где каждый имел возможность идентификации, причем из этой сферы общинной жизни не исключались и уже выросшие индивиды с их собственным житейским опытом»¹⁸.

Признавая Новый Завет педагогическим памятником, историк неминуемо должен задаться вопросом о том, как велось в то время религиозное преподавание.

Зарубежные специалисты применяют для получения ответа на этот вопрос как традиционные, так и нетрадиционные аналитические подходы. Например, из того, как воспринимают евангельские тексты современные дети, некоторые теологи пробуют делать заключения о том, как могли

¹⁷ Показательно, что Ребель старается не концентрироваться на вопросе об изменении содержания проповеди и учения о Христе. Если в 50-е гг. первого века это была весть о смерти и воскресении, то впоследствии, в 70-90е гг. евангелия добавляют весть о словах и делах Иисуса. См.: Лезов С.В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М., 1996. С.27 и др.; Данн, Джеймс Д. Единство и многообразие в Новом Завете: Исследование природы первоначального христианства. М., 1997. С.51-72.

¹⁸ Rebell W. Urchristentum und Paedagogik... S:80.

воспринимать новозаветные тексты дети ушедших эпох (спорность подобного подхода для историка очевидна – В.Б.). Другой нетрадиционный подход – попытки реконструировать повседневность новозаветного времени, представить, что могли видеть дети в ту эпоху и как они могли реагировать на то или иное событие или явление, как их воспитывали в общинах и вообще в тех исторических условиях и – наконец – как все это могло соотноситься с формирующимся текстом Нового Завета. Стремясь прояснить исторический контекст новозаветных сочинений, историк педагогики ставит задачу выяснить, как конкретно осуществлялось воспитание детей в раннехристианских группах, каким образом педагогически использовалась тогдашняя «прототеология» и как выглядел в те времена – если можно так выразиться – «учебный план».

Для подобного рода выводов зарубежная теология и религиозная антропология сделала уже немало, если учитывать многообразие аннотаций, комментариев и исследований евангельских текстов. Одни из подобных комментариев и исследований относятся к христологии, другие – к этике, третьи – к сотериологии. Но в то же время любой из анализируемых фактов может быть (и должен быть!) оценен педагогически. Не стоит забывать и того, что Евангелие было прежде всего не теологическим повествованием, а именно дидактическим текстом, текстом увещательным, возвещательно-проповедническим, призывным, то есть – учительным. Именно такие задачи ставили перед собой Марк и Лука, Матфей и Иоанн. Каждый из евангелистов писал для своей «аудитории», принаравливаясь к ее кругу представлений и к ее составу, продумывая ее восприятие и моделируя требуемое на нее воздействие и его результат.

Рассмотрение аудитории (общины) каждого из евангелистов составляет важное направление в историографии Нового Завета. Оно существенно и с религиозно-антропологической, и с педагогико-антропологической точки зрения, ведь в каждой из аудиторий могли оказываться дети. Подобный факт – как и проблема детского восприятия, акцептации канона – еще требует своего осмысления.

Как уже говорилось выше, в Новом Завете не найти рефлексий по поводу детского воспитания. Более того: Новый Завет не рефлексиирует положения ребенка перед лицом Бога и Христа в теологическом смысле. Нет в нем и каких-либо указаний о том, каким был или воспринимался ребенок перед лицом службы Богу. Соотечественник В.Йенча и В.Ребеля – культурантрополог К.Аланд подчеркнул: конкретный христианский ребенок, «дитя, принадлежащее общине, которое с какими-то индивидуальными чертами живо описывалось бы в тексте Нового Завета, – практически непредставимо для нас как читателей данного памят-

ника»¹⁹. Действительно, читая Новый Завет, историк вряд ли способен что-либо выяснить об условиях жизни детей. А это исключает возможность приравнять друг к другу понятия «педагогика Нового Завета» и «педагогика во времена Нового Завета».

Можно предположить, что в I веке новой эры воспитатель редко утруждал себя размышлениями о Христе, предпочитая исходить из традиционных (а именно – ветхозаветных) представлений о том, в системе каких нравственных координат необходимо воспитывать подрастающее поколение. Исследователи неоднократно подчеркивали отсутствие в Новом Завете самого слова (и, следовательно, понятия) «воспитание»²⁰. Лишь около 96 года – добавим мы – а именно: в Первом послании к Коринфянам третьего папы римского Климента появилась знаменитая формула: «Дети ваши пусть получают воспитание христианина; пусть научаются, как сильно пред Богом смирение, что значит пред Богом сильная любовь, как прекрасен и велик страх Божий и спасителен для всех, свято ходящих в нем с чистым умом» (21:8)²¹.

Думается, что последующее возникновение педагогической рефлексии как результата, в частности, «пограничного положения» Нового Завета между ветхозаветной и античной воспитательными традициями еще требует особого исследования. Известно, что христианство совершило адаптацию ветхозаветного единобожия («Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас» Пс 33:12) к греко-римской культуре и образованности²². Однако степень проникновения обеих традиций в «ткань» Нового Завета представляет собой предмет довольно оживленных споров. Если ближайшая среда, породившая Иисуса, была в целом ветхозаветной, то в его повседневной социализации не меньшую роль могли сыграть и эллинистические влияния. При этом часть религиозных антропологов не устает напоминать, что Новый Завет «свободен» от греческой идеи воспитания²³. Их оппоненты ставят в центр своего исследования среду, в которой происходило взросление Иисуса – и таким образом показывают ее наполненность элементами античной культуры и образованности с ее особым культом Знания как Добродетели (а именно на эту идею опиралось все обучение, составляя

¹⁹ Aland K. Die Stellung der Kinder in den fruehen christlichen Gemeinden – und ihre Taufe// Aland K. Neutestamentliche Entwuerfe. München, 1979. S.200.

²⁰ Paul E. Geschichte der Christlichen Erziehung. Band I: Antike und Mittelalter. Freiburg im Breisgau, 1993. P. 16.

²¹ Пер. П.Преображенского. Цит. по: Ранние Отцы Церкви. Брюссель, 1988. С. 57.

²² См.: Robbins V.K. Jesus the Teacher: A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark. Philadelphia, 1984.

²³ Stockmeier P. Glaube und Paideia. Zur Begennung von Christentum und Antike// Johann H.-T.,hrsg. Erziehung und Bildung in der heidnischen und christlichen Antike. Darmstadt, 1976. S.528.

содержание тех символических ценностей, которые передавались в процессе воспитания от наставника к ученику).

Личность Иисуса как учителя и содержание его педагогического метода

Личность Иисуса привлекательна самим многообразием исследовательских проблем, которые могут быть поставлены в связи с нею, в том числе и в религиозно-антропологическом и социально-историческом (история детства, история воспитания) аспекте. Назовем среди них такие стороны проблемы как детство Иисуса, влияние образа Иисуса-младенца (ребенка) на всю последующую культурно-педагогическую традицию; обучение/социализация Богочеловека, значение полученного им образования, его влияние на характер проповедываемых им идей²⁴. Специальными темами могут стать и такие вопросы как отношение Иисуса к детям²⁵; особенности личности Иисуса как Учителя и Педагога и, в связи с ними – изучение традиций учительства и учительной мудрости во времена, предшествующие Христу и современные ему. Необходимо и возможно провести также сравнение роли и места учителя в иудаистическом и эллинистическом мирах, вникнуть в суть значений таких дефиниций, как «учитель» и связанных с ним терминов («наставник», «школьный наставник» и т.п.). Для ответа на такие вопросы исследователи обычно обращаются к контексту времени и региона, в котором жил и действовал пророк из Назарета²⁶, либо задаются целью показать функционирование самой традиции об Иисусе, движение в ней тех смыслов и значений, каковые вкладывались в новозаветные тексты²⁷. Весьма часто в качестве изначального учения и образа Христа принималась в истории та интерпретация, которую давала более поздняя церковная традиция. И поэтому историк образования не может обойти вопроса о том, обучал ли Иисус сам, непосред-

²⁴ Usener H. Geburt und Kindheit Christi// Zeitschrift für neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums. Herausgegeben von Dr. Preuschen, Erwin. Gieszen, 1903. S.1-22; Laurentin R. Jesus au Temple: Myst'ere de Paques et Foi de Marie en Luc 2, 48-50. P., 1966; De Jonge H. J. Sonship, Wisdom, Infancy: Luke II.41-51a// New Testament Studies, 24, 1978. P.317-354; Batey R.A. Jesus and the Theatre// New Testament Studies, 30, 1984. P.563-574; Idem. "Is Not This the Carpenter?"// Ibid., 30, 1984. P.249-258.

²⁵ Derret J. D.M. Why Jesus Blessed the Children (Mk 10:13-16 par.)// Novum Testamentum, 25 (1), 1983. P.1-18.

²⁶ Finkel A. The Pharisees and the Teacher of Nazareth. A Study of their Background, their Halachic and Midrashic Teachings, The Similarities and Differences. Leiden, 1964; Johnson L.T. The Real Jesus: The Misguided Quest for the Historical Jesus and the Truth of the Traditional Gospels. San Francisco, 1996; Chilton B. & Evans G. A. Jesus in Context. Temple, Purity, and Restoration. Leiden, 1997.

²⁷ Charlesworth J.H. & Johns L., eds. Hillel and Jesus: Comparisons of Two Major Religious Leaders. Minneapolis, 1997.

ственно – или же лишь в проповедях излагал свое учение. Кому принадлежат тексты, рисующие учительную деятельность Христа? Аутентичны ли они Иисусу или же более позднему периоду, когда в условиях распространения христианства по Палестине и за ее пределы возросла потребность проследить наставническую традицию церкви вплоть до ее источника – Иисуса?

Большинство исследователей разделяет точку зрения о собственной учительной деятельности Иисуса и о принадлежности именно ему основного корпуса воспитательных речений и назиданий, хотя и подвергшихся многим переделкам и реинтерпретациям. Никто не отрицает при этом наличия нерешенных и спорных вопросов о судьбе наследия, о традиции или традициях, о деятельности «коллегии апостолов» по редактированию и «централизации» учения, о соотношении традиции и Духа, что связано с изменением текста начального учения при интерпретации его, например, апостолом Павлом.

Решая эти вопросы, некоторые авторы подчеркивают отличия в передаче из поколения в поколение христианской традиции от передачи иудаистических практик. Трансмиссия идей в прото- и раннехристианской среде происходила не «механически», а имела особый психофизический фон, «возникающий от ощущения присутствия Святого Духа», полагают эти авторы. Продолжая их рассуждения уже с научно-аналитической точки зрения, следует, вероятно, рассмотреть указанную «передачу идей» как некое прямое воздействие раннехристианского наставника на аудиторию, попытаться увидеть специфику подобного учительства, создаваемую необычностью личности передатчика традиции об Иисусе (поскольку он был не просто обычным «земным» учителем, но апостолом, то есть «прямым свидетелем»). Историком стоит помнить и о том, что обучение было важнейшей частью служения апостолов, что роли апостола и учителя в первые десятилетия существования нового учения не были определенно разграничены (это произошло потом, в более поздних писаниях, когда «учительство», действительно, стало скорее отдельной должностью, а не функцией²⁸). Именно поэтому эрудит, ставя перед собой задачу понять, каковы же были методы и подходы к обучению в те стародавние времена, может немало найти в евангельских текстах: апостолы выступают в ранних текстах именно учителями, а учителя, хотя и отличаются от апостолов, поставлены по своей функции и рангу очень близко к ним (см.: 1 Кор 4:17; Кол 2:7; 2 Фесс 2:15; 1 Фесс 4:6; Рим 6:17; 16:17).

Читая работы современных теологов, стоит отметить, что их мало занимает трансформация способов увещания и обучения, каковые приме-

²⁸ См.: 1 Кор 12:28-29; Деян 13:1; Евр 5:12; Еф 4:11; 1 Тим 2:7; 2 Тим 1:11; 4:3.

нялись тем или иным учеником Иисуса, продолжившим дело Учителя²⁹. Столь важная для эдуколога проблема метода наставления осталась вообще нерассмотренной, несмотря на то, что изучение новозаветных текстов имеет многовековую историографическую традицию. Попытки интерпретации текстов в «школьном», «преподавательском» духе явно прослеживаются в евангелии от Матфея. Однако вопрос о том, вызвана ли такая «аранжировка» материалов Нового Завета традиционной последовательностью раннехристианского катехизиса (то есть процессом *преподавания*) или же не связана с ним – остается до сих пор спорным вопросом при анализе Нового Завета как памятника истории воспитания.

В литературе о становлении Иисуса как учителя и о его деятельности на этом поприще есть несколько работ западногерманских авторов, ставших классическими. Среди них и книга Р.Риснера «Иисус как Учитель»³⁰, содержащая исследование иудейских образовательных институтов в первые десятилетия I века новой эры, реконструирующая некие «фреймы» возможного образования, которое мог получить в те времена пророк из Назарета. Несмотря на отсутствие у Христа «профессиональной подготовки раввина», он – отметил исследователь – судя по многим свидетельствам, «знал Тору настолько хорошо, что мог свободно дискутировать с книжниками и фарисеями», то есть с предшественниками раввинов классической таннаистской эпохи³¹. Историк образования может немало почерпнуть из работ Р.Риснера, поскольку автор проанализировал владение Назаретянином не только греческими риторическими формами, но и мнемоническими техниками – техниками развития памяти и укрепления в ней сообщаемой информации. Восприятие Иисуса как Учителя отразилось не только в новозаветных текстах. В сочинении «Иудейские Древности» Иосиф Флавий (37 – ок.100 г.) назвал Иисуса «наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину» (18.63)³². Он видел в Иисусе черты некоего «эллинистического учителя добродетели» и всячески подчеркивал эффективность назидательно-воспитательной деятельности Христа. Определение «Учитель», столь знакомое не только исследователю, но и любому верующему и столь часто используемое в евангелиях, при таком подходе не исключает отношения к нему как к Мессии.

²⁹ Cullman O. 'Kyrios' as a Destination for the Oral Tradition Concerning Jesus (Paradosis and Kyrios) // Scottish Journal of Theology, III, 1950.

³⁰ Riesner R. Jesus als Lehrer. Eine Untersuchung zur Ursprung der Evangelien-Ueberlieferung. Tübingen, 1981.

³¹ Таннаями (то есть «изучающими Устную Тору»), назывались раввины, действовавшие в I – начале III вв.

³² Иосиф Флавий. Иудейские Древности в 2-х тт. Пер. с греч. Г.Г.Генкеля. Т.2. М., 1994. С.300.

Добавим к сказанному, что передача речений Иисуса и особое отношение к ним учеников его также коренились в признании Христа учителем-пророком и стимулировались публичной формой его учения. Стоит, вероятно, специально исследовать само построение содержания речений Иисуса, «грамматику репрезентации смысла» – то есть проанализировать те особые приемы, направленные на запоминание и характеризовавшиеся особым ритмом, «метром», повторами, параллелизмами и т.д., которые им применялись, – поскольку это может обогатить современное эдукологическое знание. Заметим в связи с этим, что в отличие от фольклорных (особенно – эпических), тексты Иисуса сохраняли притчевую краткость, если не сказать – афористичность, и были своеобразными «обучающими резюме». Это, вне сомнения, помогало ученикам в дальнейшей передаче иисусова слова. В форме учительных притч и афоризмов они находили дорогу к сердцам людей, разных по типу и психологическому складу. Исследователи полагают, что письменная передача подобных кратких речений в рамках школьного дискурса могла начаться уже при жизни Иисуса и – тем более – сразу после его смерти и Воскресения.

Особое направление в современной историографии составляют работы, в которых исследуется проблема существования так называемой «школы Иисуса». Основной тон здесь задает американский историк Р.А.Кулпеппер, проанализировавший особенности ряда школ античности (школу Пифагора и Академию Платона, Ликей Аристотеля и Сад Эпикура, Стою и школу в Кумране, Дом Гиллеля в Палестине и Филона в Александрии) и выделивший особо «школу Иисуса». Под ней он разумел кружок или группу индивидов вокруг наставника. Изначальными видами деятельности в такой «референтной группе» выступали обучение, изучение слов и наследия Учителя, поклонение ему (богослужение), переписывание его речений и т.п. Поэтому объединение такого рода и должно было, с его точки зрения, получить наименование школы или «школоподобного сообщества»³³. Если С.С.Аверинцев применительно к средневековой культуре применял выражение «Мир как школа», имея в виду нацеленность человека того времени на интерпретацию мира как скрижалей божественного послания людям³⁴, то применительно к прото- и раннехристианским временам и общинам можно применить формулу «Община как школа», поскольку именно внутри общин происходил в первые века новой эры основной процесс христианского воспитания.

Сообщество Иисуса и учеников, по мнению Р.А.Кулпеппера, бесспорно, составляло «школу», ведь Иисус-учитель не просто собрал (при-

³³ Culpepper R.A. The Johannine School: An Evaluation of the Johannine School Hypothesis Based on an Investigation of the Nature of Ancient Schools. PhD Thesis. Department of Religion, Duke University, 1974. P.51.

³⁴ Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1975.

звал) учеников, но именно учил их и был почтен как основатель традиции, которая передала его учение через евангелия, через текстовую фиксацию его слов и дел. Да и источники, в которых отразилась деятельность Иисуса как учителя, стоят ближе ко времени его жизни, нежели тексты источников об основателях других школ древности (за исключением Эпиктета и кумранского Учителя Справедливости)³⁵. Отсюда делался вывод о том, что новозаветные тексты повествуют о конкретной практике назидания, обучения учеников не столько по некой «программе», сколько отталкиваясь от прецедента³⁶.

Каковы были обстоятельства научения и обучения детей и подростков в рассматриваемую нами эпоху? Ряд исследователей полагает, что Иисус учил, сидя в синагогах, в иерусалимском Храме и дома в Капернауме, – именно так, как впоследствии делали раввины³⁷. Некоторые (скажем, У.Дэвис) добавляют к этому, что греческое название дома в Капернауме – «ойкос» – есть перевод семитского «бет», применявшегося именно к школе, причем, скорее, в организационном, нежели в архитектурном смысле (например, «бет Гиллель» – знаменитая школа Гиллеля). Это также позволяет говорить о «бет Йошуа» – то есть «школе Иисуса»³⁸. Комментируя исследования коллег, хотелось бы обратить внимание на то, что способ преподавания и условия, в которых преподавание происходило, были для того времени весьма необычны. Весьма странным для еврейских учителей, но вполне привычным для греческих (особенно киников и стоиков) выступало незамкнутое жилым пространством обучение «у моря», «на горе» – т. е. в процессе движения, в ходе прогулок с учениками, а также в присутствии «толпы».

Проблема противоречивости наблюдаемых методов Иисусовых действий в процессе воспитания и обучения им своих слушателей выводит историка педагогики на рассмотрение вопроса о явной, открытой «неукорененности» Иисуса ни в одной из религиозно-педагогических традиций, существовавших в то время. Христос подчеркивал значимость для него еврейского Закона и научения ему, но он отделил себя от традиции предшествующих учителей Израиля и противопоставил им взятый на себя божественный авторитет (этого не решались и не могли сделать наставники в синагогах, поскольку они преподавали от имени единственного наставника древних евреев – Яхве). Иисус авторитетно говорил как от имени божественного Отца, так и – в гораздо большей степени – от своего собственного. Таким образом, историк воспитания выходит на проблему учителя как источника информации, а не только ее трансля-

³⁵ Culpepper R.A. The Johannine School: An Evaluation of the Johannine School Hypothesis Based on an Investigation of the Nature of Ancient Schools. Missoula. 1975.

³⁶ Culpepper R.A. The Johannine School ... Missoula, 1975. P.226-227.

³⁷ Bultman R. Jesus and the World. N.-Y., 1958. P.58.

³⁸ Davies W.D. Settings of the Sermon on the Mount. Cambridge, 1966. P.421, note 2.

тора. Проповедуя, Иисус не упоминал своих предшественников (кроме Иоанна Крестителя), не ссылаясь на иудейские и античные авторитеты. Таким образом, его «непризнанность» и «неаттестованность» как педагога превращалась в особую, специфическую черту: он учил как имеющий власть и авторитет делать это, причем авторитет, превышающий аналогичный у книжников, писцов, грамматиков и грамотеев, то есть как «наставник нового типа»³⁹.

Размышления над проблемой наставничества заставляет особо поставить вопрос об отношении Иисуса к детям и именно под этим углом зрения проанализировать современную религиозно-антропологическую литературу. Отзывы Иисуса о детях и их роли в мире, обществе, среди людей, сравнения уверовавших с детьми, а всех людей – с «чадами Божиими», ощущение Бога-Отца не только отцом физическим, но и Педагогом, Воспитателем Человечества широко известны и цитируемы в профанной речи. Однако тема отношения Иисуса к детям не имеет большой историографической традиции, поскольку в традиционной истории религии рассмотрение детских образов у Иисуса казалось темой второстепенной значимости. Лишь с утверждением в гуманитарных и в особенности в исторических науках темы «истории детства» (то есть примерно с 1960-х гг.) интерес к «детской теме» пробудился и в теологии, и в истории религий⁴⁰. Причём усилился настолько, что в педагогической литературе появились издания, которые иначе как курьезными, не назовешь: в них Иисус изображался таким же любителем детей, призывающим их к себе, обнимающим и называющим своими друзьями, каким в старой советской литературе для детей изображали «дедушку Ленина»⁴¹.

Исследователи новозаветных текстов неоднократно отмечали, что внимательное чтение евангелий позволяет прийти к выводу о том, что Иисус придал ребенку невиданно высокий (по сравнению со средиземноморскими цивилизациями) статус, не только привечая его как обездоленного, несчастного и угнетенного, но и используя детский образ как метафору для определения положения любого человека по отношению к Царству Божию. Знаменитая формула «станьте как дети» с тех пор не исчезает из актуального поля обсуждаемых в педагогике проблем. Не только историки педагогики подчеркивают кардинальное значение наследия Иисуса в истории педагогических технологий и искусств, но и историки детства отмечают коренное изменение отношения к ребенку, состоявшееся под влиянием христианства

³⁹ Ян Муирхед считает, что такая ситуация связана с осознанием Иисусом себя как представляющего по содержанию и по форме новое учение, идентификацией себя с Богом и с исполнителем Закона и новым типом исполнения его (См.: Muirhead I. V. *Education in the New Testament*. N.-Y., 1965. P.58).

⁴⁰ См.: Müller P. *In der Mitte der Gemeinde: Kinder im Neuen Testament*. – Neukirchen-Vluyn, 1992. S.28-31.

⁴¹ Rost D. und Machalke J. *Jesus und seine Freunde*. Hamburg, 1986.

с его образом младенца-Иисуса, возвышением внутренних состояний души и обсуждением «детскости» как праведности⁴².

Ученики Иисуса и педагогика ученичества

Роль учеников Христа в едином комплексе с прояснением самого понятия ученичества – еще один аспект изучения новозаветных нарративов. Рассматривая взаимоотношения Учителя с учениками и наставляемой им более широкой аудиторией, историк воспитания не может обойти вопроса о формах диалога Иисуса. На важность этой темы век назад указали отечественные теологи⁴³.

Первичная классификация форм диалогов и иных речений Иисуса в евангельских текстах уже сделана⁴⁴. Все они вполне «укладываются» в обычную работу школы, какой она была в те времена как в восточных обществах, так и в греко-римском⁴⁵. Возможно, именно поэтому евангелисты Марк и Матфей подчеркнули в своих текстах учительный характер деятельности Иисуса, подробно описали природу ученичества и показали роль его учеников.

Статус и функции учеников, их близость к Учителю и – одновременно – случающееся непонимание его, своеобразные взаимоотношения учеников с Учителем и окружающими людьми, реакция общества по отношению к иисусовым ученикам, рефлексия по этому поводу самого Наставника – эти вопросы обсуждаются уже не одно десятилетие. Специалист по истории воспитания может добавить к ним и свои, интересующие непосредственно тех, кто исследует традиции и новации в области «педагогике ученичества». Это вопрос о преодолении Иисусом «ритуализированного благочестия» старых воспитательных систем (прежде всего иудаистской), о новом подходе к слушанию и «слышанию» слова Учителя (хотя и не вполне ясно, обязывал ли Иисус учеников заучивать свои слова в стиле существовавших тогда обычных школьных практик). Речь может пойти также о воспитании умения, снимая с себя обязательства суетной жизни, «концентрироваться на главном» и таким образом успешно постигать слово истины.

Отдельной историографической проблемой предстает поэтому оценка отношения Иисуса к семье и семейным узам. Любому знакомому с евангельскими текстами хорошо известен тезис о необходимости оставить отца и мать тем, кто хотел бы стать Христовым учеником и последователем (сопровождающим его). Для части комментаторов-

⁴² Sommerville C. J. *The Rise and Fall of Childhood*. N.-Y., 1982.

⁴³ Сильченков К. Прощальная беседа Спасителя с учениками. Ев. Иоанна XIII, 31–XVI, 33 (опыт истолкования). М., 1895.

⁴⁴ Bultmann R. *Die Geschichte der synoptischen Tradition*. 2. Aufl. Goettingen, 1931. S.39-58.

⁴⁵ Stendal K. *The School of St. Matthew And Its Use of the Old Testament*. 1st. ed. 1954. 2d ed. Philadelphia, 1968. P.29.

теологов такая позиция служит иллюстрацией некоторого «экстремизма» и радикализма Назаретянина, схожести его с зилотами и киниками. Многие из них отмечают противоречие между идеей истинного христианского воспитания и воспитания домашнего, отвлекающего внимание на повседневные, «презренные» материальные нужды.

Но встречаются и иные мнения. Толкователи новозаветных текстов из среды религиозных антропологов (например, автор книги «Родители и дети в слове Иисуса» Х.Шредер) настаивают на том, что призыв Учителя к отделенности от отца и матери и его обещание новой семьи для учеников в виде сообщества его последователей были призывом, определенным конкретной ситуацией, локусом и не распространяющимся на все времена. Требование оставления семьи потому и не вызвало тогда никаких кардинальных изменений в семейных структурах⁴⁶.

Американский теолог Ч.Талберт подчеркнул, что лишь в Деяниях Апостолов (то есть тексте, излагающем события, происходившие после Вознесения), ученичество оказалось представленным как полный разрыв старых связей и «прилепление» к Иисусу, как раскаяние и полное подчинение воле и цели нового авторитета⁴⁷. Другие авторы допускали более широкую трактовку тезиса об оставлении привычной жизни для перехода в статус учеников христовых и не считали подобный призыв признаком асоциального радикализма (Ф.Сеговия, Дж.Донахью и др.)⁴⁸. Примеры многообразия толкований могут быть легко умножены⁴⁹.

⁴⁶ Schroeder H.-H. Eltern und Kinder in der Verkuendigung Jesu: Eine hermeneutische und exegetische Untersuchung. Hamburg-Bergstedt, 1972.

⁴⁷ Charles H.T. Discipleship in Luke-Acts// Segovia F.F., ed. Discipleship in the New Testament. Philadelphia, 1985. P.62-75.

⁴⁸ Segovia F. F. Call and Discipleship – Toward a Re-Examination of the Shape and Character of Christian Existence in the New Testament// Segovia F. F., ed. Discipleship in the New Testament. Philadelphia, 1985. P.1-24.

⁴⁹ Рассматривая проблему «оставления всего», Х.Квалбейн подчеркнул, например, что призыв Иисуса последовать за Ним связан с Его разговором с богатым человеком (Мк 10: 17-30). Этот призыв, с его точки зрения, преодолевает требования Закона, предъявляемые к данному человеку, и потому требует от него оставления собственности, профессии, семьи – ради самовоспитания. Призыв к следованию как условие наследования вечной жизни – центральная тема трех первых евангелий, призыв же к ученичеству, по Квалбейну, – это призыв к служению, связанный с проповеднической и крещальной миссией, которые требуют полной отдачи сил, разума, времени, чувств и т.д. Таково основное, по Квалбейну, значение «следования» Иисусу. Если призыв к покаянию, принесенный Христом, направлен ко всему народу, убеждая людей коллективно обратиться к Богу, то призыв к ученичеству обращен к индивидуальным личностям, которые через отклик на этот призыв связываются с личностью Иисуса и призваны следовать ему. В Деяниях же призыв к ученичеству становится призывом, относящимся ко всем христианам (Деян 11:26), что усиливает тему подражания как пути к любви (См.: Kvalbein H. The Kingdom of God in the Ethics of Jesus// Studia Theologica, 51, 1997. P.60-84).

Важной темой выступает для историка образования терминологический анализ наименований учеников Иисуса. Одни из учеников, если основываться на новозаветном нарративе, именовали себя рабби (то есть учителями), другие – категетами (наставниками), что особенно ярко прослеживается в евангелии от Матфея (Мф 23: 8-10). Некоторые специалисты видят в этом близость сознания Иисуса и его учеников эллинизированному иудаизму, поскольку в соседних стихах помещены сходные термины на иврите и на греческом; другие же, наоборот, подчеркивают на основе этого отличие кружка Иисуса и от ветхозаветных школ, и от школ античных, поскольку Иисус критикует подобные порывы к поименованию. К.Штендаль даже считает, что данное место из Евангелия от Матфея подтверждает, а не разрушает его тезис о существовании особой школы вокруг апостола и евангелиста Матфея, подчеркивавшего статус Иисуса как единственного учителя и наставника в его школьной общине⁵⁰.

Американские специалисты-текстологи, работавшие с новозаветными текстами (А.Нок, Эд.Хэтч, В.К.ван Унник и др.), подчеркнули, что в первом столетии нашей эры была налицо ситуация, когда и иудеи, и греки, и христиане работали примерно с одним и тем же по проблематике этическим материалом, восприятие и передача которого в традициях их культур были именно «школьной заслугой». Иными словами, сама проблема терминологической четкости «снимается», поскольку разговор велся, с их точки зрения, примерно на одном и том же содержательном «языке», которому соответствовали свои термины на иврите, греческом, арамейском, латыни и т.д. Хотя варианты решения проблемных вопросов предлагались различные, считают они, все же в методах преподавания можно найти немало общего⁵¹.

М.Уилкинс ставит вопрос об узком и широком употреблении термина «ученик». С его точки зрения, в широком смысле так в Новом Завете мог именоваться всякий верующий во Христа. Если в Мф 11:1 или Мф 10:2 мы видим узкое применение термина лишь к двенадцати ближайшим ученикам (иногда говорится о 70 или 72-х таких учениках Иисуса), то – пишет М.Уилкинс – в Евангелиях от Луки и Иоанна выделенное слово применимо уже к широкой группе следующих за Иисусом (Лк 6:17; 19:37; Ин 6:60, 66), а в помещенных за евангелиями Деяниях Апостолов рассматриваемый термин относится уже к каждому верующему во Христа.

В терминологических штудиях зарубежных ученых немалое место занимает исследование дефиниций, применяемых к неиисусовым ученикам

⁵⁰ Stendal K. The School of St. Matthew And Its Use of the Old Testament. 1st. ed. 1954. 2d ed. Philadelphia, 1968. P.30.

⁵¹ Nock A.D. Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo. Oxford, 1933; Hatch E. The Influence of Greek Ideas on Christianity. N.-Y., 1957; Cornelius van Unnik W. First Century A.D. Literary Culture and Early Christian Literature// Nederlands Theologisch Tijdschrift, 25, 1971. P.28-43.

– ученикам фарисеев, книжников, Иоанна Крестителя и др. Старшие современники М.Уилкинса из Германии (Э.Фашер, А.Шульц и др.) показали, что первые (ученики раввинов), как правило, представлены в текстах не разделяющими судеб своих наставников⁵². Немецкие комментаторы новозаветных текстов сделали также важное замечание о том, что прохождению цикла ученичества и в иудейской школе, и у Иисуса было равно связано с обретением мудрости (которая, правда, понималась по-разному).

Исследование новозаветного нарратива в ракурсе истории воспитания позволяет поразмышлять и над такой темой как *требовательность* Иисуса-учителя к своим ученикам, поскольку она, как известно, была уникальна и, пожалуй, ни в каких иных древних школьных традициях (за исключением, вероятно, только Древней Индии) не отмечена. *Услужение* учителю было известно и до Христа (например, ученикам фарисеев и раввинов). Обученный ученик раввина мог вступить в спор с учителем и даже победить его... Заботой же Иисуса была выработка в учениках *доверия* к себе⁵³, а отнюдь не только сообщение информации или построение логического доказательства в том или ином вероучительном вопросе⁵⁴. Ученичество в кружке Иисуса не было переходным состоянием между несмышленостью и духовной зрелостью: учившиеся у него никогда не прекращали своего учения, чем бы им ни приходилось заниматься после смерти и Воскресения Христа. Нет ни одного персонажа, который бы *стал на время* учеником Иисуса, а потом перестал бы им быть.

Известно также, что Иисус подчеркивал: вступление в число его учеников влечет за собой необходимость принять страдание. Конечно, идея страдания за учение была известна иудаизму и Древнему Миру вообще, но не в императивной форме. Кроме того, в раввинских школах ученики были прежде всего носителями знания, а у Иисуса – свидетелями и участниками его служения и лишь затем хранителями и трансляторами традиции.

⁵² Fascher E. Jesus der Lehrer: Ein Beitrag zur Frage nach dem "Quellort der Kirchenidee"// Theologische Literaturzeitung, 79, 1954. S.325-342; Schulz A. Nachfolgen und Nachahmen: Studien ueber das Verhaeltnis der neutestamentlichen Juengerschaft zur urchristlichen Vorbildethik// Studien zum Alten und Neuen Testament, 6, 1962; Idem. Juenger des Herrn: Nachfolge Christi nach dem Neuen Testament. Muenchen, 1964.

⁵³ «Слово вера (pistis по-гречески, fides по-латински) имеет более глубокий смысл, нежели тот, который придают ему люди сегодня, – согласие разума с набором правил и предписаний. Прежде всего оно означает *доверие*, безусловную преданность, полную отдачу себя тому, кому должно повиноваться и за кем должно следовать, что бы ни случилось» (А.Шмеман. Водой и Духом: о таинстве крещения. М., 1993. С.36).

⁵⁴ См.: Безрогов В.Г., Крихели О.В., Матулис Т.Н. Педагогика Ближнего Востока в эпоху институционального становления// От глиняной таблички – к университету: Образовательные системы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья. М., 1998. С.302-373.

Новая – по сравнению с ветхозаветной – педагогика I в. новой эры основывалась также на важном тезисе о продолжении персональной связанности с Учителем после его Воскресения. В этом аспекте, как подчеркивается в некоторых публикациях, учеников Иисуса можно сравнить с учениками обожествленных античных мудрецов – Пифагора, Платона, Эпикура⁵⁵. Один из знатоков новозаветных текстов, германский историк и теолог М.Хенгель особо подчеркнул важность сопоставления сведений об учениках Иисуса, изложенных Марком и другими евангелистами, со сведениями об учениках Эпиктета⁵⁶.

Особой темой в зарубежной историко-религиозной историографии является рассмотрение эсхатологических настроений в кругу учеников Иисуса. Эта проблема также существенна для историка образования, поскольку ставит вопрос об «историческом контексте» внедрения тех или иных знаний (иными словами: насколько оправдано обучение как таковое, если впереди – апокалипсис). Вышеупомянутый М.Хенгель сравнивал поэтому учеников Иисуса с пророками, предрекавшими в Палестине конец мира и истории, а также с последователями экстремистски настроенных по отношению к римскому господству зилотов.

Однако стоит обратить внимание на выделенную другим историком тему духовного врачевания, исполняемого учениками Иисуса, которое, по его словам, «сняло» проблему беспросветности и безрадостности земного будущего в оккупированной римлянами Палестине. Община учеников Христа была незамкнута, незотерична. Наставник практиковал общие с учениками трапезы (что характерно для многих школ древности, но лишь Иисус сделал трапезы открытыми для людей, причем использовал время трапезы также для проповеди⁵⁷).

Иисус придавал ученикам высокий статус («Вы – соль земли», Мф 5:13). Последнее обстоятельство связано с важностью для новозаветной педагогики роли учеников Иисуса как будущих преподавателей («Вы – свет мира», Мф 5:14) – и в этом просматривается кардинальная укорененность в социуме апостолизма как типа учительства⁵⁸. В позднем раввинизме установилась традиция, согласно которой высказывание учителя становилось обязательным для учеников и всегда сообщалось вместе с

⁵⁵ Robbins V.K. *Jesus the Teacher: A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark*. Philadelphia: Fortress, 1984.

⁵⁶ Hengel M. *Nachfolge und Charisma: Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8:21f. und Jesus Ruf in die Nachfolge// Beiheft zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, XXXIV*. Berlin, 1968. S.16-82.

⁵⁷ Culpepper R. A. *The Johannine School: An Evaluation of the Johannine School Hypothesis Based on an Investigation of the Nature of Ancient Schools*. PhD Thesis. Department of Religion, Duke University, 1974. P.356.

⁵⁸ Gerhardsson B. *Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity*. Uppsala, 1961.

именем его высказавшего⁵⁹. В этом смысле Иисус учил как рабби, его ученики обучались как школяры у рабби, и после смерти Иисуса они образовали раввинскую академию, продолжавшую, развивавшую и увековечивавшую его учение и его историю раввинскими методами⁶⁰. Правда, в Евангелии от Матфея (7:29), говорится, что Иисус не учил так, как писцы. Евангелие от Иоанна (7:15) и Деяния Апостолов (4:13) сообщают, что и Иисус, и уж тем более Петр и Иоанн были неучеными людьми, «некнижными и простыми». Некоторые ученики Христа были, вероятно, и вовсе неграмотными. Если раввины работали с учениками, происходившими достаточно часто из образованных семей, то Иисус – по преимуществу с выходцами из лиминальных римских и еврейских слоев.

Сложным и довольно запутанным вопросом является и относящийся к теме ученичества вопрос о форме изложения материала, который условно можно назвать «учебным». М.Смит полагает, что евангельский материал – в основном нарративен, раввинистический – имеет изъяснительно-толковательную форму, с характерным для нее набором вопросов, спрашиваемых в регулярной последовательности (такая форма организации учебного материала обязана школе и школьным формам меморизации). Раввинские приемы преподавания – это, в сущности, объяснения, разъяснения, сведение обсуждаемых вопросов к фиксированным паттернам опирающихся на авторитет вердиктов, обсуждение их в фиксированных формулах (устойчивых словосочетаниях). К ним можно отнести также такие мнемонические техники как использование слов, составленных из начальных букв того, что следовало запомнить; нумерация того, что входит в одну группу (класс явлений), или того, что отличается одно от другого.

К сожалению, новозаветные тексты не дают оснований для поисков чего-то подобного. Большинство евангельских повествований рассказывались для проповедования (гомилетика), в них почти не было фиксированных мнемонических формул и они не несли никаких следов схоластицизма (то есть рационализированной учености). Нет в Новом Завете обычных для Талмуда ссылок на необходимость повторения священных текстов ради меморизации [такая роль возложена на учеников – В.Б.] – лишь общие увещевания помнить то, что было сказано (Ин 15:20сл.; 16:4, 21; Деян 20:35; 20: 31; Лк 24:8, 14сл.; ср.: насмешка над раввинской практикой – Ин 9:27; рассуждение о юридическом традиционализме см.: Мк 7:8). Отсюда – важный для историка педагогики – вывод о специфичности требований к ученикам со стороны Иисуса как Наставника по сравнению с окружавшей его школьной средой.

⁵⁹ Smith M. A Comparison of Early Christian and Early Rabbinic Tradition // Journal of Biblical Literature, 82, 1963. P.169-176.

⁶⁰ Gerhardsson B. Memory and Manuscript. Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity. Uppsala, 1961. P.201ff.

Можно и необходимо, читая новозаветные тексты, поднять вопрос об идее *подражания Христу*, которая впоследствии, уже в постновозаветные времена, стала одним из основополагающих принципов христианской педагогики в целом.

Известно, что идея и принцип *Imitatio Christi* прочно вошли в средневековый воспитательный идеал католической церкви⁶¹. Проследивая историю возникновения этой идеи, исследователи новозаветного времени предпочитают отмечать, что сам Иисус говорил о *следовании* ему, но не о подражании. То есть при жизни Иисуса и во времена апостольские в среде иисусовых учеников и первохристиан господствовал скорее *отклик*, вера и благодарность, нежели прямое подражание⁶².

Тема учеников вокруг Иисуса, как выше уже отмечалось – это и тема соотношения в богочеловеке Господа и Учителя (этой проблеме посвящена целая книга немецкого историка А.Шульца⁶³). Позже соотечественники А.Шульца⁶⁴ рассмотрели понятие и поведенческие паттерны «подражания» в контексте педагогических культур древнего Средиземноморья и сопоставили содержание этого понятия с его значением в теологии апостола Павла⁶⁵.

Своеобразный итог изучению темы «ученичество в Новом Завете» подвел одноименный сборник статей⁶⁶. В.Келбер, Р.Эдвардс, Ч.Тальберт, Ф.Сеговия рассмотрели ученичество в узких рамках педагогической системы отношений «учитель – ученик» скорее в техническом, чем в общекультурном смысле. У.Курц, Р.Уайлд, Э.Ш.Фиоренца, Л.Джонсон и Дж.Эллиот, напротив, показали свое отношение к институту ученичества как к широкому понятию, включаемому в обсуждение проблем повседневного существования любого христианина как такового. С их точки зрения, самопонимание ранних христиан как верующих и верящих в Христа уже само собой предполагало их «христианскую экзистенцию» как его духовных учеников. Оценивая эту точку зрения, можно назвать ее «ланпедагогической», поскольку перечисленные авторы представили христианскую эдукологическую систему по сути системой непрерывного образования, постоянного назидания и непрекращающегося обучения, поскольку только

⁶¹ См.: Constable G. Three studies in medieval religious and social thought: the interpretation of Mary and Martha; the ideal of the imitation of Christ; the orders of society. Cambridge, 1995.

⁶² Schulz A. Unter dem Anspruch Gottes: das neutestamentliche Zeugnis von der Nachahmung. Muenchen, 1967.

⁶³ Schulz A. Nachfolgen und Nachahmen. Studien ueber das Verhaeltnis der neutestamentlichen Juengerschaft zur urchristlichen Vorbildethik. Muenchen, 1962.

⁶⁴ Betz H.D. Nachfolge und Nachahmung Jesu Christi im Neuen Testament. Tuebingen, 1967.

⁶⁵ Hengel M. Nachfolge und Charisma. Eine Exegetisch-religionsgeschichtliche Studie zu Mt 8,21f und Jesu Ruf in die Nachfolge. B., 1968.

⁶⁶ Segovia F.F., ed. Discipleship in the New Testament. Philadelphia, 1985.

постоянно учащийся и обучаемый – и в ветхозаветной и в новозаветной педагогических культурах – считался праведником⁶⁷.

Наиболее дискуссионной из статей сборника можно назвать работу В.Келбера – знатока евангельского текста от Марка⁶⁸. Задавшись целью понять, на чем основан типичный для этого евангелиста мотив критики учеников, их несоответствующего учителю поведения, постоянной глупости и непонимания Учителя, раздоров между собой и т.п., В.Келбер проанализировал пути сохранения устной традиции об Иисусе и его учениках и пришел к выводу, что текст Марка – это своеобразная негативная реакция на эту традицию. Евангелист Марк в этом случае должен рассматриваться как успешный и мудрый учитель в своей общине, включивший в «учительскую работу» всю имевшуюся традицию, превративший ее в некий «нарратологический инструмент» обучения⁶⁹.

Особый характер описания ученичества в Евангелии от Иоанна – предмет рассмотрения Ф.Сеговии⁷⁰ – позволил современным толкователям новозаветных текстов сделать существенный для специалистов по истории воспитания вывод о том, что уверование есть процесс постепенного понимания Учителя и необходимости миссионерской активности. Бесконечный антагонизм с миром и исключительное понимание себя как «детей Бога», явленные через описание ученичества, показали тем самым специфику и своеобразие обучения тех, кто с готовностью порвал с обычной жизнью.

Цель автора статьи – помочь читателю сделать вывод об актуальности изучения текстов Нового Завета с точки зрения истории воспитания и религиозной антропологии. Эпоха раннего христианства и особенно первый век новой эры – время кардинальных ломок и трансформаций социальных и культурных структур, равно как связанных с ними изменений в истории педагогических традиций. Наши знания об Иисусе как учителе сохранились благодаря постепенному преобразованию христоло-

⁶⁷ См.: Безрогов В.Г. Сущностные черты средневековой педагогики// Послушник и школяр, наставник и магистр. Средневековая педагогика в лицах и текстах. М., 1996. С.9-14.

⁶⁸ Werner H.K. Apostolic Tradition and the Form of the Gospel// Segovia F.F., ed. Discipleship in the New Testament. Philadelphia, 1985. P.24-46.

⁶⁹ Критикуя работу Репло Дж.Ламбрехт пишет, что поскольку Марк стремился все же создать «объективный нарратив», объективное для раннего христианина евангельское повествование как совокупность сведений об историческом Иисусе, его все же можно назвать не только педагогом, но и историком, тем более что в понятии «евангелист» объединены оба эти смысла. См.: Lambrecht J.// Biblica, 52, 1971. P.278-281.

⁷⁰ Fernando F.F. "Peace I Leave with You; My peace I Give to You": Discipleship in the Fourth Gospel// Segovia Fernando F., ed. Discipleship in the New Testament. Philadelphia, 1985. P.76-102.

гии в теологию, причем процесс этот затронул и педагогическую традицию первых веков нашей эры. Значимость истории становления христианской педагогической традиции, оказывающей свое подчас незаметное, подспудное влияние на современные представления о воспитании и образовании, вряд ли кто-нибудь возьмется опровергнуть.

Христианская педагогика обладает большой степенью сенситивности, так как поднимает неразрешенные социумом педагогические проблемы. Среди них – вопрос об «особости» суггестивных воздействий на обучаемых, ведь вера, определявшая и жизнь, и обращение к универсуму, ставила индивида в новозаветные времена в такие отношения с учителем (выступавшим как некий Абсолют, чем бы он ни был и как бы ни назывался), какие можно назвать идеальными или модельными для дидактического процесса. Учительность христианства, пронизывавшая всю его сознательную репрезентацию как веры и мировоззрения, задавала некую «идеальную педагогичность» всей традиции, позволяя ей отрабатывать те процедуры, какие были менее апробированы либо практически не «работали» без идеологизации Учителя и веры в него.

Христианская педагогика той или иной эпохи – исторична. По отношению к ней новозаветная педагогика выступает до известной степени нормативной категорией для всех времен после первых веков новой эры (хотя начиная с указанного времени и на протяжении столетий восприятие новозаветных текстов тоже было различным).

Однако нравственно-воспитательное основание, заложенное христианством, оказалось работающим, как мы видим, и в иных, в том числе современных, условиях. Чтобы понять, как это происходит, исследователь истории воспитания может и должен дать «обогащенное сырье» современным теоретикам педагогической мысли, равно как и педагогическим психологам, рассматривающим проблему религиозной социализации⁷¹. Такой материал он может предоставить, реконструировав ту идеальную конструкцию протохристианства и раннего христианства, которая стала фундаментом последующего исторического развития воспитательных и дидактических идей и подходов, формирования христианской интеллектуальной традиции религиозного воспитания и обучения.

⁷¹ Из их последних работ см.: Лоскутов В.В., Иванов М.Д. К проблеме влияния духовно-религиозного опыта на трансформацию личности// Психологические проблемы самореализации личности. Под ред. А.А.Крылова, Л.А.Коростылевой. СПб.: СПбГУ, 1998. С.157-165; Семенов В. Учителство и преемство традиций в старчестве// Культура на защите детства. Тезисы докладов и сообщений V Международной конференции «Ребенок в современном мире: права ребенка». СПб.: Омега, 1998. С.228-229; Дубова Е.Т. Духовный кризис в современной России как религиозно-психологическая проблема// Журнал прикладной психологии, 3-4, 1999; и др.

М.П.Айзенштадт

Исторические взгляды британских либералов двадцатых годов XIX века

Проблемы развития исторической мысли получают широкое освещение на страницах «Альманаха». В настоящей статье эта тема раскрывается не в традиционном ракурсе, не с точки зрения исследования концепции того или иного автора. В центре внимания анализ взглядов на историю общества, британского либерального журнала «Эдинбург Ревью», или критическое обозрение». С одной стороны, они являлись компонентом либеральной идеологии, с другой – важным фактором формирования исторического мировоззрения рядового читателя. Речь идет о восприятии истории, ее задач и назначения; требований, которые предъявлялись к историческим исследованиям и историкам; как виделся исторический процесс и история отдельных стран; какие исторические личности в наибольшей мере привлекали внимание британских либералов на протяжении двадцатых годов XIX в.

Интерес к данному изданию обусловлен как необычайной популярностью журнала, так и избранным периодом становления исторической науки в Англии. Это было время взлета романтического взгляда на историю, чему в значительной степени способствовали популярные романы Вальтера Скотта, который обратил внимание общества на человека, его повседневную жизнь в прошлом¹.

В истории Великобритании двадцатые годы XIX века не отмечены столь яркими событиями как предшествовавшие или следовавшие десятилетия. Возможно, в силу этого они и не стали предметом особого изучения исследователей, зачастую характеризовавших этот период в истории страны как время «социального мира»² и обращавшихся к иным сюжетам. Оставаясь своего рода «промежутком» между двумя периодами значимыми не только для британской, но и европейской истории, двадцатые годы явились в то же время и связующим звеном между ними, сыграв важную роль в процессе выработки либеральной и консервативной идеологий, формировании действенного общественного мнения, оказывавшего влияние на властные институты. Об этом свидетельствует ряд факторов социально-политической жизни страны; среди которых необходимо отметить начало либерализации экономической политики

¹ Hale J.R. The evolution of British historiography. Cleveland, N.Y., 1964. P.36.

² См., например: Thompson E. The Making of the English Working Class. L., 1968. P.711.

британского правительства, отмену так называемых тест-актов, ограничивавших гражданские права католиков и диссентеров; создание разнообразных общественных организаций, углубление процесса размежевания политических сил, становление либерально-радикальных и консервативных взглядов на прошлое и пути дальнейшего развития королевства, возрастание роли прессы и т.д.

Дальнейшее формирование либеральных и радикальных концепций и усиление значения прессы в жизни общества тесным образом связаны между собой. Политическая и идеологическая полемика по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики королевства вышла в эти годы за рамки парламента и аристократических салонов и выплеснулась на страницы газет и журналов.

Среди популярных либеральных изданий рассматриваемого периода журнал «Эдинбург ревью» занимает особое место. Он был основан в 1802 г. группой молодых шотландских адвокатов и предпринимателей, когда виги, находившиеся в оппозиции, занимали крайне слабые позиции в парламенте. Идея публикации журнала, который бы громко заявил о взглядах вигов, освещал их мнение по наиболее важным общественным, научным и политическим проблемам, пришла к Сиднею Смиту, тридцатилетнему политику, принадлежавшему к группе вигов-реформаторов³. Во время пребывания в Эдинбурге весной 1802 г. Смит поделился ею с друзьями, проект издания вызвал горячую поддержку. Генри Брогэм и Фрэнсис Джеффри находились в числе той небольшой группы эдинбургцев. Первый, впоследствии известный политический деятель и публицист, стал активным сотрудником, автором многих статей, а Джеффри – редактором «Обозрения» до 1829 г., приобретя репутацию сурового критика. Уже издание первого номера осенью, 1802 г. произвело, по отзывам современников, ошеломляющее впечатление⁴. Авторы, как и намеревались, с самого начала заняли активную позицию, встав в центр политической борьбы, происходившей в начале века.

«Эдинбург Ревью» довольно быстро приобрел известность в Великобритании, а вскоре и в Европе, сыграв важную роль в оживлении и распространении либеральных идей в обществе. Его популярность побудила тори и радикалов приступить к изданию собственных «Обозрений». По словам видного британского историка Дж.Тревелияна, журналы, каждый по своему, готовили умы нации к грядущим битвам⁵, которые происходили в 30-40-е годы. В 1826 г. «Эдинбург ревью» отмечал, что

³ В отличие от радикалов эта группировка рассматривала реформы не как основную цель своей деятельности, а скорее как тактическое решение в борьбе с тори за власть, в выступлениях против короны// Roberts M. The Whig Party 1807–1812. P.276-277.

⁴ The Cambridge Modern History. Cambridge, 1907, v.IX. P.687.

⁵ Trevelyan G.M. British history in the Nineteenth century and after. L., 1937. P.181.

«никогда еще Пресса не была столь могущественна, как сегодня», что, по мнению журнала, выражалось в увеличении числа изданий по всем вопросам, а следовательно – увеличении и численности читателей. Именно читатели, утверждали авторы, и были тем слоем населения, который формировал общественное мнение⁶. К концу двадцатых годов, отмечает исследователь истории британской прессы А.Аспиналь, интерес общества к прессе, печатному слову возрос необычайно. Страна буквально переживала «подписной» бум, когда газеты и журналы поступали не только в дома жителей, но и клубы, кофейни и читальни, где они лежали на столах, а посетители с 6 утра до 10 вечера могли ознакомиться с их содержанием. Одним из наиболее востребованных журналов был «Эдинбург ревью»⁷. О его популярности в Европе в двадцатые годы свидетельствуют также факты, приводившиеся в текстах отдельных выпусков журнала. Так, пребывавший в изгнании Наполеон был знаком по крайней мере с номером, содержащим обзор книг, посвященных ему⁸. Комплекты журнала пополняли библиотеки и русских либеральных деятелей и писателей.

Содержание каждого номера журнала распадалось на две неравные части. В первой, большей по объему, помещались обзоры, вернее рецензии на вышедшие из печати книги, брошюры или памфлеты, во второй – список новых публикаций, знакомство с которым позволяет представить состояние исторической литературы. Ежеквартальный перечень содержал два раздела непосредственно относившихся к истории; это – собственно история и выделенные в отдельный раздел биографии. Проведенный подсчет количества изданных книг позволяет утверждать, что каждые три месяца в стране издавалось от 6 до 12 книг по истории, и значительно большее число – биографического характера. Спад издательской деятельности наблюдался в середине десятилетия, что было связано с разразившимся экономическим кризисом. В издательском деле он был довольно быстро преодолен и количество публикаций во второй половине двадцатых годов было восстановлено. Они отличались чрезвычайно разнообразной тематикой, однако преобладали книги, связанные с историей Англии, Ирландии и Шотландии.

Обзоры публиковались анонимно, но известно, что основными авторами в двадцатые годы были Ф.Джеффри, Г.Брогэм, Д.Макинтош, а с середины десятилетия к ним присоединился молодой начинающий публицист Т.Б.Маколей⁹. В задачи настоящего исследования не входит

⁶ The Edinburgh Review, or critical journal. 1826, v.44. № LXXXVIII. P.459.

⁷ Aspinall A. Politics and the Press 1780-1850. L., 1949. P.26.

⁸ Edinburgh Review. 1822, v.37. № LXXIII. P.166.

⁹ Ляляев С.В. Эстетика истории: «История Англии» Томаса Бабингтона Маколей // Диалог со временем. 1999. №1. С.223-231; Барро М.В. Маколей. Его

установление авторства каждой статьи, напротив, интерес представляет взгляды анонимного либерального автора, внимание которого было сконцентрировано на наиболее актуальных проблемах политического, экономического и социального характера, событиях научной, литературной и культурной жизни общества. В силу этого тема «истории», на первый взгляд, не была преобладающей. К тому же форма – критические обзоры – безусловно, не способствовала наиболее полному раскрытию позиции самого автора, вынужденного рассуждать по конкретному поводу, который, зачастую, не был связан с историей. Однако при ближайшем рассмотрении читателя буквально поражает историзм, исторический подход к важнейшим вопросам современности. Так, осмысление состояния дел в стране и на континенте проходит сквозь призму их предыстории, глубокого и тщательного рассмотрения различных ситуаций, фактов и событий, которые лежали в их истоке. Достаточно привести лишь несколько примеров для иллюстрации этого. Говоря о современном состоянии Шотландии, необходимости пересмотра закона 1707 г.¹⁰, автор утверждал, что на протяжении семнадцатого столетия в Англии произошли важнейшие изменения, которые не затронули Шотландию, одновременно он анализирует их, довольно подробно останавливаясь на характеристике этих преобразований¹¹. В то же время взаимоотношение держав на континенте автор самым тесным образом связывает с историей их взаимоотношений в конце XVIII – начале XIX вв.¹². Осуждение союза монархов постепенно нарастает к середине десятилетия – времени пересмотра Британией своей внешнеполитической концепции, что также не обходится без экскурсов в прошлое¹³.

Политика теснейшим образом связывалась с историей, современное состояние, сила или слабость нации – с исторически сложившимся политическим устройством той или иной страны¹⁴.

Так что же такое история, для чего она нужна обществу? Какой она должна быть?

Идея прогресса была присуща либерализму и самым естественным образом она связывалась с историей, которая рассматривалась, как «постепенный прогресс цивилизации»¹⁵. При этом авторы журнала с уверенностью заявляли, что «история человечества не вращается по кругу, а

жизнь и литературная деятельность. С.-П., 1894. С.28-32; *Hamburger J. Macauley and the Whig Tradition*. Chicago, 1976. P.78-79.

¹⁰ В 1707 г. был принят акт о слиянии Англии и Шотландии в единое государство Великобританию.

¹¹ Office of Lord Advocate of Scotland. 1824, v.39. № LXXVIII.

¹² Spain. 1823, v.38. № LXXV. P.243-264.

¹³ Present Policy. 1824, v.39.

¹⁴ Partitions. 1822, v.37. P.468.

¹⁵ Combination Law. 1824, v.39. P.315.

продвигается вперед по спирали»¹⁶. Такой вывод вытекал из убеждения, что общество не может полностью возвратиться в прошлое. Яркий пример реставрации монархии во Франции подтверждает этот тезис. Правители вернулись на трон, но не в прежнюю ситуацию, страна за годы их отсутствия существенно изменилась¹⁷. При этом авторы были убеждены, что этот процесс не протекает одинаково, охватывая все общества: «цивилизация не всегда продвигается единообразными шагами; часто особые обстоятельства сохраняют в обществе институты, которые принадлежат к более ранним стадиям и не гармонируют с его теперешним состоянием»¹⁸. Либералы – сторонники теории стадийного развития общества – рассматривали цивилизацию, как высшую ступень развития человечества, которой предшествовали периоды дикости (*savage existence, natural period*) и варварства (*barbarism*). Среди современных европейских стран лишь Россия выделялась ими как страна варварская и дикая, которую не смог цивилизовать ни «гений Петра»¹⁹, ни усилия «талантливой», «выдающейся женщины» – Екатерины, пытавшейся проводить просвещенную политику, как и другие монархи Европы²⁰. Варварской стадии развития соответствовал и стиль правления, и состояние общества. Так, русские цари обычно характеризовались как «русский тиран», «северный деспот»²¹, а сама страна – как «орды варваров»²².

«Большая кисть истории» призвана «с восторгом» обрисовать достоинства интеллекта, энергию характера, их обширные и исчерпывающие возможности²³. Либералы разделяли утверждение просветителей о том, что история обладает важнейшим моральным эффектом, служит усовершенствованию гражданских чувств и моральных принципов читателя: «Наши привычные моральные убеждения формируются самой жизнью; и они усиливаются, упрочиваются благодаря той картине, которая отражает жизнь». И роль этой картины играет историческое произведение: «Описание событий, которые произошли, или, возможно, могли произойти, являются тем самым одной из важнейших частей морального воспитания человечества». История интересна и оказывает «моральное воздействие», но она также имеет и иное, практическое значение, а именно – дает советы политикам и «совершенный» материал мыслителю, философу²⁴. Эта функция была теснейшим образом связана с со-

¹⁶ *Present Policy*. 1824, v.39. P.285.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ashantee*. 1824, v.41. P.338.

¹⁹ *Partitions*. P.474. См. также: *The Bourbons*. 1823, v.39. P.108; etc.

²⁰ *Clarke's Travels*. 1823, v.39. P.157.

²¹ См., например: v.36. P.74; v.38. P.108; v.40. P.312; etc.

²² *Prussia*. 1825, v.42. P.469.

²³ *English and French literature*. 1821, v.35. P.176.

²⁴ *Sismondi's History*. 1821, v.35. P.493.

временностью. Сегодняшний день, утверждал автор обзора, побуждает читателя интересоваться событиями прошлого. Так, судебное противостояние дает толчок более пристальному вниманию к обвинениям против королевы Шотландии; политические реалии – заставляют выяснять, кто был автором Писем Юниуса и т.д.²⁵

История (как повествование) нуждается в свободе, иначе там, где нет политической свободы, ее задачи неизбежно ограничиваются простой компиляцией, софистикой и риторикой. Тем самым написанное произведение оказывается «лишенным вдумчивого анализа и суждений о характере гражданских дел»²⁶.

Современное состояние исторических работ не удовлетворяло авторов журнала. Особое место в критических размышлениях занимал неоднократно поднимавшийся вопрос о возможности ознакомления с источниками, которым отводилось весьма значимое место. Каждый раз указывалось на отсутствие полных и точных публикаций из парламентского и других архивов, коллекций работ древних историков²⁷. Автор утверждал: нельзя доверяться лишь предшественникам, писателям отдаленных времен, хотя и нужно сверяться с ними. «История давно прошедших времен основывается главным образом на жизненном и ярком представлении о людях, их образе жизни и произошедших событиях. А это можно обнаружить в драматических произведениях очевидцев или современников, которые всегда видели то, что они описывали». Их произведения на протяжении времен переписывались, постепенно теряя свой «шарм». Историк у надо обязательно обратиться к первоисточнику²⁸. Он должен придерживаться принципа недоверия к фактам, не принимать на веру свидетельства без их тщательной проверки, осмысления тех или иных версий, без размышлений о той базе, на которой они строятся²⁹.

Порой возникает сравнение истории и литературы. Такая постановка вопроса была вполне естественной в двадцатые годы, времени плодотворной деятельности Вальтера Скотта. В начале двадцатых годов между историческим и литературным произведением еще не было проведено четкой разграничительной линии, хотя она и обозначилась. История, утверждал автор в 1823 г., как и историческая литература, призвана полнее рассказать о реальных людях. Осуществлению этих задач служат хроники королей, подробное хронологическое описание сражений и побед, дела двора, армий, взлет и падение партий и т.д. Однако для более глубокого изучения прошлого этого недостаточно³⁰. Недостаточно и простого описа-

²⁵ Icon Basilike. 1825, v.43. P.2.

²⁶ Sismondi's. P.491.

²⁷ Ibid. P.490. См. также: Illustrative of English History. 1827, v.46. P.195; etc.

²⁸ Ibid. P.492.

²⁹ Brodri's Constitutional History. 1824, v.40. № LXXIX. P.95.

³⁰ English Tragedy. 1823, v.38. № LXXV.

ния событий, какие можно встретить во многих книгах. Нам, утверждал автор рецензии на очередные опубликованные мемуары, интересны тайные, секретные пружины действий людей, их личные взгляды и мнения индивидуума³¹. К концу десятилетия, в 1828 г., высказанные соображения получили некоторое развитие. История характеризовалась как область литературы, но область дискуссионная, лежащая между Разумом и Воображением. Перекос в любую сторону повлечет за собой преобладание одного из них, и тогда произведение превратится либо в вымысел, либо в сухую теорию. Историк должен владеть воображением настолько сильным, чтобы он смог сделать свое повествование реальным и красочным, согласованным с историческим материалом³². Однако уже к концу года, судя по стилю и основным положениям, тот же автор утверждал, что история разделилась на два вида сочинений, из которых один сопоставим с картой, другой – с нарисованным ландшафтом. И если картину прошлого могла предоставить лишь литература, то точное руководство по путешествию в прошлое – только историческое произведение³³.

«Как существует история какой-либо страны, так и должны быть историки»³⁴. «Историк – не шут и не сатирик. Он не должен глумиться или смеяться над человеком, либо же принижать его природу»³⁵, задача историка заключается в том, чтобы провести основную линию, не отвлекаясь на второстепенные события незначительного характера³⁶. Его долг состоит в том, чтобы освободившись от предубеждения и пристрастий, обратиться к различным документам и написать свою историю. Как в начале десятилетия, так и к его концу, в журнале подчеркивалось, что работа историка состоит в определении главных исторических фактов и эпизодов, отделении главного от второстепенного, связи между которыми должны быть даны лишь «легкими мазками»³⁷.

В рецензии на «Конституционную историю Англии» обосновывается тезис о методах написания исторического произведения, выбор которых зависит целиком от воли автора. Первый, наиболее простой, состоит в изложении приведенных в порядок фактов в их последовательности, сопровождаемых размышлениями морального характера, связанных с наиболее поразительными событиями. Такое произведение представляет собой простое повествование и характеризуется как точность. Второй – более сложный, требующий «заинтересованности большого таланта». Это не просто отбор и изложение фактов, а труд, содержащий «автори-

³¹ Memoirs of the Reign of George II. 1822, v.37. № LXXIII. P.2.

³² History. 1828, v.47. P.331, 337-338.

³³ Hallam's Constitutional History. 1828, v.48. P.197.

³⁴ English and French literature. P.176.

³⁵ Sismondi's History. P.491.

³⁶ Memoirs of the Reign of George II. P.2.

³⁷ History. P.338.

тетное суждение» о мудрости или глупости, достоинствах и недостатках как всех действующих лиц, так и их поступков. Задача автора – проследить важнейшие события от их причин до последствий. Тем самым историк призван не просто излагать произошедшие события, но и дать теорию их связи и взаимозависимости, глубже познавая их истинный смысл и значение, чем то, которое придавали им современники³⁸. Именно этот метод и востребован теперь, утверждает автор другого обзора, вновь подчеркивая эту же мысль и несколько развивая ее. Историк должен «показать действия и события в их взаимосвязи с мотивами или причинами, лежавшими в их основе; проследить развитие или упадок тех институтов, которые время совершенствовало или разрушало, в общем представить правдивый список политической мудрости и опыта прошлого»³⁹.

В обзорах журнала со всей очевидностью применяется второй прием, исторические события становятся поводом для размышлений, морализаторства авторов. Однако при их написании довольно часто используется также и сравнительный метод, в основе которого лежит глубокое, прекрасное знание исторических событий и персонажей. Сравниваются истории политического развития стран, английская и французская революции, Мария Стюарт и Мария-Антуанетта, Кромвель и Наполеон и т.д. Можно встретить также и сравнительный анализ исторических источников, как например это было при рецензировании воспоминаний королевских особ⁴⁰.

Биографии представлялись современникам самостоятельным жанром, об этом свидетельствует не только его выделение в листе публикаций, но и особое отношение к знаменитым людям. Можно с полной уверенностью говорить о культе героя, существовавшем в либеральном взгляде на историю, пристальном внимании к нему, что было обусловлено «моральным воздействием» истории, назидания которой раскрывались на примерах жизни выдающихся личностях. Однако важно отметить, что к таким личностям причислялись прежде всего не короли и выдающиеся политики, а мореплаватели, мыслители, ученые. Среди них Х. Колумб, М. Лютер, Ф. Бэкон, Г. В. Лейбниц, Д. Локк, Э. Кант. Либералы убеждены, что без них все направление развития человечества в прошлом было бы другим⁴¹.

Тем не менее, среди исторических деятелей наибольшее внимание журнала было приковано к Наполеону. Он рассматривался как «самая выдающаяся личность из тех, которые появились в новое время, в связи

³⁸ Brodie's Constitutional History. 1824, v.40. P.95.

³⁹ History of Roman Literature. 1824, v.40. P.376.

⁴⁰ См., например, Royal Authors. 1823, v.39. P.85-91; High Tory Principles. 1824, v.41.

⁴¹ Stewart's Introduction to the Encyclopaedia. 1822, v.36. P.223.

с этим он может претендовать на наиболее пристальное внимание»⁴². На протяжении двадцатых годов постепенно меняется тональность высказываний о нем. Если в начале десятилетия это был «честолюбивый политик»⁴³, «узурпатор» и «завоеватель»⁴⁴, то уже к его середине все чаще – «экстраординарный гений»⁴⁵. Поверженный «тиран», «сохранивший лицо» в ссылке, вызывает сочувствие. Все чаще упоминания о Наполеоне сопровождаются эпитетом «великий» человек. Фигура Наполеона изображается не столь одномерно, как прежде, отмечаются его личные человеческие черты, которые не могут не вызвать симпатии читателя. Так, отмечалось его поведение и отношение к своему окружению в течение «жестокое пленения». Наполеон изображен как человек, сохранявший чувство юмора, галантность, верное суждение о каждом предмете⁴⁶. Рецензент книги о Бурбонах подчеркивал, что Бонапарта «нельзя упрекнуть в том, что он мог отказать человеку на том основании, что тот придерживался якобинских или атеистических взглядов»⁴⁷. Признаются позитивные стороны правления Наполеона, прежде всего введение Кодекса⁴⁸. Переоценка недавнего прошлого была обусловлена, по признанию одного из авторов, характером монархии Реставрации, который спровоцировал сравнения прежнего и нынешнего режимов⁴⁹. Так современная политическая обстановка обусловила появление иного образа Наполеона на страницах выходивших изданий, что не могло не отразиться и на позициях либерального журнала, негативно реагировавшего на современное состояние дел во Франции.

Вполне справедливо отмечает автор рецензии, что к биографиям надо относиться осторожно, так как политик, пишущий историю своего времени склонен придавать некоторым общественным делам или людям большее значение, чем они имели в реальности⁵⁰.

Автор отмечает большое количество издававшихся биографий, уровень которых вызывал нарекания взыскательного рецензента: «...мы богаты биографиями, однако хорошо описанная жизнь почти так же редка как и хорошо прожитая жизнь». Что вызывало критику? Главным образом низкий уровень, отсутствие реального образа великого человека, что при-

⁴² The Emperor Napoleon. 1822, v.37. P.164-165. См., также: The Emperor Napoleon. 1823, v.38. P.494.

⁴³ Madame de Stael. 1821, v.36. P.68. См. также P.72-75.

⁴⁴ The Emperor Napoleon. v.37. P. 168-169.

⁴⁵ The Emperor Napoleon. 1823, v.38. P.494. См. также: High Tory Principles. 1824, v.41. P.25, 29.

⁴⁶ Ibid. P.510.

⁴⁷ The Bourbons. 1823, v.39. P.107.

⁴⁸ Captain Maitland's Narrative. 1826, v.44. P.397.

⁴⁹ Memoirs of the Baron de Kolli. 1823, v.39. P.234.

⁵⁰ Sir George Mackenzie's Memoirs. 1821, v.36. P.28.

водило к неудовлетворительному состоянию этого исторического жанра⁵¹. Сказанное отчасти можно отнести и к высказываниям о мемуарах.

Вполне естественно, в центре внимания журнала находилась история Англии. Она рассматривалась как ведущая страна Европы. Такое положение было обусловлено, по мнению журнала, ее политическим строем, быстрым экономическим ростом и «интеллектуальным богатством нации». В определении достоинств страны, ее отличия от других государств в значительной мере проявлялись те ценности либерализма, которые составляли позицию авторов журнала, и прежде всего к ним мы должны отнести политическую свободу и определенное социальное равенство. Оно заключалось в возможности «человека любого происхождения с помощью таланта, богатства или деятельности встать вровень с теми, кто получил влияние и богатство благодаря своему рождению. В связи с этим общественный круг во все времена в Англии был шире, чем у континентальных народов»⁵².

В обзорах четко обозначились наиболее важные периоды и проблемы истории страны – революция середины XVII в., реставрация Стюартов, правление Ганноверской династии, зарождение партий, противостояние тори и вигов. Взгляды на эти события лежали в основе усиливавшегося размежевания политических сил в обществе. Обращение к прошлому было напрямую связано с интерпретацией важнейших фактов и эпизодов истории страны, толкование которых в равной степени как для тори, так и для вигов служило основой политических разногласий по наиболее значимым вопросам о прерогативах короны и правах парламента, парламентской реформе, уравниении в гражданских правах католиков и диссентеров, торговой политике, рабстве негров и образовании бедняков⁵³. Позиции вигов, а следовательно и журнала, были четко очерчены на его страницах. Так, утверждалось, что виги – это партия, функции которой заключаются не только в том чтобы служить препятствием, но и защитой тем, кто придерживается наиболее оппозиционных взглядов: «...это срединная (middle) партия, находящаяся между двумя экстремальными принципами, принципом верховенства монархии, с одной стороны, и верховенства народа – с другой»⁵⁴. Опровергая обвинения, звучавшие как со стороны тори, так и радикалов, в том, что виги занимают слабые, компромиссные и непоследовательные позиции, что партия мала, слаба и непопулярна, журнал из номера в номер отстаивал принципы виггизма так как их понимали его авторы. Они пропагандиро-

⁵¹ Jean Paul F.Richter. 1827, v.40. P.177.

⁵² Semond's Switzerland. 1822, v.37. P.310. Превосходство нации – один из часто повторявшихся мотивов на страницах журнала.

⁵³ Эти основные проблемы двадцатых годов были выделены в журнале. См., например, Parliamentary History. P.474.

⁵⁴ Life of Sheridan. 1826, v.45. P.35.

вали ценности умеренного либерализма, а именно: сохранения британской конституции со всеми ее ветвями власти (при этом в отличие от тори на первое место ставился парламент с его двумя палатами, а на второе – корона), свободу, собственность, «народный контроль» за деятельностью власти, преобладание общественного мнения, без которых нет надежной защиты от произвола власти⁵⁵.

И хотя в XVIII в. в Англии были изданы труды Д.Юма удовлетворительной истории Англии, утверждалось в журнале, еще не написано. Если историки и соберутся написать ее, они не смогут приступить к работе. Причина этого кроется в отсутствии надлежащих опубликованных материалов по истории королевства. Существующие издания неточны, несовершенна их методика и классификация, отсутствуют индексы, словари, хронологические таблицы. В Англии только приступили к подготовке подобного рода изданий, которые отвечали бы всем высказанным требованиям, отмечал журнал⁵⁶.

Рассмотрим наиболее важные проблемы британской истории в интерпретации авторов издания.

Самым тесным образом они связывают воцарение Стюартов, их стремление к абсолютной власти и последовавшее за их действиями противостояние короны и парламента, вылившееся в революцию середины XVII в., которая обычно именовалась как конфликт, либо гражданская война. Торийская концепция предполагала, что еще до начала восшествия на английский престол династии Стюартов правление было абсолютистским, а о свободе народа не может идти и речи, он ее не знал. Причина революции, по их мнению, коренилась в религиозном «пыле», «фанатизме» и «отсутствии авторитета власти». Либералы, напротив, обвиняли во всем Стюартов и оправдывали парламент и народ. Они утверждали, что английское правление было основано на принципах свободы еще со времен саксов и отличалось от континентального большей свободой и правами народа. Они обеспечивались статутами задолго до Тюдоров⁵⁷. Правление Елизаветы они расценивали как правление конституционного суверена, однако наследовавшие ей монархи нарушили установленные традиции, стремясь установить неограниченную власть. В силу этого вина за разрастание конфликта и последовавшую революцию возлагалась на короля: «Это была война короля против народа с целью восстановления своей тирании», а не восстание подданных, решившихся скинуть путы монархии⁵⁸. Они пола-

⁵⁵ Ibid. P.34.

⁵⁶ Palgrave's Rolls of Parliament. 1827, v.46, N.XCII. P.471.

⁵⁷ Это убеждение легло в основу требований реформы системы представительства в парламенте. Виги, а также радикалы заявляли о необходимости восстановления прав народа.

⁵⁸ Brodie's Constitutional History. 1824, v.40, N.LXXIX. P.96.

гали, что парламент действовал в интересах всех классов, оберегая права народа и имея исключительное право учреждать налоги⁵⁹.

Конфликт, утверждали радикальные историки, был неизбежен в силу возрастания численности и богатства нации и упадка нобилитета, с одной стороны, с другой – вызванным этими процессами нарушением баланса сил, установленного конституцией. Авторы журнала занимают менее категоричную позицию. Они не склонны соглашаться полностью с такой концепцией. Они полагали, что все-таки в разгорании конфликта присутствовала и частичная вина парламента, обратившегося за поддержкой к армии. Начало противостояния они относят к первому роспуску парламента Карлом I. События приняли необратимый характер только тогда, когда король, собрав второй парламента, заявил, что в случае сопротивления будет править без него. Тем самым король первым нарушил конституцию, предприняв агрессивный шаг, совершенно очевидно свидетельствующий и подготовке к войне⁶⁰. Причину начала «гражданской войны» они видели в том, что правители церкви и государства отказались от дискуссии. Она принесла много бед, кровопролития, но такова была цена, которую народ уплатил «за нашу свободу»⁶¹.

Не склонны они полностью одобрять казнь короля, полагая, что она не была необходима⁶². Этот эпизод в истории английской революции середины XVII в. рассматривался ими скорее как ошибка «отважных умов», нежели преступление⁶³. Тогда как казненный монарх вызывал сочувствие и некоторую симпатию⁶⁴.

Весьма любопытна сравнительная характеристика деятельности О.Кромвеля и Наполеона. И Кромвель, несмотря на все его недостатки, изображен более талантливым полководцем и государственным деятелем. Его отличали, писал автор, ум, простота, благородство и любовь народа⁶⁵.

Рестаурация Стюартов на английский престол объясняется довольно просто: в народе были весьма популярны древние титулы и, в силу этого, Карл II был принят без всяких оговорок, «гарантий», которые бы обеспечили осуществление свобод⁶⁶. В целом династия Стюартов чаще всего характеризовалась негативно. Истоки такого мнения лежали, без-

⁵⁹ Ibid. P.102.

⁶⁰ Ibid. P.104-105.

⁶¹ Milton. 1825, v.42. P.331.

⁶² Ibid. P.106.

⁶³ Hallam's Constitutional History. 1828, v.48. P.147-148.

⁶⁴ Ibid. P.140-141.

⁶⁵ Hallam's Constitutional History. P.143-145.

⁶⁶ Mr. Cannibg, and Reform. 1822, v.37. P.296.

условно, в ее политике, которая была направлена на установление абсолютного правления, неприемлемого для вигов⁶⁷.

Славная революция воспринималась ими как наиболее значимое событие в истории страны, и характеризовалась как «самая великая из революций, совершенная с самым незначительными изменениями и с наименьшими потрясениями»⁶⁸. Как уже отмечалось выше, Славная революция зачастую упоминалась в сравнении с французской конца XVIII в. Либералы были убеждены, что «революции в истории неизбежны», так как являются результатом «нищеты, рабства и страданий»⁶⁹. Однако их характер различен. Если английская, по их мнению, была предпринята для защиты и восстановления прав и свобод народа, то французская имела своей целью разрушение. Именно это и предопределило отмечавшиеся различия в их оценках, убеждение в том, что она «не учредила свободы, а лишь восстановила и защитила их»⁷⁰. События 1688 г. рассматривались как «великая революция» в отличие от «великого восстания» середины века. При этом автор подчеркивал, что в их оценке надо различать случайные и закономерные явления, чем, по их мнению, явно пренебрегали тори. Славная революция произошла в результате борьбы против тирании Стюартов, которые в своей политике нарушали «фундаментальные основы английских законов», узурпируя законодательные функции, учреждая налоги без парламента, игнорируя древние права парламента и т.д.⁷¹ И вновь необходимо обратить внимание на влияние политической ситуации 20-х годов, которое проглядывало в исторических реминисценциях, предопределяло взгляд на прошлое. Право на восстание против негодного правителя противопоставлялось «божественному праву» монарха, которое отстаивали тори. Неоднократно подчеркивалась пагубность позиции правителя, не желавшего идти на переговоры и уступки.

Вопрос о зарождении партий трактовался неоднозначно. С одной стороны, этот процесс представлялся как результат древнего разделения, вызванного реальным расхождением по конституционным вопросам, которое привело к формированию «двух политических сект, или партий, боровшихся по вопросу о короне». Упоминание о партиях также обычно связано с завуалированными упреками в адрес правительства за пренебрежение делами страны, нежелание идти на уступки оппозиции. Между тори и вигами симпатии журнала вполне естественно принадлежат последним. В их глазах они выглядят более привлекательно. Даже неблагоприятные поступки вигов, совершенные ими в прошлом, оправды-

⁶⁷ Phillips's State Trials. v.47. P.278.

⁶⁸ Phillips's State Trials. v.47. P.278.

⁶⁹ Austria. 1824, v.40. P.315.

⁷⁰ Office of Lord Advocate of Scotland. 1824, v.39. P.363.

⁷¹ Milton. 1825, v.42, P.326-328.

ваются сложившимися обстоятельствами. Так, поощрение коррупции и подкуп, так расцветшие в XVIII в., объясняются тем, что виги вынуждено поступали подобным образом для усиления своих позиций⁷².

С другой стороны, появление политических партий связывается с более близкими временами: «Воцарение ганноверского дома разделило Англию на две партии. В это время появляются Виги, или друзьями новой династии, и Тори, тайно или явно оппонировавшие власти и поддерживавшие бежавшего Якова II. Они не смогли, а скорее – не пожелали стать опорой ганноверцам, и поэтому все властные посты и выгоды достались Вигам. В силу того, что Тори и Якобиты были наиболее многочисленны, так как в их круг входила существенная часть старой аристократии, земельный интерес, церковники...», виги были вынуждены использовать подкуп и коррупцию, к которой они, как менее многочисленная партия были вынуждены обращаться. Их «...сила заключается в замечательной аристократии, корпорациях и в торговом и денежном интересе», поддержке правительства диссентерами, получившими защиту религиозной свободы и надежду на расширение гражданских прав⁷³.

Первые десятилетия правления Георгов, утверждалось в журнале, это этап истории страны недостаточно известный, и тем не менее – он рассматривался как важный период, время «учреждения нашей современной системы» власти, революционного изменения в деятельности правительства и, наконец, борьбы между сторонниками Ганноверов и защитниками Стюартов⁷⁴.

Наибольшую критику вызывало правление Георга III, отмеченное «разрушительной войной с нашими колониями», и опять-таки нежеланием идти на уступки восставшим колонистам⁷⁵.

Среди других стран континента наибольший интерес на страницах журнала был проявлен к истории Франции. Хотя в отзывах об этой стране мы не встретим тех же восторженных характеристик, как в отношении Англии. «История Французской нации не представляет морального величия, ...французы выдвинулись главным образом в войне; только войне, ...а не политической мудростью...»⁷⁶. Из всех событий французской истории наиболее яркими, привлекавшими внимание журнала на протяжении двадцатых годов стали Французская революция и Реставрация. Отношение либералов к этим событиям неоднозначное. Приветствуя начало революции, которая принесла ниспровержение тирана и отмену привилегий, они резко негативно относятся к развернувшемуся впоследствии

⁷² Politics of Switzerland. 1822, v.37. P.11, 41.

⁷³ Memoirs of the Reign of George II P.21, 23.

⁷⁴ Memoirs of the Reign... P.1-2.

⁷⁵ Rise, Progress, Present State and Prospects of the British Cotton Manufacture. 1827, v.46. P.166-167.

⁷⁶ English and French literature. 1821, v.35. P.176.

событиям, принесшим разрушение государственного механизма и установление якобинского террора. И неоднократно назидательно подчеркивали, что такой поворот событий был следствием как отсутствия политических свобод, так и многочисленных злоупотреблений и притеснений, которые ухудшали положение народа⁷⁷. И вновь акцентировалось внимание на последствиях нежелания властей идти на уступки.

Подводя итоги проведенного исследования, хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты. Прежде всего, представляется весьма плодотворным подобного рода подход, заключающийся в анализе обширного материала критического характера для выявления представлений об истории в отдельные периоды истории страны. Публиковавшиеся рецензии на страницах «Эдинбург Ревью» на вышедшие из печати книги являлись общей частью формировавшегося на протяжении двадцатых годов либерального мировоззрения, принципы которого раскрывались на страницах журнала и внедрялись в историческое мировосприятие читателей. Отзывы о тех или иных событиях, произошедших в прошлом, о тех или иных героях и личностях былых времен зачастую непосредственно связывались с современностью, современной политической борьбой. Тем самым история превращалась в важное идеологическое оружие, использовавшееся для выступлений против тори и радикалов. Собственно исторические взгляды либералов, скорей всего в силу политической заданности, не отличались большой новизной или оригинальностью. И тем не менее необходимо отметить, что в годы расцвета романтических представлений об истории, она в глазах либеральных историков все более превращалась в самостоятельную отрасль научного знания, основанную на документальной основе, и призванной выявить основные причинно-следственные связи главных событий прошлого.

⁷⁷ Present Policy. 1824, v.39. P.282-285.

С.К.Цатурова

Судьи и правосудие во Франции XV века
глазами Жана Жувеналья, королевского адвоката

О Жане Жувенале дез Урсене принято писать как о хронисте (хотя приписываемое ему авторство «Истории Карла VI» дискутируется до сих пор) и выдающемся церковном деятеле. Действительно, он сделал блестящую церковную карьеру: сменив Пьера Кошона на посту епископа Бове в 1432 г., он стал в 1444 г. епископом Лана и, наконец, с 1449 г. вплоть до смерти в 1473 г. был архиепископом Реймским и пэром Франции¹. Однако упускается из виду, что столь успешная карьера началась в стенах Парижского Парламента – верховного суда Франции, для чиновников которого она не была исключением².

Получив правовое образование в Орлеане, наш герой в возрасте двадцати одного года стал нотариусом (1410 г.), в 1420 г. был уже адвокатом в Парламенте, созданном в Пуатье сторонниками бежавшего из Парижа дофина Карла, а 20 декабря 1426 г. был назначен королевским адвокатом, каковым и пребывал до июня 1429 г., пока король Карл VII не начал поручать ему более ответственные миссии. Не менее важным для формирования взглядов Жана Жувеналья был тот факт, что служба в королевской администрации являлась семейной традицией Жувеналей. Брат Жана Жувеналья – Гийом был советником Парламента в Пуатье (с 20 марта 1425 г.) и стал впоследствии канцлером Франции (16 июля 1445 г.); другой брат – Жак также получил юридическое образование и служил адвокатом в Парламенте (с 16 июня 1432 г.). И главное – они были сыновьями Жана Жувеналья, сделавшего славную карьеру на службе королю Франции. Протеже Мармузетов, группы старых королевских чиновников, совершивших реформы в сфере королевской администрации, он был сначала советником в Шатле, затем стал хранителем превоэ Парижа, а в 1400 г. был назначен королевским адвокатом в Парижском Парламенте. Помимо безупречной службы он подтвердил свою верность короне дважды – в период восстания Кабошьенов, когда был

¹ Подробную биографию см.: *Lewis P.S. La Vie et l'œuvre// Juvénal des Ursins J. Écrits politiques. T.3. Paris, 1992*; а также *Бессилин Н.А. Жан Жувеналь дез Юрсен – историк и политический деятель Франции XV века. Дисс.... к.и.н. М., 1993*.

² Хотя большинство парламентских чиновников предпочитало вполне благополучную службу в Парламенте, многие – примерно треть – продвигались на более высокие должности в королевской и церковной иерархии, и именно из них выбирался глава всего судебно-административного аппарата – канцлер. – *Autrand F. Naissance d'un grand corps de l'Etat: Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454. Paris, 1981. P.417-419, 452-54; Lot F. et Fawtier R. Histoire des institutions françaises au Moyen âge. P., 1958. T.2. P.61.*

смещен Бургиньонами и перешел на должность канцлера дофина, и после вступления в Париж в мае 1418 г. войск герцога Бургундского, когда в числе преданных дофину Карлу сторонников он покинул столицу. Потеряв все свое имущество, в том числе и драгоценные книги, Жан Жувенель в 1419 г. становится вторым президентом Парламента в Пуатье, а в 1422 г. – президентом Парламента в Тулузе. Отец навсегда остался для сыновей примером честности и образцом служения короне³.

Итак, Жан Жувеналь дез Урсен принадлежал парламентской династии служителей короны и сам был сформирован службой в Парижском Парламенте⁴. Именно этот аспект – парламентская этика, нашедшая выражение в трактовке им правосудия и его служителей является предметом настоящей статьи⁵. Прежде всего, заметим, что правомерность нашего подхода опирается на слова самого Жана Жувеняля. Давая советы королю, обращаясь с поучениями и критикой к своим коллегам в Парламенте и судах иных инстанций, он прямо ссылается на собственный опыт и знания, почерпнутые на службе адвокатом и советником короля⁶. Именно в этом качестве он считает своей обязанностью говорить правду королю, поскольку как королевский адвокат он давал клятву «обнаруживать его ущерб и заботиться о его выгоде»⁷.

В основе всей системы взглядов Жана Жувеняля находилась фундаментальная идея о суде как сути королевской власти, как высшей форме управления королевством⁸.

Нет никакого сомнения в том, что в нынешнем мире самое суверенное дело и самое большое благо – это свершать правосудие и охранять права каждого».

³ *Batiffol L. Jean Jouvenel, prévôt des marchands de Paris (1360-1431). Paris, 1894.*

⁴ П. Льюис также признает, что устами церковного деятеля чаще говорит парламентский адвокат, усвоивший манеры и образ мыслей чиновников верховного суда. – *Lewis P.S. Op. cit. P.38-41.* О правовых взглядах Жана Жувеняля в области налогообложения и законодательства см. *Krupel J. Les légistes "tyrans de la France"? Le témoignage de Jean Juvénal des Ursins, docteur in utroque // Droits savants et pratiques françaises du pouvoir. Paris, 1992. P.279-299.*

⁵ Мы опираемся на анализ следующих произведений Жана Жувеняля дез Урсена, опубликованных П. Льюисом: "Audite illos" (обращение к судьям диоцеза Бове, 1432 г.); "Tres reverands et reverands pères en Dieu" (письмо к собранию Штатов в Блуа, 1433 г.); "Audite celi" (политический трактат, 1435 г.); "Loquar in tribulatione" (речь на собрании Штатов в Орлеане, 1440 г.); "A, a, a, nescio loqui" (наставление брату, ставшему канцлером Франции); "Verba mea auribus percipe, Domine" (наставление королю, 1452 г.); "Exortation faicte au roy" (выступление по делу герцога Орлеанского, 1458 г.). – *Juvénal des Ursins J. Écrits politiques / Ed. P.S.Lewis. T.1-2. Paris, 1978 et 1985. (Далее – Écrits).*

⁶ *Écrits. T.I. P.324.*

⁷ *Ibid. P.365.*

⁸ О месте права в реализации королевской власти см. *Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. М., 1989. С. 44-46.* Согласно принятой в отечественной историографии схеме становления абсолютистского государства данный этап его развития называется судебной монархией. – *Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М., 1996. С.10.*

– пишет Жан Жувеналь, обращаясь к судьям светским и церковным⁹. Как следствие, все беды королевства проистекают от «поруганного правосудия»: «ошибки, совершаемые в управлении и политике таковы..., что королевство разрушено и обезлюдено, и нет и десятой доли того народа, каковой должен был бы быть, и все от отсутствия правосудия»¹⁰.

Такая позиция была характерна и для Парламента в целом в этот драматический период для Французского королевства, когда источником поражений в Столетней войне и бед гражданской войны Бургиньонов и Арманьяков его чиновники объявляли «отсутствие правосудия»¹¹. Суд трактуется как основа власти короля и существования королевства. Жан Жувеналь апеллирует к салическому закону, якобы установившему в 424 г., что «королевство будет управляться правосудием (*en toute justice*)... и всегда посредством правосудия оно поддерживалось до тех пор, пока стало непонятно, что сделалось с правосудием»¹². Только в области суда он признает полноту власти короля, которую в иных областях, в частности, в области прав собственности, ограничивает правами других субъектов¹³.

Из этого следовала столь дорогая для парламентских чиновников в целом идея о превосходстве Парижского Парламента над всеми иными институтами королевской власти. Согласно Жану Жувеналю, уже первый король Фарамон, основывая королевство Франции, «поставил над всем правосудие (*il meist Justice sus*) и всегда держал его при себе»¹⁴. Так якобы и был основан Парламент, представляющий короля «без посредников» и объявленный «эманацией королевской власти»¹⁵. Возводя, в согласии с амбициями парламентариев, традиции Парламента к римскому Сенату, Жан Жувеналь так определяет место судей верховной палаты королевства: «в них вся доблесть (*vertu*) народа заключена, они – сердце государства (*chose publique*), ...и их должны именовать отцами государства»¹⁶. В этом рассуждении стоит обратить внимание на сравнение судей Парламента с сердцем королевства: традиционное представление о государстве как едином теле (*corpus reipublice*) трансфор-

⁹ Écrits. T.I. P.26.

¹⁰ Ibid. P.56, 58, 62.

¹¹ Journal de Nicolas de Baye, greffier de Parlement de Paris, 1400-1417 / Ed. A.Tuetey. T.1-2. Paris, 1885-88. T.I. P.332-33.

¹² Écrits. T.I. P.345. Салический закон, чье содержание было мало известно, умело использовался сторонниками Карла VII в их противостоянии договору в Труа 1420 г. В этой среде было особенно принято удревять все королевские институты и возводить их к наследию Рима и мифического короля Фарамона. – Beaune C. Histoire et politique: la recherche du texte de la loi salique de 1350 à 1450 // La Reconstruction après la Guerre de Cent Ans (Actes du 104e Congrès CNSS. Bordeau.). Paris, 1981. T.I. P.25-35.

¹³ Écrits. T.2. P.270.

¹⁴ Ibid. T.I. P.345.

¹⁵ Ibid. T.2. P.322. Этот принцип был зафиксирован и в ордонансах 1275, 1315, 1318 и 1359 гг. – Ordonnances des rois de France de la troisième race. 22 vols. Paris, 1723–1849 (Далее – O.R.F.). T.II. P.51; T.IV. P.725; T.IX. P.352; T.XIII. P.416.

¹⁶ Écrits. T.2. P.330.

мировалось в символику «двух тел короля» и сделало судей верховного суда частью «мистического тела короля», на чем основывался и принцип их неприкосновенности при исполнении должностных обязанностей¹⁷. Вот как в другом месте описывает Жан Жувеналь «тело короля»: «государство (*chose publique*) есть одно тело, составленное из многих частей, среди коих король – голова (*chef*), чиновники суда (очевидно, Парламента – С.Ц.) – члены (*membres*), бальи и сенешали (судьи первой инстанции – С.Ц.) – глаза и уши, мудрые советники – сердце, рыцари и дворяне – руки, ремесленники и купцы – ноги»¹⁸.

Парламент как основа государства, как центр управления страной, по мысли Жувеняля, превращает и Париж в столицу королевства. Так, описывая, на чем покоится могущество Парижа, он выделяет следующие факторы: первый – пребывание здесь короля и знати, второй – «суверенная судебная палата королевства и Шатле», третий – Университет и лишь четвертый – торговля¹⁹. Вполне естественно для Жувеняля как парламентария, что главная церковь королевства – это не Нотр-Дам, не собор в Реймсе или Шартре, а именно Сент-Шапель в старом королевском Дворце на острове Ситэ, где находился Парламент, а сам город – средоточие мудрости, и «едва найдется другой такой город в мире, где можно стяжать больше благ и чести», замечает Жувеналь, имея в виду карьеру королевского чиновника, сделанную его отцом²⁰. А обосновывая законность прав короля Франции на Гиень, он считает самым убедительным доводом тот, что якобы «Хлодвиг, первый христианский король, имел свою резиденцию и свой Парламент в Бордо», из чего явствует, что «Гиень с древнейших времен принадлежала королям Франции»²¹.

Парламенту, по Жувенялю, должны подчиняться не только все королевские судебные инстанции (суды прево, бальи, сенешалей), но и все институты верховной власти короля: «чиновники Палаты прошений короля, Палаты счетов, казначеи, прево, сенешали, коннетабль, маршалы,

¹⁷ «domini Parlamenti, maxime officium suum faciendo, sunt pars corporis Regis». – *Aubert F. Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII (1314–1422)*. Genève, 1974. P.138–141. Об этом см. фундаментальный труд: *Kantorowicz E. Les deux corps du Roi*. Paris, 1989.

¹⁸ *Écrits*. T.2. P.203.

¹⁹ *Écrits*. T.I. P.257, 358, 370. Восхваление Парижа и призыв к Карлу VII не оставлять город в небрежении характерен для драматического периода в истории многовековой столицы королевства, который начался после вступления войск герцога Бургундского в 1418 г. Это был восемнадцатилетний этап англо-бургиньонского Парижа, в котором не желали жить ни герцог Бургундский, ни английский король, ни – после «возвращения к законному сеньору» в апреле 1436 г. – Карл VII, не простивший городу предательство. – *Favier J. Paris au XV siècle. 1380–1500 / Nouvelle histoire de Paris*. P., 1974.

²⁰ *Écrits*. T.I. P.477.

²¹ *Ibid*. T.I. P.203, 423.

адмирал и глава арбалетчиков, чиновники Вод и Лесов... всех их могут вызвать в суд Парламента»²².

Центральное место суда в системе управления королевством обосновано тем высшим предназначением, каковое усматривали парламентарии в судебной процедуре. Суд, трактуемый как процедура установления истины и защиты прав каждого подданного, имел высшей целью царство мира и порядка²³. В согласии с этой концепцией суть правосудия Жан Жувеналь видел в установлении мира: «есть два друга – правосудие и мир»²⁴. Однако здесь заключалось и основное противоречие в позиции Жувеналья, как и в целом позиции Парламента в этот период выхода общества из гражданской войны. С одной стороны, он призывает короля не пренебрегать процедурой суда над предателями и преступниками, поскольку только установление справедливости принесет мир, а установить справедливость означало наказать виновных в ущемлении прав Карла VII на трон Франции.

Именно в несвершении правосудия над этими предателями усматривает Жувеналь корень нынешних бед в королевстве: «кибо те, кто совершал описанные преступления, когда пришли англичане, не защищали никак города, но сдались без единого боя, другие продались... и их приняли без свершения правосудия за преступления, ими совершенные, лишь потому, что они признали вас (Карла VII – С.Ц.)»²⁵.

В данном случае голосом Жувеналья говорят те королевские чиновники, кто вынужден был покинуть Париж при вступлении Бургиньонов и на пустом месте создавать параллельные органы власти «в изгнании», выдавая их за единственно законные, прежде всего параллельный Парламент в Пуатье²⁶. Однако когда их почти безнадежное дело победило, когда отстраненный договором в Труа 1420 г. от трона дофин Карл стал Карлом VII Победителем (*Victorieux*), и вступил в Париж, он не стал сводить счеты с

²² Ibid. P.513. Борьба Парламента за судебную монополию и полноту компетенции, в том числе за право контролировать все назначения в судебно-административный аппарат королевства, заняла не одно десятилетие, и хотя абсолютной монополии он так и не добился, поскольку, прежде всего, сам король мог забрать к себе любое дело, тем не менее, контроль Парламента за назначениями в королевскую администрацию и разбирательство тяжб между конкурентами за должности способствовали выработке общих принципов королевской службы. – *Aubert F. Op. cit. P. 295-97.*

²³ Эта фундаментальная идея нашла выражение и в речах и проповедях Жана Жерсона, канцлера Парижского Университета и самого авторитетного в христианском мире того времени теолога: “*justitia est perpetua et constans voluntas jus suum unicuique tribuens*”. – *Gerson J. Œuvres complètes / Ed. par Glorieux. Paris, 1968. T.VII (I). P.599.* Гармония суда и мира опиралась на слова из Библии – “*justitia et pax osculate sunt*” (Пс. 84,11).

²⁴ *Écrits. T.I. P.236.*

²⁵ Ibid. P.316.

²⁶ *Neuville D. Le Parlement royal à Poitiers (1418-1436) // Revue historique. 1878. T.6. P.1-28, 273-314.*

теми, кто служил под властью англо-бургиньонов²⁷. В речах Жана Жувеналья, обращенных к королю, звучит обида его сторонников, которые не согласны были делиться плодами победы с проигравшими. Это на них он намекает, говоря, что «все хотят мира, но далеко не все хотят правосудия», и прямо упрекает короля за бездействие суда: «похоже, что вы спите... и мы больше не можем так»²⁸. Как и все сторонники королевской власти, волею обстоятельств превратившиеся в «Арманьяков», он связывает начало упадка в королевстве с убийством герцога Орлеанского в 1407 г. и ненаказанием убийц, что превратило христианнейшее королевство в «ныне королевство дьявольское, ибо нет в нем ни веры, ни закона»²⁹.

В то же время, Жувеналь не был бы королевским адвокатом, если бы не понимал необходимость примирения в обществе, на чем не уставал настаивать и Парламент, призывая враждующие стороны прийти к согласию. Ведь война и сведение счетов без процедуры суда наносила Парламенту прямой ущерб, обесценивая этот инструмент «правосудия для всех»³⁰. Поэтому, не забывая о трагической участи «добрых и честных служителей короны», погибших в кровавых расприх гражданской войны, Жувеналь отмечает и призывы к мести, предлагая «все забыть»³¹. И так же должны смириться те, кто наказан за преступления и предательство, «ибо было решено, что никогда об этом больше не будут вспоминать»³².

Видимая противоречивость такой позиции, на деле, разрешалась приверженностью Жана Жувеналья, как истинного парламентария, судебной процедуре решения конфликта. В ней одной он видел путь к справедливости и миру. И потому признавал, что «нет никакой причины, почему нельзя было бы действовать против королевских чиновников, как против любого другого человека»; точно так же, как и короля можно осудить за нарушение закона: «и если на Вас самого жалуются и Вы поступаете против закона и ордонанса, Вами же сделанного, Вы должны свершить суд», — советует он королю.³³ Все люди — «подданные закона», и каждому должна быть гарантирована судебная процедура в случае

²⁷ Bossuat A. Le rétablissement de la paix social sous le règne de Charles VII // Moyen Âge. 1954. T.60. №1-2. P.137-162.

²⁸ Écrits. T.I. P.236, 320, 324, 386. В этих речах звучит грозный упрек королю: его бездействие провоцирует предательство. С такого же упрека короне началось знаменитое собрание Генеральных Штатов в октябре 1356 г. после поражения при Пуатье. — Procès-verbal des Etats Généraux au mois d'octobre 1356 // Jourdan, Decrusy, Isambert. Recueil général des anciens lois françaises. IV. Paris, 1822. P.778.

²⁹ Écrits. T.I. P.356-60; Guenée B. Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans 27 novembre 1407. Paris, 1992.

³⁰ J.N.V. T.2. P.79-80, 151-54, 236. Journal de Clément de Fauquembergue, greffier de Parlement de Paris, 1417-1435. T.1-3. Paris, 1903-1915. (Далее - J.C.F.) T.I. P.52-55, 117-20.

³¹ Écrits. T.I. P.189, 225-26, 229.

³² Ibid. P.372.

³³ Ibid. T.I. P.539; T.2. P.296.

возникновения конфликта, ибо «прибежище в суде короля» есть главная гарантия прав каждого³⁴. Любопытно в этой связи, что Жувеналь отрицает законность договора в Труа 1420 г. с этой чисто юридической точки зрения, поскольку при заключении его и лишении прав дофина Карла на трон Франции не была соблюдена обычная судебная процедура, предусмотренная для решения подобных дел:

и в особенности не может король лишить наследства сына без причины справедливой, святой и разумной, и без вызова в суд; и необходимо, чтобы он проходил в присутствии трех сословий королевства, чтобы король пребывал на ложе суда (*lit de justice*) и двенадцать пэров с ним... и чтобы причина лишения наследства была бы им известна и была бы представлена и заслушана в обычном процессе³⁵.

Каким же должен быть суд и каковы его главные черты?

Первым признаком «добротного» суда Жувеналь объявляет справедливость (*équité*), из которой вытекают следующие главные качества – милосердие суда и равенство всех перед законом: «справедливость требует охранять каждому его права»³⁶. Земной суд должен был имитировать милосердие божьего суда и потому обязан был стремиться к милосердию³⁷. В согласии с этим принципом, широко пропагандируемым Парламентом, Жувеналь противопоставляет справедливость и строгость и призывает судей сострадать преступнику: «судья должен иметь сострадание к преступнику такое, чтобы ему было больно произносить приговор», ибо «правосудие без милосердия есть жестокость»³⁸. Правосудие должно быть милосердно, еще и потому, что жестокость невыгодна, считает Жувеналь, она озлобляет людей, а потому судебная процедура призвана умиротворять и смягчать нравы³⁹.

Милосердие и жалость не должны, при этом, дозироваться в зависимости от ранга и социальной принадлежности обвиняемого; правосудие должно быть одинаковым для всех, считает Жан Жувеналь⁴⁰. Здесь мы обнаруживаем существенную трансформацию, которую претерпело

³⁴ Ibid. T.2. P.289.

³⁵ Ibid. T.I. P.188-89.

³⁶ Ibid. P.27.

³⁷ Противниками жестокого суда были, в числе других, и Жан Жерсон, и Кристина Пизанская. Характерно, что теория суда требовала строгости, а практики суда склонялись к милосердию. – *Gauvard Cl. De la théorie à la pratique: Justice et misericorde en France pendant le règne de Charles VI // Revue des langues romanes. 1988. T.XCII. №2. P.317-25.*

³⁸ “nam placuit equitatem preferri rigorem”, “justitia sine misericordia severitus est”. – *Écrits. T.I. P.27,33, 44.*

³⁹ Ibid. P.469-70. В этой связи показательным, что Парламент выступал последовательно против применения пыток с целью получить признание обвиняемого. – *Gauvard Cl. La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen âge // Le pénal dans tous ses états. Justice, États et Sociétés en Europe (XIIe - XXe siècles) / Sous la dir. de X.Rousseaux et R.Levy. Bruxelles, 1997. P.97.*

⁴⁰ *Écrits. T.I. P.28.*

представление о суде короля: рыцарский идеал короля, преимущественно защитника бедных, вдов, сирот, уступил место равному («равноудаленного» сказали бы мы сейчас) для всех судьи, что превращало все сословия королевства в общую массу подданных короля⁴¹. Жан Жувеналь призывает судей не благоволять ни одной из сторон, имея перед глазами всегда «Бога и истину», что согласуется с важной и весьма оберегаемой Парламентом идеей о беспристрастности верховного суда, где на справедливость может рассчитывать любой, будь он даже сарацин.⁴²

Предназначение суда требовало от судей королевских судов особых качеств, и тут Жан Жувеналь, знающий не понаслышке о нравах судебных, обобщает свой опыт и предлагает программу искоренения злоупотреблений с целью достижения идеала, который он рисует в согласии с собственным представлением о качествах хорошего судьи. Главным качеством хорошего судьи Жувеналь считает безупречный нравственный облик и соответствие тем требованиям, которые общество предъявляет к творимому им суду. Отсюда призыв Жувеняля к судьям прежде, чем выносить приговоры, «позаботиться о собственной незапятнанности, и чтобы вас не могли ни в чем упрекнуть»⁴³. Приговаривая кого-то к штрафу за то, что «сам совершил в подобном случае», судья рискует услышать в ответ: «Врач, исцелился сам!»⁴⁴. Призванные заботиться об общем благе, судьи должны прежде доказать, что способны позаботиться о собственной душе и «быть чисты, свободны от всяких грехов, полны доблести (*vertu*) и добрых нравов»⁴⁵. Все поведение судьи должно отвечать его долгу, в том числе и манеры, образ жизни и даже развлечения: например, ему не стоит слишком предаваться играм, в частности, игре в кости, «хотя поиграть один часок в день, дабы выпить и развлечься, не такое уж зло»⁴⁶. Таким образом, главное достоинство судьи – «это доброе имя (*bonne renommee*), которое не только придаст весомости творимому судьей правосудию, но и защитит его от давления извне»⁴⁷. Катего-

⁴¹ Krynen J. *Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen âge (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps*. Paris, 1981. P.187-88; *Gauvard Cl. L'image du roi justicier en France à la fin du Moyen âge, d'après les lettres de rémissions // Actes du 107e CNSS. Bulletin philol. et hist. T.I. Brest, 1982. P.172.*

⁴² *Écrits. T.I. P.35.* Об этом же свидетельствует и Парижский Университет: «la bonne equité qu'elle (Court de Parlement) gardoit sans faveur de quelconque personne, non pas seulement les estranges naciones de la Chrestienté, maiz aucunes foiz les Sarrazins y ont pris jugement». – *Moranvillé H. Remonstrances de l'Université et de la Ville de Paris à Charles VI sur le gouvernement du royaume // Bibliothèque de l'École des chartes. 1890. T.LI. P.432.*

⁴³ *Écrits. T.I. P.31.*

⁴⁴ *Ibid. P.32.*

⁴⁵ *Ibid. P.452, 461.*

⁴⁶ *Ibid. P.32.*

⁴⁷ *Ibid. P.517.* Кстати, в числе основных критериев отбора чиновников в Парламент было «доброе имя» кандидата, категория хоть и расплывчатая, но весьма действенная. См. J.N.V. T.2. P.177; J.C.F. T.I. P.120, T.III. P.11-12.

рия «доброго имени» напрямую зависела от мнения общества, которое таким способом влияло на отбор судей и их поведение. Общественное мнение в трактовке Жувеняля предстает не только надежной опорой судьбы, но и опасным оружием в руках его противников или конкурентов: «Бог знает, какую славу имеют некоторые..., злые языки распространяются быстро, и им верят»⁴⁸.

С одной стороны, он напоминает судье о том, что «недостаточно, чтобы вы сами считали себя честным, а совесть свою незапятнанной, надо, чтобы вы не совершали ничего, о чем народ имел бы повод судачить о вас»⁴⁹. С другой стороны, Жувеняль отчетливо осознает, что нередко порочащие слухи ложны и корыстны, будучи, к тому же, почти неизбежны: «невозможно понравиться всем, и будут завистники и соперники», – предупреждает он брата, ставшего канцлером Франции и главой всего судебно-административного аппарата⁵⁰. Более того, он прямо указывает на опасное заблуждение – считать общественное мнение надежным критерием оценки судьи: «нет такого святого, пребывающего ныне в раю, о ком, будь он на земле на вашей должности, не говорили бы дурно. Каждый человек, являющийся чиновником государства, если он исполняет свой долг, не может быть любим всеми»⁵¹. Вот тут и необходимы судье собственные критерии самооценки, которые помогут ему исполнить долг даже вопреки нажиму извне. Такие критерии вырабатывались внутри судейского сообщества и основывались на его представлении о справедливом суде.

Так, равенство всех перед законом потребовало от судьи беспристрастности, о чем предупреждает и Жан Жувеняль, указывая на возможные пути компрометации судей. Например, слушания дел должны всегда проходить в специальном помещении, отделенном от других, и в определенное время; судье следует избегать встреч с представителями сторон, «желающими поговорить о деле», в собственном доме или в иных частных домах, вне помещения суда; «судья, поступающий иначе, сам вызывает подозрения»; наконец, он не имеет права сближаться с ведущими у него тязбу во время застолий⁵². Поведение судьи во время слушания дела

⁴⁸ *Écrits*. T.I. P.516. Общественное мнение изучается историками как один из определяющих факторов политического развития. – *Cazelles R. Société politique, noblesse et couronne sous Jean II et Charles V. Genève-P.*, 1982. P.3-5; *Gauvard Cl. Fama, une parole fondatrice // Médiévales*. 1993. №24. P.5-13.

⁴⁹ *Écrits*. T.I. P.31.

⁵⁰ *Ibid.* P.451.

⁵¹ *Ibid.* P.476. Сходно звучат слова гражданского секретаря Парламента Никола де Бая, сказанные им в момент ухода с должности, на которой он прослужил шестнадцать лет: «в должности столь публичной невозможно быть любезным каждому» (*faire à la grace d'un chascun*). J.N.B. T.2. P.273.

⁵² *Écrits*. T.I. P.30-31, 39. Подобный казус произошел в Парламенте, когда стало известно, что посторонние люди пили в специальном помещении, отведенном для судей, а это, на взгляд парламентариев, могло скомпрометировать судей и вынесенный ими приговор. – J.N.B. T.I. P.90.

также должно быть беспристрастно, и Жувеналь отмечает некоторые любопытные детали, почерпнутые явно из собственного опыта адвоката. Например, он предлагает судьям следить за своим выражением лица в ходе судебного разбирательства, так как «иногда по лицу судьи мерещится его расположение более к одной, чем к другой стороне»⁵³. Беспристрастность судьи доказывает и терпение, с которым он выслушивает, не перебивая, обе стороны, и стремление ничему не верить на слово, без проверки и доказательств⁵⁴. И даже в этом случае приговор судьи может быть ошибочным, поскольку и писаное право и кутюмы содержат противоречивые нормы, а свидетельские показания бывают добыты обманом или угрозами, так что «на смерть осуждали невиновного»⁵⁵.

Гарантией неисполнения ошибочного приговора Жан Жувеналь считает отказ от поспешности, ссылаясь на римскую традицию, предусматривавшую тридцатидневную отсрочку исполнения смертного приговора⁵⁶. И, вообще, всякая поспешность в суждениях и решениях кажется Жувеналю опасной: не в этой ли идее судейских одна из причин длительности судебных процессов, приводившая французское общество XIV–XV веков в отчаяние⁵⁷?

Все перечисленные свойства, необходимые, по Жувеналю, хорошему судье, составляют лишь основу для главных профессиональных критериев при оценке судейских, учитывавшихся и при их отборе. Первым обязательным условием являлось наличие образования в области права, гражданского или канонического, а лучше – «обоих прав (*in utroque*)», что делало чиновников королевских судов, прежде всего, профессионалами. Если судья не разобрался в деле, он не может его судить; но точно так же он не имеет на это права, считает Жувеналь, «если плохо учился», и потому он призывает короля, назначая на должности в своей администрации, обращать внимание, знает ли претендент то, что «ему положено по должности, и тех, кто не знает, отстранить и отправить в школу»; и сокрушается, что среди толп королевских секретарей не найти и четырех, «кто хорошо умел бы писать на латыни»⁵⁸.

⁵³ Ibid. P.30. А брату, ставшему канцлером, он просто советует понаблюдать у себя в комнате на досуге в зеркало за выражением лица, особенно когда он разгневан, поскольку тот смолоду легко краснел, и по его лицу сразу был виден гнев. – Ibid. P.472.

⁵⁴ Ibid. P.29.

⁵⁵ Ibid. P.34–35. О процедуре, предусмотренной для судьи, вынесшего ошибочный смертный приговор, см. *Gauvard Cl. Pendre et dépendre à la fin du Moyen âge. Les exigences d'un rituel judiciaire // Histoire de la Justice. 1991. №4. P.5–24.*

⁵⁶ *Écrits. T.I. P.37.*

⁵⁷ Ibid. P.469. В программе реформ управления, предложенной Парижским Университетом, сказано, что дела, попадая в Парламент, становятся «словно бы бессмертными (*comme immortelles*)». – *Moranvillé H. Op. cit. P.432–33.*

⁵⁸ *Écrits. T.I. P.39–40; 519; T.2. P.326.* При оформлении документа о вступлении чиновника в Парламент указывалось, прежде всего, полученное им образование. – *J.N.B. T.I. P.166, 328–29; T.2. P.93–94; 177; 183–84.*

Но одного образования уже недостаточно для того, чтобы претендовать на судейскую должность, нужен еще и опыт, ибо, как замечает Жувеналь, «одному Богу известно, как нынче легко становятся лиценциатами прав»⁵⁹. Только приобретя опыт в работе на низших судейских должностях, можно претендовать на должность судьи; и только став опытным (*experimentez*) в светской и церковной юрисдикции в судах первой инстанции, можно работать в верховном суде – Парламенте⁶⁰. «Великая вещь – опыт», – восклицает Жан Жувеналь, – «реальный опыт дает лучшие знания, он главный наставник (*maitresse*) судьи»⁶¹. Судьи, не имеющие «умозрительного (*speculative*) и практического опыта», представляют опасность для общества, и потому при назначении на должность судьи стоит учитывать пройденные чиновником ступени карьеры. В этом контексте Жувеналь приветствует сложившееся в Парламенте правило брать советников в Верховную палату, которая выносит приговоры, из Следственной палаты, ибо она «хорошая школа познания того, что такое Парламент»⁶².

Приобретение образования и опыта требовало времени, и потому гарантией профессионализма судей выступал их возраст: чем старше судья, тем лучше⁶³. Возраст играл существенную роль в продвижении чиновника внутри парламентской корпорации, построенной, как все средневековые профессиональные сообщества, по принципу старшинства: дата вступления человека в корпорацию являлась точкой отсчета в его дальнейшем восхождении по парламентской лестнице. Слишком быстрое продвижение молодых чиновников вызывало подозрения и в обществе, видевшем в этом признак фаворитизма, давления на институты королевской власти извне и симптом замыкания чиновничьей среды⁶⁴.

Помимо свидетельства знаний и опыта, солидный возраст, по мнению Жувеналья, соответствовал самому предназначению Парламента – быть защитником общего блага. Претендуя на преемственность от римского Сената, Парламент должен был состоять из «людей достаточно зрелых

⁵⁹ *Écrits*. T.I. P.518.

⁶⁰ *Ibid.* P.515-16.

⁶¹ *Ibid.* P.467-68.

⁶² *Ibid.* P.515. О неукоснительном соблюдении этого правила свидетельствуют протоколы Парламента даже в период жесткого давления на аппарат власти со стороны различных кланов и групп. J.N.V. T.I. P.51, 66, 74, 223-25, 328-29; T.2. P.146, 177-78; J.C.F. T.I. P.155, 165, 173, 200, 379.

⁶³ В программе реформ, именуемой Кабошьенским ордонансом (28 мая 1413 г.) предписывалось положить конец сложившейся практике давать должности в Парламенте «недостойным и молодым». O.R.F. T.X. P.106-07.

⁶⁴ *Écrits*. T.I. P.514. Показательно, что даже в протоколах заседаний чиновники перечислялись по срокам службы, а не по старшинству. – *Histoire de la fonction publique en France*. T.I. Paris, 1993. P.414-17.

(*de age competant*), кто столь мудры и сдержанны, что их можно было бы называть отцами, а вовсе не юных возрастом, разумом и поведением»⁶⁵.

Итак, идеал судьи, особенно верховного суда, – это люди «превосходящие других в возрасте и знании (*science*), в отеческой любви к государству (*chose publique*)»⁶⁶. Воплощением этого идеала, как и образцом служителя короля, Жувеналь считал своего отца, основателя ставшей знаменитой династии королевских чиновников. Описывая его карьеру, взлеты и падения, опасности и победы, Жувеналь считает главными достоинствами отца следование клятве чиновника, соблюдение профессиональной этики и служение общему благу, а не частной выгоде. В этом корень преследований его со стороны герцога Бургундского и Бургиньонов: ложного уголовного обвинения с помощью подкупа тридцати свидетелей, попытки покушения на его жизнь, тюремного заключения в ходе Кабошьенского восстания, отстранения от должности, угрозы жизни его детям, попыток подкупа и увещеваний воспользоваться неразберихой гражданской войны для собственной выгоды... Но в этом же он видит и основу его продвижений в судебно-административном аппарате: назначения хранителем прево́тэ Парижа в период, когда должность прево была упразднена после восстания Майотенов в 1382 г.; королевским адвокатом в Парламенте, канцлером герцога Гиени, дофина королевства; президентом созданного в Тулузе Парламента. Жувеналь подчеркивает, что за эти качества король «очень доверял ему..., охотно принимал и выслушивал», а когда его пытались ложно обвинить в преступлении, король прервал обвинителей, дал отцу оправдаться, «затем встал и сказал, что его купеческий прево честный человек», и обвинения были сняты. В чем же черпал силы и уверенность отец Жана Жувеняля, что служило для него ориентиром в сложной политической обстановке борьбы кланов, партий и группировок? Сын усматривает ее в осознании отцом высокого долга служения короне: отец не умел терпеть и сдерживаться, «видя злоумышления против короля и общего блага и не желая соглашаться с теми, кто плохо управлял», и не однажды «честность и верность предохраняли его от опасности». Хотя многое ему пришлось пережить, он повторял, «что скорее пошел бы побираться с сумой, чем стал бы врагом своего суверенного сеньора (короля – С.Ц.)»⁶⁷.

Все ли судейские чиновники могли сказать о себе такое? Соответствовали ли они тому идеалу судьи, который предписывали ордонансы,

⁶⁵ *Écrits*. T.I. P.236-37. В этих качествах Жувеналь видит и средство сократить численность верховного суда, неизменно волновавшую общество: «один почтенный человек равноценен шести юношам..., и часто мнение шести зрелых и мудрых стоит больше мнения тридцати». – *Ibid*. P.515.

⁶⁶ *Ibid*. P.456, 476-82. Жувеналь призывает и брата, ставшего канцлером, следовать этому идеалу: «пусть все, что вы делаете, будет служить поддержке короля, его прав и государства». – *Ibid*. P.451.

⁶⁷ *Ibid*. P.462.

пропагандировали чиновники и жаждало общество? Конечно, нет. И Жувеналь не строит иллюзий сам и не вводит в заблуждение аудиторию.

«Где те, коими правосудие должно свершаться... кто воздавал бы справедливость бедным людям, без явного покровительства (*favours*) и кто говорил бы правду, не щадя никого... без корысти и заботы о своей частной выгоде?» – восклицает Жан Жувеналь в согласии с традиционными штампами в оценке слугителей власти⁶⁸.

Правда, Жувеналь опирается на собственные наблюдения, в отличие от людей, судящих со стороны: «Увы, я видел стоящих на больших должностях и даже судейских (*judicatur*), кто был известен как распутный, развратный, погрязший в гордыне, обжорстве и грехах... к большому бесчестию короля и в ущерб его правосудию»⁶⁹.

От общей картины неприглядного нравственного облика судейских Жувеналь обращается к тем конкретным отступлениям от законов, которые провоцируют упадок правосудия в королевстве. Прежде всего, он осуждает раздачу должностей судей в угоду «частным интересам» отдельных кланов и партий, стремившихся завладеть складывающимся королевским аппаратом. Так, он критикует назначение в Палату прошений короля «по просьбе частных сеньоров... юношей несведущих, кои только и думали, как бы понравиться тем, кто их поставил»⁷⁰. При этом любопытна позиция Жувеняля, осуждающего, когда «назначают юношей, не имеющих степеней, в угоду их родным и друзьям, кто не имеет даже понятия о том, что такое правосудие»⁷¹. По-видимому, продвижение протезе самих судейских кажется ему более разумным, раз они «знают, что такое правосудие». И уж прямую угрозу общему благу представляет продажа должностей чиновниками, хотя в этот период она только зарождалась в форме «отказа от должности в пользу другого лица», взятой из канонического права⁷².

Не меньшим бичом видится ему и оплата королевских судей, как и всей королевской администрации, хотя здесь позиции чиновников и общества диаметрально противоположны: общество с трудом признавало необходимость оплачивать чиновников, что порождало, в свою очередь, взятки и злоупотребления на всех уровнях⁷³. Однако, признавая недостаточность оплаты чиновников Парламента, Жувеналь, в то же время,

⁶⁸ Ibid. P.59. Об этих штампах см. в частности *Gauvard Cl. Les officiers royaux et l'opinion publique en France à la fin du Moyen âge // Actes du XIVe Colloque historique franco-allemand. Histoire comparée de l'administration. Munich, 1980. P.583-93.*

⁶⁹ *Écrits. T.I. P.454.*

⁷⁰ Ibid. T.2. P.328.

⁷¹ Ibid. T.I. P.491, 516.

⁷² *Barbey J. Être roi: Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI. Paris, 1992. P.348.*

⁷³ Оплата королевских чиновников не зря считается наименее почетной страницей в истории становления французского государства. – *Lot F. et Fawtier R. Op. cit. P.360-61.*

считает, что это никак не оправдывает неисполнение ими своих обязанностей, равно как и взяточничество⁷⁴. К тому же часть чиновников получала дополнительные пенсии из королевской казны, «и все это за счет народа, ибо домен не смог бы этого выдержать»⁷⁵. Наконец, чиновники-клирики получали еще и церковные бенефиции, а после принятия Прагматической санкции этот процесс приобрел угрожающие для церкви масштабы⁷⁶. Да еще вовсю процветает запрещенное законом совмещение должностей, что не может не сказываться на исполнении чиновником своих прямых обязанностей⁷⁷.

Критика конкретных институтов судебной власти короля соответствует у Жувеняля их иерархии⁷⁸. Меньше всего у него претензий к верховному суду – Парижскому Парламенту, которому он лишь рекомендует строго соблюдать предписания ордонансов и, прежде всего, дисциплинарные нормы⁷⁹. Палата прошений короля, дублирующая функции аналогичной палаты Парламента, вызывает уже больше претензий, главным образом, сомнение в ее целесообразности, подкрепленное опытом Парламента в Пуатье⁸⁰. Критика королевских судей первой инстанции – прево, бальи и сенешалей – у Жувеняля направлена на защиту именно правосудия, поскольку в период Столетней войны на эти должности, совмещавшие в себе финансовое, судебно-административное и военное управление, старались назначать людей, сведущих в военном деле, что сказывалось на качестве судебных решений этих инстанций. Жувеняль резонно замечает, что «трудно найти такого, кто знал бы и право, и военное дело, но легче писцу стать воином, чем из воина сделать писца». Таким образом, он предлагал все же главное внимание уделять судебным функциям этих чиновников. К тому же, по мнению Жувеняля, суд их более пристрастен, поскольку они теснее связаны с сеньорами своих земель, и мало профессионален⁸¹. Всегдашним бичом этих судей явля-

⁷⁴ *Écrits*. T.2. P.333-34.

⁷⁵ *Ibid.* P.326, 533. Старая идея о том, что королевский аппарат должен существовать за счет доходов от домена, продолжала владеть умами.

⁷⁶ Будучи лицом духовного звания, Жувеняль остается и здесь верен позиции парламентариев, считавших разумной раздачу бенефициев чиновникам Парламента и Палаты прошений короля как высших судебных инстанций. – *Ibid.* T.I. P.489.

⁷⁷ *Ibid.* P.547. *Aubert F.* Histoire du Parlement de Paris de l'origine à François I (1250–1551). T.I. Paris, 1894. P.218; *Guenée B.* Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen âge (vers 1380-vers 1550). Strasbourg, 1963. P.180-81.

⁷⁸ О структуре судебно-административного аппарата и должностях см. *Ornato M.* Dictionnaire des charges, emplois et métiers relevant des institutions monarchiques en France aux XIVe et XVe siècle. Paris, 1975. О распространенности такой иерархии в критике см. *Krynen J.* Un exemple de critique médiévale des juristes professionnels: Philippe de Mezières et les gens du Parlement de Paris // *Histoire du droit social. Mélanges en hommage à Jean Imbert*. Paris, 1989. P.333-44.

⁷⁹ *Écrits*. T.I. P.518, 539-42, T.2. P.335-36.

⁸⁰ *Ibid.* T.I. P.454; T.2. P.328.

⁸¹ *Ibid.* T.I. P.520, 543-44; T.2. P.337-38.

лась привычка разъезжать по своей области и за ее пределами по собственным делам, делам своих клиентов, иногда и по делам короля, что в итоге не способствовало «торжеству правосудия» в срок. Довершает картину неразберихи в судопроизводстве нерасчлененность юрисдикции между палатами и отдельными чиновниками, претендовавшими на часть судебных полномочий в своей области, будь то финансы (Палата счетов и казначеи), администрация (реформаторы), мэтры Вод и Лесов и т.д.⁸²

Таково в основных чертах мнение Жана Жувеняля о правосудии и судьях во Франции XV века. В стороне мною оставлен вопрос о королевском суде, заслуживающий отдельного исследования. Итак, что же дает нам, помимо ценных свидетельств современника о состоянии судопроизводства во Франции XV века, включение в контекст парламентской практики и этики взглядов бывшего королевского адвоката? Важно само наличие высказываний о состоянии правосудия во Франции «из первых рук», что было большой редкостью: чиновники Парламента не писали, за редким исключением, подобных трактатов, не имея не столько времени, сколько подобающего повода анализировать свою работу. Жан Жувеняль получил такой повод, став архиепископом Реймсским и пэром Франции, и благодаря этому мы имеем уникальное самосвидетельство чиновника из парламентской корпорации, столь замкнутой и функционирующей в режиме секретности.⁸³

Оригинальность мысли не была самоценна в средневековой политической мысли и культуре, основанной на толковании и авторитетях. Да и стремясь к правдивости, Жан Жувеняль не мог не описать того, что нам известно и по другим свидетельствам современников о состоянии суда и нравах судебных. В этом-то и заключено, на мой взгляд, значение мнения Жувеняля: осмелившись взломать «гриф секретности», бережно оберегаемый судебскими, он частью подтвердил утвердившиеся в общественном мнении оценки, частью добавил новые детали, касающиеся проблем судопроизводства и нравов судей, но главное – показал нам, как профессиональная этика преломляется во взглядах отдельного парламентского чиновника и формирует его гражданскую позицию.

⁸² Ibid. T.I. P.513, 518, 528-29, 545, 547; T.2. P.325-26, 329.

⁸³ O.R.F. T.I. P.729; T.II. P.219-28; T.X. P.103-07.

О.Е.Кошелева

Подьячий в интерьере Петербурга петровского времени

С приказными людьми прошлых эпох у отечественного историка имеется особенно тесный контакт. Это благодаря их стараниями появились на свет документы, которые и дают возможность проводить исследования, это их почерк, то четкий и красивый, то корявый и абсолютно непонятный приходится день за днем разбирать во множестве бумаг и непосредственно вникать в их каждодневную работу. Рассказ о них, маленьких людях с пером в руках, затерявшихся на страницах «большой истории», и в то же время так много сделавших для нее, долг, – который историку следует им отдать.

Уже в первые годы существования Петербурга дьяки и подьячие появились на берегах Невы – вначале при гарнизонной канцелярии и при высших должностных персонах. Затем сюда стали перебираться центральные учреждения из Москвы и формироваться новые центральные и местные городские учреждения. Дьякам и подьячим выдавались прогонные и подъемные деньги, предоставлялись подводы¹. На эти деньги приказные люди покупали в Петербурге дворовое место для застройки и жительства. К концу 1717 года «приказной чин» владел в центральном районе города – на Санкт-Петербургском острове – 194 дворами², на Московской стороне имелось всего 23 двора, а на Выборгской – 20 дворов³.

Переселившихся в Петербург приказных людей вскоре ожидали новые потрясения: в самом конце 1717 года⁴ решение Петра I о проведении реформы аппарата центрального управления созрело окончательно и с нового 1718 года повелевалось начать «сочинять коллегии», которые к 1720 должны были начать свою деятельность⁵. Таким образом, для дьяков и подьячих 1718–1720 годы стали временем особой нестабильности и ожидания «новин». Появлялись новые учрежде-

¹ РГАДА. Ф.248. Оп.1. Кн.18. Л.788-798; кн.31. Лл.411-413.

² Там же. Ф.198. Д.624. 12% получают от общей цифры дворов на острове – 1668, но следует иметь в виду, что некоторые владели двумя, а иногда и тремя дворами.

³ РГАДА. Ф.199. Портфель 150. Ч.17. Д. 4.

⁴ См. указ от 11 декабря 1717 г.// Воскресенский Н.А. Законодательные Акты Петра I. М., - Л., 1945. Т.1. С.261.

⁵ См. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 1997. С.115.

ния, уничтожались старые, исчезали и сами традиционные названия приказных чинов, теперь главой ведомства становился не дьяк, а секретарь, подьячих разных статей сменили канцеляристы, подканцеляристы, копиисты⁶; названия менялись, а суть их работы зачастую оставалась прежней. Увеличивалось количество учреждений и циркулировавших в них бумаг в несравнимых с прежними масштабах, и, соответственно, расширялся корпус чиновничества, особенно его среднее звено – подьячие и канцеляристы. Спрос на специалистов приказного делопроизводства в столице был не сравним с другими городами. Подьячих и вообще всех грамотных людей Сенат требовал высылать в нее изо всех губерний⁷. Несмотря на эти старания, грамотных кадров не хватало, из-за них происходили столкновения между разными ведомствами.

Казалось бы, что повышенный спрос в столичных учреждениях на приказных специалистов должен был их сюда привлекать, однако, представляется, что провинциальные и московские приказные служители в массе своей не очень стремились на берега Невы, зная, или предполагая, сколь многотрудная и опасная работа, а также сколь дорогой уровень жизни их здесь ожидают⁸. Петербургским властям, в первую очередь Сенату, постоянно приходилось требовать розыска провинциальных подьячих, назначенных к отправке в Петербург⁹ и куда-то по дороге исчезавших.

Как воин представлял себе механику военных действий, как купец представлял себе механику накопления капитала, так приказной человек представлял себе механику функционирования бюрократического аппарата. Приказные знали, что сочинение бумаг прямо влияет на людские судьбы и что важный документ в нужный момент должен быть найден (или – не найден). Служащие суда, городской канцелярии, таможи, полиции, и др. городских учреждений оказывались втянуты в дела горожан, знали с кем какая беда призошла. Даже самый незначительный подьячий имел возможность повлиять на ход того или иного дела, поспособствовав пропаже одного листа, переместив дела на дальнюю полку или использовав другие небольшие ухищрения.

⁶ Там же. С.192.

⁷ РГАДА. Ф.248. Оп.4. Кн.155. Лл.179, 372-383.

⁸ Е.В.Анисимов высказал на этот счет другое мнение, называя подьячих, попавших в одну из столиц «счастливыми». «Можно быть уверенным, – пишет он, – что появление в петербургском или московском учреждении того или иного подьячего из уездных изб и провинциальных канцелярий не было случайным и, возможно, бесплатным для этого счастливого» (Анисимов Е.В. Государственные преобразования... С.201). В этом высказывании мне видится влияние современных взглядов на переезд в столицу.

⁹ Там же. Ф.248. Оп.1. Кн.18. Л.803.

Расправу в гражданских и уголовных делах чинил не Бог, не царь и не боярин, а маленький чиновник, занимавшийся розыском и пыткой.

Чтобы стать опытным специалистом, требовалось пройти снизу доверху «лестницу чинов», которая в Петербурге была особенно высока и многоступенчата. Этот путь начинался с постижения азов делопроизводства в приказах в роли «малолетних», (слово «ученик» здесь редко употребляли) в возрасте от 11 до 14 лет¹⁰, без оклада. Обычно ученики уже имели начальные навыки чтения и письма¹¹. Следующая ступень – «молодой» подьячий, уже мог претендовать на жалованье. Сами подьячие так характеризовали начало своего профессионального пути: «в приказной чин, не обучаясь из малолетства, отнюдь вступить невозможно, ибо оной чин весьма многотруден, а малолетние чрез обучение и страх принуждены бывают к приказному делу рачение иметь, и ежели из оных кто чрез многой свой прилежной труд покажет себя по оному делу достойна, то таковых, по усмотрению судейскому, в окладные молодые подьячие пишут»¹².

От «молодого» подьячего следовало пройти еще две ступени: подьячего «средней статьи» и «старого подьячего», лишь после этого возможно было получить дьячество. С появлением «Табели о рангах» статская служба стала более многоступенчатой, вплоть до действительного статского советника. Однако в «молодых» подьячих можно было оставаться до седых волос, вот, например, из девяти ревельских подьячих самый старый – Иван Иванов 59 лет – числился в «молодых», а 38-летний Василий Иванов – в «старых» подьячих¹³. Подьячие нужны были то там, то здесь и часто меняли места службы и жительства. Вот, к примеру, подьячий В.Кубышкин с 1682 г. служил «у разных дел» в приказе Большого дворца, с 1690 до 1704 в Ратуше, с 1704 по 1710 взят в Ярославль, с 1716 трудился в Петербургской губернской канцелярии, откуда был взят в Выборг¹⁴. Воистину служба приказных людей была «многотрудной», а в петровские времена она резко усложнилась – в Петербурге требовали от работы высокой квалификации, а развернувшиеся с невиданной до того масштабностью контакты с Европой делали необходимым знания иностранных языков и манер.

¹⁰ Подобное заключение делает Д.О.Серов на основании изучения службы 36 лиц, работавших в правительственных учреждениях в 1662–1710 гг. См.: Серов Д.О. Строители империи. С.23.

¹¹ О системе обучения при приказах см. Демидова Н.Ф. Обучение при Польском и Поместном приказах// Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (с древнейших времен до конца XVII в.). Под ред. Э.Д.Днепров. М., 1989.

¹² Цит по: Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра. С.193.

¹³ РГАДА.Ф.286. Оп. Л. 47, 49.

¹⁴ Там же. Ф.286. Л.68.

Посмотрим теперь на главное – на какие доходы мог прожить мелкий государственный служащий, такой как канцелярист или подьячий. Средства требовались немалые, особенно в столичном Петербурге, где в петровское время дороговизна была ужасающая, да к тому же давил гнет обязательств строить себе дворы, а на них каменные хоромы или мазанки, мостить улицы и осуществлять многое другое, полезное для города, но разорительное для горожан. Наивный читатель решит, что чиновник живет на государственное жалованье. Действительно оно полагалось по штату того или иного учреждения в двух формах – денежной и продуктовой, причем в столице жалованье было на 50% выше, чем в других городах¹⁵. Однако выдавалось оно крайне нерегулярно, каждый год надо было подавать новую просьбу о его получении, и она далеко не сразу и не всегда выполнялась. Можно привести множество челобитных со слезными прошениями приказных людей о выдаче им жалованья. Остановимся для примера лишь на одной – дьяка Федора Воронова, работавшего в розыскных канцеляриях и занимавшегося расследованием крупных государственных хищений. Он писал: «...хлебного жалованья на прошлой 716 и на нынешний 717 год, кроме денежного, не дано, от чего одолжал и впредь откуда буду денежное и хлебное жалованье получать не знаю. А без выдачи Вашего величества жалованья мне, у дел будучи, пропитатца нечем, человек я небогатой. Да я ж строю, по указу Вашего величества, на берегу каменное полатное строение, от которого в долгах остаюсь. А трудами моими... на людях взято более двухсот тысяч рублей... (т.е. возвращены расхищенные из казны деньги – О.К.)»¹⁶. Воронову по крайней мере было выплачено денежное жалованье, которое по сравнению с хлебным было малозначимым из-за того, что на деньги многое можно было купить. Рядовые подьячие во второстепенных учреждениях могли вообще никакого жалованья не получать годами. К примеру, подьячий петербургского Провинциального суда Алексей Федоров оказался плохим работником – он пьянствовал, допускал «предерзости», не приходил на службу и во время следствия под пыткой признал за собой еще и «блудное дело». В наказание он был бит батогами, а также «по генеральному регламенту надлежало у него, Алексея, вычесть из жалованья 56 рублей, 12 алтын, 4 денги», – докладывали из Провинциального суда в вышестоящие инстанции, – но этого было сделать никак невозможно, поскольку «ему, Алексею, его

¹⁵ Подробнее о жалованье см. Анисимов Е.В. Государственные преобразования... С.222.

¹⁶ Цит. по Серов Д.О. Строители империи. Новосибирск. 1996. С.204.

императорского величества жалованья, как денежного, так и хлебного в Провинциальном суде не было и вычитать одного не из чего»¹⁷.

Необходимо, однако, задуматься над самим феноменом «жалованья» в описываемое время. Он не являлся тождественным современной «зароботной плате». «Жалуемое» принадлежало государю, и передача жалованья подданным являлось его милостью к ним (ср. форму прошения о жалованье «государь, смилуйся, пожалуй»). Жалованье не предназначалось для эквивалентной расплаты за труд, это был дар, по сути своей близкий к тому дару, о котором писал А.Я.Гуревич, исследуя скандинавский материал раннего средневековья. «Дар» не имел ничего общего с платой за работу, его жаловали за верную службу, фактически – за преданность, одновременно он являлся и «милостыней», выданой для поддержания существования. Поэтому, чтобы получить даже положенное по указу жалованье, его следовало просить, подавая челобитную на царское имя.

Жалованье соединяло узами слугу и господина, оно делало каждого «маленького человека» причастным к царской власти. Недаром, назвать кого-либо «неслугою», значило – оскорбить, такое оскорбление фигурирует в делах о бесчестье и допетровского, и петровского времени¹⁸. Оскорбление государева слуги (или государственного служащего – что в рассматриваемое время продолжает быть равным понятием) на службе расценивалось по закону как оскорбление верховной власти, частью которой он себя ощущал. Например, в 1722 г. в вологодской ратуше один из посадских людей назвал бурмистра «бездельником», за что тут же был осужден по Соборному Уложению 1649 г. за оскорбление властей, за бурмистром же оставили право подать в суд на бесчестье еще и «особливо», как нанесенное частному лицу¹⁹. Чувство собственного достоинства, вызванное положением государственного служителя, отражают слова дьяка В.В.Степанова, который в бытность свою в 1719 г. советником Канцелярии Коллегии Иностранных дел подвергся оскорблениям вице-канцлера П.П.Шафировова, грозившегося его побить. Степанов по этому поводу написал: «и я о моей персоне не говорю, толко характер канцелярии советника не допускает, что не токмо побои, но и брани терпеть»²⁰.

Схожие отношения существовали и в боярском дворе, где дворовые люди, которых также называли «служителями», получали «наделок» (от слова «наделять»), являвшийся подобием жалованья, и не имевший прямой связи с выполняемой ими работой.

¹⁷ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1571. Л.50-53.

¹⁸ РГАДА. Ф.210. Приказной стол. Владимир. Стб.130 Лл.453-465 (1640).

¹⁹ РГАДА. Ф.717. Д.420.

²⁰ Серов Д.О. Строители империи. Приложение 7. С.163.

Работая частным образом, например, составляя челобитную для постороннего человека, тот же подьячий за ту же работу брал плату – но тут материализовывались совершенно другие отношения – не дар, но договор – и чиновник уже выступал как «работник» – статус, не сравнимый со «служителем». За плату работали низшие слои общества, ремесленники, поденщики, крестьяне. Чиновников никогда не называли в те времена «работниками», но только «служителями», так их именует и Генеральный Регламент Петра (гл.25). Эти архаичные отношения власти и подданных постепенно исчезали и были в петровское время уже на излете, тем не менее практика властей не платить служащим за работу, и практика служащих работать не за плату, а за «идею» надолго сохранялась в российской действительности, к ней относились как к вещи само собой разумеющейся.

Однако пора прекратить столь затянувшееся отступление и вернуться к нашим подьячим. Как ни расценивай государево жалование, ясно одно – оно было весьма ненадежным источником дохода. На что же тогда жили приказные люди?

Многие, если не большинство, приказных людей имели деревни с крестьянами. Это землевладение служилой бюрократии сложилось уже в XVII веке, когда дьяки и подьячие получали не только денежные, но и поместные оклады²¹. По данным на 1700 год только за 9 думными дьяками насчитывалось 1253 крестьянских двора²², большинство потомственных дьяков и подьячих продолжали оставаться землевладельцами и в петровское время. К примеру, дьяку Ивану Степанову принадлежала деревня Марьино Кашинского у. с двадцатью дворами, которую в 1718 г. приобрел «фонтанный» и «денежный» мастер, а также известный писатель Иван Посошков за 750 рублей²³.

Владение землями давало возможность подвозить в Петербург припасы для домашнего потребления. Провинциал-фискалу А.Ф.Негоновскому, например, везли из деревни в Петербург припасу на 12 лошадях²⁴. Из деревень в город можно было брать дворовых людей – подьячий Прокофий Баранов так и написал о своих дворовых людях: «взятые из крестьян» и «взятые из деревень»²⁵. Совершенно обычными были в суде такие решения как следующее: «...женку Авдотью Иванову дочь за побег от вотчинника ея подьячего Ивана Даркова бить на козле кнутом и отдать ему, Даркову, по крепости»²⁶. Но большая часть город-

²¹ См. Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С.90-117.

²² Там же. С.102.

²³ РГАДА. Ф.7. Д.209. Л.4.

²⁴ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л.21.

²⁵ Там же. Ф.26. Оп.1.Ч.3. Д.8451-8662. Л.465.

²⁶ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1568. Л.36.

ской прислуги у служилой бюрократии была купленной, причем, купленной по дешевке: приобретались старики да малолетки, и из крестьян, и «из свейского полону» (т.е. пленные шведы), и из «чюхны» (т.е. из завоеванного финского населения). Достаточно обратить внимание на то, сколько прислуги имелось в той или иной семье приказного человека²⁷, чтобы определить уровень ее благосостояния.

Приказные служащие как и ранее традиционно «кормились от дел», то есть получали и уголовно наказуемые взятки, и не нарушавшие закон поборы с просителей за дополнительные услуги («акциденцию») и «почести» т.е. подарки – грань между этими видами доходов была весьма зыбкой²⁸. Исследователь Д.О.Серов приводит пример с канцеляристом Юстиц-коллегии П.А.Ижориным, о котором один из подследственных этой коллегии в 1719 г. доносил, что «подьячий Петр Ижорин... взял с него, Попцова, во взятку двои часы, одни карманные серебряные, ценою в пятьдесят рублей, другие стенные боевые, в корпусе, ценою в шездесят рублей, да запасу всякого, а имянно муки, солоду, вина, мяс, рыб и прочего рублей на пятьдесят с небольшим»²⁹. Подьячих дарили самыми различными подарками: один генерал иноземного происхождения из города Абова прислал подьячему Таможни Федору Родичеву «в подарок малолетнего чухонского сына Югана Эрика, а по крещении наречено имя ему Илиею»³⁰.

Некоторый прибыток подьячие получали от использования своих профессиональных знаний для обучения «науки письма». Обучение малолетних и молодых служащих того или иного учреждения прямо в процессе работы входило в обязанности опытных подьячих, однако они занимались этим и на дому уже за особую плату или за отработку в домашнем хозяйстве. Документы петербургской переписи 1718 г. фиксируют некоторых проживавших в доме у подьячих учеников: например, у дьяка петербургской Ратуши Ф.Тимофеева учился 12-летний сын новгородского посадского человека; у канцеляриста Н.Кондратова «для приказного обучения» проживал 15-летний ученик³¹.

Еще одной из статей дохода приказных людей была сдача внаем квартир, в Петербурге очень не хватало жилья – многие из вновь при-

²⁷ Такую возможность дает перепись Петербургского острова 1718 г. (РГАДА. Ф.26. Оп.1.Ч.3. Д. 8451-8662 и Д.8663-8947).

²⁸ Об этом см.: Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С.141-146; Серов Д.О. Строители империи. С.8-29; Анисимов Е.В. Государственные преобразования... С.229; Седов П.В. Подношения в системе воеводского управления Новгорода XVII в.// Новгородский исторический сборник. СПб., 1999. С.130-163.

²⁹ Цит. по: Серов Д.О. Строители империи. С.23.

³⁰ Там же. Ф.285. Оп.1. Ч.2 Кн.1562 Л.61 об.

³¹ РГАДА. Ф.26. Оп.1.Ч.3. Д. 8451-8662. Л.319,389.

езжих не успевали построиться, снимали избу или просто комнату. Подьячий Василий Бохин побил все рекорды, поселив у себя во дворе 21 жильца, с женами и детьми получилось 29 человек³². Однако приблизительно половина приказных служащих Петербурга сама нанимала квартиры, не имея собственной жилплощади. Холостые молодые подьячие поселялись в одном доме вместе – и дешевле, и веселей. Например, 25-летний подьячий Подрядной Канцелярии Федор Пирогов поселил у себя в доме сослуживца – 23-летнего Марко Неелова, по причине их «одиночества»³³. Но вынужденное совместное житье разных семейств, естественно, приводило к постоянно возникавшим конфликтам. Канцелярист Надворного суда Семен Ремезов рассказывал: «нанял он с товарищем купецким человеком Петром Лукьяновым квартиру в Посацкой улице лейб-гвардии бомбардира ...Ивана Михайлова сына Казимерова, а платить было им за тое квартиру с ним, Петром, пополам за год тридцать рублей». Товарищ занял у Ремезова деньги и не отдавал, они стали ссориться (особенно рьяно в нетрезвом состоянии), бранить друг друга, грозить судом, в их распрю вмешался хозяин-бомбардир, их жены, дети и прислуга. Изложив все перипетии домашней ссоры, Ремезов сообщил, чем все это закончилось: хозяин двора Казимеров «не дав время и убраца, сослал ево з женою и з детми с квартиры безвременно, а что в той безвременной ссылке утратилось за скоростью, несведомен (я), и того опасен от них всякого себе зла затейным челобитьем и протчими всякими умыслы»³⁴.

Подьячий Трофим Быховцев, заимев 75 рублей на покупку собственного двора, договорился было приобрести таковой у другого подьячего. Быховцев дал задаток и уже начал перевозить кое-что из своих припасов на новое место, но тут из-за срочной работы (он занимался обработкой данных для первой ревизской переписи) утратил связь с продавцом и не оформил соответствующих документов на владение. Тем временем двор продали другому человеку, не вернув Быховцову ни задатка, ни продуктов. И теперь, – писал Быховцев, – «учинился в разорении, без денег и без хлеба и без двора, помираю з женою и з детми голодом», а по суду требовать своего ему «невозможно, пребывает денно и ночью у ...государевых дел без выпуску»³⁵.

И действительно, о том, что приказные люди в правление Петра Великого работали «денно и ночью», выполняя его многочисленные указы и распоряжения, имеется не одно свидетельство. Вице-губернатор Степан Клокочов, руководивший Санкт-петербургской гу-

³² РГАДА. Ф.26. Оп.1.Ч.3. Д. 8663-8947. Л.101-102.

³³ РГАДА. Ф.26. Оп.3.Ч.1. Д.8663-8947. Лл.3, 12, 35.

³⁴ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л.48. Об.50.

³⁵ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л.30.

бернской канцелярией, писал, что ее служащие «...управляют его государевы и челобитчиковы многие дела по возможности денно и ношно и безвыходно, и за неисpravление держатца в канцелярии за караулом, а иные многие и скованы, понеже за малолюдством и справица не могут...»³⁶. Как и у Быховцова, у подьячего Штабс-кантор коллегии Илья Ярцов при таком режиме работы не оказывалось возможности заняться неотложными личными делами: он не мог в течение нескольких недель начать поиск пропавшего малолетнего брата по причине своего «одержания» в коллегии «за отправлением государевых дел»³⁷.

Нередко подьячии со службы бежали: только из Петербургской губернской канцелярии сбежало 7 молодых подьячих, «а после них многих дел не сыскано»³⁸. Побег сопровождался кражами. Подьячий Провинциального суда Илья Фролов, и ранее имевший служебные взыскания, украл 12 рублей 20 алтын пошлинных денег, проходивших через его руки, и бежал. Об этом кричали глашатаи на улицах Петербурга, а грамотные читали о том же на развешенных по городу «листах». Посланы были указы о поимке беглеца в Москву и другие города³⁹.

Итак, государство дьякам и подьячим если и платило жалованье, то это происходило нерегулярно, и прожить на него не представлялось возможности, при этом оно распоряжалось их трудом, не считаясь со временем, и днем и ночью. Впрочем, то же самое происходило и с другими сословиями. Поэтому им были необходимы дополнительные средства к существованию, которые они могли получить без особых затрат своего времени, эти средства складывались из владения землей, с которой они получали продукты натурой, из сдачи внаем квартир, из частных уроков и получения почестей и взяток. Это – в целом легальные способы получения доходов, были, однако, также и нелегальные – казнокрадство, которое правительство старалось не допускать, подделка документов, особенно денежных, продажа различных секретов, узанных из бумаг, на этой же почве – шантаж. Эти люди жили в совсем иное, совершенно не похожее на наше время – однако стратегия выживания маленького чиновника большого Российского государства, видимо, является читателю понятной и хорошо знакомой.

Бюрократия петровского времени была далеко не однородной. Внизу чиновной лестницы стояли люди мелкие, невидные, «винтики» бюрократической машины, а на ее верху – особы значительные, управлявшие крупными ведомствами, обладавшие немалой властью и богатством. Они проходили всю лестницу с низу в верх и перескочить

³⁶ РГАДА. Ф. 248. Оп.4. Кн.195.Л. 215-216.

³⁷ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1562. Л.2.

³⁸ РГАДА. Ф.248. Оп.3.Кн.63. л 1051.

³⁹ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1568. Л.48.

ее ступеньки было невозможно. Тем не менее, даже у достигших крупных чинов, жизнь была далека от покоя и стабильности – государственная служба требовала от них многих лишений, в том числе и материальных. Рассказ о себе такого чиновника, Ивана Никифоровича Венюкова, имеет особо жалостное звучание, поскольку он включен в его челобитную с просьбой об отставке, тем не менее дает нам возможность представить себе обстоятельства его жизни. Венюков был сыном одного из видных дьяков-дипломатов XVII века и сам сделал достаточно удачную бюрократическую карьеру, служа в основном при судебных и розыскных делах. Он писал о себе следующее: «понеже я при делах Вашего императорского Величества обретаюсь 34 года и в секретарях действительно 17 лет, и в С.-Петербурге жил более 18 лет, в которое время как из С.-Петербурга в Москву, так из Москвы в Санкт-Петербург имел более 20 поездок, и в 721 году от прибылой воды учинилось мне убытку более 1000 руб., а напоследок, за отлучкою в Москву, в С.-Петербурге двор мой, которой мне стал более 700 рублей, вовсе разорился, к тому-ж в прошлом 1737 г. в Москве погорел без остатка, а на другой день выслан в Санкт-Петербург безвременно, отчего пришел во всеконечное разорение и в совершенную скудость»; в погоревшем московском доме осталась мать «в глубокой старости, а при ней малолетних детей моих четыре человека». Вскоре мать умерла, а Венюков так и не мог получить отпуска из Петербурга в Москву: «малолетние мои дети, – писал он далее, – без призрения странствуют и без науки почти пропадают напрасно, а, не осмотрясь с домишком моим, взять их сюда невозможно и не к чему, понеже и дворишка здесь своего не имею, да и привезть их чрез такой путь в малолетстве некому. В главной полицмейстерской канцелярии (где служил Венюков – О.К.) неоднократно и просил, по которым моим прошениям объявлено было мне, что, за неопределением другого секретаря, отпустить невозможно, а как и другой секретарь определен, отпуска себе получить не могу»⁴⁰. В 1724 г. в петербургском доме Венюкова стоял постой – шестеро солдат⁴¹.

Жизнь на два дома – московский и петербургский –, сложившаяся в петровское время, приносила дополнительные расходы. Канцеляристы Сената пытались обратить внимание господ сенаторов на нелепость ситуации – в Москве на их дворах в отсутствие хозяев ставили на постой солдат и разбирали их обветшавшие хоромы на дрова, а в Петербурге, по месту их службы, канцеляристам приходилось нани-

⁴⁰ Сборник Императорского Русского исторического общества. Т.124. Юрьев, 1906. С.499-500. За указание на документ благодарю Д.О.Серова.

⁴¹ ФИРИ. Ф.238. Оп.2. Ед.хр. 256/14.

мать себе жилье и дорого за него платить⁴². Подьячии были истинными мастерами «жалостного» слога: вот, к примеру, как описывает свое бытие в Петербурге подьячий канцелярии Сената Андрей Севергин: «А человекенко я скудной. И на дворишке хоромишки нужные ветхие, в которых и прожить немочно; также и погребешка нет, а мазанку строить за скудостью нечем»⁴³.

И тем не менее выясняется, что хотя подьячии и бесконечно жаловались на свою скудость и вечную занятость, они же имели у себя дома множество дорогой утвари, одежды, драгоценностей. Об этом свидетельствуют их собственные заявления об ограблениях, поданные в суд и в полицию. Заявления приказных людей о кражах особенно многочисленны не столько потому, что они были наиболее притягательным объектом для грабежей, сколько, во-первых, вследствие умения составлять документы, во-вторых, вследствие содержания в доме случайной прислуги.

Подьячий Маракушев, например, жаловался на кражу у него жемчуга, перстней золотых, посуды серебряной, парадной одежды на 410 рублей, подьячий Дм.Горохов оценил украденное у него в сумму 203 руб.⁴⁴

Документы, деньги и дорогие сердцу вещицы обычно хранили в подголовниках. Для серьезных грабителей они представляли большой интерес, чем тряпки из сундуков. Подголовник представлял собой ларчик со скошенной крышкой, запирающийся на ключ, причем замок обычно был внутренним, а не навесным, как на сундуках, его нельзя было сбить. Поэтому воры «с улицы» подголовков крали целиком и потом разбивали, домашние же воры выкрадывали у хозяина ключ.

У подьячего Дмитрия Горохова был подголовок, окованный железом, в котором содержались его письма, в том числе крепость (документ, подтверждающий владение собственностью) на его двор, и две медные чернильницы. Подголовок этот унесли наряду со многими другими вещами грабители, проникшие в дом с улицы. Дьяка Прохора Трофимова ограбил работавший у него пленный швед, который сбежал, прихватив «подголовочек с нутрянным замком», а в нем 100 руб., кое-что из мелких вещей, например, зеркальце, а также «всякие письма (т.е.документы – О.К.) и грамотки (т.е.личные письма – О.К.)»⁴⁵. Канцелярист Алексей Иванов рано по утру ушел на службу в Сенат, а тем временем его «купленный человек» из окна «выбил окончину во-

⁴² РГАДА.Ф.248. Кн.1206. Л.583.

⁴³ РГАДА. Ф.198. Д.72. Л. 54.

⁴⁴ РГАДА.Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1568. Л.8; Д.1594. Л.39-40. Оклад подьячих составлял от 120 до 30 руб. (Анисимов Е.В. Государственные преобразования ... С.222).

⁴⁵ РГАДА.Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1595 Л. 23.

ровски и влезши в то окно, унес подголовок ево со скарбом, которой сыскан на том же ево дворе у передбанника, где стоит лошадь, разломан, и всякой ево и жены ево скарб жемчужной, золотые и ефимки и иные вещи покрадены»⁴⁶. «Скарб» жены этого канцеляриста поражает своим разнообразием и богатством – в нем, например, находились 2 перстня золотых с изумрудами, серьги золотые с алмазами, перстень золотой с гранатом и множество жемчужных украшений. А подьячий Ив.Меньшев, снимавший квартиру, обнаружил пропажу из кармана «подголовочного» ключа, пришлось ему ломать замок. Сделав это, он увидел, что пропала часть денег⁴⁷.

Подобные истории о кражах в домах подьячих можно рассказывать до бесконечности, они происходили повседневно. Но случались и ограбления иного типа, когда раздевали прямо на улице. Эти при-скорбные случаи интересны для нас тем, что фиксируют подьячего в самый обычный момент нахождения на улице, в его повседневной одежде. Вот например, холодным и сумрачным январским днем 1720 г. подьячий Юстиц-коллегии Иван Зорин пошел в баню, «а как пошел из бани, против перекрестка в Посадской улице у кабака напали на него незнаемо какие люди», все, что у него можно было отнять, они отняли, только не раздели. Что же было на Зорине по выходе из бани? На голове – триповая⁴⁸ темнозеленая шапка, не дешевая, ценою в рубль, на руках – руковицы сафьянные черные, на шее – галстук, в карманах – два шелковых платка, на пальце серебряный перстень, в руках – трость «натуральная», обложена серебром (за 4 руб.), в кожаном красном кошельке лежала медная печать и три рубля денег, с собой он нес исподнее – две рубахи и порты, очевидно, переодетые в бане. Всего своих потерь Зорин оценил на сумму 30 руб.16 алтын 4 деньги⁴⁹, и действительно, все вещи при нем были качественные, хорошего материала, хоть не в гости он шел, а всего лишь в баню.

Год спустя, тоже в январе, приблизительно по тем же улицам в восьмом часу вечера шел домой от своего сослуживца подьячий Подрядной конторы Данила Назарьев. И «напали на него незнаемо какие воровские люди, и били смертным боем и голову проломали дубиною и ограбили». Как выглядел перед грабежом Назарьев? На нем была красна-коричневая (гвоздишного цвету) суконная шапка с околышком из черной овчинки, перчатки теплые, козлиные. В одной руке он нес жестяный круглый слюдяной фонарь, освещаая им себе дорогу, ибо на улицах не было освещения, а в другой – трость «натуральную», окра-

⁴⁶ РГАДА. Ф.285. Оп.1. Ч.2. Д.1594. Л. 39-39 об.

⁴⁷ РГАДА. Ф. 285. Оп.1. Ч.2 Д.1574. Л.22.

⁴⁸ Трип – ткань, выполненная в бархатной технике и напоминающая бархат.

⁴⁹ РГАДА. Ф.285. Оп.1. Ч.2. Д.1562. Л.11-11 об.

шенную, не новую, так как краска на нижнем ее конце уже облупилась. В карманах у него были – ножик складной перочинный, табакерка роговая черная немецкой работы, тисненая, да два платка – шелковый и белого полотна⁵⁰.

Через месяц, т.е. в конце февраля, вечером по тем же улицам Посадской слободы Санкт-Петербургского острова шел домой от родственника подьячий Камер-коллегии Козьма Степанов. С ним приключилась самая неприятная из всех история: из одного двора «выбежав, 3 человека незнамо какова чину при шпагах, ухватя ево за галстух, учили давить и встацили на тот ...двор в ызбу и учили бить смертно, и выняв наголо полаши, хотели рубить». Не на улице, а за забором, грабители чувствовали себя увереннее и раздели подьячего полностью: сняли с него суконный кафтан лимонного цвета, китайчатый⁵¹ лазоревый камзол, камчатую⁵² зеленую фуфайку, суконную лазоревую шапку и черные сафьянные рукавицы. Отобрали даже нательный серебряный крест, а также серебряный перстень и два рубля денег. Видимо, от родственника подьячий шел с подарком или с товаром – при нем оказалось 20 деревянных ложек. Как и у других его собратьев, у Степанова было с собой два платка – один из тафты, а другой – «каморковый» – из дорогого тонкого голландского полотна. По словам подьячего его хотели убить и «кинуть в подполье», но он пообещал грабителям дать из дома 10 рублей и по дороге смог как-то отделаться от них, видимо, сильно пьяных⁵³.

Хотя все ограбления происходили зимой, ни в одном из случаев не названа верхняя одежда. Скорее всего на пострадавших были овчинные шубы или тулупы – дешевые и объемные, брать их ворами не имело смысла. Но в подьяческих сундуках встречается и такая дорогая, свойственная благородным сословиям верхняя зимняя одежда как епанча – широкий плащ без рукавов на меху. Епанчу, подбитую лисой, украли во время пожара у подьячего Храмцовского⁵⁴.

Такими, одетыми на западный манер⁵⁵ в камзолы, в галстуки, с дорогим платком и с обязательной тростью в руках, да парой рублей и табакеркой в карманах, шли подьячие по своим делам по петербургским улицам. В одиночестве в темное время старались не ходить:

⁵⁰ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л.14.

⁵¹ Китайка зд. – шелковая гладкокрашенная ткань.

⁵² Камка – тонкая шелковая ткань, однотонная с блестящим узором на матовом фоне.

⁵³ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л.26 об.-27.

⁵⁴ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1554. Л. 65 об.

⁵⁵ То, что приказные люди носили западноевропейскую одежду, еще не означало, что они имели к ней пристрастие – в Петербурге даже рабочим людям указывалось одеваться по западноевропейской моде.

чтобы избежать неприятных столкновений и для несения фонаря брали с собой слуг. Трость была вещью многофункциональной, на нее опирались, ей отгоняли собак, а в возникающих конфликтах ею били противника или слугу⁵⁶.

Но вот подьячий приходил домой, отпуская в людскую слугу и облачался в «спальный кафтан». Это было также заимствованное из западной моды платье для домашнего употребления, называвшееся по-немецки шлафорок (т.е. «платье для сна»). Однако в нем отнюдь не спали, а принимали гостей, так сказать, домашним, неофициальным образом. Шлафорок, носившийся и мужчинами, и женщинами, подобен халату – широкий, с запахом, подвязывающийся поясом. Похоже, что в петровское время он вошел в большую моду, шился из дорогих шелковых тканей и, без сомнения, являлся предметом роскоши. Дети приказных людей, учившиеся за границей, привыкали там к этому нерусскому виду одежды. Вот дьяк М.Ларионов, вернувшись из Турции в 1701 г., послал своему обучавшемуся в Берлине сыну «гостинец» – турецкой материи специально на «спальный кафтан»⁵⁷. Но шлафорки нашли себе место и в сундуках петербургских подьячих – они нередко встречаются среди украденных у них вещей. У одного подьячего среди похищенного был женский «полушляфорг отласной, вишневой, опущен рудожелтою камкою на белье меху» – цена ему была – 13 рублей⁵⁸, у другого «платья жены ево – шлафор обьяриной, цвета рудожелтой, подложен китайкой – 18 руб. ...шлафор китайчатой теплой, мех заячий – 5 руб.»⁵⁹. В обоих случаях подьяческие жены щеголяли в ярких, с подкладкой и с отделкой, теплых и очень дорогих домашних одеждах. Шлафорок стал предметом спора в одном из дел о наследстве между матерью и женой покойного. Мать хотела иметь у себя шлафорок сына, его вдова сначала утверждала, что отдала его в приданое за свою служительницу, потом – что он отдан «отцу духовному поминовения ради»⁶⁰, то есть был вещью особой ценности.

Шлафорок, пожалуй единственный «теплый» штрих в том мрачном эскизе, который получился в результате воспроизведения отдельных моментов из жизни подьячих, зафиксированных документами. От нищеты, рабства, унижений, ограблений, оскорблений, которым подвергались подьячие и которым сами же они подвергали других, не спрячешься в шлафорок, и все же – он определенно создавал иллюзию домашней защищенности, отдыха, праздника и богатства.

⁵⁶ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л.69 об.; Д.1568. Л.8 об.

⁵⁷ РНБ. ОЛДП. Q 64. Л.190.

⁵⁸ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1594. Л. 40.

⁵⁹ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1574. Л. 23.

⁶⁰ РГАДА. Ф.285. Оп.1.Ч.2. Д.1587. Л.68 об.

М.Л. Майофис

Карамзинист в политике и литературе: случай Д.Н. Блудова*

Дмитрий Николаевич Блудов (1785–1864) по праву считается одним из самых известных и успешных деятелей николаевского царствования. Министр внутренних дел и юстиции (1830-е гг.), глава Государственного совета и Комитета министров в первые годы царствования Александра II, Блудов был известен также как один из самых ревностных последователей Карамзина и издатель последнего, 12 тома его «Истории...», друг Жуковского, открывший своей сатирой «Видение в какой-то ограде» (1815) организованную полемику с ревнителями «старого слога» – обществом «Беседа любителей русского слова». Эта полемика привела вскоре к созданию литературного общества «Арзамас».

Современники оставили свидетельства о невероятном пиетете, который Блудов испытывал перед личностью и сочинениями Карамзина. «Блудов, самый исступленный карамзинист, веровавший в "Бедную Лизу" как в Варвару великомученицу», – охарактеризовал его Н.И.Греч¹. Впрочем, не стоит безоговорочно доверять этой характеристике. Многие мысли и убеждения Карамзина Блудов, действительно, сделал собственными жизненными принципами, которыми продолжал руководствоваться долгие годы после смерти своего кумира. Однако эти мысли и убеждения претерпевали в сочинениях и поведенческой стратегии Блудова значительную трансформацию.

Одним из самых ярких фактов биографии Блудова, положившим, по мнению многих исследователей, конец «либеральным» увлечениям молодости (связанным с активным сотрудничеством в «Арзамасе»), стало участие в следственном процессе декабристов и написание «Донесения Следственной Комиссии» (1826). «Вольнолюбивый» дух арзамасского общества, в котором на последнем этапе его существования принял участие А.С.Пушкин, неизбежно входил в противоречие с образом Блудова – «столпа николаевского режима»². Это противоречие, замеченное в биографии и других арзамасцев, в свою очередь привело к разделению деятелей «Арзамаса» на «прогрессивных»,

* Благодарю Л.Н.Киселеву за многочисленные ценные замечания, высказанные на ранних этапах работы над этой статьей.

¹ Греч Н.И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С.494-495.

² Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука. 1969. С.159.

См. также его суждение о Блудове: «Его участие в следствии над декабристами образовало идейный рубеж между ним и его друзьями по "Арзамасу"» (Там же).

«оппозиционеров» (в их число включали будущих декабристов М.Орлова, Н.Тургенева и Н.Муравьева) и «реакционеров» (тех, кто сделал успешную карьеру в царствование Николая I – С.С.Уваров, Д.Н.Блудов, Д.В.Дашков, Д.П.Северин)³. Фигура Блудова, бывшего «либерала», не оставившего службу даже в «мрачное семилетие» николаевского царствования, не привлекала внимания ни литературоведов, ни историков, ни культурологов⁴. Осмыслению этого феномена отчасти препятствовало малое количество опубликованных сочинений Блудова 1800–1820-х гг. С другой стороны, в научной литературе практически не затрагивалась проблема мировоззрения молодых адептов Карамзина 1800–20-х гг., составивших в 1815–1818 гг. «правое», более консервативно настроенное крыло общества «Арзамас» и занявших в николаевское царствование ключевые государственные посты. В настоящее время предпринимаются первые шаги в изучении политического мировоззрения карамзинистов, определивших правительственную политику 1830–1840-х гг.⁵

Настоящая статья, источниками которой, помимо опубликованных текстов, являются черновики статей, переводов, художественных произведений и писем Блудова, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), призвана расширить представление о литературной и дипломатической деятельности Блудова. Анализ не введенных до сего дня в оборот материалов позволит сделать предварительные замечания на важную и мало освещавшуюся тему – «арзамасцы на государственной службе». Мы остановимся на нескольких важнейших чертах мировоззрения Блудова – унаследованном им от

³ «И в самом деле, какое единство, какой союз мог быть в обществе, где встречались М.Орлов, Н.Тургенев, Н.Муравьев с Уваровым, Блудовым, Кавелиным, Северным и др. Не в такой среде можно было думать об издании политического журнала» (Томашевский Б.В. Пушкин. Т.1. Л., 1990. С.128).

⁴ Единственная на сей день монография о Д.Н.Блудове была написана его сотрудником историком Е.Ковалевским (см.: Ковалевский Е.П. Граф Блудов и его время. СПб., 1866). В числе недавних исследований следует отметить диссертацию Е.В.Долгих, посвященную лишь позднейшему периоду деятельности Блудова и дающую «типический» портрет русского бюрократа (Долгих Е.В. Д.Н.Блудов. М.А.Корф. К проблеме менталитета российской бюрократии первой половины XIX в. Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М.: МГУ, 1995).

⁵ В первую очередь необходимо назвать статью Л.Н.Киселевой «Карамзинисты – творцы официальной идеологии (заметки о российском гимне)» (Тыняновский сборник. Вып.10. М., 1998. С.24-39), в которой исследовательница замечает, что «карамзинский субстрат» в позиции и деятельности С.С.Уварова, Д.Н.Блудова и Д.В.Дашкова «никем не выделялся». См. также: Зорин А.Л. Священные союзы: Послание «Императору Александру» В.А.Жуковского и идеология христианского универсализма// Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... М.: Новое литературное обозрение, 2001. С.267-296.

Карамзина представлении о ведущей роли языка как средства улучшения и упорядочения жизни государства, не описанной до сих пор системе политических ценностей и, наконец, рассмотрим одно из ключевых для него понятий – понятие «света». Мы надеемся показать, что карамзинизм в политике так же, как и карамзинизм в литературе представляет собой примечательный образец усвоения нескольких избранных карамзинских идей, их последующего «заострения», часто – абсолютизации, решения с их помощью совершенно неожиданных политических, публицистических, пропагандистских и других задач. Анализ неизвестных до сих пор литературных сочинений и нереализованных творческих проектов Блудова должен продемонстрировать оригинальность и неортодоксальность его литературного карамзинизма.

Служебная карьера Блудова развивалась стремительно с самого начала: в 1800 г. он поступает на должность переводчика в Московский архив Коллегии иностранных дел, а уже в 1808 г. становится правителем дипломатической канцелярии при графе Н.М.Каменском, главнокомандующем Дунайской армией. Вероятно, этому назначению молодой чиновник был обязан родственным и дружеским связям с семьей Каменских⁶, однако к этому времени он и сам был достаточно хорошо известен в придворных и правительственных кругах. Любопытное свидетельство этому мы обнаруживаем в письме В.А.Жуковского конца 1806 г. к Блудову и А.И.Тургеневу. В нем Жуковский обращается к своим друзьям как к несомненным, по его мнению, авторам манифеста императора Александра о созыве народного ополчения для войны с Наполеоном. Сейчас трудно с определенностью установить, кем именно из государственных сановников была подсказана Александру I кандидатура Блудова, однако сам факт возложения на него такой ответственной миссии говорит и о высокой оценке способностей молодого переводчика, и о его собственных амбициях.

Жуковский подробно разбирает текст манифеста и высказывает множество замечаний – так, будто совершенно уверен в том, что Блудов и Тургенев будут причастны к созданию и других важнейших государственных документов:

Вообще написан хорошо; но вы забыли, государи мои, что вы говорите с Русским народом, следовательно не должны употреблять языка ораторского, а говорить простым, сильным и для всех равно понятным. <...> Вы думаете все основать на чувстве патриотизма, которое в большей части очень слабо, в одних потому, что они слишком грубы и необразованны, следовательно не могут иметь понятия о должностях морального человека и об отношении гражданина к отечеству; а в простом народе оно едва

⁶ Об этом пишет в своих воспоминаниях дочь Блудова, Антонина Дмитриевна (см.: Блудова А.Д. Воспоминания. СПб., 1888).

ли может существовать: причина очевидна. Итак надлежало бы говорить даже о личных выгодах и о личной опасности и о любви к Государю. <...> Для чего не сказано ничего об опасности, угрожающей нашей вере? Вера есть имение каждого; всякой, разумеется, верующий, а как скоро верующий, то и большой энтузиазм получить могущий, вступился бы за свою собственность.

Манифест, единственная в самодержавном государстве форма обращения власти к подданным, являлся средством выражения государственной идеологии; потому, по мнению Жуковского, он должен содержать в себе такие идеи и понятия, которые способны консолидировать нацию, направить деятельность каждого в нужное для правительства русло, наконец, сообразовать планы и надежды правительства и монарха с теми событиями и обстоятельствами, по поводу которых создается:

<...> Определить бы награду для дворян, что меньше однако нужно, ибо дворяне могут больше быть убеждены в необходимости вооружения; определить бы награду и для самых мужиков, и вот, мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к свободному состоянию, которого наш Государь так сильно, кажется мне, желает: первой шаг труден, и для сделания сего шага нужен нам непременно повод, а теперешний случай может почтяться весьма сильным поводом⁷.

Перед нами – один из самых ранних примеров обсуждения «языка» и «символов» власти представителями образованного общества, претендующих на создание этого языка и символов. Рамки настоящей статьи не позволяют говорить о широком комплексе идей (от Гердера и Руссо до братьев Шлегелей), по-разному преломившихся в позициях Блудова, Александра Тургенева и Жуковского. Необходимо лишь отметить скептическую оценку Жуковским степени патриотизма и самосознания своего народа⁸ и незыблемую веру всех трех корреспондентов в силу монаршего слова, которое, будучи должным образом выражено, может побудить подданных неумышленно трудиться и жертвовать всем на благо государства.

Характерно, что именно Блудову довелось потом стать ретранслятором мыслей монарха – и Александра I, и Николая I. Во второй половине 1810-х годов, в должности помощника статс-секретаря по иностранным делам графа Каподистрии, Блудов составлял депеши высоким государственным сановникам и послам, в которых передавал мнение императора о том, как этим послам и сановникам надлежит поступать в тех или иных случаях, и какие принципы должны быть положены

⁷ Письма В.А.Жуковского к А.И.Тургеневу. М., 1895. С. 24-26.

⁸ «Тот, кто уже говорит об отечестве и понимает то, что говорит, может назваться довольно просвещенным; этого просвещения еще нет в нашем народе <...> Теперь узнаем, каков патриотизм Русских. По крайней мере история сохранила немного таких примеров любви к Государю, которые заставляют ожидать от истинно Русских необыкновенных пожертвований» (Там же).

в основу публичных деклараций, адресованных представителям иностранных держав. В 1830-е гг. Блудов стал автором большинства императорских манифестов, публиковавшихся в связи с самыми важными событиями внутри страны и за рубежом – польским восстанием, эпидемией холеры и пр. Не будем, однако, забывать, что для осуществления этих задач требовалось сформировать язык, на котором такие документы могли быть написаны.

В своей статье «Отчего в России мало авторских талантов?» – своеобразном «завещании», которое оставил Карамзин, покидая литературное поприще для создания Российской Истории, он дает подробные рекомендации молодым писателям, стремящимся способствовать делу развития отечественной словесности. По его мнению, каждый из них должен не только в совершенстве овладеть языком письменной речи, но и обогатить его: «Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагая их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!»⁹.

Несмотря на свои родственные связи с виднейшими деятелями литературы начала XIX века (Блудов был племянником Державина и двоюродным братом драматурга Владислава Озерова), Блудов не считал литературу своим главным занятием и не публиковал ни оригинальных стихов, ни художественной прозы¹⁰. Между тем в сохранившихся рукописях можно найти следы его неустанной работы над совершенствованием собственного стиля. К 1809-10 гг. относится перевод «Письма к г. Фонтану из Рима» известного французского писателя Фр.-Р.Шатобриана¹¹. Сравнение первоначальных, промежуточных и окончательных вариантов перевода некоторых фраз показывает, что Блудов стремится избежать сложных синтаксических конструкций и высокопарных выражений (как архаизмов, так и штампов сентиментальной литературы), создавая тот «простой», «сильный» и «понят-

⁹ Карамзин Н.М. Сочинения. Т. 3. СПб., 1848. С.526.

¹⁰ О высокой оценке современниками литературного таланта Блудова можно судить по письму к нему К.Н.Батюшкова (1818): «Горе вам, что писать не хотите! вот мое пророчество. Пишите. Посвятите прозе три, четыре года, и у вас Слава в горсти. В ваши лета, с вашей опытностью и сведениями надо писать прозу, и можно» (Арзамас: Сборник в двух книгах. М., 1994. Т.2. С.364.). В.А.Жуковский характеризовал статьи Блудова как «капитальные» (Там же. С. 347-348).

¹¹ Этот перевод, вероятно, так и не был опубликован. Он существенно отличается от известных переводов этого сочинения Шатобриана, опубликованных соответственно в 1804 (журнал «Вестник Европы») и 1825 гг. («Московский альманах для прекрасного пола...»). Благодарю В.А.Мильчину за предоставленную библиографическую справку.

ный» язык, о котором писал Жуковский в связи с манифестом 1806 года¹². Приведем лишь один пример:

Первоначальные варианты

1. Я не могу выразить, что чувствовал, когда Рим явился вдруг глазам моим.

2. Невозможно выразить чувства с которыми увидишь Рим посреди.

3. Невозможно выразить того, что чувствуешь, когда в первый раз взорам является Рим посреди царств опустевших, *inania regna*, и кажется встает из могилы.

Окончательный вариант

Я не могу описать того, что чувствовал когда в первый раз моим взорам явился Рим среди областей опустевших, *inania regna*, как восстающий из гроба¹³.

Если в этом переводе Блудов пытается найти адекватный стилистический регистр для описания произведений искусства и памятников старины, а также для расширения лексических, синтаксических и интонационных возможностей языка дружеского письма, которое с начала XIX века и в особенности в переписке арзамасцев стало полноценным литературным жанром¹⁴, то другой его опыт связан с политической мыслью и философией государства. Это перевод сочинения английского писателя Дж. Макинтоша *Discourse on the Law of Nature and Nations* («Постановление права естественного и права народного»)¹⁵.

Нужно заметить, что опыты по созданию различных регистров русского литературного языка Блудов не прекращал вплоть до середины 1820-х годов. Находясь на дипломатической службе в Англии, он усердно переводил с французского на русский важнейшие дипломатические документы и сохранил эти переводы в своем архиве¹⁶. Трудно себе

¹² Вот определение, которое Блудов позже дал «простому» языку: «Слог простой не есть еще обыкновенных разговоров, так же, как самый простой фрак не есть еще шлафрок» (Блудов Д.Н. Украденная записная книжка // Арзамас. Т.2. С.131).

¹³ РГАДА. Ф. 1274 (Панины-Блудовы). Оп. 1. Ед. хр. 2766. Л. 9-14. Бумага 1809 г. На л. 14а портреты карандашом, возможно – рукой Блудова.

¹⁴ См. об этом: Тодд У. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб.: Академический проект, 1994.

¹⁵ РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ед. хр. 2766. Л. 2-8. У Блудова автор трактата не указан, установлено путем сличения оригинального текста и перевода.

¹⁶ Приведем краткий перечень сохранившихся бумаг (РГАДА. Ф.1274. оп.1. Ед.хр. 2767): Л.49-59. О происшествиях в Германии, после подписания франкфуртским сеймом определений 6(?) сентября 1819 г. Утверждено в СПбурге 18-е Ноября 1819 г.; Л.60-67 – о русско-турецкой войне, бумага 1820 г.; Л.68-80. Общая инструкция, отправленная ко всем Миссиям Е.И.В. из Вены 13/27 мая 1818 года; Л.82-85. Окружное письмо ко всем Министрам Е.И.В. в Германии. СПбург., 22е ноября 1819 года; Л.86-88. Делеша к графу Ливену от 22 ноября 1819 года; Л.89-100. О Разочтении и платеже долгов Франции подданным других держав. Высочайше одобрена в Москве 23е Сентября 1817 года; Л.101-104. Мысли Государя Императора о Делах в Германии. Утверждено в СПбурге 21 ноября 1819 года; Л.105-106. Нота поданная Российскому Министерству, Кавалером..., Министром

представить, что кому-либо из сотрудников русской миссии в Лондоне требовался перевод, так как он не мог прочесть эти документы на языке оригинала; значит, работа Блудова имела целью создание *языка российской дипломатии*, и цель эта вскоре была достигнута. По возвращении Блудова из Англии ему было поручено переводить и редактировать переводы всех российских дипломатических актов, принятых с 1814 по 1820 г. Первые два тома, составленные в постоянных консультациях с Карамзиным, были напечатаны в 1823 году¹⁷.

Этот дипломатический и правовой регистр языка был для Блудова, особенно в 1810-е гг., приоритетным в сравнении со всеми остальными. Он следовал карамзинским заповедям, но не как «автор», а как правительственный чиновник, чьей главной обязанностью было составление, перевод и редактирование важнейших политических документов. «Показательно, что забота о языке правительственных декретов и официальных бумаг представлялась у ту пору одной из существеннейших государственных задач»¹⁸, — отмечают в своем фундаментальном исследовании Ю.М.Лотман и Б.А.Успенский. С другой стороны, формирование национального языка как такового для Карамзина и его последователей не ограничивалось лишь литературным его модулем (т.е. поэзией, прозой, критикой, публицистикой и философией), а касалось и сферы государственного управления, и устной (особенно салонной) речи, и частной корреспонденции, и сугубо научных жанров. В этом смысле работа Блудова была параллельна батюшковской (вспомним «Речь о влиянии легкой поэзии...») и достаточно точно следовала декларациям самого Карамзина, вновь развернутым им в «Речи в торжественном собрании Академии Российской» в 1818 г.

В упоминавшейся выше статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин остановился на том, какую роль светская жизнь должна играть в формировании личности и характера писателя:

Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование <...>, но и тонкой вкус и знание света <...> те немногие, которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать свет — без чего трудно

Короля Гишпанскаго 719 апреля 1820 года; Л.107-112. Окружное (циркулярное) письмо к Российским Министрам при дворах Венском, Лондонском, Берлинском, Парижском. Санкт-Петербург, марта 1818го; Л.13-124. Обзорение Политических сношений России, долженствующих служить дополнительной Инструкциею Посольствам Е.И.В. при Иностранных дворах; Л.125-134. Приложение к Обзорению Политических отношений России; Л.136-142. Общая Инструкция всем Миссиям Е.И. В., отправленная из Ахена 315 ноября 1818 года.

¹⁷ Документы для дипломатических сношений России с иностранными державами. СПб., 1823.

¹⁸ Лотман Ю.М. Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры// Успенский Б.А. Избранные труды. Т.2. М., 1996. С.427.

писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был <...> Правда, что он (свет. – М.М.), будучи школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных успехов. Счастлив тот, кто слушая сирен, перенимает их волшебные мелодии, но может удалиться, когда захочет! <...> Надобно заглядывать в общество – непременно, по крайней мере в некоторые лета, – но жить в кабинете¹⁹.

Этот пассаж Блудов почти дословно цитирует в 1831 г. в письме к дочери, опровергая ее отзывы о духе светского общества и уговаривая не отказываться от представления ко двору:

Ты спрашиваешь, думаю ли я, что, при нынешних обстоятельствах, тебе в свете будет весело? Я отвечаю: может быть невесело, но полезно, потому что ум и характер совершенно образуются только в свете, и этот свет, пустой, ветреный, часто жесткий и несносный, так же нужен для души нашей, как и занятие в уединении²⁰.

В своем письме Блудов сознательно преподносит совет, данный Карамзиным начинающим писателям, молодой девушке, начинающей выезжать в свет; и светское общество, бывшее у Карамзина «школою для авторов», становится у Блудова местом, где «образуются совершенно... ум и характер». Такое представление о свете, более созвучное Карамзину позднего, уже не «сентиментального» периода его творчества, указывает на то, что в начале 1830-х гг. в своей повседневной практике (по терминологии Ю.М. Лотмана, «бытовом поведении») Блудов ориентировался отнюдь не на «Бедную Лизу».

Для Карамзина периода «Вестника Европы» понятия «свет», «светское общество», «светский человек» действительно несут позитивные коннотации (хотя Карамзин зачастую пишет и о « пороках» и «заблуждениях» света). Блудов развивает и заостряет эту тенденцию. Другой интересный и малоизвестный источник – неопубликованный план комедии Блудова²¹ – свидетельствует, что в ранний период служебной и творческой деятельности (1800-е гг.) «свет» оказывается для него панацеей и от крайностей «неистового сентиментализма», и от бесплодного политического прожектерства, и одновременно лучшим средством укрощения амбиций многочисленных писателей-графоманов.

Некоторые реплики персонажей блудовской комедии и контекст литературных полемик 1800-х гг. позволяют датировать ее 1805–1808 гг. Это сочинение восходит к тому типу комедий, который берет свое начало в мольеровском «Мизантропе»: есть два претендента на руку добродетельной девушки, первый – словоохотливый, невоздержанный в речах, необузданный, презирающий всех и вся, второй – воплощение

¹⁹ Карамзин Н.М. Сочинения. Т.3. СПб., 1848. С.528, 530.

²⁰ Блудов Д.Н. Письмо А.Д. Блудовой (январь 1831 г.). Цит. по: Блудова А.Д. Записки// Русский архив. 1873. Кн.2. №11. Стлб. 2057.

²¹ Блудов Д.Н. Пьеса (2 действия)// ОР ИРЛИ. 21856/СЛ16.10.

умеренности, здравого смысла, исполненный вежливости и почтения. Родители или сама невеста сперва делают ложный выбор в пользу первого жениха, но в финале, убедившись в его порочности, отдают предпочтение второму. На инверсии этой сюжетной схемы построена комедия Грибоедова «Горе от ума». У Блудова коллизия осложняется тем, что Зервельт, порочный претендент на руку девушки, Княжны N., – поклонник сентиментальной литературы, называющий себя «человеком чувствительным». В нескольких сохранившихся сценах комедии он успевает обнаружить полное несоответствие своего образа мысли, своей манеры говорить и держать себя принятым правилам; на этом основывается главный комический эффект блудовского сочинения. Сцена любовного объяснения (которое прерывают родители девушки), часто используемые Зервельтом сравнения персонажей пьесы с авторами и героями сентиментальной литературы напоминают некоторые эпизоды комедии А.А.Шаховского «Новый Стерн» (1805). Нельзя определенно сказать, была ли пьеса Шаховского непосредственным источником блудовской комедии, или же оба произведения создавались одновременно, однако невозможно не увидеть в этом сочинении Блудова реакцию и на выступления «чувствительных путешественников» (кн. Шаликова и др.), и на критику Карамзина и карамзинизма представителями консервативных литературных группировок.

Еще один довод в пользу такой датировки блудовской пьесы – упоминания о политических интересах отца Княжны, Князя N., и о чтении им многочисленных иностранных газет, в том числе «гамбургской газеты». Вскоре после заключения Тильзитского мира (1807) и присоединения России к континентальной блокаде приобретение иностранной прессы и книг стало в Москве и Петербурге делом чрезвычайно трудным.

Наконец, последний аргумент в пользу приведенной датировки – автобиографический подтекст блудовской комедии. Известно, что Блудов учился и начинал свою служебную деятельность в Москве, которую покинул в 1802 г. Известно также, что он девять лет безуспешно сватался к княжне Щербатовой, пока, сломленная непреклонностью своей дочери, ее мать не дала в конце концов в 1812 г. согласия на их брак. Причиной многочисленных отказов была недостаточная знатность Блудова в глазах княгини Щербатовой (ср. характеристики и реплики Княгини в комедии: «влюбленная в знатность», «Он бывал во дворце, а Государь с ним не говорил» и пр.). Если принять хронологическое указание в первой ремарке о знакомстве героев за три года до описываемых событий соответствующим реальной биографии Блудова, то время действия и написания комедии приходится на 1805–1806 гг.

Ложный претендент на руку невесты у Блудова – не только эпигон сентиментализма, не соблюдающий должных правил приличия. Не менее важно, что Зервельт является носителем «антисветской» идео-

логии, которая, по логике развития действия, должна быть в финале развенчана. Развязка этого идеологического конфликта намечена в разговоре Зервельта и Графа.

Зервельт: Нравственный человек не может жить с людьми, которые живут для общества. И так нравственный человек есть человек такой, который не может жить в обществе <...> Свет коварен, я не хочу его знать. и чему мне в нем учиться; там только смеются и шутят, а мы умеем любить.

Граф: Государь мой, я не скажу Вам, что иные гнушаются общежитием, от того что они там смешны с своими восклицаниями, совсем не роскошными, желаю только, чтоб вы узнали тот свет, который вы так браните.

Эпигон сентиментализма, последователь «ложной чувствительности» у Блудова – человек не-светский (важно, что добродетельный граф «есть враг ложной чувствительности, слезливости, которая к несчастью <...> заразила не одних авторов», а не чувствительности как таковой), таким образом, «ложная чувствительность» оказывается неизбежным следствием отпадения от «света». С другой стороны, сама «светскость» может быть как «истинной», так и «ложной». Искажение светских добродетелей у Князя выражается в его чрезмерном пристрастии к политике, а у Княгини – в безмерном почитании знатности. Комедия Блудова, таким образом, оказывается не критикой, а апологией карамзинизма (но не его эпигонов). Главная идея и собственно мораль комедии состоят в том, что истинно светский человек по настоящему чувствителен и добродетелен.

Обращение к понятиям «настоящего» и «извращенного» света обнаруживаем и в арзамасских выступлениях Блудова. Он, как никто из арзамасцев, любил описывать в своих речах, что представляет собой не только каждый член «Беседы» в отдельности, но и все они как «общество». В «пророческой» речи «на смерть» сенатора Захарова Блудов выставляет «Беседу» как собрание нечистой силы, а ее заседания – как шабаш.

Я увидел собрание всех колдунов Беседы. Они готовились лететь на мощное сходбище и с неслыханными заклинаниями снимали с себя одежды <...> Дед Седый восседает на месте адского козла, пред ним сожигаются творения, драгоценные вкусу; а все беседные волшебники, держа горящие факелы из сочинений Карамзина и Дмитриева, пред ним творят свои колелопреклонения²².

Сам выбор героя «похвальной» речи есть также свидетельство приверженности Блудова «светской» идеологии: он отпеваает сенатора Захарова, автора знаменитого «Похвального слова женам» – произведения, которое, по мнению Блудова и других арзамасцев, было воплощением дурного вкуса и дурного слога, а priori находящимся вне языковых и нравственных норм светского общества. Следовательно,

²² Аразмас. Т.1. С.319, 320.

его прототипами не могли служить прекрасные посетительницы салонов, на разговоры которых Карамзин предлагал ориентироваться создателям нового литературного языка. В речи Блудова-Кассандры Захарову отдает последнюю дань одна из воспетых им жен:

Но из середины их вырывается старец женского пола, которого имя, увы! неизвестно и свету и мне. Ветхий шугай покрывает огромное тело его; или ее; колючник валится на затылок, из-под него выглядывают седые волосы. Она приблизилась к дрогам, везущим гроб бумажный, схватила за узду ретивых членов и сотрудников и воскликнула мужеским голосом <...>²³.

В одном из своих неопубликованных писем Д.В.Дашков описывает Блудову чтение в Москве составленного им, Блудовым, протокола заседания «Арзамаса», на котором за написание недостойных звания арзамасца стихов был подвергнут суровой критике и наказанию член «Вот я вас!» (В.Л.Пушкин). Рассказ Дашкова – это наглядное свидетельство того, как чтение арзамасского протокола становится предметом увеселения достаточно обширного собрания, в котором присутствовали далеко не только члены «Арзамаса»:

Леность Батюшкова, временного секретаря Московского Арзамаса, лишила Вас описания бесподобной сцены – чтения грозного протокола Вашего Пушкину в присутствии всех бывших в Москве арзамасцев и многих посторонних, между прочими Алексея Пушкина. Зато уже и я попал в мученики: Анна Львовна и Локк-Муравьев ужасно злы на меня, хотя я играл в сем Auto-dafe ролю Кума и Адвоката нашего несчастного Старосты. Я даже предложил вместе с Карамзиным, у коего все происходило, ходатайствовать у Вас о его пощаде и о прибавке ему, за претерпенные страдания, еще одного слова к титулу, а именно – опять – так, чтобы полный титул его был Староста вот я вас опять! Предложение мое было принято, но ленивым и хилым Ахиллом погружено в реку забвения с творениями воспетых и прославленных им Беседчиков²⁴.

Блудов не должен был удивиться рассказу Дашкова: составленный им и посланный в Москву протокол, несомненно, был предназначен для такого публичного чтения. В нем дважды были даны указания московским членам общества – Асмодею (П.А.Вяземскому) и Ахиллу (К.Н.Батюшкову) – «привести в исполнение» приговор петербургского «Арзамаса»²⁵. Этот конкретный эпизод, как, впрочем, и вся деятельность Блудова на должности временного арзамасского протоколиста (во время отсутствия Жуковского весной – летом 1816 г.) указывают на очень важную и не оцененную до сих пор функцию арзамасских текстов – совершенствование культуры светского общения.

Важно отметить еще один аспект «светской» идеологии Блудова: государственный деятель, занятый образованием нового языка политики и дипломатии, должен был быть озабочен тем, чтобы этот язык

²³ Там же. С.320.

²⁴ РГАДА. Ф.1274. Оп.1. Ед.хр. 1955.

²⁵ Там же. С.358-363.

стал достоянием добродетельных граждан (т.е. был ими понят и усвоен). В таком случае очень значимой становится фигура медиатора, посредника между государственной властью и обществом, человека, имеющего безукоризненную репутацию как в Зимнем дворце, так и в петербургских гостиных. Вот как описывает Блудов в письме к жене один из воскресных дней, проведенных им поздней осенью 1817 г. в Москве, когда в промежутках между напряженной работой в московском архиве Министерства иностранных дел (Блудов должен был перед своим отъездом в Англию «вытвердить» наизусть множество внешнеполитических документов) он наносил светские визиты:

Расскажу тебе о всех своих визитах по порядку: сначала утра (это правда не визит) я был у обедни; потом отправился к графине Ливен: она не знала, что я еду в Лондон, ей даже кто-то сказал, что отказываюсь; впрочем, наговорила мне довольно ласковых и приятных слов, много спрашивала о тебе, хотела писать и к <нрзбр>, и к принцессе Оранской, если я поеду через Гаагу и, прощаясь, пробормотала об Императрице, но я не расслышал, а солгать не хочу. После нее я ездил к княгине Прозоровской, и не застал ее. После, то есть уже после обеда, был у Новосильцева дяди, у Новосильцева брата (в другом доме), извинил чем мог себя и тебя в нашем молчании, был также у Шереметьева, у Дмитриева, у старшего Вяземского, Жуковского. Д<митрий> С<еверин> познакомил меня с своими и тещей и невестой. Все их семейство очень мило, умно, добродушно, приятно; и кажется можно предсказать нашему Резвому Коту верное счастье...²⁶

Усердный исполнитель своего служебного долга, наделенный при этом блестящим умом и способностями, и одновременно – усердный исполнитель светских обязанностей, отличающийся учтивостью и остроумием, незаурядный литератор, лишь изредка применяющий свой талант на литературном поприще, – так в общих чертах можно нарисовать портрет Блудова второй половины 1810-х гг.

Вопрос о системе политических взглядов Блудова интересен и достаточно непросто. Парадокс, лежащий в ее основе, и генетически, и типологически связан с противоречивой политической позицией Н.М.Карамзина, которую тот афористически выразил в письме к И.И.Дмитриеву: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое»²⁷.

С одной стороны, Блудов был «правой рукой» статс-секретаря по иностранным делам графа Иоанна Каподистрии, определявшего направление российской внешней политики с 1815 по 1821 г. Каподистрия, грек по происхождению, был не только сторонником освобождения Греции посредством российского военного вмешательства, но и

²⁶ РГАДА. Ф.1274. Оп.1. Ед.хр. 1641. Л.3 об.

²⁷ Карамзин Н.М. Письма к И.И. Дмитриеву. М., 1866. С.248-249.

убежденным конституционалистом. Как показал в серии своих статей, посвященных российской внешнеполитической пропаганде В.Н.Сироткин, к концу антинаполеоновской кампании Каподистрия создал проект, согласно которому все европейские государства, подписавшие Акт Венского Конгресса, должны были в течение нескольких лет принять умеренные конституции, наподобие французской Хартии, а также внешнеполитические договоры, которые составили бы общеевропейскую конституцию. Кроме того, намечалось образование ряда небольших «буферных» государств, которым также должна была быть дарована конституция и независимость (в число таких государств включали Грецию, Польшу, Швейцарию, Бессарабию и др.). Эти государства должны были обеспечивать необходимый баланс сил между крупными европейскими державами. Александр I, по крайней мере первое время, одобрял этот проект. Обсуждение его с другими монархами планировалось на Аахенском конгрессе (ноябрь 1818 г.) и было предварено дарованием конституции Польше (март 1818 г.). Однако после посещения юга России (лето 1818 г.) Александр убедился в неготовности России к принятию конституции и никакого обсуждения проекта Каподистрии на Аахенском конгрессе не последовало²⁸.

Блулов, как главный помощник Каподистрии, должен был разделять политические взгляды своего патрона, более того, достоверно известно, что уже после отставки Каподистрии он принял от другого высокопоставленного чиновника греческого происхождения – А.С.Стурдзы – дела по управлению Бессарабией, которая мыслилась в ряду будущих «буферных» государств²⁹. По косвенным данным мы знаем, что в 1815 г. вместе с М.Орловым, гр. М.С.Воронцовым и И.В.Васильчиковым подписал петицию Александру I о ликвидации крепостного права³⁰. Если эти сведения верны, то получается, что в период функционирования «Арзамаса» взгляды членов его «правого» и «левого» крыла на проблемы конституции и крепостного права не различались. Однако ни в одном из своих опубликованных и рукописных сочинений Блулов не высказывается однозначно в пользу принятия конституции, хотя и не отрицает такой возможности. В подготов-

²⁸ См. об этом: Сироткин В.Г. Борьба в лагере консервативного русского дворянства по вопросам внешней политики после войны 1812 года и отставка И.Каподистрии в 1822 г.// Проблемы международных отношений и освободительных движений. М., 1975. С.3-47. Об участии С.С.Уварова в проектах Каподистрии см. нашу статью: «Рыцари креста»: расшифровка одной политической метафоры С.С.Уварова// Россия/Russia. Культурные практики в идеологической перспективе. М.; Венеция, 1999. №3 (11). С.158-163.

²⁹ Об этом см.: Вигель Ф.Ф. Записки./ Под ред. С.Штрайха. Т.2. М., 1928. С.197.

³⁰ Волконский С.Г. Записки. СПб., 1901. С.407-408.

ленных им дважды к печати сериях афоризмов мы находим и высказывания на политические темы:

Шумную и почти общую в Западной Европе любовь к представительному правлению многие называют заразою. Но сие мнение совершенно ли справедливо. Перемены в образовании государства желают по большей части, как лекарства: оно может быть недостаточно, в иных случаях и опасно, и есть торгующие оным шарлатаны. Но требование лекарства не есть ли доказательство болезни? и кто причиною этой болезни народов? Судьба или только и ли некоторые из ея сановных представителей на земле? – Прибавим однако ж, что есть больные от воображения и охотники лечиться, которые черпают и пьют воду из шпруделя, потому лишь, что они в Карлсбаде³¹.

В исповедуемой Блудовым системе политических и нравственных ценностей конституция не является ни целью существования государства, даже на конкретном историческом этапе, ни целью трудов государственного деятеля, а лишь *средством* достижения благополучия и благоденствия нации. Непреложным условием благоденствия должна стать незыблемость и высокий авторитет верховной власти, которые не могут быть поколеблены в угоду никаким, даже самым прогрессивным преобразованиям. Это означает, что любая реформаторская инициатива должна исходить сверху:

Гражданские общества не похожи на здания, ибо суть дело не рук человеческих, а таинственной судьбы, но также как и здания, начинаются с грунта, или основания, а исправляться должны сверху. Еще сходство: разрушить их можно отовсюду, но всего вернее, когда подкопать нижний ряд камней³².

Недовольные правительством желают перемены, как мореходцы ветра во время тишины; но этот ветер может быть *бурею*³³.

Следовательно, чтобы в государстве постоянно могли осуществляться реформы, нужно, во-первых, поддерживать власть, а во-вторых, постоянно находиться *во власти* и ждать благоприятного момента для осуществления своих проектов. Приведем в связи с этим весьма красноречивый отрывок из воспоминаний А.Д.Блудовой:

Истинные реформаторы суть всегда олицетворение целой эпохи, и они всегда глубоко, сознательно и твердо проникнуты мыслью о необходимости предприятия; они проникнуты (иногда даже бессознательно) одним общим чувством, одним общим стремлением с массою, на которую действуют. А выскочки-благотетели человечества только губят в потоках чернил, если не крови, многие благие намерения и относительно правильные мысли, которые без их неловкого посредничества могли б созреть и принести свою долю пользы.

Отец мой был глубоко убежден в истине такого воззрения, которое часто и часто высказывал, и которое так величественно и благополучно оправдилось на наших глазах в царственном реформаторе 1861 года. Я помню, что в 30-х годах, в то время, когда много было совещаний, предположений и

³¹ Мысли и замечания графа Д.Н.Блудова. СПб., 1866. С.40-41.

³² Там же. С.42-43.

³³ Там же. С.44.

мероприятий в отношении к лучшему средству дойти безбедно до освобождения крестьян, батюшка был очень занят этою мыслью. Он жил на Аптекарском острове, а мы к нему приезжали в гости на несколько часов, потому что домик был слишком мал для помещения нашего семейства. Однажды как-то его любимая большая собака, поплававши по Неве и порывшись около берега, вытащила что-то такое, что принесла к батюшке, и с торжеством, скаля зубы, отряхиваясь и поднимая глаза на хозяина, положила к его ногам, по собачьему обычаю, при мне. Это не был камушек, однако что-то твердое. Когда счистили песок и тину и вымыли хорошенько, оказалось, что это костяная крышка, оторванная от малой табакерки с резьбою и девизом: Корабль с натянутыми парусами на волнистой кайме, и вырезано под нею старинными буквами: *Жду ветра силы и ожидаю время*³⁴.

Конституция – не единственное средство достижения желаемой цели; если принятие ее невозможно по причине неблагоприятной политической конъюнктуры или неготовности всей нации к этому решительному шагу, могут и должны применяться другие средства. Более того, эти, как может показаться, менее действенные средства не являются альтернативой конституционному пути развития, а нужны в государстве с любым законодательством и любой формой правления. Под этими средствами Блудов понимает воспитание во всех слоях общества духа уважения к закону, без которого любая конституция будет неэффективна:

*Il est hereux d'avoir une bonne et forte constitution, mais cela ne depend pas de nous. Ce qui est en notre pouvoir (du moins le plus souvent) c'est le regime que nous devons suivre: quand il est bon, c'a'd' bien adapte: il soutient et corrige les constitutiones les plus fiables et un mauvais regime derange les meilleurs*³⁵.

*Les constitutions et le caractere national sont comme le physique et le moral dans l'homme. On ne peut pas dire que l'un soit le produit de l'autre, ils se modifient reciproquement*³⁶.

В этом контексте приводимое Блудовым в его «Мыслях и замечаниях» и ставшее общеизвестным *bon mot* П.И.Полетики «В России несовершенство законов корректируется плохим их исполнением»³⁷ приобретает, помимо иронического, и иной смысл: в изменении нуждаются не только законы, но и отношение к ним. А отношение к законам может измениться под воздействием монаршего слова, образовательной

³⁴ Блудова А.Д. Воспоминания. СПб., 1888. С.61-62.

³⁵ Счастье – иметь хорошую и сильную конституцию, но это не зависит от нас. То, что в нашей власти (по крайней мере чаще всего) – порядок, которому мы должны следовать: если он хорош, т.е. хорошо приспособлен [сообразен с духом народа. – М.М.], он защищает или исправляет даже самую слабую конституцию, а когда он плох – разрушает самую лучшую (Мысли и замечания графа Блудова. С.37).

³⁶ Конституции и национальный характер подобны телу и духу человека. Нельзя сказать, что одно происходит из другого, но что они взаимно друг на друга воздействуют (Там же. С.37).

³⁷ См.: Мысли и замечания графа Д.Н.Блудова. С.39.

системы, периодической печати и новых порядков в системе управления. Таким образом, истинный государственный деятель должен в равной мере способствовать реформированию государственной системы на всех ее уровнях и просвещению всех сословий нации.

Конституционалистом Блудова можно назвать только в том смысле, что идеальным конституционным правлением в его понимании была политическая система с неписаной конституцией (пример ее являла собой Англия), где традиционализм и реформаторство уравновешены благодаря общему стремлению к народному благополучию и уважению духа законов. С представлением об идеальном государстве связано представление об идеальном государственном муже. Вот как Блудов пишет о почитаемом им бароне Штейне:

Il peut dire de Mr de Stein qu'il est en fait d'hommes ce que l'Angleterre est parmi les etats... il accueille tout ce qu'il y a de bon, de noble et d'utile dans les idees nouvelles, en conservant tout ce qu'il y a de beau de venerable dans l'ancien ordre d'idees et de choses³⁸.

Заметим, что последовательное выполнение принципа «влияние на власть возможно лишь при солидаризации с нею» приводит к закономерным перипетиям в карьере и личной судьбе чиновника: с его точки зрения отставка с любого государственного поста возможна лишь по причине физической недееспособности, отставка же как проявление демонстративного несогласия с властью, даже в случае самого неблагоприятного политического климата, неэффективна, так как лишь отсрочит достижение желаемого благополучия нации. Этим, как кажется, можно объяснить службу Блудова в продолжение «мрачного семилетия». По этой же причине невозможно и предосудительно участие в любом рода оппозиционных и тайных обществах: они лишь расшатывают авторитет власти и неизбежно приводят к торжеству реформ. Характерно, что на одном из последних заседаний «Арзамаса» именно Блудов выступил с ответной речью на предложение М. Орлова преобразовать общество в тайную политическую организацию³⁹.

Блудовский идеал государственного деятеля – чиновник, всегда находящийся во власти и при этом делающий все возможное на благо своего государства и нации – без сомнения, составляет разительный контраст с позицией независимого советника, но одновременно и «слуги трона», которую на протяжении нескольких десятилетий занимал Карамзин. Это расхождение Блудова с политической программой Карамзина есть неизбежное следствие экстраполяции идеи создания нового

³⁸ О г. Штейне можно сказать, что среди людей он является тем же, что Англия среди государств: он принимает все хорошее, благородное и полезное в современных идеях, сохраняет все хорошее, почтенное от старого порядка и идей (Мысли и замечания графа Блудова. С.36).

³⁹ См., например: Вигель Ф.Ф. Записки. Т.2.

языка из литературы в сферу государственного управления. Уйти с государственного поста – то же, что уйти из литературы: оставить плоды своей деятельности «халдеям», «беседчикам», «староверам» и затормозить, если не остановить вовсе процесс постепенного совершенствования национального языка, государственных институтов и законодательства. И потому образец позиции государственного деятеля Блудова в данном случае задавал не Карамзин, а И.И.Дмитриев – знаменитый поэт и баснописец, как и Карамзин стоявший у истоков литературы сентиментализма, а затем на протяжении многих лет занимавший высокие государственные посты: с 1797 г. он – товарищ министра уделов, а с 1798 г. – обер-прокурор Сената. В 1799 г., после служебных неприятностей, Дмитриев вышел в отставку и переехал в Москву, но в 1810 г. по приглашению Александра I вернулся в Петербург, где занял пост министра юстиции и стал членом Государственного совета (окончательно Дмитриев вышел в отставку только в 1814 г.).

Из изложения политической и языковой программы Блудова становится понятно, какую роль в подобной системе ценностей отводилась литературе и обществу, которое поставило своей целью «пользу отечества, состоящую в образовании общего мнения, то есть в распространении познаний изящной словесности, и вообще мнений ясных и правильных»⁴⁰. Литература и политика существуют в сознании Блудова и других членов арзамасского общества как два параллельные и изоморфные ряда, в отношении которых следует исповедовать принцип умеренности, «золотой середины»:

Вопреки якобинцам всех веков народ не есть судья царей, но он их критик и, подобно прочим, может исправлять только людей с дарованием. Продолжая сравнение, мы скажем царям и авторам: не сердитесь за критику и не всегда ей верьте; но умеете слушать и понимать ее. Скажем рецензентам и народам – первым: критикуя автора, не оскорбляйте человека; другим, напротив: критикуя человека, не забывайте прав государя и престола⁴¹.

Строительство здания русской словесности и государства мыслятся как единое и общее дело; не случайно именно метафора строительства звучит в устах самого Блудова (письмо к С.И.Тургеневу, от 20 мая 1819 г.): «Мы в нашем веке будто осуждены на все однодневное, и авторы, и законодатели, как дурные строители, созидают не дома и храмы, а шалаши и палати»⁴².

Острое противостояние «Арзамаса» и «Беседы» было связано не только с тем, что последняя *воплощала* в себе дурной вкус, но и с тем,

⁴⁰ Законы Арзамасского Общества безвестных людей// Арзамас. Т.1. С.445.

⁴¹ Блудов Д.Н. Украденная записная книжка// Арзамас. Т.2. С.131.

⁴² РГАДА. Ф.1274. Оп.1. Ед.хр.1657. Л.3.

что она навязывала его читающей публике. Для того, чтобы литература могла влиять на общество, необходимо, чтобы она была интересна. «Все роды хороши, кроме скучного», – повторяет Вяземский вслед за Вольтером в своей речи о будущем арзамасском журнале⁴³. Беседисты, по мнению Блудова, не были в состоянии даже заинтересовать и увлечь читателей своими сочинениями; сон и скука – основные лейтмотивы сатирических выступлений арзамасцев. Такая ситуация, по мнению молодых карамзинистов, представляла реальную угрозу и словесности, и культуре, и нравам вообще. Вкус к произведениям литературы и искусства, правильные понятия о политике легче развить, чем исправить. «Общее мнение как желудок, когда он испорчен, то и хорошая, здоровая пища делается ему противна», – один из самых кратких афоризмов Блудова⁴⁴. Перехватить у шишковистов инициативу в деле влияния на русского читателя – значит подготовить почву для будущих политических инициатив и литературных новаций, обеспечить неустанное развитие словесности и науки, ведь с формированием вкуса у публики будут появляться и высокие требования как к произведениям литературы, так и к личности писателя и государственного деятеля: «Здесь главная цель наша действовать не на других, а чрез других на себя»⁴⁵.

Шишковисты претендовали на то, чтобы влиять не только на мнение общества, но и на мнение власти и тем самым олицетворять собой «голос нации». Добиваясь полной изоляции России от европейских влияний, литературу они хотели вернуть во времена Ломоносова, а язык и вовсе в допетровскую эпоху, когда он был еще тесно связан с церковной культурой. «Голос нации», таким образом, оказывался вопиющим анахронизмом! Вот еще один из афоризмов Блудова, в котором пересказан диалог двух его кумиров – Каподистрии и Штейна; речь в нем идет скорее всего об А.С.Шишкове:

Mr. de Stein disait l'autre jour en parlant de X...: Mais il doit etre bien vieux! a le voir on lui connerait 90 ans! "Oui, reparti C.D., et a l'entendre, meme trois cents, car il pense et parle comme les gens du 15 siecle"⁴⁶.

Сатирические сочинения Блудова 1810-х гг. в полной мере отражают описанный нами арзамасский взгляд на «Беседу». Известно, что первые столкновения карамзинистов с Шишковым начались задолго до образования «Арзамаса» – с 1803 года, когда вышло в свет неприми-

⁴³ Арзамас. Т.1. С.461.

⁴⁴ Блудов Д.Н. Украденная записная книжка// Арзамас. Т.2. С:124.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Г.Штейн сказал как-то раз о X: «Он должен быть гораздо старше! На вид я дал бы ему 90 лет!» – «Да, ответил Каподистрия, а послушав его, даже триста, ведь он думает и говорит как человек 15 века!» (Мысли и замечания графа Блудова. С.37).

римо настроенное против новаций Карамзина «Рассуждение о старом и новом слоге...» Шишкова. Но это были лишь одиночные реплики – статьи, стихотворные пародии, фрагменты писем, которые читались в широком кругу. Первая известная нам попытка создать литературную группировку, которая дала бы организованный отпор «Беседе», содержится в неопубликованной до сих пор заметке Блудова, которую можно датировать началом 1812 г.⁴⁷ В ней остроумно изображены три «архаиста» – С.Глинка, А.Шаховской и сам А.Шишков – и предложена та форма критики сочинений беседистов, которая позже будет взята на вооружение «Арзамасом» – «мнимая похвала» пародируемому автору. Сетя на то, что русские читатели не могут прочесть до конца ни одного произведения участников «Беседы», Блудов предлагает помочь своим противникам в деле завоевания читательской симпатии: научить публику правилам, по которым пишутся их творения, а для этого собирать регулярные собрания (пробораз будущих заседаний «Арзамаса»):

Сколько в мире людей, которые не умели бы чувствовать красоты Гомера, Цицерона и Расина, если бы не было логики, Квинтилиана и Лагарпа, соотечественники от того так прихотливы, что не знают правил искусства, которое мы довели до совершенства; искусства пресмыкаться в поэзии. Если правда (а это правда неоспоримая), что русские литераторы имеют в сочинении Лирической поэмы (и всякой другой, можно прибавить) и даже всякой книги особые способы, особые приемы; то они имеют нужду и в новой пиитике, в новом Лагарпе.

Я сообщил о своей мысли одному приятелю, с которым мы иногда вместе удивлялись трудолюбию сочинителей и лености читателей, он согласился со мною, и мы приняли дерзкое намерение выйти на славное поприще, опираясь друг на друга, как водится между авторами и объявить себя учителями Публики, Профессорами Пафоса, то есть искусства пресмыкаться в Поэзии. Но должно ли назвать предприятие дерзким или трудным? Образцы у вас перед глазами, нам стоит извлекать из них правила и посвящать свои труды многолюдному сословию пресмыкающихся поэтов, сказать словами одного из них.

Приношу тебе твой дар.

Кн. Шаховской.

Курс Пафоса откроется 16-го Марта в день рождения Беседы любителей русского слова и будет преподаваться каждую субботу. Цена за вход назначается по достоинству сочинителей, из которых будут выбраны примеры; от пяти до десяти копеек.

Выражение «пресмыкаться в поэзии», дважды употребленное Блудовым, должно было указывать на два важнейших качества объектов его сатиры – неспособность их создавать истинно высокие сочинения, оторваться от земли, «воспарить», и пустое словословие в адрес императора.

⁴⁷ РГАДА. Ф.1274. Оп.1. Ед. хр. 2766 (бумага 1810). Л.65-66.

Другое, широко известное, арзамасское выступление Блудова – сатира «Видение в какой-то огаде», направленное против А.Шаховского, травестийно использует образы и лексику ветхозаветных пророчеств и псалмов. Герой пародии представлен в нем как лже-пророк и лже-визионер. Ему, вместо Всевышнего или ангела, является старец и велит написать комедию, в которой будет представлен «кроткий юноша» (Жуковский), и «обрызгать грязью <...> его и друзей его». Образы лже-пророков-беседчиков должны были неминуемо контрастировать с образом истинной пророчицы – Кассандры. «Печален был жребий древней Кассандры: все спасительные советы, кои подавала она Приаму и народу его, все справедливые ее предсказания остались тщетными, – говорил на одном из заседаний член Чу (Д.В.Дашков). – Но наша Кассандра была и будет внимаема нами»⁴⁸.

Необходимо заметить, что Шишков и шишковисты не были единственными идеологическими оппонентами Блудова в период существования «Арзамаса». На петербургской политической и литературной сцене были и другие лица, чьи взгляды и сочинения, по мнению авторов арзамасского круга, были не менее опасны, чем шишковские, и могли произвести дурное влияние на общество и правительство. В ряде случаев требовались более основательное вмешательство, нежели сатира или пародия. Одно из таких выступлений Блудова – его программная, доселе неизвестная статья, написанная либо незадолго до создания «Арзамаса», либо уже в пору его существования. Эта статья представляет собой, вероятнее всего, ответ на сочинение католического публициста, сардинского посланника в России Жозефа де Местра *Essai sur le principe generateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines* («Опыт об основном принципе политических конституций и других человеческих установлений») ⁴⁹. Некоторые суждения автора этой книги были достаточно близки собственным убеждениям Блудова (например: «Ни одна нация не может дать себе свободу, если она ею не обладает»), однако общая его позиция в корне противоречила очерченным нами выше принципам: де Местр полагал, что «у человека нет права давать имена вещам», его «цивилизует лишь религия, совсем не наука», «письмо всегда лишь знак слабости, невежества или опасности»⁵⁰. Этот последний тезис де Местра, отстаиваемый им на протяжении десятков страниц с примерами из церковной истории и сочинений Отцов Церкви, и дает нам основание считать сардинского посланника адресатом возражения Блудова. Неоза-

⁴⁸ Арзамас. Т.1. С.322.

⁴⁹ Maistre Joseph de. *Essai sur le principe generateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines*. Spb., 1814.

⁵⁰ Op.cit, p.I,V,22,31,33.

главленная его статья начинается со слов «Но великая польза гражданская происходит ощутительно от превосходства письмен»⁵¹.

В защиту словесности и – шире – просвещения Блудов приводит несколько убедительных доводов: во-первых, по его мнению, упадок государств, и прежде всего древней Греции, который, согласно де Местру, был обусловлен совершенствованием литературы и науки, на самом деле происходил от нравственного развращения подданных и властителей, «оскудения гражданских добродетелей», «своеволия чёрни», «вождями подстрекаемого междоусобия»⁵². Дело не в порочности и заведомой ложности письменного слова как такового, а в том, что «виновниками зла от письмен происходящего суть люди, которые унижают их служением пороку». Успехи словесности, напротив, приводят к процветанию государства: «Красоты величественные и легкие приятности обработанного языка становятся титлами справедливой гордости народной, новым побуждением любви к отечеству»; «Напротив того удобно приметить можно, что основания новейших Государств получили последнее свое утверждение от разливания общего Просвещения, когда учении, науки, искусства сообщили вежливость народам и образовали разумы особ призванных ко управлению оными».

В 1814 году, когда в обществе снова начались разговоры о конституции и систематическом упорядочении существующих законов, «Опыт» де Местра мог не только затормозить обсуждение и проведение реформ, но и привести к гонениям на науку, литературу, образование. Отстаивая их право на существование и всемерную заботу со стороны общества и правительства, Блудов говорит о том, как это последнее должно строить свою политику по отношению к литературе: «Признав сие благодетельное действие искусств и словесности, мудрое правительство обращает на них промыслительное око, не полагая оскорбительных уз на мысль, вольную по существу своему, предоставляя себе направлять и умерять парение ее справедливым воздаянием хвалы или порицанием»⁵³.

Попробуем экстраполировать эту рекомендацию на область взаимоотношений власти с литературной группировкой, большинство чле-

⁵¹ Блудов Д.Н. <Статья о «пользе письмен» Ответ Ж. де Местру> // РГАДА. Ф.1274. Оп.1. Ед.хр.2766. Л.59-60. Текст представляет собой писарскую копию, однако не приходится сомневаться, что эта статья принадлежит самому Блудову, так как находится в папке, собственноручно озаглавленной им «Мои старые частные сочинения». В числе прочих аргументов в пользу такой адресации статьи следует упомянуть датировку бумаги (водяные знаки 1814 г.) и главное слово статьи – «письмена» (вместо более традиционного русского – «науки и словесности»), представляющее удачную кальку с французского *écriture*.

⁵² Там же.

⁵³ Там же.

нов которой занимают достаточно высокие государственные посты (а именно так обстояло дело в «Арзамасе»). Принадлежность участников общества к высоким сферам власти позволяет им влиять на ее политику по отношению к литературе и направлять «промыслительное око» и «воздаяния хвалы» в должную сторону, тем самым постоянно повышая культурный статус и политический вес своей группировки. Таким образом, в системе взаимоотношений литературы и власти, помимо писателя и правительства, появляется еще одна фигура: просвещенного государственного чиновника, который помогает правительству верно проводить свою политику в отношении литературы. Усложняя и модифицируя карамзинскую идею «покровительства» власти лучшим достижениям литературы и искусства, Блудов приспособляет ее к новой общественно-политической ситуации, т.к. составившая «Арзамас» генерация молодых просвещенных государственных деятелей, готовых самоотверженно трудиться на благо отечественной словесности, требовала иного, нежели их учитель и кумир, позиционирования по отношению к правительству и другим литературным силам. Сам групповой, «кружковый» характер «Арзамаса» исключал уже возможность единоличного авторитетного совета монарху (да и самый главный литературный авторитет арзамасцев еще был жив и здравствовал). Возникла острая необходимость в создании новых форм взаимодействия литературы и власти, которую – иногда витиевато – и выразил Блудов в своей статье «О пользе письмен». Власть же предпочла использовать литературные способности молодых чиновников для удовлетворения непосредственных государственных нужд: в 1817–1818 гг. Д.Н.Блудов и Дашков стали советниками при посольствах (соответственно, в Лондоне и Константинополе), С.С.Уваров – Президентом Академии Наук, а В.А.Жуковский – учителем русского языка будущей великой княгини Александры Федоровны.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Г.А.Янковская (Пермь)

«Шинель дана очень обще и немножко бревном таким»:

**к вопросу о мотивационном аспекте деятельности комитета по
присуждению сталинских премий в области
литературы и искусства**

*Может быть, это всего лишь сон,
пригрезившийся интеллигенту
в темную волшебную ночь
сталинской диктатуры?*

Абрам Терц.

Что такое социалистический реализм?

В истории советской культуры трудно, а порой невозможно отделить личные идеалы и мотивы от штампов и норм государственного механизма реагирования на художественную жизнь. К разнообразным средствам культурной политики в СССР относились не только контролирующие, карательные организации, но и система государственных наград и поощрений. Появившись еще в первые годы советской власти, высоко-статусные государственные награды и звания в области литературы и искусства стали оказывать мощное воздействие на художественную культуру советского общества позже, с середины 1930-х гг. Особое значение, порой действительно «судьбоносное» для художественных профессий приобрела Сталинская премия в области литературы и искусства.

Многие реалии советской жизни, связанные с именем Иосифа Сталина, несмотря на многолетние исследования отечественных авторов и зарубежных русистов, по-прежнему не нашли не только современной интерпретации, но и внятного описания. По-прежнему живы участники и родственники участников событий тех лет. Это обстоятельство еще на десятилетия закрывает архивные материалы личного характера для исследователей. По-прежнему идеологическая тенденциозность властвует в исторических публикациях, справочных изданиях и научно-популярной литературе.

В значительной мере эти ламентации относятся к недолгой истории Сталинских премий. Сегодня чрезвычайно затруднительно найти какие-либо сведения об этой премии не только любителю, но и специалисту-историку. О ней отсутствуют даже элементарные данные в массовых отечественных энциклопедиях. В целом тенденциозная справочная литература в России традиционно выполняет функции

машины забвения, ретуширующей картину прошлого. На примере представительства Сталинских премий в изданиях справочного характера можно легко увидеть, каким способом «вымывается» информация из коллективной памяти общества.

В Большой советской энциклопедии сталинской эпохи (в синей обложке) скупой сюжет о Сталинских премиях представлен в первом издании 52-го тома (1947 г. издания), но уже снят во втором издании (1957 г.). Забавно и грустно сегодня видеть, как лицемерно это было сделано: в том «оттепельном» издании есть перекрестная ссылка на статью «Сталинские премии», тогда как самой статьи нет! Нет искомой информации и в последующих изданиях Большой советской энциклопедии. Не содержит ее даже новейший Российский энциклопедический словарь 2000 г. Здесь различные сведения, так или иначе связанные с именем Сталина продолжает заметка о... Силвестре Сталлоне!¹ До сих пор нет полной ясности с тем, какая премия пришла ей на смену. Ленинская премия, восстановленная в соответствии с правительственным решением в 1956 г.? Или появившаяся позже Государственная? От Сталинской премии остались фольклорные предания, народная топонимика многих российских городов, где по-прежнему значатся «лауреатские» дома, дачи, санатории. Остались стыдливо подправленные биографии мастеров культуры, в которых полученные ими в 1940–1950-е гг. Сталинские премии отчего-то именуются Государственными.

Между тем лауреаты этой «легендарной» премии входили в советскую творческую и научно-техническую элиту. В отмеченных премиями работах персонифицировались идеалы культурной политики советского государства. Слово «лауреат» стало знаком успешной вертикальной мобильности. Соответствующее денежное обеспечение и привилегии были важнейшей составляющей финансирования официальной культуры. Выдвижение, отбор, обсуждение работ претендентов, иначе говоря, вся премиальная бюрократическая машина сразу же вписалась в статичную повседневную жизнь советской культуры.

В предлагаемой небольшой работе мне хотелось бы рассмотреть именно последний, рутинно-процедурный аспект недолгой истории «периодического смотра традиционного торжества советской науки, техники и культуры»². Время написания хронологически подробной и детализированной истории этого комитета еще не пришло (архивные ограничения для этого достаточно велики), поэтому немалый интерес представляет спектр мотивов и аргументов, наиболее часто встречающихся в его деятельности. Возможность провести

¹ Российский энциклопедический словарь. Кн.2. М. Большая Российская энциклопедия. 2000.

² Правда. 1946. 27 января. С.1.

мотивационный анализ предоставляют сохранившиеся стенограммы заседаний комитета по присуждению Сталинских премий. В этой работе речь будет идти в первую очередь о премиях в области изобразительного искусства, поскольку история послевоенной художественной жизни в СССР гораздо менее привлекала внимание специалистов, нежели литература, музыка или кинематограф. Эта публикация основана на материалах и документах, хранящихся в фондах Российского государственного архива литературы и искусства. Большая часть фондов комитета по Сталинским премиям (персональные дела и другие документы личного характера) закрыты. Однако стенограммы заседаний доступны исследователям, и с помощью этих материалов можно разобраться в некоторых хитросплетениях повседневной жизни советского художественно-артистического сообщества.

Поскольку внятная и доступная информация о Сталинских премиях отсутствует, уместен небольшой экскурс в историю этой государственной награды. Сталинские премии были учреждены постановлением Совнаркома СССР от 20 декабря 1939 г. в ознаменование шестидесятилетия И.В.Сталина. Хотя премия носила имя Сталина, дата объявления результатов не была привязана ко дню рождения «вождя» – 21 декабря. Чаще всего имена новых лауреатов становились известными всей стране в апреле – июне. Новая премия в определенной мере выполняла те функции, которые прежде были свойственны Ленинской премии, учрежденной в 1925 г., но не присуждавшейся с 1935 года.

Премии присуждались ежегодно за выдающиеся работы в области музыки; живописи; скульптуры; архитектуры; театрального искусства; кинематографии. В сфере науки отдельно вручались награды за открытия в сфере физико-математического, технического, биологического, сельскохозяйственного, медицинского, философского, экономического, историко-филологического и юридического знания. Первоначально было объявлено об учреждении 16 премий по 100 тысяч рублей каждая. Впоследствии первая премия в науках была увеличена до 200 тысяч рублей, а премия второй степени – до 100 тысяч рублей. В художественно-литературных номинациях премия первой степени составляла 100 тысяч, второй степени – 50 тысяч рублей. Вводились также ежегодные премии за изобретения (10 первых по 200 тысяч (позже по 150 тысяч), 20 вторых по 100 тысяч, 30 третьих по 50 тысяч рублей) и за выдающиеся достижения в области военных знаний (3 первых, 5 вторых, 10 третьих премий с таким же денежным вознаграждением)³.

³ Правда. 1939. 21 декабря. С.2.

В работе по присуждению премий, а это была действительно работа – бюрократическая, тягучая и длительная, принимали участие различные творческие, общественные, государственные, партийные организации. Специальный комитет по Сталинским премиям действовал при правительстве СССР. Структура комитета была простой и ясной. Каждая секция подразделялась на подсекции, соответствующие отраслевой специализации. Так в секции изобразительного искусства действовали подкомитеты по живописи, графике, архитектуре, декоративно-прикладному искусству. В секции музыки – подкомитеты по обсуждению крупных музыкально-сценических и вокальных произведений, крупных инструментальных произведений, произведений малых форм и концертно-исполнительской деятельности; в театральной секции – театрально-драматического искусства, оперы и балета; в секции кинематографии – художественной и хроникально-документальной; в секции литературы – подкомитеты по художественной прозе, поэзии, драматургии, литературной критике и искусствоведению. Лауреаты премий, помимо самого этого почетного звания, получали также диплом, значок и, немаловажно, крупную сумму денег. Список лауреатов публиковался в центральной печати⁴ и подавался со всеми причитающимися такому событию идеологическими виньетками.

Первое присуждение премий состоялось в начале 1941 г., еще до начала Отечественной войны. Премии присуждались не по итогам 1940 г., а сразу за работы последних 6-7 лет, т.е. восполняли ту паузу, которая возникла после исчезновения старой Ленинской премии и утверждения Сталинской. В 1941 г. 223 премии «увенчали выдающиеся работы» около 400 деятелей науки и культуры⁵. Затем премии вручались в 1942 и 1943 годах. После перерыва, связанного с трудностями военного времени, в январе 1946 г. были присуждены Сталинские премии за работы 1943–1944 гг., а в июне 1946 г. – за достижения 1945 года. В последующие годы награды вручались регулярно до 1956 г., когда после начавшейся демократизацией общества именная премия «вождя народов» была отменена. Ей на замену пришла новая – хорошо забытая старая Ленинская премия.

Количество присуждаемых наград с каждым новым «сезоном» постоянно росло. Во всех областях. В области художественной культуры разрастание «лауреатского бума» за три произвольно взятых года выглядит следующим образом (учитываются только количество наград, а не число награжденных):

⁴ Параллельно существовали «закрытые» Сталинские премии, присуждавшиеся за разработки, составляющие военную и государственную тайну.

⁵ Большая Советская энциклопедия. Т.52. М. ОГИЗ. 1947. Ст.659-660.

	за1941 год ⁶		за1946 год ⁷		за1948 год ⁸		
	1-й степ.	2-й степ.	1-й степ.	2-й степ.	1-й степ.	2-й степ.	3-й степ.
Музыка	3	5	5	7	3	14	-
Живопись	3	5	4	2	1	11	4
Скульптура	2	5	1	2	-	3	-
Архитектура	3	8	-	-	8	7	-
Театр	10	16	39	37	27	64	-
Кино	35	50	25	19	25	34	-
Литература	10	11	5	7	9	15	15
Всего		166		151			240
	(за 6 лет)						

Авторитет и «убедительность», приписываемая количественным показателям, в целом типична для публичных высказываний тех лет. Вульгарно-социологическая аргументация, жонглирование цифрами, магия чисел широко применялись в риторике, сопутствующей сфере художественного творчества. В одной захлебывающейся от восторга публикации 1952 г. прямо декларировалось: «Успехи советской литературы за последние годы весьма наглядны: В 1949 г. в области художественной литературы были присуждены 34 Сталинские премии. В 1950 г. число премий увеличилось до 46»⁹.

Со временем количество награжденных лауреатов зашкалило за все мыслимые показатели. Например, в 1941 г. комитет счел возможным присудить за 6 лет в области изобретательской деятельности лишь 20 премий первой степени (награды получили 33 лауреата, т.к. многие изобретения были результатом коллективной работы), 32 премии (67 лауреатов) второй степени, 26 премий (65 лауреатов) третьей степени¹⁰. Тогда как по результатам одного 1948 г. вручалось уже 8 премий первой степени (38 награжденных), 40 премий второй степени (227 награжденных), 111 премий третьей степени (491 награжденный)¹¹. Размывались сами основы и первоначальная идея Сталинских премий – поддержать и обособить наиболее выдающиеся результаты творческой деятельности. Премия все больше превращалась в источник финансирования,

⁶ Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. 1941. №10. С.290-313.

⁷ Собрание постановлений и распоряжений Совмина СССР. 1947. №4 С.50-71.

⁸ Собрание постановлений и распоряжений Совмина СССР. 1949 №6. С. 114-128.

⁹ Выдающиеся произведения советской литературы. М. Советский писатель. 1952. С.11.

¹⁰ Подсчитано по: Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР. 1941. №10.

¹¹ Подсчитано по: Собрание постановлений и распоряжений Совмина СССР. 1949. №5. С.87-110.

особенно в сфере научно-технических знаний и милитаризованной науки. В областях, связанных с художественным творчеством, премия становилась кормушкой для лояльных авторов. Снижало заявленную первоначально планку и появление в послевоенные годы премий 3-й степени (по 25 тыс.) в области литературы и искусства.

Понятно, что расширение «списочного состава» лауреатов определялось сверху и зависело от финансовых и политических установок власти. Но вот отбор кандидатур, представляемых к утверждению в высших партийных инстанциях, осуществлялся комитетчиками. Нередко на решения комитета по присуждению Сталинских премий оказывали влияние самые неожиданные мотивы.

В Советском союзе, где не было легального художественного рынка, а государство патронировало все сферы творчества, нередко доминировали не профессиональные или идеологические, а социально-благотворительные мотивы. Особенно там и тогда, когда речь шла о крупных финансовых вознаграждениях. Выдвижение «на премию» и присуждение премии было знаком групповой солидарности и бытового вспомоществования. В стенограмме обсуждения работ, выдвинутых на премию в 1952 г. находим интересное тому подтверждение. Комитет единодушно отклонил работы престарелого художника В.В.Крайнева, по вполне справедливым профессиональным критериям. Точнее, «секция решила рекомендовать отклонить»¹². Дело в том, что комитет только обсуждал работы и давал рекомендации «принять или отклонить». Окончательное решение выносили партийные инстанции. Вот почему даже отвергнутые произведения включались в специальный дополнительный список для доклада правительству и ЦК партии, а некоторые работы из дополнительного списка все-таки получали премии, несмотря на возражения профессионального жюри. Вернемся к работам В.В.Крайнева. Комитет счел возможным не вручать ему государственного поощрения в виде премии, но рекомендовал соответствующим структурам приобрести, тем не менее, его работы «в связи с тяжелым материальным положением»¹³.

Просматривая списки лауреатов тех лет, мы найдем немало имен выдающихся мастеров культуры и науки, многие из них получали такое признание своего творчества неоднократно. В разные годы награда вручалась таким выдающимся ученым, как П.Капица, А.Колмогоров, А.Крылов, А.Бах, Л.Орбели, Н.Бурденко, В.Обручев, М.Келдыш. В музыкально-исполнительском и театральном искусствах награду вручали Н.Мясковскому, С.Прокофьеву (в 1943, 1946, 1951 гг.), А.Хачатуряну (в 1941, 1943, 1946, 1950 гг.), Р.Глиэру, Д.Шостаковичу (в 1941, 1942, 1946, 1950, 1952 гг.), Э.Гилельсу, Е.Мравинскому,

¹² РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2. Д.18. Л.30.

¹³ Там же.

Г.Улановой (в 1941, 1946, 1947, 1950 г.), И.Моисееву (в 1942, 1947, 1952 г.), Г.Свиридову, З.Долухановой.

Среди награжденных литераторов встретим имена С.Маршака, А.Твардовского, К.Симонова, А.Толстого, В.Каверина, М.Шолохова. Знаковыми явлениями для советской художественной культуры стали удостоенные Сталинских премий архитектурные решения первых станций Московского метрополитена, скульптура В.Мухиной «Рабочий и колхозница», вошедшее в фольклор полотно А.Герасимова «И.В.Сталин и К.Е.Ворошилов в Кремле» (народное название «Два вождя после дождя»), «Допрос коммунистов» Б.Иогансона, портрет И.П.Павлова работы М.Нестерова, памятник С.М.Кирову в Ленинграде скульптора Н.Томского, книжные иллюстрации Д.Шмаринова, политические плакаты Кукрыниксов и В.Корецкого, здание Московского университета на Ленинских горах и проч., и проч., и проч. Многие из визуального ряда классического советского соцреализма вошло (в преобразованном, безусловном, виде) в ткань современной российской культуры.

Но не счесть тех «деятелей», чьи имена и «творения» сегодня никому неизвестны. О чем были романы Г.Баширова «Честь», М.Ибрагимова «Наступит день», Н.Никитина «Северная Аврора», В.Собко «Залог мира»? Какими качествами обладала картина лауреата В.Яковлева «Колхозное стадо»? Где, кроме специализированных каталогов и эксцентричных частных коллекций можно увидеть живопись многократно увенчанных лауреатскими званиями А. Яр-Кр: ченко или В.Ефанова¹⁴?

В целом, списки лауреатов Сталинской премии свидетельствуют, что в максимальной степени мертвящее влияние государственной культурной политики сказалось именно на изобразительном искусстве и литературе. Во всяком случае, премии третьей степени существовали только в этих областях. И только в них такое количество серой, типовой, ныне канувшей в никуда продукции было удостоено Сталинской премии. Слово и литературоцентричное искусство соцреализма позволяло осуществлять однозначные идеологические интерпретации, легче попадало под непосредственный контроль соответствующих инстанций, и самоцензуры. Нелишне напомнить, что бесконечные словесные баталии о формализме, натурализме, импрессионизме, шедшие на протяжении 1930–1940-х гг. оказали глубокое деморализующее воздействие на художественное сообщество.

Вот почему, как мне кажется, в изобразительных искусствах и литературе так много работ, отмеченных премиями, и не отвечающих стро-

¹⁴ Полный список лауреатов Сталинской премии в области изобразительного искусства и другие интересные материалы по послевоенной художественной жизни в СССР смотри: Baudin Antoine/Le réalisme socialiste soviétique de la période jdanovienne (1947–1953): Les arts plastiques et leurs institutions. Vol.1. Berlin: Lang. 1997.

гим художественным критериям. Идеологический контроль достиг избыточного уровня и депрофессионализировал изобразительное искусство. Низкий уровень мастерства – таков ведущий мотив отклонения работ, выдвинутых на соискание премии. И это одно из самых неожиданных впечатлений от чтения стенограмм заседаний комитета по Сталинским премиям в области искусства. Ведь обсуждались работы, прошедшие многоэтапный предварительный отбор, идеологически выверенные, уже выставленные на суд широкой зрительской аудитории. И все же в жюри премии работали профессионалы. Большинство из них получило базовую подготовку еще до октября 1917 года. Не все профессиональные критерии были ими забыты.

Чаще всего не отвечали требованиям художественного качества работы, посвященные советским лидерам, и в первую очередь – созданию образа «всенародного вождя». По установившимся негласным правилам, Сталина редко называли его собственным именем. В обсуждениях употреблялся этикетный эвфемизм «главная фигура на полотне». Халтуризация заказной идеологической живописи, столь явная в провинции¹⁵, была, по всей видимости, явлением, распространенным не только в регионах. Множество работ с изображением Ленина и Сталина были отклонены именно потому, что не отвечали элементарным профессиональным требованиям, были стандартны, не оригинальны, часто копировались с фотографий.

Приведем ряд суждений, высказанных участниками заседаний в секции изобразительного искусства в 1951 году. По поводу картины С.И.Дудника «Дети приветствуют И.В.Сталина в день 70-летия» говорилось: «Написан ужасно, ...тут есть дефекты в рисунке»¹⁶. По поводу работы «В.И.Ленин в Подольске»: «Ленин какой-то неприятный. Горб какой-то на спине». На другой картине «Ленин изображен татарин»¹⁷. И.Э.Грабарь (председательствующий) вопрошал своих коллег после просмотра картины А.И.Соколова «Напутствие вождя»: «Я хотел спросить: можно сразу узнать, что это такое? Нельзя же сообразить, что это такое. А картина должна быть такая, чтобы ребенок сообразил. Вычеркиваем». Картина «Ленин и Сталин в Горках» кисти В.К.Цвирко получила такую оценку: «Это ужасная вещь. Тут пропорции плохие. Профессиональная сторона ниже всякой критики». А о картине В.С.Шерпилова «Тов. Сталин на крейсере "Молотов"» А.Герасимов отозвался и вовсе уничижительно: «Это типичнейшая отрывка импрессионизма». Еще в одной работе бросалось в глаза, что «у Ленина нет правой ноги и пра-

¹⁵ Янковская Г.А. «Деятели культуры» в системе советской официальной культуры 1940–1950-х гг. // В поисках истины. Интеллигенция провинции в эпоху общественных потрясений. Пермь. 1999.

¹⁶ РГАЛИ. Ф.2073. Оп 1. Д 44. Л 9.

¹⁷ Там же. Л.25.

вой руки. Даже не видно, что он сидит»¹⁸. Скульптурные работы также давали повод для критики: «У монумента Сталину в г.Гори чрезмерно грузные, приземистые пропорции фигуры, создающие неприятный силуэт, измельченность пластической трактовки спины, одутловатость шеи, подбородка, щек»¹⁹. Другая скульптура «не возвышается над уровнем хороших самодеятельных работ»²⁰. Доставалось от советских художников и другим революционным кумирам. Во время одного обсуждения прозвучала красноречивая реплика: «На счет образа Маркса здесь не очень хорошо. Кроме бороды ничего нет»²¹.

Феноменально низким был профессиональный уровень выполнения многих выдвигаемых работ в области архитектуры и скульптуры. Чем дальше от трудных и частично извиняющих низкое качество первых послевоенных лет, тем хуже было качество исполнения архитектурных проектов. Так в 1954 г. о комплексе зданий в Минске говорилось следующее: «Качество строительных работ чрезвычайно плохо. Щели между досок в палец-полтора шириной и некоторые доски в полу играют под ногами, как клавиши пианино. В высотных башнях постоянно нет воды. Минск обзревается с этих башен очень хорошо, но эта красота сопряжена с таким бытовым неудобством»²².

Часть проектов, особенно жилой застройки не только «халтурно» строились, но и «халтурно» представлялись к награждению – без планов, без должной документации²³. Заниженные первоначально в угоду идеологическим соображениям профессиональные критерии привели, таким образом, к дискредитации премии в самой профессиональной среде, к снижению ее социального статуса.

Важно отметить, что выбраковывалось из списка претендентов довольно много работ. Отбор был жесткий. Так только по секции скульптуры в 1941 г. было отказано 15-ти, в 1943–1944 гг. – 16-ти, в 1945 г. – 16-ти, в 1946 г. – 13 кандидатам. По секции живописи в 1945 г. отказ получили 48, а в 1946 г. – 23 человека²⁴. Однако лексика, используемая для аргументации участниками обсуждения, в массе своей была безопасно аморфна, она не имела ничего общего с традиционным словарным запасом искусствоведения. Если суммировать наиболее часто встречающиеся одобрительные и негативные формулировки, то можно составить небольшой словарь. Хотя в нем учтены суждения, сделанные в ходе одного «среднестатистического» заседания комитета по присуждению Сталинских премий в области живописи за 1952 год, словарь типичен и

¹⁸ Там же. Л.29-36.

¹⁹ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2. д.39. Л.89.

²⁰ Там же. Л.87.

²¹ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2., Д.31. Л.91.

²² РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2, Д.31. Л.80.

²³ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.1. Д.44. Л.102.

²⁴ См.: РГАЛИ. Ф.2073. Оп.7.

применим как к последующим, так и предыдущим годам. В словарь включены только те обороты, которые встречаются более 4 раз:

Аргументы одобрения	Аргументы отрицания
Жизненность темы	недостатки в живописи, рисунке, композиции
Актуальность темы	повторение известных работ, банальность
Выразительность ее раскрытия (21 упоминание !)	поверхностность
Содержательность	недостаточное портретное сходство
Живость (6 упоминаний)	внешняя красивость
Поэтичность (5 упоминаний)	бесконфликтность
Лирическая взволнованность	бутафорская трактовка
Теплота	излишняя условность, ложная романтика

Этот неполный реестр аргументов демонстрирует, насколько ритуальными, содержательно неопределяемыми, нулевыми с точки зрения профессионального художественного языка были сентенции участников обсуждения. Они свидетельствуют о непростой игре, о вынужденной словесной эквилибристике участников обсуждений, с помощью которой им удавалось придерживаться хоть какого-то уровня профессиональных критериев.

Как и любое другое творческое соревнование, судьями которого выступают участники соревнования, присуждение Сталинской премии не было свободно от клановых интересов, интриг, борьбы персоналий. Эта сторона истории Сталинских премий еще ждет своего описания. Но уже сегодня отдельные проявления нешуточной борьбы за финансы и заказы просматриваются весьма четко.

Начнем с того, что судьбу будущих лауреатов решали сами бывшие или будущие лауреаты. Так в секции изобразительного искусства эту непростую, политесно-дипломатическую задачу решали одиозные и одновременно культовые фигуры – А.Герасимов, Б.Иогансон, В.Мухина, В.Ефанов, Д.Шмаинов, И.Грабарь (всего примерно полтора десятка человек). Несомненно, что лауреаты-комитетчики были болезненно чувствительны к работам других художников, еще не вошедших в лауреатскую обойму, но зато получивших настоящее всенародное признание.

Демонстративно и методично третируются работы А.И.Лактионова, хотя ни один художник на территории послевоенного Советского Союза не пользовался такой общенародной популярностью, как он. Стопроцентным было попадание в средоточие зрительских ожиданий его картины «Письмо с фронта». Успех живописной работы А.Лактионова в массовой аудитории иначе, как триумфальным не назовешь. Поэтому не удивительно, что другая его популярная жанровая картина «В новую квартиру» не нашла понимания у коллег-комитетчиков. Его осуждали за то, что в новом полотне «фикус, пар-

кетный пол, радиоприемник, книги и пр. оказываются в центре внимания, оттесняют людей». В пик уставлялось то, что «в облике центральной фигуры не передано прогрессивных черт современной советской женщины», «что искусственна поза мальчика», что «неясна национальная принадлежность этих двух персонажей, особенно мальчика». Утверждалось: «люди, уже перевезшие в новую картину свои вещи, рассматривают ее так, как будто впервые видят (чего в действительности не бывает)» и т.д.²⁵ Мелочная непрофессиональная придирчивость, заклишированность языка выдают элементарную зависть к не санкционированной народной популярности художника.

В тоже время к «своим» требования были более мягкие, условия получения премии – щадящие. Иногда даже приученные к осторожности комитетчики проговаривались о своих далеких от объективности клановых мотивах. И.Э.Грбарь, например, делал это застенчиво и деликатно: «С.В.Герасимова неудобно на третью, нужно пленуму предлагать на вторую. Может быть, третью сохранять для молодежи?»²⁶

Много споров вызывали проблемы распределения денежной премии между участниками монументальных полотен, выполненных групповым способом. Таких картин и скульптур немало выдвигалось на премию в послевоенные годы. Назовем ради примера картину «Выступление В.И.Ленина на третьем съезде комсомола», написанную бригадой в составе Б.Иогансона, В.Соколова, Ю.Тегина, И.Файдыш-Крандиевской, Н.Чебаковым. Кто, например должен был получать средства в картине, выполненной бригадой? Первый номер в списке? Те, кто пишет фигуры и лица, или же исполнители интерьеров и мебели? Если делить, то в каких пропорциях? В конечном итоге пришли к следующей практике. Каждая творческая бригада писала согласительный документ по групповому авторству. Ответ на специальный запрос А.Фадеева о долевом участии в творчестве подписывался всеми участниками. Обычно «первый номер» в списке получал от 30 до 50 % суммы. Подчас, если картина выполнялась под руководством какого-либо «авторитета» студентами, учащимися, молодежью, это считалось прохождением практики и вовсе не признавалось за бригадное творчество²⁷. Справедливости ради надо подчеркнуть, что очень многие уже «признанные и заслуженные» мастера, такие, как В.Мухина, настаивали на получении вознаграждения, равного для всех²⁸.

Желание наградить премией художников своего круга часто оказывало верх над принципиальными соображениями. Вот почему некоторые работы не отклонялись безоговорочно, художникам, скульпторам,

²⁵ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2. д.18. Л.12.

²⁶ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2. Д.31. Л.200.

²⁷ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.1. Д.44. Л.4-5.

²⁸ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.1. Д.44. Л.178.

архитекторам давался шанс переписать работу, представить ее на следующий год. Такие произведения кочевали из списка в список годами, вымучивая, в конце концов, премии своим создателям.

Отношения корпоративной солидарности выручали даже в тех случаях, когда художников прямо обвиняли в плагиате. С подлинной словесной виртуозностью такие казусы именовались «несовершенностью творческой самостоятельности решения картины»²⁹. Вот как комитетчики нашли оправдание известному «римейку» Ф.Решетникова «Опять двойка» с картины передвижника Д.Жукова «Провалился»: «Трактовка события в той и другой картине глубоко различны. У Жукова это трагедия мещанской семьи, крушение всех ее надежд, у Решетникова в полной теплой иронии и юмора трактовке сюжета раскрывается любовная атмосфера дружной советской семьи»³⁰.

Очевидно, что и социально-благотворительные, и клановые, и профессиональные мотивы не декларировались открыто. Своеобразным прикрытием для них служили правила «политкорректности» тоталитарной эпохи: выдвижения «нужных» кандидатур, зависимости художественно-критических суждений от текущей политической конъюнктуры, делегирования самим себе прав формулировки и представления народных ценностей, перенесения на институты художественного сообщества властно-государственных патерналистских функций. Печально знаменитый В.С.Кеменов с подлинной аппаратной виртуозностью давал своим коллегами такую установку: «Нужно подумать о том, как в целом будет выглядеть наш список. Мы должны дать определенную ориентацию... Никому не секрет, что если мы даем премию, то это есть ориентация. Попробуйте потом молодежи сказать, что вы не ориентируетесь на этюд, на пейзаж, а ориентируетесь на картину. Здесь вопрос политического содержания»³¹.

Что в итоге? Художественная жизнь в послевоенном СССР неотделима от этого вечно вращающегося колеса лауреатских выдвижений-обсуждений-присуждений... Специфические условия советской художественной жизни оказывали прямое воздействие на функционирование бюрократической премиальной машины. Решения специального комитета по присуждению Сталинских премий четко отражали не только приоритеты текущей культурной политики, не только массовый вкус (отчасти конструируемый, отчасти отвечающий идеалам демократических слоев общества), но и нравы артистически-художественного сообщества. Заинтересованность в социальных гарантиях художникам и социальной значимости искусства для власти была здесь далеко не на последнем месте.

²⁹ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2. Д.18. Л.3.

³⁰ Там же.

³¹ РГАЛИ. Ф.2073. Оп.2. Д.31. Л.197-198.

ПУБЛИКАЦИИ

П.Г.Виноградов

Об истории

Из всех занятий, посредством которых человек приобретает гражданство, в интеллектуальном содружестве, ни одно не является столь насущным как изучение истории. Знать как развивался мир до того момента, с которого мы начинаем помнить себя, как религии, институты, нации, среди которых мы живем, стали тем, что они есть; знакомиться с величием других времен, с обычаями и верованиями, совершенно отличными от наших собственных, – все это необходимо для осознания нашего положения, для освобождения от случайных обстоятельств нашего образования. История ценна не только для историка, и историк не может без большого ущерба для дела забыть, что его предмет важен не только для профессиональных исследователей архивов и документов, но для всех, кто способен к созерцательному обозрению человеческой жизни. Но ценность истории проявляется в столь многих формах, что те, чье внимание приковано с особой силой лишь к одной из них, испытывают постоянную угрозу забвения всех других.

Начнем с того, что история ценна потому, что она истинна; и хотя в этом состоит не вся ее ценность, в истинности заключается основание и условие всех других проявлений последней. Вполне вероятно, что всякое знание, как таковое, является в определенной мере полезным; и этим элементом полезности обладает знание каждого исторического факта, даже если из него нельзя извлечь никакой другой пользы. Современные историки в большинстве своем смотрят на истинность истории как на свойство, в котором заключена вся ее ценность. На этом основании они призывают к самоустранению историка перед документом: они опасаются, что любое вторжение в исследование их собственной личности будет нести с собой определенную долю фальсификации. Они говорят, что прежде всего следует стремиться к объективности; давайте просто описывать факты и позволим им говорить самим за себя, если они смогут обрести дар речи. Из такого подхода следует, что все факты являются равно важными; и хотя эта теория никогда не может быть до конца согласована с практикой, тем не менее, она, похоже, предстает перед умственным взором многих как идеал, к которому может постепенно продвигаться исследование.

То, что история должна основываться на изучении документов, – мнение, спорить с которым было бы абсурдом. Ибо только они содер-

жат свидетельство о том, что же действительно произошло, и ясно, что вымышленная история не может иметь какой-либо ценности. Более того, в одном документе жизни больше чем в пятидесяти историях (за исключением очень немногих лучших); по той простой причине, что он содержит в себе то, что принадлежит этому действительно прошедшему, он имеет странно живую жизнь-в-смерти (*life-in-death*), как будто принадлежит нашему собственному прошлому, которое порой способен пробудить определенный звук или аромат. И история, написанная после произошедшего, едва ли может убедить нас в том, что ее участники были в неведении о будущем: трудно поверить, что поздние римляне не знали, что их империя была на грани падения, или, что Карл I не осознал неотвратимости приближения его собственной казни¹.

Но если документы в столь многих отношениях превосходят любую преднамеренную историю, то какая функция остается историку? Прежде всего его делом является отбор материала. С этим соглашется все, поскольку материала такое множество, что невозможно охватить его весь. Однако не всегда осознается, что отбор включает оценку фактов и поэтому он предполагает, что истинность не является исключительной целью в документальной фиксации прошлого. Поскольку все факты являются равно истинными, то отбор среди них возможен лишь на основании какого-то иного критерия, нежели их истинность. И наличие такого критерия очевидно: например, никто не стал бы утверждать, что маленькие скандалы периода реставрации, засвидетельствованные Грамоном², столь же важны как письма о пьемонтских жертвах, с которыми Мильтон от имени Кромвеля обращался к медлительным властителям Европы³.

Тем не менее, можно сказать, что единственным истинным принципом отбора является чисто научный принцип: как важные должны рассматриваться те факты, которые ведут к установлению общих законов. Довольно трудно предположить, будет ли когда-нибудь история наукой; во всяком случае ясно, что она не является таковой в настоящее время, об этом можно говорить разве что в отношении экономической истории. Для того, чтобы можно было применить научный критерий важности фактов, необходимо, чтобы были выдвинуты две или более гипотезы, из которых каждая объясняла бы большое число фактов, и чтобы затем был открыт решающий факт, который определил бы преимущество одной из соперничающих гипотез. В индуктивных науках факты важны исключительно в их отношении к теориям, и новые теории определяют значимость новых фактов. Так, например, теория естественного отбора выдвинула на первый план все переходные и промежуточные виды, существование рудиментов и эмбриологическое свидетельство происхождения. Но едва ли можно утверждать, что история уже достигла или скоро достигнет состояния, в котором к ее фактам будут применимы такие стандарты. Ис-

тории, рассматриваемой как воплощение истины, похоже, еще долго придется оставаться почти чисто описательной дисциплиной. Те обобщения, которые уже предлагались в истории (исключая лишь область экономической истории), по большей части настолько неоправданы, что даже не заслуживают опровержения. Берк³ на примере Кромвеля⁴ сделал вывод, что все революции завершаются военными тираниями и предсказал Наполеона⁴. Очень забавное попадание в цель, но определенно не научный закон. Действительно, большое число примеров не всегда необходимо для установления закона, позволяющего легко выявить среди сопутствующих явлению обстоятельств существенные. Но в истории так много незначительных и случайных по своей природе сопутствующих обстоятельств, что ни одно широкое и простое обобщение невозможно.

И здесь кроется следующее возражение против видения истории как исключительно, или главным образом, науки, устанавливающей причины явлений. Там, где нашим главным стремлением является открытие общих законов, мы оцениваем последние как более значимые по своему существу, чем какой-либо из фактов, которые они связывают воедино. В астрономии закон гравитации является явно более ценным знанием, чем знание положения определенной планеты определенной ночью или даже каждой ночью в течение года. В законе заключены великолепие и простота, чувство господства, он высвечивает массу деталей, неинтересных в противном случае. Так же точно в биологии; до тех пор, пока теория эволюции не внесла смысл в вызывавшее недоумение многообразие органических структур, отдельные факты были интересны только для профессиональных натуралистов. Но в истории дело обстоит совсем иначе. В экономической истории, действительно, данные часто подчинены научным теориям, которые базируются на них; но во всех остальных областях данные сами по себе более интересны, а научная надстройка менее удовлетворительна. Исторические факты, по крайней мере многие из них, имеют действительную ценность, они сами по себе вызывают глубокий интерес, который делает их достойными изучения независимо от какой-либо возможности связать их вместе посредством причинных законов.

Изучение истории часто обосновывается ее пользой для решения проблем современной политики. Невозможно отрицать, что история несомненно полезна в этом отношении, но необходимо очень тщательно ограничивать и определять род ожидаемого от нее руководства. «Уроки истории», грубо говоря, предполагают открытие причинных законов, обычно очень широкого рода, и «уроки» такого сорта, хотя в определенных случаях они могут и не причинить вреда, всегда являются теоретически необоснованными. В XVIII веке постоянно, а в

³⁻⁴ Часть предложения вычеркнута.

наши дни время от времени аргументы в защиту ценности свободы и демократии черпаются из истории Греции и Рима: их величие или их упадок, в зависимости от склонности автора, приписывается этим причинам. Что может быть более нелепым, чем слышать риторику римлян, прилагаемую к Французской революции! Вся организация города-государства, основанного на рабстве, без представительных институтов и без печати, так далека от любой современной демократии, что проводить какую-либо аналогию, за исключением самой грубой, совершенно фривольно и нереально. В отношении империализма аргументы также черпаются из успехов и неудач древних. Начиная с Фукидида⁵, сицилийская экспедиция⁶ использовалась для того, чтобы предостеречь от чрезмерных амбиций. Если уроки и должны быть извлечены из этого случая, то единственным уроком, похоже, могло бы быть заключение, что заморские экспедиции следует предпринимать только тем, кто уже господствует на море, – вывод, который умный человек мог бы сделать без помощи опыта. И опять же в отношении Рима: должны ли мы верить, что постоянное расширение его границ было причиной падения? Или нам следует верить Моммзену⁷, что неудача в покорении германцев, живших между Рейном и Дунаем, была одной из наиболее фатальных его ошибок? Такие и подобные им аргументы всегда будут приводиться в зависимости от предубеждения автора и даже если они в определенной степени истинны в отношении прошлого, то будут не приложимы к современности.

Вред от этого становится особенно большим, когда история рассматривается как учащая определенной общей философской доктрине, такой как: «Право (right) в конечном счете есть могущество»; «истина всегда торжествует в конце»; или «прогресс есть универсальный закон общества». Все такие доктрины требуют для их подтверждения точного определения места и времени, и, что хуже, фальсификации ценностей. Наиболее вопиющим примером такой опасности является Карлейль. В изучении пуританизма это привело его к оправданию всех актов нетерпимости и беззакония Кромвеля и произвольному завершению обзора 1658 годом; как он объяснял реставрацию невозможно сказать⁸. В других случаях это еще больше сбивало его с пути. Поскольку часто трудно определить на чьей стороне находится правда, а могущество видно всем людям, то доктрина, что право (right) есть могущество незаметно оборачивается убеждением, что могущество есть право (right). Отсюда – превозношение Фредерика⁹, Наполеона и Бисмарка, безжалостное презрение к неграм, ирландцам и «тридцати тысячам швей». Тем самым любая общая теория, утверждающая, что все к лучшему, должна подкрепляться фактами для защиты того, что невозможно защитить.

Тем не менее, история играет роль в современных делах, но не столь прямую, определенную и решающую. Она может, во-первых, предлагать

малые максимы, чья истинность, когда они однажды предложены для обсуждения, становится очевидной вне зависимости от событий, из которых эти максимы выведены. В большинстве своем это характерно для экономики, где большинство затрагиваемых мотивов являются простыми. По схожей причине, это также характерно для стратегии. Везде, где помимо фактов из несомненных предпосылок может быть выведен простой дедуктивный аргумент, история может преподнести полезные наставления. Но они будут прилагаться только там, где дано окончание, и имеют, поэтому, техническую природу. Они могут <...>

II

<...> ^бжить и давать жизнь, когда мы и все наше поколение уже исчезнем в бледном царстве прошлого. В свете этого торжественного созерцания преобразуется весь человеческий опыт, и все, что являлось низким и личным, очищается как в огненном горне^б. И по мере того, как мы становимся мудрее, сокровищница веков открывается нашему взору; все более и более мы учимся понимать и любить людей, благодаря преданности которых все эти богатства становятся нашими. Постепенно, из созерцания жизни великих людей возникает мистическое общение, наполняющее душу подобно музыке невидимого хора. Голоса героев все еще зовут нас из прошлого. Не к счастью тех, кто собирает мимоходом цветы, кто прогуливается долгими летними вечерами по тропинкам садов и тенистых рощ – не к такому счастью они призывают нас, но думать их мыслями, радоваться их радостями, печалиться их печальями. Как с высокого мыса колокол древнего собора, неизменный с того дня, когда Данте вернулся из царства мертвых, все еще посылает свои торжественные предостережения, так их голос все еще звучит над просторами моря времени; все еще, как тогда, их спокойные глубокие голоса говорят уединенным мученикам одинокого стремления, полагающего постоянство вечных вещей на место сомнительной борьбы против неблагородных радостей и преходящих удовольствий. Часто их не слышали, но они говорили небесным ветрам, и небесные ветры рассказывают повесть великому человеку последующих дней. Великие же люди не одиноки: из ночи слышатся голоса тех, кто шел впереди, ясные и мужественные; и так через века они идут маршем, могучим шествием, гордые, неустрашимые, непокоренные. Присоединиться к этой славной когорте, подхватить бессмертную победную песнь тех, кого Судьба не в силах подчинить себе – может это не счастье, но что счастье для тех, чьи души полны этой чарующей музыкой. Им дано то, что лучше счастья – узнать чувство братства ве-

^{б-б} Предложение зачеркнуто. Далее перечеркнут текст до слов «Но история не только...».

ликих, жить в воодушевлении возвышенных мыслей и быть освещенным в любом недоумении огнем благородства и истины.

Это братство, это воодушевление, это освещение достигается объединением нашей индивидуальной жизни в великой жизни мира. Жизнь человека, наполненная болью и усталостью, нестерпимо утомительная и обременительная, со всеми ее радостями и печальями, ее надеждами и разочарованиями, есть в конце концов частичка жизни мира. В то время как города заняты заботами о сегодняшнем и завтрашнем дне, полны усердной борьбой за сиюминутное счастье и славу, тихие просторы моря отражают луну, заря возвращается в дымке с утренней звездой, верхушки деревьев то дрожат, то неподвижны. Среди наших раздоров и сумятиц Природа остается великолепной, строгой и спокойной, такой же как во все века человеческой печали. Для необузданной страсти безразличие Природы нестерпимо; но для тех, кто уже укротил желания, ее красота становится другом, доказательством того, что не все внешнее человеку является враждебным. Ибо мудрость приходит, когда усталость охладила огненную страсть, неистовое беспокойство тоски, оставляющее дух открытый беспристрастной радости Природы, отраде солнечного света, лесов и ручьев, цветов и лугов, росы раннего утра; когда собственное Я с его печалью не стоит больше как призрачное облако между душой и всеми спокойными и прекрасными вещами, когда неизменные звезды не являются больше вызывающим оскорблением для измученной мысли, и заря не является ненавистным призывом к труду и самоотречению. Это не счастье, которое может дать жизнь; но вдали от человека, вдали от борьбы и мучения внутренняя красота способна залечить раны, которые человек наносит человеку; только смиренный дух, только душа, очистившаяся от мятежа, требуется тем, кто узнал бы эту радость.

^аНо история не только отбирает то, что есть наиболее выдающегося в жизни великих людей; она показывает также степень важности тех коллективных событий, в которых каждый человек принимает участие^а.

^бСпокойствие, которое принадлежит Природе, и чувство малости индивидуальной жизни вновь открывается в свидетельствах прошлого; и в дополнение к этому^б история дает, более нежели любая отдельно взятая жизнь, ощущение марша и мощи всемирной жизни,^в что живет в миллионах тех, кто трудится и умирает^в. История есть больше чем свидетельство об отдельном человеке, даже великом; история призвана рассказывать биографию не только человека, но и человечества; представлять долгую процессию поколений как быстротечные

^{а-в} Вписано на полях.

^{а-в} Часть предложения зачеркнута.

^{а-в} Часть предложения зачеркнута.

мысли одной продолжающейся жизни; преодолевать их слепоту и кратковременность бытия в медленном раскрытии «ужасной» драмы, в которой каждый играет свою роль. В переселении рас; в рождении и смерти религий, в возвышении и падении империй, бессознательные союзы, без какой-либо цели вне данного момента; уже внесли невольно свою лепту в маскарад веков; и из великолепия целого дыхание величия веет над всеми, кто участвовал в марше. В этом заключается непреодолимая сила смутной истории, выходящей за границы письменных источников. Ничего не известно кроме размытых очертаний массы событий, и обо всех отдельных людях, что пришли в этот мир и ушли в небытие, не остается памяти. *На протяжении многих поколений забытые сыновья сражались на могилах забытых отцов, забытые матери рожали воинов, чьи кости белели в тихих степях Азии. Столкновение армий, ненависть и угнетение, бессмысленные конфликты безмолвных наций все еще слышатся из прошлого подобно гулу отдаленного водопада, но медленно из раздоров возникали нации, которые мы знаем, с наследием поэзии и благочестия, передаваемым из погребенного прошлого**.

И это свойство, которое есть все, что остается от доисторических времен, принадлежит также позднейшим периодам, где знание деталей способно затемнять движение целого. Мы также во всех наших делах играем свою роль в процессе, о движении которого мы не можем догадываться, и мы, даже наиболее невежественные из нас, также являемся актерами в той драме, о которой мы знаем только, что она великая. Мы не можем сказать, будет ли достигнута цель, которая желанна нам; но во всяком случае, драма сама по себе полна титанического величия.

Дело историка сделать видимым, извлечь из озадачивающего множества это свойство. ³Из царства прошлого, из старых книг, где любовь, надежды, судьбы ушедших поколений лежат забальзамированными, он вызывает картину перед нашим умственным взором, картину высоких стремлений и смелых надежд, живущих благодаря его заботе вопреки упадку и смерти³. Прежде чем ее поглотит забвение, историк должен вновь, в каждый последующий век, составлять эпитафию на жизнь человека.

⁶⁻⁶ Слово зачеркнуто.

^{ж-ж} Предложения перечеркнуты.

³⁻³ Предложение перечеркнуто.

not history does
it only select
but is
re-creation
in the broadest
sense; it shows
also the
scope &
importance
of these
historic
events in
which
we are
living
partly
share

meadows and the dews of early morning; when Self and its sorrows stand no longer like a spectral shadow between the soul and all calm and lovely things, when the unchanging stars are no longer a flaunting insult to tortured thought, and the dawn is not a hated call to labour and renunciation. It is not happiness that life can give; but away from man, away from the struggle and the fret, eternal beauty is ready to staunch the wounds which man inflicts on man; only a humble spirit, only a soul purged of rebellion, is required of those who would know that joy.

~~The calm that belongs to Nature, and the feeling of the littleness of the individual life, is found again in the records of the past; and in addition to this History gives, more than any single life, a sense of the march and majesty of the universal life that lives in the millions who toil and die.~~
History is more than the record of individual men, however great: it is the province of history to tell the biography, not only of men, but of man; to present the long procession of generations as but the passing thoughts of one continuous life; to transcend their blindness and brevity in the slow unfolding of the tremendous drama in which all play their part. In the migrations of races, in the birth and death of religions, in the rise and fall of empires, the unconscious units, without any purpose beyond the moment, have contributed unwittingly to the pageant of the ages; and from the great ^{parts} of the whole some breath of greatness breathes over all who participated in

Страница машинописного текста статьи
с собственноручной правкой П. Г. Виноградова.

“В истории, возможно более чем где бы то ни было, может быть найден некоторый намек ответа на вопрос: в чем смысл всего этого? Какой цели служат труд, страдание, бесконечно обновляющаяся выдержка человечества? Что остается от героизма, жертв, жизней, посвященных безуспешным стремлениям, от долгой повести бедствий, пережитых лишь на пользу несправедливости? Поколение за поколением приходят в мир, одинокие, неустроенные, полные страстного желания; с усилием и болью новое поколение становится способным на подобную гибель, и стремительно Смерть призывает немногих, кто делает жизнь драгоценной. Так великая машина размалывает человеческие души, раздавливая их своей тяжестью. Но в этом мире, где все проходит, история покоряет Время, сохраняя в своем святилище мысли и дела ушедших веков; придавая единство процессу, она делает видимой красоту целого; и преображающей силой Прошлого она изменяет вещи, которые, пока настоящее еще обладало ими, казалось ничего не содержали в себе кроме упадка и отчаяния.

Только Прошлое истинно реально; Настоящее есть только мучительное, противоречивое претворение в неизменное бытие того, что не существует более. Только умершие существуют в полноте своей: жизнь живущих фрагментарна, сомнительна и подчинена изменению, но жизнь умерших – завершена, свободна от власти Времени, всемогущего правителя мира. Их неудачи и успехи, их надежды и опасения, их радости и боли уже стали внешними – теперь не в наших силах уничтожить ни одной записи о них. Печали давно погребены в могилах, любовь приобрела бессмертие освящающим прикосновением Смерти – они имеют силу, волшебство, безмятежное спокойствие, которого не может достичь никакое Настоящее.

Год за годом товарищи уходят из жизни, надежды обнажают свою тщетность, идеалы блекнут, очаровательная земля юности становится более отдаленной, дорога жизни – все более утомительной; бремя мира возрастает, пока труд и боль не становятся такими тяжелыми, чтобы их вынести; счастье уходит от утомленных наций земли, а тирания будущего подтачивает жизненную силу людей; все, что мы любим, убывает, убывает из умирающего мира. Но Прошлое, даже пожирая приходящего потомка Настоящего, живет всеобщей смертью; постоянно, неотвратимо, оно доставляет новые трофеи в свой тихий замок, который строят все века; каждое великое дело, каждая великолепная жизнь, каждое достижение и каждая героическая неудача неизменно сохраняется здесь. На берегах реки Времени грустная процессия человеческих поколений медленно марширует к могиле; в тихой стране Прошлого марш заканчивается, уставшие странники отдыхают, и все их плачи умолкают.

^u Отсюда и до конца текст перечернут.

Примечания

This work was supported by the Open Society Support Foundation (RSS grant No. 81/1998).

¹ Карл I Стюарт (1600–1649) – король Великобритании и Ирландии. В ходе гражданской войны в XVII в. был заключен в тюрьму. 6 января 1649 г. был выбран Высокий Суд Справедливости. Карл I отказался признать за ним право на судебное разбирательство. В ходе заседаний наметились определенные признаки того, что армия, которая инициировала процесс, не имела поддержки всего народа. Когда солдаты встречали конвоируемого из Сент-Джеймс Палас в Вестминстер Холл Карла криками «Справедливости!», из толпы гражданских лиц доносились крики «Бог, храни короля!» Тем не менее, 26 января король был приговорен к смертной казни как тиран, изменник и враг отечества.

² Грамон (Grammont) Жильбер (1621–1707) – герой «Mémoires du comte de Grammont» А.Гамильтона, составленных на основе материалов, переданных самим Грамоном. «Воспоминания» выдержали более 40 переизданий. В них содержится описание неоднократных пребываний Грамона при дворе Карла II.

³ Мильтон (Milton) Джон (1608–1674) – английский поэт, писатель, политический деятель. С марта 1649 г. был секретарем государственного совета, а со времени утверждения протектората в декабре 1653 г. стал секретарем Кромвеля. В мае 1655 г. вся Англия была потрясена известием о резне вальденсов войсками Иммануила II в Пьемонте. Мильтон от имени Кромвеля обратился с письмами к Луи XIV, кардиналу Мазарини, швейцарским кантонам, королям Швеции и Дании. По поводу резни вальденсов им был написан сонет «О недавней резне в Пьемонте» (On the Late Massacre in Piedmont).

⁴ Берк (Burke) Эдмунд (1729–1797) – английский политический деятель и публицист. С самого начала резко отрицательно отнесся к Великой Французской революции, на которую откликнулся книгой «Размышления о революции во Франции» (Reflections on the Revolution in France).

⁵ Фукидид (Thucydides) (ок. 460–400 г. до н.э.) – древнегреческий историк, автор «Истории», посвященной описанию Пелопонесской войны 431–404 г. до н.э.

⁶ Имеется в виду неудачная попытка афинян завоевать о.Сицилия в 415 г. до н.э., послав туда экспедицию по командованием Алкивида и Никия.

⁷ Моммзен (Mommsen) Теодор (1817–1903) – немецкий историк, специалист по истории Древнего Рима и римского права. П.Г.Виноградов занимался в его семинаре после окончания Московского университета.

⁸ Карлейль (Carlyle) Томас (1775–1881) – английский публицист, историк, философ. Автор книги «Жизнь и письма Оливера Кромвеля» (Life and Letters of Oliver Cromwell). По свидетельству Г.Фишера Карлейль был первым автором, чьи произведения Виноградов читал на английском.

⁹ Фридрих (Friederich) II Прусский (1712–1786) – король с 1740 г.

Т.А.Черноверская (Новосибирск)

Самое раннее сочинение Сен-Жюста: Арлекин Диоген

Одноактная комедия «Арлекин Диоген» является самым крупным литературным произведением Луи Антуана Сен-Жюста, после поэмы «Органт», опубликованной им самим в двух томах в мае 1789 г. В отличие от поэмы, пьеса при жизни автора не печаталась, и впервые увидела свет лишь в июле 1907 г. в парижском журнале *Revue Bleue*, расшифрованная по рукописи и подготовленная к печати Шарлем Веллэ¹. После этого комедия публиковалась во Франции лишь дважды² и практически не привлекала внимания исследователей – видимо, дело в том, что этот изящный пустячок не вписывается в сложившиеся со времени Революции представления о Сен-Жюсте хотя бы в такой мере как «Органт». Лишь в конце 70-х – начале 80-х годов к ней обратилась Серена Торжюссен (Трюси-Торжюссен), предметом исследования которой стали литературные произведения Сен-Жюста³. Рассматривая их внутреннюю структуру, включая их в контекст развития современной литературы, она сделала целый ряд интереснейших наблюдений, позволяющих, в частности, по-новому увидеть процесс работы Сен-Жюста над поэмой «Органт». Однако, к сожалению, она не занималась специальными биографическими штудиями, выбирая в качестве опоры «мнение большинства историков»⁴, и потому ее попытки датировать работу над отдельными частями поэмы представляются не всегда достаточно обоснованными.

Примерно то же можно сказать и о попытке датировать «Арлекин Диоген». Она не соглашается с мнением Ш.Веллэ, который отнес комедию к 1789–1790 гг., вскоре *после* публикации «Органта», прежде всего потому, что в ней Сен-Жюст демонстрирует лучшее владение стихом, чем в поэме⁵. По мнению С.Торжюссен комедия была написана позднее – в 1791–1792 гг., являясь как бы связующим звеном между двумя политическими трактатами «Дух Революции и Кон-

¹ *Saint-Just L.A. Arlequin Diogène. Pref. et publ. Ch.Vellay// Revue Bleue. 1907. T.VIII, № 4. P.97-105.*

² *Morlon A. Notes sur Saint-Just// Mémoires de la Société Académique du Nivernais, XXII (1920). P.241-264; Saint-Just L.A. Oeuvres complètes. Ed. M.Duval. P. 1984. P.240-260.*

³ *Torjussen S. "Arlequin Doigène" comédie en un acte de Saint-Just// AHRF, 1979, № 237. P.475-485; Idem. Fonction de la création littéraire dans l'évolution de la pensée de Saint-Just (d'Organt à de la Nature)// Pensée, 1980, № 215. P.151-160; Truci-Torjussen S. Les oeuvres littéraires de Saint-Just. Thèse pour le doctorat es Lettres. Besançon, 1980.*

⁴ *Idem. Fonction... P.152.*

⁵ *Revue Bleue... P.97.*

ституции во Франции» и «О Природе, Гражданском состоянии и Гражданской общине, или Правила независимости управления»⁶.

Конечно, очень соблазнительно представить Сен-Жюста находящим время для изящной литературы в разгар политической борьбы, пусть в масштабах не департамента, а лишь кантона, в лучшем случае дистрикта – а в этом нет ничего невозможного, если вспомнить лирический отрывок, вписанный непосредственно вслед за серьезным социально-политическим текстом в записную книжку, изъятую у него во время термидорианского переворота⁷. Однако, аргументация С.Торжюссен выглядит, на мой взгляд, малоубедительной. Едва ли ироничное упоминание о дуэли [монолог *Петиметра* (Щеголя) в *сцене IV*] связано с рассуждениями об этом явлении в «Духе Революции»⁸, введение *Посла* в число действующих лиц [там же] – с соответствующей главой в том же трактате⁹, или развитие мотива стыдливости – с размышлениями на эту тему в главе «О кровосмешении» трактата «О Природе...»¹⁰; едва ли реплика Арлекина о «мудрости [которая] стянула его с трона» императора Луны [там же] может рассматриваться как намек на бегство короля в Варенн; едва ли, наконец, взятие и разграбление Венсенского замка 28 февраля 1791 г. выглядит как достаточный повод вспомнить, что до начала 1784 г. этот замок, наряду с Бастилией, служил тюрьмой для особо опасных государственных преступников и для безумцев. Однако, именно 1784 г., мне кажется, может послужить отправной точкой для датировки «Арлекина».

Дело в том, что при чтении комедии создается впечатление, что она написана очень молодым, даже юным автором, который знаком с театром скорее по литературе, чем непосредственно (начальные монологи тяжеловесны и затянuty при том, что в целом пьеса достаточно сценична), и пробует свои силы в новом для него жанре, беря на сей раз за образец комедии Мариво, написанные для Итальянского театра в Париже. Если согласиться с теми биографами Сен-Жюста, которые считают, что работа над «Органтом» была начата им еще в период обучения в Суассонском коллеже Сен-Никола, в 1783¹¹ или даже в 1780 г.¹², то становится вполне объяснимой та перекличка между поэмой и пьесой, которая постоянно бросается в глаза. Именно перекличка, ибо с одной стороны, в VIII песне поэмы Антуан Органт, путешествующий на осле на Небо и попадающий в царство Азиномаи, страну ослов, видит там, как Талия.

⁶ *Torjussen S. Arlequin... P.477-478; Idem. Fonction... P.159-160.*

⁷ *Сен-Жюст Л.А. Речи. Трактаты. СПб., 1985. С. 318-319.*

⁸ Там же. С.212.

⁹ Там же. С.243.

¹⁰ Там же. С.273.

¹¹ *Charmelot M.A. Saint-Just ou le chevalier Organt. P., 1957. P. 11.*

¹² *Manceron Cf. Les hommes de la liberté. T.4. La Révolution qui lève. P., 1979. P.422-423 (note 517).*

... в бедной юбчонке,
Сменив на сабо бродекин
Холодно-веселая и гротескно-нежная,
Спесиво отвергает искусство и соль Менандра¹³.

Предметом насмешки здесь становится именно та жанровая разновидность комедии, к которой относится «Арлекин Диоген». С другой стороны, сетования *Посла* на судьбу, сначала избравшую Арлекина императором Луны, породившую надежды на «царствование мудрости и истины», а затем «похитившую» эти надежды [*сцена IV*], воспринимаются как пародия на «красивую химеру» в начале песни III «Органта»:

На мгновение я Король земли...
Трепещи, негодяй, твоему счастью пришел конец.
Смирненные добродетели, приблизьтесь к моему трону;
...Если б я был им, то все изменило б свой облик;
Моя тяжелая рука укротила бы дерзость
Надменного богача, который притесняет бедняка,
Поразила бы наглого преступника.
...Вознесла бы скромную невинность
Я пройду без секиры, без охраны,
Сопровождаемый сердцами, а не палачами¹⁴,

и так далее... Реплика Арлекина:

Мне больше по нраву непричесанные медведи,
Чем то животное, что ходит на двух ногах [*сцена VI*], –

заставляет вспомнить характеристику человека из XVI песни «Органта»:

Человек есть слово, которое обозначает
Лишь животное, так же как медведь или лев;
Его природа есть ошибка и тупость,
Злобность спесь, честолюбие;
Он рождается и умирает; и мертвого его презирают¹⁵.

Наконец, общей темой проходящей через оба поэтических сочинения Сен-Жюста, является тема мудрости (разума) – глупости (безумия), – хотя, пожалуй, наибольшую текстуальную близость можно обнаружить между «Арлекином», который «безумен от мудрости и мудр от безумия» [*сцена I*], и маленьким памфлетом «Разум в море», написанном в апреле-мае 1789 г., т.е., примерно в то время, когда поэма «Органт» была опубликована: «Когда-нибудь тупость купит мудрости, и тогда мудрость сможет купить тупости»¹⁶.

Все это вместе взятое позволяет предположить, что комедия «Арлекин Диоген» создавалась непосредственно в начальный период работы над поэмой «Органт».

Дать более точную хронологическую привязку пьесы практически невозможно. Можно лишь высказать некоторые соображения относительно обстоятельств и времени, когда она приобрела законченный

¹³ *Saint-Just L.A. Oeuvres complètes. Ed. Ch.Velay. P., 1908. T. I. P. 81.*

¹⁴ *Ibid. P.25-26.*

¹⁵ *Ibid. P.161-162.*

¹⁶ *Vinot B. Un Inédit de Saint-Just: La Raison à la mome! AHRF, 1991, № 284. P.234.*

вид. Описание и расшифровка рукописи, которые дает С.Торжюссен¹⁷ позволяет говорить о том, что в отличие от «Органта», работа над которым, периодически прерываясь, продолжалась несколько лет, почти весь текст комедии был написан – или по крайней мере записан в один присест (Сен-Жюст обладал исключительной памятью, рассматривал как неэффективную систему выписок, считая, что «если вас поразило изречение, мысль или еще что-то в книге, прочитайте раза два: вы это запомните»¹⁸ много позже, в конце 1793 г., воспроизвел по памяти текст более чем трехсот постановлений первых трех недель миссии в Рейнскую армию¹⁹, и вполне вероятно, сочинил пьесу в голове, прежде чем записать на бумаге). Однако первоначально пьеса имела несколько иной финал: влюбленные обнимаются, и последние две реплики звучат после слов Арлекина «не буду больше притворяться» [сцена X]. Безусловно, изменение финала придало комедии литературную и драматургическую завершенность, однако нельзя исключить, что мотивом возвращения к пьесе стали для Сен-Жюста некоторые обстоятельства личной жизни, в частности, замужество Терезы Желе, в руке которой ему было отказано (25 июля 1786 г.).

Однако, и после завершения поэмы Сен-Жюст еще по крайней мере однажды вернулся к своему раннему юношескому сочинению: существует еще одна рукопись, неполные три страницы начала комедии, переписанные набело Сен-Жюстом и его другом Тюийе «в четыре руки» с изменением имени героини на Нинетта и, что более важно, заменой персонажа – Скупщик (Ажиотёр) вместо Финансиста. Последнее, согласимся с С.Торжюссен, скорее всего может быть отнесено к 1792 г., когда Ажиотёр становится нарицательным отрицательным персонажем²⁰. Кто знает, не возникла ли у двух друзей идея опубликовать «Арлекина», придав пьесе более актуальное звучание. Это, во всяком случае, коррелируется с тем, что в конце 1792 г. в продажу с новым титульным листом «Мое времяпровождение или новый Органт, сочинение депутата Конвента» были пущены нераспроданные остатки тиража поэмы.

Что касается комедии «Арлекин Диоген», то по-видимому перед нами наиболее раннее из завершенных литературных произведений Луи Антуана Сен-Жюста.

¹⁷ Torjussen S. Arlequin... P.476-481.

¹⁸ Barère B. Mémoires. T.1. P., 1842. P.129-130.

¹⁹ Собыль А. Переписка и деловые документы Сен-Жюста и Леба, посланных с чрезвычайной миссией в Рейнскую армию/ Собыль А. Из истории Великой буржуазной революции 1789–1794 г. и революции 1848 г. во Франции. М., 1960. С.287-371.

²⁰ Torjussen S. Arlequin... P.483-485.

ARLEQUIN DIOGENE

Comédie en un acte et en vers par Saint-Just

Personnages

ARLEQUIN

PERETTE

UN AMBASSEDEUR

UN PETIT MAITRE

UN FINANCIER

UN COMMISSAIRE

SOLDATS

La scène représente le bord d'un bois; Arlequin est dans un tonneau.

SCENE PREMIERE

ARLEQUIN, seul, la tête hors du tonneau.

Oh! qu'une prude est un sot animal!
Eh! comment prendre un plaisir infernal
A déguiser le penchant qui nous flatte
Sous les dehors d'une froideur ingrate,
Et de vertu se colorer le front
Lorsque le coeur est faible dans le fond.
Pauvres nigauds, et simples que nous sommes,
Nous nous laissons conduire par le nez;
Et cependant, vous qui nous lutinez,
L'empire sot dont vous vous pavanez
Est tout au plus la faiblesse des hommes.
Soyons aussi prudes à notre tour,
Jouons l'honneur, jouons l'indifférence,
D'un coeur léger redoutons l'inconstance
Et de grands airs effarouchons l'amour.
Qu'à notre front le seul mot de tendresse
Fasse monter une rougeur traîtresse
Jouons la crainte et jouons les vapeurs,
Le sentiment, les larmes, le fureurs;
Eh! quel plaisir de voir une femelle
Fléchir en pleurs notre fierté rebelle,
De savourer son dépit redoublé
Et l'abandon de son esprit troublé!
Depuis six mois Perette me promène
Par les langueurs d'une flamme incertaine.
Or, je prétends lui faire ressentir
Tous les tourments qu'elle me fait subir,
Tous les dédains de sa vertu postiche
Et de l'honneur qu'à grands frais elle affiche.

Сен-Жюст

АРЛЕКИН ДИОГЕН

Действующие лица

АРЛЕКИН

ПЕРЕТТА

ПОСОЛ

ПЕТИМЕТР

ФИНАНСИСТ

КОМИССАР

СОЛДАТЫ

На сцене опушка леса. АРЛЕКИН в бочке.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

АРЛЕКИН, один, голова над бочкой.

О! что за глупое животное – суровая женщина!
И что за адское наслаждение
Преодолевать склонность, которая нас услаждает,
С видом бесплодной холодности,
И краснеть от добродетели,
Тогда как сердце в сущности слабо.
Бедные глупцы и простаки, какие мы есть,
Мы позволяем водить себя за нос;
А между тем вы, кто нас мучит,
Ваша глупая власть, которой вы так гордитесь,
Есть не более, чем слабость мужчин.
Будем в свою очередь столь же суровы,
Разыграем скромность, разыграем холодность,
С легким сердцем устроим непостоянство
И с важным видом распугаем любовь.
И пусть одно лишь нежное слово
Вызывает у нас предательский румянец.
Разыграем робость, разыграем угрюмость,
Чувства, слезы, неистовство;
Ах! что за удовольствие смотреть, как бабенка
Склоняется с плачем перед нашей непреклонной
гордостью,
Наслаждаться тем, как растет ее досада,
И как покидает ее помутившийся рассудок;
Через шесть месяцев Перетта пойдет со мной
В томлении неведомого пыла.
А я заставлю ее почувствовать
Все те муки, которые она заставляет меня перенести,
Всю презренность ее накладной добродетели
И скромности, которые она демонстрирует с большими

De ce travers je puis la corriger,
 Et pour venir à bout de l'entreprise
 Dans ce tonneau je m'en vais me loger.
 Là, d'un cynique arborant la sottise,
 Je foule aux pieds l'amour et les plaisirs.
 Fou par sagesse et sage par folie,
 Je jouirai de sa fierté trahie.
 Mais la voici qui pousse des soupirs.

SCENE II

ARLEQUIN, *caché dans le tonneau.*

PERETTE, *à part.*

ARLEQUIN lève quelquefois la tête et examine Perette en faisant des arlequinades.

PERETTE

Pauvre Arlequin! Quelle étoile ennemie
 Vient dans sa fleur empoisonner sa vie?
 Par ma rigueur j'ai troublé son esprit
 Et sa folie est l'effet du dépit.
 Aurais-je cru qu'une flamme naissante
 Pût allumer cette fièvre brûlante,
 Qu'il devînt fou pour mes faibles attraits!
 Mais, juste Ciel, est-il fou pour jamais?
 Pauvre Arlequin!... Je suis bien malheureuse
 En vérité d'être si vertueuse.
 Pauvre Arlequin!... C'est là que ma rigueur
 A relégué tes beaux jours, et ton coeur;
 Et cette tonne, où, nouveau Diogène,
 Il passe un temps à l'amour enlevé,
 Renferme, hélas! et ma vie et la tienne,
 Et le bonheur dont mon coeur est privé.

Elle s'approche du tonneau, et prend un air de persiflage.

Elle continue:

Sire Arlequin, quelle mouche vous pique
 Pour endosser cette maison gothique
 Et dépouiller votre joyeuse humeur
 Pour le métier de maussade rêveur?
 Pour moi, je crois qu'une telle folie
 Est le ragoût de votre espieglerie.

ARLEQUIN, *dans le tonneau, prenant un air misanthrope.*

Ah! que mon coeur n'a-t-il connu plus tôt
 Le ridicule et la honte d'un sot.
 Ciel, j'ai vécu trente ans pour la bassesse
 Et n'ai vécu qu'un jour pour sagesse!

издержками

Эти странности я могу исправить,
И чтобы достигнуть цели предприятия,
Расположусь-ка я в этой бочке.
Так, соединив цинизм с глупостью,
Я буду попирать ногами любовь и удовольствие.
Безумный от мудрости и мудрый от безумия,
Я буду наслаждаться ее поверженной гордостью.
Но вот она, испускает вздохи.

СЦЕНА II

АРЛЕКИН, спрятавшись в бочку.

ПЕРЕТТА, в сторону.

АРЛЕКИН время от времени поднимает голову, и разглядывает Перетту, делая арлекинады.

ПЕРЕТТА

Бедняга Арлекин! Что за враждебную звезду
Породил его цветок, отравляющий ему жизнь?
От моей холодности у него помутился рассудок,
И его безумие есть следствие досады.
Могла ли я подумать, что нарождающееся пламя
Разожжет столь жаркую лихорадку,
Что он обезумеет от моих ничтожных прелестей!
Но, праведное Небо, что если он обезумел навсегда?
Бедняга Арлекин!... Из-за моей суровости
Остались в прошлом твое прекрасное время и твое
сердце;

И эта бочка, где, как новый Диоген,
Он проводит время, охваченный любовью,
Содержит в себе, увы! и мою жизнь, которая
принадлежит ему,
И счастье, которого лишено мое сердце.

Она приближается к бочке и принимает насмешливый вид.

Продолжает:

Сир Арлекин, какая муха вас укусила,
Что вы взяли себе столь допотопный дом
И оставили свой веселый нрав
Для ремесла угрюмого мечтателя?
Что до меня, то я считаю, что такое безумие –
Это острая приправа к вашим проказам.

Арлекин, в бочке, приняв нелюдимый вид

Ах! чтоб мое сердце больше не знало,
Как смешон и бесславлен глупец.
Небо, я прожил тридцать лет для низости,
И ни одного дня не прожил для мудрости!

PERETTE

En vérité, vous ne badinez pas?

ARLEQUIN

Jusqu'à présent je n'ai fait que faux pas;
J'ai promené ma course sans voir goutte.
Mais la raison vient éclairer ma route.
Tout ici bas n'est que déployauté,
Aveuglement, sottise, fausseté.
Pour être heureux que faut-il sur la terre?
De l'or? Crésus en regorge et se plaint.
L'autorité? César craint le tonnerre.
Il est puissant, il est tout... César craint.

PERETTE

Aimer.

ARLEQUIN

L'amour enfante tous les crimes.
Vivre à la cour? Ce lot n'est pas le mien.
Régner? Le trône est l'autel des victimes.

PERETTE, *en riant.*

Pour être heureux, mais que faut-il donc?

ARLEQUIN

Rien!

Tout est folie, égarement, chimère,
Et je bénis le rayon qui m'éclaire.

PERETTE

Vous pourriez bien le maudire plutôt
Car le présent qu'il vous fait est bien sot.
Vous renoncez aux douceurs de la vie
Aux agréments de la société
Pour cette tonne où siège la folie!
La raison est bien sottie en vérité.

ARLEQUIN

Oui, j'y renonce, et je ne me réserve
Que le plaisir et que la liberté
De bien honnir tous les sots que j'observe
Et d'épancher le fiel que je conserve
Contre le mond et sa malignité.

PERETTE, *en riant.*

En verité, votre âme est possédée
D'une bien sage et bien plaisante idée.

Bas.

ПЕРЕТТА

Правда, Вы не шутите?

АРЛЕКИН

До сих пор я делал только ложные шаги;
Я двигался вперед, не видя ничего,
Но разум осветил мой путь.
Все это лишь вероломство,
Слепота, глупость, фальшь.
Чтоб быть счастливым, что нужно на земле?
Золото? Крез имел его в изобилии, и жаловался.
Власть? Цезарь боялся грома,
Он был могуществен, он был всем... Цезарь боялся.

ПЕРЕТТА

Любить.

АРЛЕКИН

Любовь порождает все преступления.
Жить при дворе? Эта участь не для меня.
Царствовать? Трон – это жертвенный алтарь.

ПЕРЕТТА, со смехом

Чтоб быть счастливым, что же нужно?

АРЛЕКИН

Ничего!

Все есть безумие, заблуждение, химера,
И я благословляю луч, что просветит меня.

ПЕРЕТТА

Вы можете проклинать его и дальше,
Ибо настоящее, как Вы его видите – глупо.
Вы отказываетесь от сладости жизни
В согласии с обществом
Ради большой бочки, где находится безумие!
Разум действительно глуп.

АРЛЕКИН

Да, я отказываюсь, и оставляю себе
То, что есть удовольствие и свобода
Чтобы бесчестить глупости, которые я наблюдаю,
И излить желчь, которую я накопил,
На этот мир и его злобу.

ПЕРЕТТА, смеясь.

Идея, завладевшая вашей душой,
Воистину разумна и занята.

тихо

I est fou.

Haut.

Je vous plains de bon coeur.

Bas, à part.

L'amour, hélas! a brouillé sa cervelle.

Haut.

Et la raison est un don bien trompeur.

ARLEQUIN, *sombre.*

Je sens qu'ici mon coeur se renouvelle.

J'ai déposé dans mon tonneau céans

Les passions et les erreurs des sens.

Mon coeur est libre, il a rompu ses chaînes,

Et, dégagé des sottises humaines,

Je foule aux pieds les plaisirs, les amours...

Et le dessein en est pris pour toujours.

PERETTE

Bas.

Hélas!

Haut.

Je suis votre servante.

Ce bonheur-là n'offre rien qui me tente.

Mais votre coeur, dans sa contrition,

N'est plus flatté d'aucune passion?

ARLEQUIN

D'aucune; non! L'homme est la girouette

Au gré de l'air qui change et pirouette.

A la même heure il veut et ne veut pas,

Et son esprit est toujours haut ou bas.

J'ai promené ma mobile fortune,

Bourgeois, seigneur, à la ville, à la cour,

Par mer, par terre, au diable, dans la lune!

Caméléon, on m'a vu tour à tour,

Pour le bureau planter là le service,

Et le laissant, par un nouveau caprice,

Quitter Paris pour courir au Congo,

Et sur les mers traîner mon vertigo.

En vérité, tout est bien peu de chose.

Il me souvient qu'un jour on me fit roi.

Je n'étais pas plus heureux par ma foi.

Dût-on glosier sur la métamorphose,

C'est trop de peine ici-bas me donner.

Je ne veux plus [ni] servir ni régner.

De mal en pis j'ai parcouru le monde,

Он безумец.

Громко.

Я Вас жалею от всего сердца.

Тихо, в сторону.

Любовь, увы, замутила ему мозги.

Громко

И разум есть дар обманчивый.

АРЛЕКИН, мрачно.

Я чувствую, что сердце мое обновляется.

Я поместил в моей бочке – доме

Страсти и ошибки чувств.

Мое сердце свободно, оно разбило цепи,

И, освобожденный от человеческой глупости,

Я попираю ногами удовольствия, любовь...

И намерен делать это всегда.

ПЕРЕТТА

Тихо.

Увы!

Громко.

Я ваша служанка.

Именно это счастье не дает мне ничего, что меня
прельщает.

Но Ваше сердце, в своем сокрушении

Разве не обольщает себя никакой страстью?

АРЛЕКИН

Нет, никакой! Человек это флюгер,

Который вертится и меняется по воле ветра.

В одно и то же время он желает и не желает,

И дух его всегда высок и низок.

Я следую своей изменчивой судьбе,

Мещанин, сеньор, в городе, при дворе,

По морю, по земле, к дьяволу, на луну!

Изменчивый, меня поочередно видят

За конторским столом, поставленным на службу,

И ее оставляющим, по новому капризу

Покидающим Париж, чтобы мчаться в Конго,

И через моря тащить свои причуды.

По правде, все это безделица.

Мне помнится, однажды меня сделали королем.

Ей-богу, я не стал счастливее.

Следует ли толковать о метаморфозах,

Это значит принести мне слишком много печали и забот
в этом мире.

Et pour fixer mon âme vagabonde.
 Monarque ou rien; tout cela m'est égal,
 Et désormais, je suis... original.
 Original, oui, morbleu! c'est-à-dire
 Que je veux vivre à mon sens désormais,
 Narguer, flatter, parler, me taire, rire,
 Aimer, haïr! Sans craindre les caquets,
 Dès aujourd'hui je veux faire l'épreuve
 De ma façon de vivre toute neuve
 Et persifler Messieurs les importants
 Qui, dans ce lieu, vont survenir...
 Voici quelqu'un. Son air de suffisance
 Annonce ici quelque homme de finance.

SCENE III

PERETTE, *qui se désespère de sa folie*; LE FINANCIER; ARLEQUIN

ARLEQUIN, *brusquement*.

Où va Monsieur?

LE FINANCIER, *surpris*.

A l'endroit qu'il me plaît,
 Je ne vois pas ce que cela te fait.

ARLEQUIN, *regardant Perette de côté*;

Cela me fait, maraud, que ta figure
 A la vertu me semble faire injure.
 Que cet habit tout doré de forfaits
 Porte en écrit tous les maux que tu fais,
 Et que tu viens dans cet endroit champêtre
 Pour méditer quelque crime peut-être.
 Voilà, maraud, ce qu'on voulait savoir.
 Va maintenant où tu voudras. Bonsoir!

LE FINANCIER

J'admire bien qu'on n'ait pas pris main forte
 Pour réprimer un fou de cette sorte.
 On en a mis pour de moindres raisons
 Plus d'une fois aux Petites Maisons.

PERETTE

Hélas!

ARLEQUIN, *examinant toujours Perette*.

Je suis bien plus surpris encore,
 Fat, que, malgré l'éclat qui te décore,
 Un bon arrêt n'ait vengé la vertu
 De tout le sang dont tu parais vêtu.

Я больше не хочу ни служить, ни царствовать.
 От плохого к худшему я прохожу по миру,
 Чтобы устроить свою душу – бродягу.
 Монарх или ничто – мне все равно,
 И с этих пор я... оригинал.
 Оригинал, да, черт возьми! это значит,
 Что я с этих пор буду жить по-своему,
 Презирать, льстить, молчать, смеяться,
 Любить, ненавидеть! Не боясь пересудов,
 С сегодняшнего дня я ставлю опыт
 Совершенно нового образа жизни,
 И смеюсь над важными господами.
 Да, в этом месте вдруг появится...
 Кто-то идет. Его довольный вид
 Возвещает, что это финансист.

СЦЕНА III

ПЕРЕТТА, в отчаянии от его безумия; ФИНАНСИСТ; АРЛЕКИН

АРЛЕКИН, резко.

Куда идет господин?

ФИНАНСИСТ, удивленно.

Туда, куда мне нравится,
 Не вижу, какое тебе дело.

Арлекин, глядя на Перетту сбоку.

Мне есть дело, мошенник, так как твое лицо,
 Мне кажется, оскорбляет добродетель.
 Потому что твоя одежда, позолоченная злодеяниями,
 Несет на себе печать всего зла, которое ты сотворил,
 И потому, что ты пришел в эту сельскую местность,
 Чтобы замыслить, быть может, новое преступление.
 Вот, мошенник, что следует знать.
 Теперь ступай куда хочешь. Доброй ночи!

ФИНАНСИСТ

Я очень удивлен, что никто не употребил твердой руки,
 Чтобы укротить безумца такого рода.
 Не один был помещен в Сумасшедший Дом
 На основании меньших причин.

ПЕРЕТТА

Увы!

Арлекин, все время рассматривая Перетту.

Я еще больше удивлен,
 Хлыщ, что, несмотря на славу, которая тебя украшает,
 Ордер на арест не отмстил доблесть
 Той крови, в которую ты очевидно одет.

LE FINANCIER

Cet homme est fou. Quelle étrange manie!

ARLEQUIN

Fat, je suis sage, et voilà ma folie.

Prends en passant cet avis de ma main:

Sois moins corsaire, et passe ton chemin.

Le financier se retire d'un air menaçant.

SCENE III

PERETTE, ARLEQUIN

PERETTE, *désolée.*

Que mes rigueurs coûtent cher à mon âme

Et vengent bien le malheur de sa flamme!

Quelle folie! Il sera renfermé,

Et par ma faute et pour avoir aimé!

Le ciel jaloux va combler ma misère.

ARLEQUIN, *dans le tonneau.*

Qui que tu sois, porte tes pas ailleurs

Laisse en repos un sage solitaire

Dont la raison ne croit pas aux malheurs.

PERETTE

L'amour y croit.

ARLEQUIN

L'amour cause ta peine.

Quand il nous blesse, il faut rompre sa chaîne.

N'imité pas ces débiles amants

Dont la raison, asservie à leurs sens,

D'un lâche amour subit l'humble faiblesse

Et s'engourdit au sein de la mollesse.

L'amour n'est rien qu'un frivole besoin

Et d'un grand coeur il doit être loin.

Enveloppé dans mon indifférence,

Du sort trompé je brave l'inconstance.

Je n'aime rien, je ne hais rien aussi.

Je vis content, et tu peux l'être ainsi.

Prends un tonneau, fuis une ombre incertaine.

Fuir le plaisir, c'est fuir aussi la peine.

Ne te plains pas du destin et du ciel;

Tout ici-bas suit un ordre éternel.

PERETTE

Pauvre Arlequin!

ФИНАНСИСТ

Этот человек безумен. Что за странная мания!

АРЛЕКИН

Хлыщ, я мудр, и в этом мое безумие.
Прими на прощание мой совет:
Не будь таким разбойником, и ступай своей дорогой.
Финансист уходит с угрожающим видом.

СЦЕНА III

ПЕРЕТТА, АРЛЕКИН

ПЕРЕТТА, *опечалено.*

Как дорого моя суровость стоит моей душе,
И мстит несчастьем его страсти!
Какое безумие! Он будет заточен,
И по моей вине, и чтоб иметь любовь!
Ревнивое Небо довершает мою ничтожность.

АРЛЕКИН, *в бочке.*

Кто ты ни есть, направь свои шаги в другое место,
Оставь в покое одинокого мудреца,
Чей разум не верит в несчастья.

ПЕРЕТТА

Любовь в них верит.

АРЛЕКИН

Любовь причина твоей печали.

Когда она нас ранит, надо разбить ее цепи.
Не подражай тем слабоумным любовникам,
Чей разум поработен их чувствами,
Чья робкая любовь испытывает униженную слабость,
И цепенеет на груди у вялости.
Любовь не что иное как фривольная потребность
И от великого сердца она должна быть далека.
Окутайся моей безучастностью,
Я не боюсь непостоянства обманчивой судьбы.
Я ничего не люблю, но также ничего не ненавижу,
Я живу довольный, и ты можешь тоже.
Возьми бочку, сторонись изменчивой тени,
Избегать удовольствий, значит избегать печали.
Не жалуйся на судьбу и на Небо;
Все в этом мире в порядке вещей!

ПЕРЕТТА

Бедняга Арлекин!

* Так у Сен-Жюста!

ARLEQUIN

Prend un tonneau, te dis-je.
A ce parti la sagesse t'oblige.
Oui, tout est bien, mais tout serait bien mieux
Si tu voulais t'éloigner de ces lieux.

PERETTE

Je suis Perette.

ARLEQUIN

Eh! Perette, Perette...
Ton sot caquet me fait tourner la tête.
Eh! que veux-tu?

PERETTE

Rassurer un amant
Dont ma pudeur a causé le tourment,
Le rappeler à l'amour, à lui-même,
Le rendre heureux, lui jurer que je l'aime,
Et réparer par mes pleurs à mon tour
Le malheur dont j'ai payé son amour.
Cher Arlequin, c'est toi que je deplore,
Toi qui m'aimais, et que mon coer adore.

ARLEQUIN, *brusquement.*

Moi, vous aimer! Vous bqdinez, je crois.
De mon soleil ôtez-vous toutefois.

PERETTE

Cher Arlequin!

ARLEQUIN

Arlequin dans sa tonne
Dort, et ne veut être cher à personne.
Retire-vous.

PERETTE

Je ne puis vous quitter.

ARLEQUIN

Je ne veux plus, morbleu! vous écouter.
Retirez-vous.

PERETTE

Vous n'aimez plus Perette.

ARLEQUIN

Je n'aimerai jamais que mon tonneau
Et je vous hais! Êtes-vous satisfaite?

АРЛЕКИН

Возьми бочку, говорю я.
К этому решению тебя обязывает мудрость.
Да, все хорошо, но все будет еще лучше,
Если ты согласишься удалиться из этих мест.

ПЕРЕТТА

Я – Перетта.

АРЛЕКИН

Ах! Перетта, Перетта...
Твоя глупая болтовня заставляет меня повернуть
голову.
Ах! чего ты хочешь?

ПЕРЕТТА

Успокоить любовника,
У которого моя стыдливость вызвала мучения,
Напомнить ему о любви, о нем самом,
Сделать его счастливым, поклясться, что я люблю его,
И загладить своими слезами
То горе, которым я платила за его любовь.
Милый Арлекин, это о тебе я сожалею,
О тебе, кто меня любит, и кого мое сердце обожает.

АРЛЕКИН, резко.

Мне вас любить! вы шутите, я полагаю.
Не загораживайте, однако, мне солнце.

ПЕРЕТТА

Милый Арлекин!

АРЛЕКИН

Арлекин в своей бочке
Спит и не желает быть милым ни для кого.
Уходите.

ПЕРЕТТА

Я не могу вас покинуть.

АРЛЕКИН

Я больше не хочу, черт возьми! вас слушать.
Уходите.

ПЕРЕТТА

Вы больше не любите Перетту.

АРЛЕКИН

Я никогда не любил ничего, кроме моей бочки,
А вас я ненавижу! вы удовлетворены?

PERETTE

Ingrat, tu veux m'envoyer au tombeau.
Ah! j'en mourrai!

ARLEQUIN, *montrant le nez.*

L'aventure est plaisante

Que vous soyez malgré moi mon amante.
Non, mangrebleu, ne vous abusez pas.
Je ne suis point friand de vos appas.
Il fut un temps, avant que la sagesse
Des sens fougueux eût amorti l'ivresse,
Où j'aurais pu profiter par maleur
De la folie où se perd votre cœur.
J'aimais alors, et j'aimais une prude,
Laide beauté, malheureuse Gertrude,
A qui je dois la paix et mon tonneau.
Jeune, sensible, et sans expérience,
Sa pruderie allumait mon cerveau
Et jouissait de mon impatience.
Désespéré de ses fausses rigueurs,
Mon fol amour se nourrissait de pleurs;
Elle savait toucher avec adresse
Tous les ressorts de ma sotte faiblesse,
Semblait céder parfois à mon dépit,
Payait mon cœur de tout son bel esprit,
Du nom d'honneur se pavanait sans cesse.
Tendre avec art, naïve avec adresse,
Elle fit tant enfin que le maleur
Me rendit sage et rebuta mon cœur.
Indifférent, j'écoule ici la vie,
Claquemuré de ma philosophie.
C'en est assez. Profitez du conseil;
Et maintenant sortez de mon soleil.

PERETTE

Hélas!

SCENE IV

PERETTE, *triste*; UN AMBASSADEUR; UN PETIT MAITRE; ARLEQUIN, *sa tête hors du tonneau.*

LE PETIT MAITRE *cause à part avec Perette.*

L'AMBASSADEUR

Seigneur, une hereuse fortune
Vous avait fait empereur dans la lune.
Du choix du sort votre empire flatté
Se promettait un règne mémorable,
Règne d'un sage et de la vérité.
Mais le destin, d'abord si favorable,

ПЕРЕТТА

Неблагодарный, ты хочешь свести меня в могилу.
Ах! я умру!

АРЛЕКИН, *показывая нос.*

Приключение приятное,
Как можете вы вопреки мне быть моей любовницей.
Нет, черт возьми, не злоупотребляйте.
Я не падок на ваши прелести.
Наступает время, когда мудрость
Смягчит опьянение пылких чувств,
Когда я смогу воспользоваться, к несчастью,
Безумием, в котором теряет себя ваше сердце.
Я полюблю тогда, и полюблю недотрогу,
Безобразную красотку, несчастную Гертруду,
Которой я должен мир и мою бочку.
Юная, чувствительная, неопытная,
Ее неприступность воспламенит мой мозг,
И воспользуется моим нетерпением.
В отчаянии от этой ложной суровости,
Моя безумная любовь будет питаться слезами;
Она знает, как ловко затронуть
Все пружины моей глупой слабости,
Как будто уступая иногда моей досаде,
Вознаграждая мое сердце со всем своим остроумием,
Без конца проходясь по моей чести.
Искусно нежная, ловко простосердечная,
Она в конце концов сделает так, что несчастье
Вернет меня к мудрости и отвратит мое сердце.
Безучастный, я оставлю эту жизнь,
Замкнувшись в своей философии.
Разве не достаточно. Воспользуйся моим советом;
И больше не загораживай мне солнце.

ПЕРЕТТА

Увы!

СЦЕНА IV

ПЕРЕТТА, *печальна*; ПОСОЛ; ПЕТИМЕТР; АРЛЕКИН, *голова над бочкой*.
ПЕТИМЕТР *в стороне разговаривает с Переттой*.

Посол

Сеньор, счастливая судьба
Вас сделала императором Луны.
Выбором судьбы ваша власть обнадеживала,
Обещая достопамятное царствование,
Царствование мудрости и истины.
Но судьба, вначале столь благоприятная,

Ravit bientôt à vos sujets épris
 Le siècle d'or que l'on s'était promis.
 Un deuil profond couvrit toute la lune.
 Depuis ce temps la détresse commune
 Vous redemande à la pitié des cieux.
 Nos députés parcourent les planètes
 Et je bénis la sagesse des Dieux
 Qui m'a conduit vers le bord où vous êtes.
 Je viens offrir à Votre Majesté
 Le sceptre heureux qu'elle a déjà porté.
 N'accablez oint un peuple qui vous aime,
 Et reprenez ce triste diadème.

ARLEQUIN

J'ai renoncé pour toujours aux grandeurs.
 Le plus beau trône est assis dans les pleurs ;
 Et c'est bien moins le ciel que la sagesse
 Qui m'a tiré du trône... que je laisse.
 Ainsi partez, Monsieur l'ambassadeur,
 Et votre prince est votre serviteur.

LE PETIT MAÎTRE, pendant que l'ambassadeur aborde Perette, avec surprise.

Mon cher ami, je te vois avec peine
 Dans ce tonneau faire le Diogène.
 Ce rôle-la, c'est le rôle d'un sot,
 Et d'Arlequin ce n'est point là le lot.
 Fripon, expert en fine espièglerie,
 Et maître ès arts dans la forfanterie,
 Coquin, reclus, tu privas bien des gens
 Du fruit perdu de tes rares talents.
 Çà, ventrebleu, laissons ces badinages.
 Je viens t'offrir deux cents écus de gages,
 Car j'ai besoin ici de ton esquif,
 Pour attraper dix mille francs d'un juif,
 Pour un faux seing, pour séduire une abbesse,
 Pour dérober l'écrin d'une comtesse,
 Pour enlever une riche beauté
 Des bras jaloux d'un tuteur emporté,
 Pour arracher un contrat de mon père
 Depuis deux mois laissé chez un notaire,
 Et pour te battre à ma place en duel
 Contre un quidam dont voici le cartel.
 Laisse ta tonne et ta philosophie.
 A ce métier l'on gagne mal sa vie.

ARLEQUIN, s'oubliant un instant.

Mais on la perd au vôtre, mangrebleu!
 Tuer, voler, c'est un fort joli jeu,

Похитила у ваших возлюбленных подданных
Тот золотой век, что был им обещан.
Глубокая скорбь покрыла всю Луну.
С этого времени всеобщие бедствия
Требуют вас обратно как милости Неба.
Наши представители облетели планеты,
И я благословляю мудрость Бога,
Который привел меня к берегам, где вы находитесь.
Я прибыл вручить вам, Ваше Величество,
Счастливый скипетр, который я привез.
Не удручайте более народ, который вас любит,
Примите вновь печальную корону.

АРЛЕКИН

Я навсегда отказываюсь от величия.
Самый лучший трон стоит на слезах;
И не столько Небо, сколько мудрость,
Стянула меня с трона... который я оставил.
Так уезжайте, господин Посол,
Ваш государь является вашим служителем.

ПЕТИМЕТР, *в то время как Посол заговаривает с Переттой, удивленно.*

Мой милый друг, я едва разглядел тебя
В этой бочке, изображающего Диогена.
Эта роль – роль глупца,
А это не судьба для Арлекина.
Плут, знаток изысканных шалостей,
Магистр искусств по части бахвальства,
Шельма, затворник, ты лишаешь людей
Утраченных плодов твоих редких талантов.
Так, черт возьми, оставим эти шутки.
Я привез тебе две сотни экю аванса,
Поскольку мне необходим твой ум.
Чтобы увести десять тысяч экю у еврея,
Чтобы подделать подпись, чтобы соблазнить аббатису,
Чтобы похитить ларец у графини,
Чтобы выкрасть богатую красавицу
Из ревнивых рук вспылчивого опекуна,
Чтобы вырвать договор моего отца,
Который уже два месяца лежит у нотариуса,
И чтобы ты сразился за меня на дуэли
Против кое-кого, кто меня вызвал.
Оставь свою бочку и свою философию.
Таким путем не заработаешь на жизнь.

АРЛЕКИН, *на мгновение забывшись.*

Но терять ее вашим способом, черт возьми!
Убивать, красть, что за добрая шутка,

Il se renfrogne.

Et tout du moins tranchant le persiflage,
Si l'on méprise, on ne prend pas it sage.

L'AMBASSADEUR, *tandis que Le Petit Maître revient à Perette.*

O le meilleur et le plus grand des rois,
Un peuple entier vous parle par ma voix.
Ne rompez point la trame fortunée
Qu'à vos talents promet la destinée,
Et rendez-vous aux désirs inquiets
De vos jaloux et malheureux sujets.

ARLEQUIN, *sombre.*

Je ne veux point, et je vous le répète,
Du fardeau dont vous ornez ma tête.
Assurément c'est un mauvais métier
Que le métier de prince et de régner.
Je ne suis pas resté dans votre lune
Beaucoup de temps, mais la pompe importune
De l'esclavage et de la vanité
Du crime adroit que le luxe environne
Et des serpents qui rampent sous le trône
De ce métier m'ont assez dégoûté.

LE PETIT MAITRE

Eh! bien, maraud, laisses-tu ta sagesse?

L'AMBASSADEUR, *à genoux.*

Que la pitié, Seigneur, vous intéresse!

PERETTE

Cher Arlequin, tu ne m'aimes donc plus?

L'AMBASSADEUR

Nous veux, Seigneur, seront-ils superflus?

LE PETIT MAITRE

Eh! bien, fripon qu'à bon droit on renomme,
Deux cents écus ne tentent point ton coeur?

ARLEQUIN

Perette, et vous, Monsieur Ambassadeur,
Et vous, Monseur l'honnête gentilhomme,
Je vous réponds pour la dernière fois:
Que l'univers vous confonde tous trois!

A l'ambassadeur

Je ne veux point gouverner votre empire.

Au Petit Maître.

Je ne veux point point pour vous me faire cuire.

Нахмурился

И по меньшей мере строить из себя насмешника.
Если это ненавидеть, не обретешь мудрости.

Посол, в то время как Петиметр возвращается к Перетте.

О лучший и величайший из королей,
Весь народ говорит с вами моими устами.
Не разрушайте счастливого заговора,
Который предвещает судьбу вашим талантам,
И ответьте тревожным ожиданиям
Ваших ревностных и обездоленных подданных.

АРЛЕКИН, мрачно.

Я не хочу, и я вам повторяю,
Что бремя, которое вы возлагаете на мою голову,
Несомненно, худшая из профессий,
Профессия государя и дело управления.
Я оставался на вашей Луне,
Недолго, но докучливая пышность
Раболепия и суетности,
Ловкого преступления, которое окружает роскошь,
И змеи, которые ползают под тронном,
Внушили мне отвращение к этой профессии.

ПЕТИМЕТР

Ну что, мошенник, оставляешь ли ты свою мудрость?

Посол, на коленях.

Сжальтесь, Сеньор, проявите участие!

ПЕРЕТТА

Милый Арлекин, ты меня уже не любишь?

Посол

Сеньор, неужели наши мольбы напрасны?

ПЕТИМЕТР

Ну что, плут, которого по праву так восхваляют,
Неужели две сотни экю не тронут твоего сердца?

АРЛЕКИН

Перетта, и вы, господин Посол,
И вы, благородный дворянин,
Отвечаю вам в последний раз:
Что мир удивляется вам всем троим!

Послу

Я не желаю управлять вашей империей.

Петиметру

Я не желаю печься о вас.

A Perette.

Je ne veux point de votre sot amour.
Et tous les trois retirez-vous...

D'un air concentré et brusque.

Bonjour!

PERETTE

O juste ciel!

LE PETIT MAITRE

O béllître!

L'AMBASSADEUR

O grand homme!

LE PETIT MAITRE

A quoi tient-il que mon pied ne l'assomme!

L'AMBASSADEUR

Monsieur pourrait être moins bilieux
Et dans les rois reconnaître les dieux.

LE PETIT MAITRE

En vérité, je crois que la cervelle
Tourne à la fin à l'engeance mortelle.

Je n'aurais pu jamais me figurer
Que pareils fous se pussent rencontrer.

Celui-ci tient une bonne marotte:

Il veut trouver un roi dans Arlequin,
Comme autrefois le brave Don Quichotte

Prit un château pour un fier paladin.

Bonsoir, Messieurs. Diogène moderne,
Tu ne veux point de mes deux cents écus.

Je t'abandonne et consens qu'on te berne.

Va-t-en régner. Je ne reviendrai plus.

SCENE V

L'AMBASSADEUR, ARLEQUIN.

L'AMBASSADEUR

Si le décret d'une austère sagesse
De la grandeur dégoûte Votre Altesse,
Souffrez au moins que j'apporte à vos pieds
Quelques présents qui vous sont envoyés:
Un casque d'or, une robe, une épée,
Une médaille en votre honneur frappée,
Trois diamants de cinquante karas.

ARLEQUIN

Apportz tout... Mais non, je n'en veux pas.

ПЕРЕТТЕ

Я не желаю вашей глупой любви.
И все трое – убирайтесь...

С сосредоточенным видом, резко.

Прощайте!

ПЕРЕТТА

О, праведное небо!

ПЕТИМЕТР

О, бездельник!

Посол

О, великий человек!

ПЕТИМЕТР

Неужели он полагает, что моя нога не побьет его!

Посол

Господин мог бы быть менее желчным
И признавать в королях богов.

ПЕТИМЕТР

На самом деле я считаю, что мозги
Окончательно свернулись у смертного отродья.
Я никогда не мог себе представить,
Что подобные дураки могут встречаться.
У этого имеется хорошая погрешка:
Он хочет найти короля в Арлекине,
Как некогда отважный Дон Кихот
Выбрал замок для благородного паладина.
Прощайте, господа. Современный Диоген,
Ты не увидишь моих двухсот экю.
Я оставляю тебя, и то соглашение, которым тебя дурачат.
Ступай царствовать. Я больше не вернусь.

СЦЕНА V

ПОСОЛ, ПЕРЕТТА.

Посол

Если повеление суровой мудрости
Величия вызывает отвращение у Вашей Светлости,
Позвольте, по крайней мере, чтобы я сложил к вашим ногам
Некоторые дары, которые вам доставлены:
Золотой шлем, мантию, меч,
Медаль, выбитую в вашу честь,
Три бриллианта по пятьдесят карат.

АРЛЕКИН

Сложите все... Но нет, я не хочу.

L'AMBASSADEUR

Daignez, Seigneur!... Ah! c'est le seul hommage
Que la fortune ait jamais fait au sage.

ARLEQUIN

Vous paraissez un assez bon sujet...
De mon soleil ôtez-vous, s'il vous plaît.

SCENE VI

ARLEQUIN, qui a aperçu Perette; PERETTE

ARLEQUIN

De ces fâcheux la cohorte m'ennuie.
Un beau matin je pars pour l'Arabie.
Pour l'Arabie ... oui... Par là je vivrai
Independent et du monde sevré.
Quelques rocher ou quelque autre terrible
Accueillera ma sagesse paisible,
Et j'aime mieux quelques ours mal léchés
Que l'animal qui marche sur deux pieds.

PERETTE

Est-ce trop peu d'être devenu sage?
Vous voulez fuir encor de ce rivage.
Votre chagrin a donc juré ma mort?...
Je vous suivrai; mon sort est votre sort.
Mon coeur... le vôtre, et je ne saurais vivre
Sans vous aimer, sans mourir ou vous suivre.

ARLEQUIN

Vous n'êtes point de ces prudes beautés
Dont les discours sont toujours frelatés,
Et vous devez abhorrer la sottise
De leur touchante et sainte mignardise.

PERETTE

Oh! je la hais!

ARLEQUIN

Votre coeur innocent
Laisse parler tout pur le sentiment?

PERETTE

Oui.

ARLEQUIN

Vous m'aimez comme vous me le dites?

PERETTE

Oui.

Посол

Соблаговолите, Сеньор! ... Ах! это единственный знак уважения,
Который судьба когда-нибудь могла бы принести мудрецу.

АРЛЕКИН

Вы кажетесь достаточно хорошим человеком...
Не заслоняйте мне солнце, прошу вас.

СЦЕНА VI

АРЛЕКИН, *который замечает* Перетту; ПЕРЕТТА.

АРЛЕКИН

Эта когорта докучных меня утомила.
Однажды утром я отправлюсь в Аравию.
В Аравию... да... Там я буду жить
Независимый и оторванный от мира.
Несколько скал или несколько страшных пещер
Примут мою безмятежную мудрость,
Мне больше по нраву непричесанные медведи,
Чем то животное, что ходит на двух ногах.

ПЕРЕТТА

Не слишком ли этого мало, чтобы стать мудрецом?
Не захочется ли вам бежать и с этих берегов.
Неужели ваша печаль должна привести меня к смерти?
Я последую за вами; ваша судьба это моя судьба.
Мое сердце... ваше, и я не смогу жить,
И не любить вас, или не умереть или последовать за вами.

АРЛЕКИН

Вы не обладаете теми стыдливými прелестями,
Который всегда приукрашивает болтовня,
И вы будете ненавидеть глупость
Их трогательной и святой миловидности.

ПЕРЕТТА

Ох! Я их ненавижу!

АРЛЕКИН

Ваше невинное сердце
Позволяет говорить о чистоте чувства?

ПЕРЕТТА

Да.

АРЛЕКИН

Вы любите меня так, как говорите?

ПЕРЕТТА

Да.

ARLEQUIN

Je vous hais, perle des chattemites.
 J'irai si loin que vous ne pourrez pas
 Y promener vos faciles appas
 Et, pour tromper votre feu ridicule,
 Je passerais les colonnes d'Hercule,
 Le Groënland, le Monomotapa,
 L'île Minorque et Majorque, et Cuba,
 O Taïti, le Cap Vert et les Sables
 De l'Hircassie; enfin, j'irais aux diables.

PERETTE

Je vous suivrai.

ARLEQUIN

J'irai chez le Tartare.

PERETTE

Je vous suivrai.

ARLEQUIN

J'irai dans le Ténare.

PERETTE

Je me tuerai!

ARLEQUIN

Je ne me tuerai pas.

PERETTE

Jusqu'aux enfers j'accompagne vos pas.
 Mais est-il dit, hélas! que votre bouche,
 Ne s'ouvrira qu'avec cet air farouche,
 Et qu'un souris ne m'apprendra jamais
 Que votre coeur, sensible à mes regrets,
 Plaint un moment la douleur qui m'opresse
 Et par pitié partage ma faiblesse.

ARLEQUIN, avec un air mignard.

Ah! vous pourriez respecter mon honneur,
 Et de mon sexe épargner la pudeur.
 Mon air farouche est la seule décence.
 Et mes combats ceux de mon innocence.
 En vérité... mon Dieu... Quelles vapeurs...
 En vérité... Madame... Je me meurs.

Perette va le retenir et veut l'embrasser.

ARLEQUIN

Vous abusez... de mes vapeurs soudaines
 Holà!... Madame... épargnez-vous ces peines

АРЛЕКИН

Я ненавижу вас, жемчужина смиренности.
Я отправлюсь так далеко, что вы не сможете
Прогулять туда свою нежную грудь;
И чтобы обмануть ваш смехотворный пыл,
Я пройду через Геркулесовы столбы,
Гренландию, Мономотапу,
Острова Минорка и Майорка, Кубу,
Таити, Зеленый мыс и Пески,
Хиркасси, наконец, я отправлюсь к черту.

ПЕРЕТТА

Я последую за вами.

АРЛЕКИН

Я отправлюсь в Тартар.

ПЕРЕТТА

Я последую за вами.

АРЛЕКИН

Я отправлюсь в Тенар.

ПЕРЕТТА

Я убью себя!

АРЛЕКИН

Я не убью себя.

ПЕРЕТТА

И в ад я буду сопровождать вас.
Но говорят, увы! что ваши уста
Не открываются иначе как в диком оскале,
И что мне никогда не узнать вашей улыбки
Которой ваше сердце, чувствительное к моей печали,
Пожалеет на мгновение страдание, которое меня угнетает
И из жалости разделит мою слабость.

Арлекин, с нежным выражением.

Ах, вы могли бы уважать мою скромность
И пощадить стыдливость моего пола.
Мой дикий вид это единственное приличие,
И мои битвы – битвы моего простосердечия.
На самом деле... Мой Бог... Что за слабость...
На самом деле... Мадам... Я себя убиваю.

Перетта идет поддержать его и хочет обнять.

АРЛЕКИН

Вы злоупотребляете... моей внезапной слабостью.
Довольно... Мадам... поберегите ваши усилия,

Et si quelqu'un... arrivait... dans ces lieux
De ma vertu... que dirait-on... grands dieux!

D'un air véhément.

Retirez-vous, Madame, je vous prie.
Je crains de vous quelque supercherie.
Retirez-vous; je crains vos attentats.
Je vais crier... Je ne vous aime pas...
Vioci quelqu'un; un homme noire s'avance;
Et près de lui mon homme de finance.
Que veulent-ils?

Il saute hors du tonneau.

SCENE VII

LE FINANCIER, UN COMMISSAIRE, PERETTE, ARLEQUIN, RECORS

LE FINANCIER, *au commissaire.*

Monsieur, voici le fou
Que l'on devrait mettre vous savez où.
Cet enragé, que Dieu veuille confondre!
Plein des vapeurs d'une bile hypocondre
Dans ce tonneau gourmande les passants,
Et ce faquin, entiché de bon sens,
Mérite enfin qu'au donjon de Vincenne
Vous l'envoyez faire le Diogène
Et le Caton.

ARLEQUIN, *au commissaire.*

Monsieur, voici le sot
Qui, sous cet or, m'a bien l'air d'un escroc.
C'est un coquin que la vérité blesse.
Qui craint le jour où lui rait sa bassesse.
De sang humain il paraît engraisé;
Et, par dessus, c'est un lourd incensé.
Vous devriez au donjon de Vincenne
Nous l'envoyer faire le Démosthène
Et l'honnête homme.

LE FINANCIER

Holà! maître maraud.

LE COMMISSAIRE, *à Arlequin.*

Que faites-vous, Monsieur, de ce tonneau?
Ceci n'est pas d'une tête bien saine.

ARLEQUIN

C'est un onneau qu'à ma cave je mène.

LE FINANCIER

Mais nieras-tu que tu m'as insulté?

А что если кто-нибудь... придет... сюда.
Что скажут тогда... о моей добродетели... великие боги!

С запальчивым видом.

Уходите, Мадам, прошу вас.
Я опасаясь от вас нового плутовства,
Уходите; я опасаясь ваших посягательств
Я крикну... Я вовсе не люблю вас...
Вон кто-то; черный человек выходит вперед;
А рядом с ним мой финансист.
Чего они хотят?

Выпрыгивает из бочки.

СЦЕНА VII

ФИНАНСИСТ, КОМИССАР, ПЕРЕТТА, АРЛЕКИН, ПОНЯТОЙ

ФИНАНСИСТ, Комиссару.

Вот безумец,
Которого следует поместить вы знаете, куда.
Этот бешеный, которого Бог хочет поразить!
Исполненный тумана ипохондрической желчи
Из этой бочки распекает прохожих,
И этот болван, набивший голову здравым смыслом,
Удостоится в конце концов Венсенского замка,
Куда вы его препроводите строить там Диогена
И Катона.

АРЛЕКИН, Комиссару.

Сударь, вот глупец,
Который при помощи своего золота придает мне вид плута.
Это мошенник, которого ранит истина,
Который боится дневного света, что осветит его низость.
Он кажется разжиревшим на человеческой крови;
И, сверх всего, это грубый безумец.
Вы должны препроводить его для нас
В Венсенский замок, строить там Демосфена
И честного человека.

ФИНАНСИСТ

Довольно, господин недостойный.

КОМИССАР, Арлекину.

Что вы делаете, сударь, в этой бочке?
Это отнюдь не говорит о здоровой голове.

АРЛЕКИН

Это бочка, которую я взял у себя в погреб.

ФИНАНСИСТ

Но, отрицаешь ли ты, что оскорблял меня?

ARLEQUIN, *ironiquement.*

Ah! Monseigneur trahit la vérité.

LE FINANCIER, *montrant Perette.*

Madame fut témoin de sa folie.

PERETTE

Je suis témoin que vous mentez, Monsieur.

ARLEQUIN

Hola! voici Monsieur l'ambassadeur.

SCENE VIII

L'AMBASSADEUR, ARLEQUIN, LE FINANCIER, PERETTE, LES RECORS

L'AMBASSADEUR, *avec des présents.*

Puisque le sort refuse à ma patrie
Le règne heureux qu'elle se promettait,
N'ajoutez point, grand prince, à son regret,
De rejeter le don qu'elle vous fait.

ARLEQUIN, *prenant tout, le met dans son tonneau.*

Souhaitez bien le bonjour, je vous prie,
Aux habitants de votre silphirie,
Et présentez mes baise-mains à tous.

SCENE IX

ARLEQUIN, LE COMMISSAIRE, LE FINANCIER, PERETTE, RECORS.

Arlequin parle bas au commissaire et lui glisse un diamant dans la maine.

LE COMMISSAIRE, *au financier.*

Hom! Hom! Monsieur, comment vous nommez-vous?

LE FINANCIER, *fièrement.*

Jaques-Remi-Luc de la Dindonnière.

LE COMMISSAIRE

Et qu'êtes-vous?

LE FINANCIER, *fièrement.*

Je suis un secrétaire,
Seigneur de Var, Saint-Alban, autres lieux,
Et ma femme eut des nobles pour aïeux.

LE COMMISSAIRE, *gravement.*

Nous, Pierre-André Barbaron, commissaire
Au Châtelet de Paris, condamnons,
Pour cas fort grave et pour bonnes raisons,
Jaques-Remi-Paul de la Dindonnière,
Seigneur de Var, Saint-Alban, autres lieux,
Dont l'épouse a des nobles pour aïeux,

АРЛЕКИН, *иронически*.

Ах! Монсеньор искажает истину.

ФИНАНСИСТ, *показывая на Перетту*.

Мадам была свидетелем его безумия.

ПЕРЕТТА

Я свидетельствую, что вы лжете, сударь.

АРЛЕКИН

Довольно! вот господин Посол.

СЦЕНА VIII

Посол, Арлекин, Финансист, Перетта, Понятой

Посол, *с подарками*.

Поскольку судьба отказала моей родине
В счастливом царствовании, которое было обещано,
Не добавляйте, великий государь, к ее скорби
Отказа от дара, который она вам приносит.

Арлекин, *принимая все и помещая в своей бочке*.

Пожелайте всего наилучшего, прошу вас,
Обитателям вашей сильфирии,
И передайте всем мое почтение.

СЦЕНА IX

Арлекин, Комиссар, Финансист, Перетта, Понятой

Арлекин *тихо говорит с Комиссаром и вкладывает ему в руку бриллиант*.

КОМИССАР, *Финансисту*.

Хм! Хм! Сударь, как, вы сказали, ваше имя?

ФИНАНСИСТ, *надменно*

Жак-Реми-Люк де ла Диндоньер.

КОМИССАР

И кто вы такой?

ФИНАНСИСТ, *надменно*

Я секретарь

Сеньора Вара, Сент-Альбана и других мест,
И моя жена из потомственных дворян.

КОМИССАР, *сурово*

Мы, Пьер-Андре Барбарон, комиссар
Шатле в Париже, приказываем,
На основании веских причин и достаточных доводов,
Жак-Реми-Поль де ла Диндоньер,
Сеньор Вара, Сент-Альбана и других мест,
Женатый на потомственной дворянке,

A cent écus d'amende envers...

LE FINANCIER

Ah! dieux!

LE COMMISSAIRE, *montrant Arlequin.*

Envers Monsieur, pour insulte et litige
Par ledit sieur faite audit sieur, que dis-je,
Faites à l'honneur, et que dis-je, à la loi,
Faites, que dis-je, au commissaire, au roi.

LE FINANCIER

Mor...!

LE COMMISSAIRE, *aux recors.*

Qu'on l'emène, au travers de la rue,
Au Châtelet!

A Arlequin.

Monsieur, je vous salue.

SCENE X

PERETTE, ARLEQUIN

PERETTE

Cher Arlequin!

ARLEQUIN

Ah! Ah! cher Arlequin...

Vous voilà donc moins cruelle à la fin.
Qu'est devenue et la fierté sauvage,
Et ce mépris et ces âpres vertus,
Et cet honneur, et tous ces froids rebuts,
Dont vous faisiez un si fier étalage?
Vous savez donc ce qu'en vaut l'aune enfin,
Et qu'il est dur de soupirer en vain?
J'ai triomphé d'une indigne faiblesse,
Et la raison a glacé ma tendresse.
Voilà le fruit de vos sages refus.

PERETTE

Je rougissais; que vouliez-vous de plus?

ARLEQUIN

Vous rougissiez, oui; mais, la belle dame,
Un rire amer insultait à ma flamme.
Vous appeliez cette fausse rougeur
L'effet soudain d'une sombre vapeur.

Потребовавший сто эку штрафа по отношению...

ФИНАНСИСТ

О, боги!

КОМИССАР, показывая на АРЛЕКИНА

По отношению к этому господину за распрю и оскорбление
Нанесенное вышеназванным господином ниженазванному
господину, как я сказал,
Совершенное к чести, как я сказал, закона,
Совершенное, как я сказал, по отношению
к комиссару короля.

ФИНАНСИСТ

Чер... !

КОМИССАР

Что его отведут через улицу,

В Шатле!

Арлекину

Сударь, я вас приветствую.

СЦЕНА X

ПЕРЕТТА, АРЛЕКИН

ПЕРЕТТА

Милый Арлекин!

АРЛЕКИН

Ах! Ах! милый Арлекин...

Теперь вы наконец не так жестоки.

Что случилось и с дикой гордостью,

И с этим презрением, и с этой суровой добродетелью,

И с этой скромностью, и со всеми этими холодными

отказами,

Которые вы так гордо выставляли напоказ?

Теперь, наконец, вы знаете, чего это стоит,

И как тяжело томиться напрасно?

Я восторжествовал над недостойной слабостью,

И рассудок оледенил мою нежность.

Вот плоды ваших мудрых отказов.

ПЕРЕТТА

Я краснею; чего же вы еще хотите?

АРЛЕКИН

Вы краснеете, да; но, прекрасная дама,

Горький смех оскорбителен для моей страсти.

Вы призываете в свидетели этот лживый румянец,

Внезапный результат темного тумана.

Vous affectiez à ma vue abusée
 Un coeur distrait par quelque autre pensée.
 Vous aviez l'air, dans votre émotion,
 De regarder ma très sottre personne
 Pour lui servir d'ombre et de Musion...
 Ah! Ah! Ah! Ah! C'est assez me containdre...
 Embrassons-nous, et je ne puis plus feindre.

(PERRETE, en l'embrassant.

Quoi tu n'étais pas fou?

ARLEQUIN

J'ai combattu

Contre mon coeur.

PERETTE

Ah si je l'avais su!

PERETTE, s'approchant du tonneau.

Tu m'as donné du goût pour la raison,
 Et je veux mettre à profit la leçon.
 Ah ! je renais. Douce philosophie,
 Sois désormais le flambeau de ma vie.
 J'ai vu le rêve, et voici le réveil.
 Retirez-vous, Monsieur, de mon soleil.

ARLEQUIN, à part.

Me voilà bien ! Je crois que toute belle
 Est un démon sous une peau femelle...
 Mais tu m'aimais tout à l'heur.

PERETTE

Ma foi,

Je le disais pour me moquer de toi.
 Que la sagesse est une belle chose!

ARLEQUIN

J'admire fort cette métamorphose.

PERETTE

Jusqu'aujourd'hui j'ai promené mon coeur
 De songe en songe et d'erreur en erreur
 Et je conçois comme vous la sottise
 De ce néant dont notre àme est épris.
 De mon soleil ôtez-vous, s'il vous plait.

ARLEQUIN

J'approuve fort ce conseil, en effet.

Вы оказываете влияние на мой обманутый взор,
Сердце, отвлеченное другими мыслями.
В своем волнении вы имеете такой вид,
Будто рассматриваете мою глупую персону,
Чтобы послужить ей тенью и Музионом...
Ах! Ах! Ах! Ах! Это меня весьма беспокоит...
Обнимемся, и я не буду больше притворяться.

[ПЕРЕТТА, обнимая его.

Как ты не был безумцем?

АРЛЕКИН

Я сражался

Против своего сердца.

ПЕРЕТТА

Ах если бы я знала!]

ПЕРЕТТА, приближаясь к бочке

Ты дал мне вкус к рассудку,
И я собираюсь с выгодой использовать урок.
Ах! я возродилась. Приятная философия
Будет отныне светочем моей жизни.
Я видела сон, и вот пробуждение.
Отойдите, сударь, не загораживайте мне солнце.

АРЛЕКИН, в сторону

Вот так да! Я знал, что каждая красotka
Это демон под женской кожей...
Но только что ты меня любила,

ПЕРЕТТА

Право,

Я говорила это, чтобы посмеяться над тобой.
Что за прекрасная вещь мудрость!

АРЛЕКИН

Мне очень нравится эта метаморфоза.

ПЕРЕТТА

До сегодняшнего дня я следовала сердцу
От мечты к мечте, от заблуждения к заблуждению,
И, как и вы, я постигла глупость
Ничтожество нашей влюбленной души.
Не загораживайте мне солнце, прошу вас.

АРЛЕКИН

Я в самом деле одобряю этот совет.

Madame, adieu. Sagesse et prudence
 Sont toutes deux une étrange manie.
 Je me repens du temps que j'ai perdu
 A mériter un coeur qui m'était dû,
 Adieu, madame, et gardez pour vous-même
 Ce chien de coeur qui ne veut pas qu'on l'aime.
 J'étais bien sot, morbleu, de soupirer,
 De larmoyer, de me désesérer.
 Madame, adieu. Ma foi, j'étais bien bête
 De me creuser et la verve et la tête
 Pour distiller mes feux extravagants
 En madrigaux tendres et languissants
 Je ne veux plus rien aimer de ma vie
 Que le bon vin et la philosophie.
 Adieu, madame, et n'allez pas penser
 Que tout ici n'est que pour s'amuser.
 Je suis bien sot d'avoir eu le courage
 De vous aimer et de faire le sage.

Il s'en va.

PERETTE

Tu n'étais donc pas fou?

ARLEQUIN

Je ne l'étais
 Que de chérir vos perfides attrait.

PERETTE

Tu m'aimes donc, Arlequin?

ARLEQUIN

Mallapeste!
 Oui, je vous aime... enfin, je vous déteste.

PERETTE

Quoi ! tu n'étais pas fou?

ARLEQUIN

J'ai combattu
 Contre mon coeur.

PERETTE

Ah! si je l'avais su!

Мадам, прощайте. Мудрость и стыдливость

Вместе – странная мания.

Я буду вновь думать о времени, которое потерял,

Чтобы заслужить сердце, которое меня достойно.

Прощайте, мадам, и сохраните для себя

Эту собаку в сердце, которая хочет лишь того,

чтобы ее любили.

Я был глупец, черт возьми, чтобы томиться,

Проливать слезы, предаваться отчаянию.

Мадам, прощайте. По правде сказать, я был скотина,

Ломая остроумие и голову,

Чтобы излить мой сумасбродный пыл

В мадригалах нежных и вялых.

Я больше в жизни не хочу любить ничего

Кроме хорошего вина и философии.

Прощайте, мадам, и не думайте,

Что это всего лишь дурачество.

Я был дурак, чтобы иметь мужество

Любить вас и строить мудреца.

Собирается уходить

ПЕРЕТТА

Так не был ты безумцем?

АРЛЕКИН

Я им не был,

Разве что дорожил вашими коварными прелестями.

ПЕРЕТТА

Так ты меня любишь, Арлекин?

АРЛЕКИН

Зараза!

Да, я вас люблю... Наконец, я вас ненавижу.

ПЕРЕТТА

Как! ты не был безумцем?

АРЛЕКИН

Я сражался

Против своего сердца.

ПЕРЕТТА

Ах! если бы я знала!

М.С.Бобкова

Приглашение в «Театр»: пьеса Энн Блейр

Не стоит много говорить о том, что творчество французского мыслителя XVI века Жана Бодена имеет огромную историографию¹. Это известно любому специалисту, занимающемуся историей Франции. Больше всего и раньше всего исследователи обращались к трактату Бодена «Шесть книг о государстве»², где изложены целостные, завершённые теории суверенитета и абсолютной монархии. «Семичастный разговор»³ (на основе анализа его содержания делались выводы о природной религии Бодена, о его принадлежности к иудаизму и даже о его атеизме) последние двадцать лет стал предметом острой дискуссии, в которой представители историко-филологического направления на основе текстологических исследований оспаривают авторство Бодена⁴. К «Демонomanии колдунов»⁵ взоры историков обращаются крайне редко, видимо, авторитетное и резко негативное мнение О.Бодрияра, высказанное ещё в середине XIX века⁶, до сих пор довлёт над сознанием исследователей. Тем приятнее видеть в этом номере альманаха статью Н.В.Корякиной о религиозных взглядах Бодена в контексте «Демонomanии». Первенец творчества Бодена трактат «Метод легкого познания истории»⁷, рассматривается либо как ступень в развитии теории познания, либо дробится и тематически соотносится с политическими теориями мыслителя.

В 1990-е годы предметом все возрастающего внимания исследователей становятся натурфилософские взгляды Бодена, об этом свидетельствуют хотя бы материалы ежегодных конференций в Анжерском университете, посвященные специально жизни и творчеству Бодена⁸. В

¹ О Жане Бодене см. наши статьи в альманахе «Диалог со временем»: Эпоха религиозных войн во Франции и рождение исторической науки Нового времени (Вып. 1. С.184-200); Жан Боден о предмете истории (Вып. 2. С.192-197); Еще одна попытка реконструкции биографии Жана Бодена (Вып. 5. С. 75-101).

² *Bodin J. De Republica libri VI.* Jeneva, 1594.

³ *Bodin J. Colloquium haptaplomeres de rerum sublimium arcanis abaitis e codicibus manuscriotis Bibliothecae Academiae Jissonsis cum varia lectione aliorum apographorum nune primum tipis describen dum curavit Ludovicus noack-hachdr.* Hildesheim – N.-Y., 1970. Репринтное издание 1857 г.

⁴ *Фальтенбахер К.-Ф.* «Семичастный разговор» и новая картина мира Галилея. М., 1996.

⁵ *Bodin J. De Magorum Daemonomania.* Basileae, 1581.

⁶ *Baudrillart H. Jean Bodin et son temps.* P., 1853.

⁷ *Bodin J. Methodus ad facilem historiarum cognitionem.* P., 1566.

⁸ *Actes du colloque interdisciplinaire d'Angers.* Angers, Press de l'Université d'Angers.

1994 г. в Принсетонском университете Энн Блейр защитила диссертацию по философии «Театр природы» и его культурный контекст». В 1997 г. на основе этой диссертации была издана монография «Театр природы: Жан Боден и ренессансная наука»⁹ – сочинение, бесспорно, заслуживающее особого внимания, так как это первое серьезное исследование «Театра природы»¹⁰ историком науки. Почему на протяжении нескольких столетий подобных работ не появлялось? Думается, причин этому несколько. Прежде всего, в исследовательской среде существует устойчивое мнение, что этот трактат Бодена адресован не специалистам, а широкой читательской аудитории: от студентов и других “studious persons” до просто любознательных людей, читателей “curious”. В «Театре» изложены более чем обычные представления о природе, о мироздании, «обыкновенная» натурфилософия, не содержащая гениальных теорий или авангардных подходов в специальных областях естествознания. Чаще всего «Театр» оценивали как среднего уровня компиляцию и обвиняли Бодена в вульгаризации знаний. Но почему только Э.Блейр поставила очень простой вопрос, представляющийся очевидным даже при самом поверхностном знакомстве с первым изданием «Театра природы» (1596 г.): могла ли книга, изданная в большом формате, с многочисленными иллюстрациями, имеющая очень хороший переплет, а следовательно, дорогая, к тому же написанная на латинском языке, могла ли быть такая книга доступна студенческой и профанной публике? Заметим, что свои произведения, адресованные широкой читательской аудитории (например, «Шесть книг о государстве» или «Ответы на парадоксы господина Малеструа»¹¹) Боден писал на французском языке. «Театр природы» был переведен на французский язык уже в 1597 г.¹² доктором Франсуа де Фогеролем¹³ и напечатан, также как и первое издание, в Лионе. Можно предположить, что первое латинское издание «Театра», несмотря на высокую стоимость книги, было востребовано и нашло своего читателя.

Популярность этого трактата могла определять его очень простая структура: деление на пять книг, в рамках каждой из которых, любой, даже малозначимой проблеме, посвящается определенный, как правило небольшой, раздел. В «Театре», как и в педагогическом трактате Бодена «Парадоксон»¹⁴, используется диалоговая (по принципу вопрос – ответ) форма изложения. При этом тема исчерпывается ответами не

⁹ Blair A. The theater of nature: Jean Bodin and Renaissance science. Princeton University Press. Princeton-New Jersey. 382 P.

¹⁰ Bodin J. Universae naturae theatrum. P., 1596.

¹¹ Bodin J. La responce... aux paradoxes de Monsieur de Malestroit. Paris: Martin le Jeune, 1568.

¹² В этом же году вышло и второе латинское издание «Театра».

¹³ Боден умер в 1596 г.

¹⁴ Bodin J. Paradoxon quod nec virtus ulla in mediocritate, nec summum hominis bonum in virtutis actione consistere possit. Paris: Denys Du Val, 1598.

более, чем на три вопроса. Этот широко применяемый в дидактике прием позволил Бодену, не владеющему высоким литературным стилем и не отличающемуся последовательностью повествования, ясно и доступно донести до читателя содержание своего труда. Кроме того, анализ избранных Боденом для обсуждения тем позволяет оценить «Театр» как книгу, относящуюся к естественным энциклопедиям, через которую возможно проследить различные пути позднеренессансной науки. Э.Блейр предпринимает такую попытку посредством изучения текста трактата как такового, его структуры и композиции, используемых автором мотиваций и метаморфоз, его аргументации и выводов. «Театр» Бодена представляет собой отличную точку отсчета для оценки традиционной натурфилософии на ее пике – в Позднем Возрождении.

Блейр выделяет три основных направления своего исследования: «книжные методы» и практическая «физика»; религиозная мотивация Бодена в изучении природы и проблема упорядочивания (читай – приведение в соответствие с теологическими взглядами мыслителя) обширного и все увеличивающегося запаса знаний и, наконец, рецепция «Театра природы» (Блейр приводит таблицу всех сохранившихся копий, анализирует цитирование этого трактата, пометы читателей трех латинских изданий – 1596, 1597, 1605 годов, французский перевод Фогероля и популярное издание «Театра» на немецком языке Дамиана Зифферта¹⁵). Изучение Э.Блейр рецепции «Театра» убеждает в возможности определить детерминированность природы диалога между писателем и читателем и выделить ее культурные, научные и политические составляющие. Уже первые строки «Театра» (посвящение Генриху IV), вероятно, дают нам возможность определить круг заинтересованных читателей этого сочинения. Через изучение всех естественнофилософских построений Бодена и через анализ рецепции «Театра» в XVII в. Э.Блейр проверяет эту вероятность и приходит к выводу, что сочинение Бодена в конце XVI в. и на протяжении всей Тридцатилетней войны было особенно популярно в странах реформированной религии (особенно, в Германии).

Э.Блейр называет «Театр», ею же самой определенный как натурфилософский трактат, глубоко религиозным сочинением, замышлявшимся автором, по ее мнению, как орудие убеждения нечестивых ради возвеличивания могущества, добра и справедливости Бога. Действительно, если исходить из единственной и превыше всего оцениваемой Боденом цели всего его творчества, сформулированной еще в «Метод» – научиться «...усматривать Божественную благодать и величие в делах человеческих, далее – в ясных началах природы, после этого – в стройности небесных тел, затем – в замечательном устройстве всего мира: в движении, в гармонии, в форме; и так постепенно, шаг за ша-

¹⁵ Problemata Iohannis Bodini. Magdeburg: Johan Francken, 1602.

гом, приближаться к той благодати, которая существует для нас лишь в единении с Богом...»¹⁶, тогда все написанное Боденом можно классифицировать, как глубоко религиозное. Но ни одно из сочинений Бодена я бы не классифицировала как теологический трактат.

Боден в 1566 г. заявил свою *исследовательскую* программу и следовал ей в творчестве на протяжении всей своей жизни – это изучение четырех видов истории, в которых и реализован замысел Творца¹⁷. Благодать, о которой говорит Боден, есть единение с Богом. Заметим, что факт веры никогда не приводился Боденом как аргумент, он не сторонник религиозной экзальтации, хотя не может быть понят и как явный прогматик. Скорее всего, Боден – приверженец деятельных форм благочестия и, возможно, действительно достаточно деятельное благочестие определяет мотивацию сущности замысла «Театра». Естественную философию Бодена, которую вполне можно назвать и естественной историей, и естественной теологией оценивали и как дуалистичную (признание Божественного и природного начала), и как монотеистичную (природа есть проявление Божественного).

Блейр считает, что «Театр», последняя работа Бодена, сводит воедино многие темы его ранних сочинений в общепримирающей попытке осуществить новый синтез между верой и разумом. Может быть этот путь был более правильным и более благочестивым, чем выбор альтернатив, который так характерен для интеллектуальной истории позднего Возрождения. В «Театре» изложена эклектичная и в высшей степени антиаристотелевская натурфилософия, используемая Боденом как наступательное оружие в сражении с грехом неблагочестия. Э.Блейр показала, что если в «Шести книгах» основой государства утверждается его надконфессиональная сущность, то в «Театре» обозначена возможность всеобщего межконфессионального соглашения, т.к. принципы благочестия признаются всеми мировыми религиями.

Боденовская стратегия основана на открытии божественных истин через «необходимые причины», на доказательстве не просто присутствия Божественного провидения в мириадах частей природы, а на оценке Божественного провидения как их первопричины. с другой стороны, Боден ограничивает рациональные человеческие доводы перед лицом Божественной свободной воли (Божественного произвола). В «Театре», также как и в разделе «Метода», касающихся естественной истории, очевидно рационалистический деизм Бодена. Он умело сочетает аргументацию естественной философии и теологии, приводит рациональные доказательства существования и природы Бога, при этом вынося за пределы человеческого познания «божественные тайны».

¹⁶ Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000. С.21.

¹⁷ Вероятно, именно осознание того, что «Театр» – это только часть историкофилософской модели Бодена, приводит Э.Блейр к использованию компаративного метода в исследовании.

Боден достаточно проникновенен, чтобы не представлять свою работу как революционную. «Театр» дополняет и систематизирует накопленные естествонаучные знания, дополняет естественную философию новым причинным рядом, дает ей новые толкования и исправляет, на его взгляд, ложные. «Театр» отличается последовательностью доказательств против трех «нечестивых теорий» античных авторов: вечности мира, неизбежности действия законов природы, смертности души. В «Театре» Боден останавливается на наиболее фундаментальных проблемах философии XVI в.: примирение философии и религии, власть разума в понимании мира и ее границы, воплощение через законы Божественного откровения, проблема свободы воли человека и Бога. В «Театре» свое воплощение в целостной теории находят идеи «Метода». Мир был сотворен бессмертным Богом, следовательно, имел начало и будет иметь конец, который наступит тогда, когда того захочет Бог. Таким образом, главная причина конца мира – Божественный произвол.

Интересна и пятая глава сочинения Э.Блейр о театральных метаморфозах («Театр природы», театр как книга, «Театр» театров). Она представляет нам историю и смысловое наполнение термина «театр», замечая, что в XVI в. более употребимым было сочетание *theatrum mundi*. У Бодена «театр» с одной стороны – место действия универсального Божественного порядка, а с другой – зрелище, в котором человеку отводится роль зрителя, а не участника представления. «Театр природы» отражает власть Божественного провидения в существовании всего живого и неживого, в делах человека и истории общества.

В заключение отметим, что исследование Э.Блейр определяет континуитет или дисконтинуитет между «традиционной естественной философией» Бодена и революционной философией Ф.Бэкона как всего лишь замену старой системы знаний на новый исследовательский метод. Рассмотрение Э.Блейр «Театра» в его культурном контексте не только намечает новые подходы к решению старых вопросов в истории науки о живучести традиционного и утверждении качественно нового, но также показывает, как вопреки особенностям стиля, работа Бодена стала типичной в ряду сочинений по естественной философии, естественной истории, естественной теологии, и отразила основные черты и характерные особенности энциклопедизма позднего Возрождения. Обращение к «Театру» предоставляет ученому богатые возможности определить контекст научной революции XVII в., возможность которой была обеспечена не только талантами гениев, но и общей интеллектуальной средой конца XVI – начала XVII вв., интересами и уровнем образованности неспециалистов-писателей (писателей-популяризаторов) и читателей, в конечном итоге сформировавших эту среду.

Г.И. Зверева

История как «строгая наука»: концепции российских историков на рубеже XIX–XX веков

В последние годы заметно вырос интерес российских историков к изучению институциональных и интеллектуальных аспектов истории исторического знания. Внимание профессионалов все чаще стали привлекать темы, которые прежде разрабатывались в узком кругу специалистов по теории и методологии истории. В числе активно обсуждаемых тем оказались особенности внутренней жизни исторического сообщества, специфика саморефлексии исследователей исторического прошлого.

Насущная потребность историков в постановке и осмыслении таких проблем в большой степени связана с теми переменами, которые происходят в современном российском обществе. Однако не менее важное значение для профессионального самопознания имеют те качественные сдвиги в общенаучной парадигме, которые к концу XX в. изменили представления интеллектуалов о содержании исследовательской работы, способах получения и репрезентации исторического знания, валидности результатов труда историков. Не случайно, думается, особую актуальность в академической среде приобрели вопросы, связанные с процессами выработки познавательных правил и норм исторического сообщества во второй половине XIX – начале XX в. В работах современных историков из ведущих университетов и исследовательских центров (И.Л.Беленький, В.П.Корзун, О.М.Медушевская, М.П.Мохначева, Г.П.Мягков, М.Ф.Румянцева, О.В.Синицын, Л.А.Сыченкова, К.Б.Умбрашко и др.) были предложены разные подходы к изучению ранней истории отечественной профессиональной историографии.

Недавно вышедшая в свет монография Валентины Павловны Корзун «Образы исторической науки на рубеже XIX – XX в. (анализ отечественных историографических концепций)» (Екатеринбург – Омск, 2000) открывает новые направления в изучении этой темы. Она дает возможность лучше понять интеллектуальные истоки профессионального исторического знания в России и, вместе с тем, осознать принципиальные изменения, совершившиеся в познавательной практике профессионалов за прошедшее столетие.

Предметом исследования В.П. Корзун стали «образы науки», которые складывались в российской историографии рубежа веков. Автор поставил задачу рассмотреть преимущественно сами способы формирования разных историко-научных концепций, выражавших различные представления историков «об имманентных и социальных факторах развития исторической науки, о связи ее с национальной культурной тради-

цией» (С.7). Эти концепции разрабатывались российскими учеными, принимавшими деятельное участие в создании академической исторической науки и вошедшими в историю отечественной историографии в качестве «отцов-основателей» профессионального сообщества (П.Г.Виноградов, Р.Ю.Виппер, В.И.Герье, И.М.Гревс, Н.И.Кареев, В.О.Ключевский, А.С.Лаппо-Данилевский, П.Н.Милюков, Д.М.Петрушевский, С.Ф.Платонов, С.М.Соловьев, Е.Ф.Шмурло и мн. др.).

Особое внимание В.П.Корзун сосредоточила на творчестве историков, специально занимавшихся разработкой проблем исторического познания и исследовательских процедур, рассматривая их в контексте общенаучного знания. Анализируя позиции Н.И.Кареева, В.О.Ключевского, А.С.Лаппо-Данилевского, П.Н.Милюкова, С.Ф.Платонова, автор постарался показать сложности переосмысления концепций об истории как науке в условиях критики позитивистской теории и методологии истории и утверждения неокантианских взглядов в историческом сообществе.

Интерес к выбранной теме во многом определялся желанием автора проследить связи между «образами науки» и индивидуальными особенностями, методологическими ориентирами, культурно-историческими реалиями и корпоративными «правилами игры» (С.16). При этом автор существенно усложнил свою задачу, стремясь соотнести процессы выработки личностных и коллективных представлений о работе историка и профессиональной идентичности с проблемами «национального самоопределения» российской исторической науки конца XIX – начала XX века.

Поясняя читателю специфику своего подхода к теме, В.П.Корзун подчеркивает, что в ее намерения не входило рассмотрение «социальных факторов» науки как исключительно внешних по отношению к исторической профессии. Более того, отмечается важность изучения социальных – организационных, институциональных, межличностных – аспектов исторического сообщества как неосъемлемых сторон его напряженной интеллектуальной жизни, с присущей ей внутренней «логикой», со своими коллизиями и драматизмом, конкурентной борьбой участников этого сообщества за академическое признание своих концепций в качестве нормативных научно-исследовательских программ.

Такая авторская позиция определила особенности отбора и прочтения историографических источников. Работа В.П.Корзун построена на детальном изучении текстов российских историков. Среди них – и опубликованные труды, и многочисленные архивные документы, в том числе, личная переписка, рукописи, рабочие заметки и пр. Используя понятие «опорная группа источников», автор отобрал для своей работы тексты, которые содержат «историко-научный (рефлексивный или критический) элемент исторического знания»: это специальные исследования по историографии, методологии, науковедению. К той же группе отнесены и конкретно-исторические исследования. Мотивируя критерии такого отбора, автор отмечает, что «творчество историка историографично по своей природе», а также, что выбранные для изу-

чения герои «были в равной степени и исследователями конкретных проблем истории России, и историками науки» (С.22-23).

Композиция работы вполне согласуется с авторским замыслом: В.П.Корзун представляет читателю свое видение «новой познавательной ситуации», в которую так или иначе оказались вовлечены все участники профессионального исторического сообщества независимо от индивидуальных теоретико-методологических предпочтений и ориентаций. Используя богатый фактический материал и опираясь на суждения и оценки своих коллег, автор убедительно показывает содержание процессов переосмысления историками нормативных позитивистских представлений о научности в условиях сдвигов в познавательной парадигме на рубеже XIX–XX в. Тщательное изучение работ П.Н.Милюкова, С.Ф.Платонова, А.С.Лаппо-Данилевского 80-90-х гг., дает возможность В.П.Корзуну обратить внимание на трудности выработки молодыми исследователями нового понятийного аппарата и исследовательских процедур, которые бы согласовывались с критическими тенденциями и потребностью в корректировке теории «общей», «универсальной» истории.

«В научном сообществе отечественных историков, наряду с позитивистским образом науки, оформляется другой, ориентированный на поиск специфики гуманитарного познания, на процесс исследовательского творчества, активно познающей личности», — отмечает В.П.Корзун (С.57). Однако становление этого «другого», неокантианского образа научности оказывается сопряжено с внутренними коллизиями в академическом сообществе; причем, они обнаруживают себя не только в спорах историков разных поколений, но, что особенно интересно, воспроизводятся в межличностных коммуникациях историков, принадлежащих к новому поколению профессионалов. Вводя в научный оборот архивные документы личного происхождения, автор показывает перипетии полемики, которая возникла и получила свое драматическое развитие в личных отношениях между В.О.Ключевским и П.Н. Милюковым, а также между С.Ф.Платоновым и А.С.Лаппо-Данилевским. Споры историков-позитивистов и неокантианцев, по мысли автора, привели к тому, что «два проекта видения исторической науки воплощаются в различных типах школ, в попытках создать собственный круг общения, соответствующую интеллектуальную среду... С.Ф.Платонов и А.С.Данилевский создают научные школы, отражающие и распространяющие влияние в науке позиций обоих ученых» (С.98).

Особый интерес вызывают те разделы книги, в которых автор рассматривает обсуждение в среде российских интеллектуалов концепций «национальной науки», «русской науки». Эти концепции выросли из известных дискуссий славянофилов и западников, были стимулированы работами Ю.Ф.Самарина, Б.Н.Чичерина, Н.Я.Данилевского и, в конечном счете, на рубеже XIX–XX в. оказались в круге внимания профессиональных историков (Н.И.Кареев, В.О.Ключевский, П.Н.Милюков, А.С.Лаппо-Данилевский), активно занимавшихся разработкой оснований и критериев научной «национальной историографии». Автор делает весьма при-

мечательный вывод о том, что в тот период

«отчетливо выделяется тенденция построения модели национальной науки, поиски особого духа русской науки... Для дореволюционной академической науки было характерно соединение научной традиции и этического, народнического мирозерцания. Балансирование между идеалами просвещения и истины явилось естественным выражением именно этого обстоятельства. Сложившийся образ науки сохраняется и в последующие десятилетия и выступает внутринаучной предпосылкой, как это ни кажется парадоксальным, формирования нового образа пролетарской науки. Общим полем для подобной рефлексии были идеи народности, просвещения и гносеологический оптимизм» (С.147-148).

Как показывает В.П.Корзун, не менее важными для российских историков конца XIX—начала XX века стали проблемы взаимоотношений историка и общества, вопросы, касавшиеся не только социально-политических функций исторической науки, но и «теоретического миропонимания» профессионала, изучающего историческое прошлое с позиций науки. Автор подробно рассматривает концепции П.Н.Милюкова и А.С.Лаппо-Данилевского, обозначая их как оригинальные «поиски путей соединения социальных и имманентных факторов развития науки». В.П.Корзун правомерно подчеркивает значение для профессиональной историографии того времени таких интеллектуальных новаций А.С.Лаппо-Данилевского как изучение истории науки (и ее прогресса) в тесной связи с исследованием процессов индивидуального творчества ученых.

Автор аргументированно обосновывает в своей работе мысль о том, что на рубеже веков в ходе профессионального общения историков «наряду с пирамидальным образом науки, сформировавшимся в рамках позитивистской методологии, утверждается более сложный образ — вписывающийся в неокантианские методологические поиски, в центре которого находится человек, укорененный в культуру... Высшей степенью целенаправленной, осознанной деятельности становится научное творчество, наука, вместе с ней — личность ученого... Смена прежней методологической парадигмы не означает автоматической замены прежнего образа науки. Некоторые черты образа исторической науки остаются неизменными. К таковым мы можем отнести, к примеру, просветительскую компоненту профессиональной научной деятельности историков, осознание ими особой связи русского ученого с жизнью, для которого нет науки «вне жизни и без жизни»» (С.218-219).

Хочется надеяться, что эта книга, адресованная профессиональным историкам, будет с не меньшим вниманием воспринята и более широким кругом читателей, представляющих смежные области социально-гуманитарного знания, поскольку она написана «умом и сердцем» и отвечает на многие вопросы, которые задают себе исследователи, обращаясь к интеллектуальной истории начала XX века.

SUMMARIES

S.A.Ekshtut.

Fights for the temple of Mnemosine.

The paper states main social functions of a historian. One of those function – of a Keeper of the model of historical memory – has been analysed in detail in connection with the dialogue by correspondence that took place in 1868 between the author of the great novel "War and Peace" and the veterans of the war of 1812. Before the eyes of the last witnesses of the past epoch Tolstoy created the Reality that surpassed not only multi-volume works of historians and the grumbling of the veterans. But even the past itself. This Reality has become the model of historical memory of the Great Epoch of 1812. Thus the writer contested the historian's right of creativity and won this argument.

L.P.Repina.

The Integrative potential of micro- and macro-approaches in history.

An obvious 'privilege' of micro-history strategies is that they work within an 'experimental field' adjusted to solving of complex theoretical problems that exist in contemporary historiography. The shift from 'typical' or 'ordinary' towards concrete individuals seems to be justifiable. But, how can selective and innovative actions be incorporated into an analysis of collective acts, historical events and macro-processes? This is a crucial problem of synthesizing micro- and macrohistories, that cannot be solved by a simple composition of episodes and biographies. The necessity to answer key questions – what did condition, limit and define decision-making, what were its inner motives and explications, how were stereotypes and personal acts correlated, how strong were outward factors and internal impulses - pushes a historian from a small 'nest' of microanalysis to the research field of macro-history.

The historian's instrument should be a manifold situational analysis which enables one to reconstruct an event in its coherence, i.e. to demonstrate a combination of conditions, motives, acts, emotions, perceptions and reactions, as well as their outcome. The *casus* is a privileged research subject, but at the same time researchers try to see in it something more: to show implicit processes or tendencies and thereby to enrich existing views of the past. A historian searches for answers to following questions: what possibilities existed in situations of historical choice, how and why these possibilities were realized, how did subjective perceptions, ideas, abilities and individual intuitions act in a field limited by the objectivity of collective structures created by the past cultural practices.

L.M.Makarova.

The Ideology of Nazism: aspects of its formation and functioning.

Nazist ideology was a mixture of some speculations on scientific theories (mainly, in the field of biology) with elements of archaic notions. This complexity was conditioned by its claims on exclusiveness and by the necessity to create an ideology that would be acceptable for different social strata. The nazi ideology appealed to irrational, to myth that helped to link heterogeneous elements and unite them. As a result, a programme, propaganda and ideology became indissoluble, complementary parts of an ideological system.

A. Seregina.

Toleration and religious persecution; Augustinian tradition in the English religious controversies of the late 16th – early 17th centuries.

The article deals with the ideas of toleration and persecution as they were presented by the English Catholic polemical literature in 1580–1620s. They are placed their original context, i.e., the views of a sinner's conversion and regeneration, and, generally, the understanding of salvation (the basic notion of the Christian doctrine). In the early modern period conversion was understood in terms of conversion to a true Church, thus this idea became directly connected with the attitude to different confessional groups and finally with the problem of toleration and/or persecution.

The attitude of the English catholic pamphleteers towards the problem of religious persecution and toleration was determined by their acceptance of the Augustinian views. According to St Augustine, religious persecution could be justified, since it could make a heretic to listen to the Church doctrine, to repent, and to be saved. At the same time St Augustine argued that if heretics were too numerous to be coerced without disturbing a peace of a Christian community, they should be tolerated «in order to avoid of greater evil». These two principles of justifying persecution and toleration were inherited by the English Catholics of the late 16th c. The article shows that their attitude to the problem of toleration was identical to that of the continental Catholic theologians. They differed, however, from the mainstream Catholic thought of the period in one important point: English Catholic writers did not accept the idea of coercion and persecution in matters of religion as applicable to all sorts of heretics and schismatics. Based themselves on their experience of pastoral work among English Protestants they insisted on the necessity of toleration as a condition of conversion and salvation of at least part of heretics. This attitude, as the author demonstrates, resulted from the influence of the Jesuit thought on the writings of English Catholics.

N.V. Koryakina.

Religious views of Jean Bodin in the context of linguistic analysis.

The article is devoted to a particular case of the problem of interconfessionalism in France in the XVI century. The destiny of those who were Jews by faith but were obliged to show themselves Christians came to sight in connection with the appearance in 1578 of the book "Demonomanie of sorciers" by Jean Bodin. He knew Hebrew enough to read the rabbinistic texts and referred to them many times. He refused divine nature of Christ. Bodin observed some Jewish rituals and was in sympathy with the firmness of Jews in their belief. But he was not a member of any Jewish community. Furthermore, he was a state official married Christian women and sworn a Catholic oath by order of the king. His fate made him seek for the religious compromise with the Christian surrounding where Jews were persecuted.

M.S. Petroff.

Macrobius' Treatment of Latin Sources in the *Commentary on the 'Dream of Scipio'* (I:8-14 and 17: II:12-12 and 17).

The article examines the manner in which Macrobius illustrates Greek theories on the rational soul and the constitution of the universe with quotations from Latin authors. It is shown that most Latin citations included by Macrobius in the text of the *Commentary* were textbook examples well-known to a Latin reader. The conclusion is that Macrobius follows that tradition dominant in the early Middle

Ages when what mattered was not the genuine context and the meaning of the quotation but its belonging to an authoritative (for instance, patristic) text or the presence of certain key words in it. It is concluded that Macrobius' goal in involving the Latin material is the adaption of the Commentary to a Latin reader.

P.P. Shkarenkov.

Concept Forming of Royal Power in Ostrogothic Italy.

The article deals with the forming process of theoretical conditions for the royal power in the Ostrogothic Italy on the basis of the material of "Variae" by Cassiodor – a prominent writer, statesmen and diplomat of the transitional period from antiquity to the Middle Ages.

Cassiodor created a unique, idealistic image of the Ostrogothic kingdom as a natural successor of the Western Roman Empire.

The article throws attention onto the literal image from Cassiodor's works, not the real way the Ostrogothic state worked. The king holds the main place in that image. In all the King Theodorick's deeds Cassiodor finds devotion to a certain cultural and historic ideal. His actions illustrate his royal nature. He is the incarnation of the merits of an ideal sovereign and this is more important than his title of a "rex".

Cassiodor's ideas and images were greatly influenced by the neoplatonism antique political theory and philosophic tradition so popular in the decline of the Roman Empire.

P.Y. Uvarov.

The universities of Russian Empire as seen by a medievist (defending the «idol of sources»).

The article deals with the firsts stages of the history of Russian universities and their formation. The specific features of Russian university system are defined; the author shows not only the universities' vulnerability, but also their importance for a society. The article pays a good deal of attention to a particular social role of Russian intelligentsia, and of the university community with its culture. (в защиту «идола истоков»)

V.G. Bezrogov.

A social ideal of education in New Testament (interpretations by contemporary Western historiography).

The article reveals educational strata in the books of New Testament. It also analyses New Testament in the context of the history of education, including the history of children's up-bringing and socialization. The author demonstrates the role and importance of Christian doctrine in education.

M.P. Eisenshtat.

Historical views of British liberals in 1820s.

The article analysis critical reviews published in a journal 'Edinburgh Review' (19th c.). It is shown how liberals shaped public opinion and turned history into a ideological weapon used against Tories and radicals.

S.K. Tsaturova.

Judges and justice in the 15th century France, as seen by a Royal Advocate Jean Jouvenel.

The article focuses on the problems of French legal proceedings. It demonstrates how professional ethics was interpreted by a particular parliamentary official and how it influenced his attitude to a society.

O.E. Kosheleva.

A clerk in Peterbourg at the times of Peter the Great.

The article is based on the analysis of the collections of Russian State Archive. It shows different strata of the hierarchy of government officials in the 18th century Peterbourg. The author focuses on the ways of influencing the decision making and, consequently, on human lives. The article deals with clerk's methods of work, their life style, education and finances.

M.L. Maiofis.

Karamzinism in Politics and Literature: the Worldly Utopia of D.N. Bludov.

The paper deals with karamzinism as a system of literary and political views and its transformation within the official and creative activity of D.N. Bludov. Bludov is known as the most consistent and enthusiastic disciple of N.M. Karamzin and the publisher of the last (12-th) volume of his History. The paper is based on Bludov's unpublished works and letters in custody of the Russian State Archive of Early Acts. The analysis of these sources leads to the conclusion that the principal concept of Bludov's world outlook was the concept of the "high society" elaborated by Karamzin in his writings of the period when he edited the "Vestnik Evropy" periodical (1801-1803). Bludov's constitutionalism was of a particular kind: constitution for him was neither a purport of state's existence nor an important stage of its evolution but a means to obtain national well-being similar to enlightenment or efficient and wise government.

G.Y. Yankovskaya.

On conferment of Stalin prize in literature and arts.

The article deals with the artistic life in the post-war USSR, which was closely connected with conferment of Stalin (later Lenin and State) prizes. The author analyses the decisions made by a special committee for conferment of Stalin prizes in literature and arts. These decisions demonstrated not only the priorities in state cultural policy and mass culture, but also customs of the artistic community.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо Предисловия

Л.П.Репина

Социальная память и историческая культура:
от античности к новому времению..... 5

История и память

Йорн Рюзен (Германия)

Утрачивая последовательность истории 8

С.А.Экштут

Битвы за храм Мнемозины..... 27

История и теория

О.Г.Эксле (Германия)

Факты и фикции: о текущем кризисе исторической науки..... 49

Л.П.Репина

Комбинационные возможности микро- и макроанализа:
историографическая практика 61

Дональд Келли (США)

Основания для сравнения..... 89

Из истории идеологии

Л.М.Макарова (Сыктывкар)

Идеология Нацизма: основные аспекты создания и функционирования..... 106

Религиозные учения и религиозная полемика

А.Ю.Серегина

Веротерпимость и религиозные преследования: августиновская традиция
в английской религиозной полемике конца XVI – начала XVII веков. 136

Н.В.Корякина

Религиозные убеждения Жана Бодена
в контексте лингвистического анализа..... 155

Интеллектуальные традиции античности и средних веков

М.С.Петрова

Макробий и его метод цитирования латинских авторов
(на примере *Комментария на 'Сон Сципиона'*)..... 169

П.П.Шкарёнков

Rex Theodericus princeps:
формирование концепции королевской власти в Остготской Италии..... 184

Из истории воспитания и образования

- П.Ю.Уваров**
 Университеты Российской империи глазами медиевиста
 (в защиту «идола истоков»).....207
- В.Г.Безрогов**
 Социальный идеал воспитания в Новом Завете
 (интерпретации современной западной историографии).....224

История и политика

- М.П.Айзенштат**
 Исторические взгляды британских либералов двадцатых годов XIX века....248

«На государственной службе»

- С.К.Цатурова**
 Судьи и правосудие во Франции XV века
 глазами Жана Жувеняля, королевского адвоката263
- О.Е.Кошелева**
 Подьячий в интерьере Петербурга петровского времени.....278

Интеллектуалы во власти

- М.Л.Майофис**
 Карамзинист в политике и литературе: случай Д.Н. Блудова.....292

Профессиональные сообщества и творческая деятельность

- Г.А.Янковская (Пермь)**
 «Шинель дана очень обще и немножко бревном таким»: к вопросу о мотивационном аспекте деятельности комитета по присуждению Сталинских премий в области литературы и искусства.....314

Публикации

- П.Г.Виноградов**
 Об истории (публикация текста и примечания А.В.Антощенко).....326
- Т.А.Черноверская (Новосибирск)**
 Самое раннее сочинение Сен-Жюста: «Арлекин Диоген».....336
- Арлекин Диоген (пер. Т.А.Черноверской).....340

Читая книги

- М.С.Бобкова**
 Приглашение в «Театр»: пьеса Энн Блейр.....376
- Г.И.Зверева**
 История как «строгая»: концепции российских историков
 на рубеже XIX–XX веков.....381

- SUMMARIES**.....385

CONTENTS

Instead of Preface

- L.P.Repina*
Social memory and historical culture from Antiquity till Modernity.....5

History and Memory

- J.Rüzen*
Loosing the order of history8
- S.A.Ekshut*
Fights for the temple of Mnemosine.....27

History and Theory

- O.G.Oexle*
Facts and Fictions: on the current crisis of historical science.....49
- L.P.Repina*
The integrative potential of micro- and macro-approaches in history.....61
- D.R.Kelley*
Grounds for comparison.....89

History and Ideology

- L.M.Makarova*
The Ideology of Nazism: aspects of its formation and functioning106

Religion and Polemics

- A.Y.Seregina.*
Toleration and religious persecution: Augustinian tradition in the English
religious controversies of the late 16th – early 17th centuries136
- N.V. Koryakina.*
Religious views of Jean Bodin in the context of liquistic analysis155

Intellectual traditions of Antiquity and the Middle Ages

- M.S.Petroff.*
Macrobius' Treatment of Latin Sources in the Commentary on the Dream
of Scipio169
- P.P.Shkarenkov.*
Concept Forming of Royal Power in Ostrogothic Italy.....184

History of Education

P.Y.Uvarov.

The universities of Rissian Empire as seen by a medievist
(defending the «idol of sources»)207

V.G. Bezrogov.

A social ideal of education in New Testament (interpretations by contemporary
Western historiography).....224

History and Policy

M.P.Eisenshtat. Historical views of British liberals in 1820s.....248

"In the state service"

*S.K.Tsurova. Judges and justice in the 15th century France, as seen by a Royal
Advocate Jean Jouvenel.Цамырося (откуда?)*.....263

O.E. Kosheleva.

A clerk in Peterbourg at the times of Peter the Great.....278

Intellectuals in Power

M.L.Maiofis.

Karamzinism in Politics and Literature: the Worldly Utopia of D.N. Bludov.292

Professional comity and creative activity

G.Y.Yankovskaya.

On conferment of Stalin prize in literature and arts.....314

Publications

P.G.Vinogradov

About History (ed. by A.V.Antochenko).....326

T.A.Tchernoverskaya.

The earliest work by Saint-Just: the comedy "Arlequin Diogene".....336

Arlequin Diogene (transl. By T.A.Tchernoverskaya).....340

Reading Room

M.S.Bobkova

Invitation to the theatre: a play of Ann Blair.....376

G.I.Zvereva

History as a strict science: conceptions of Russian historians
at the end of the XIX and the first decades of the XX century.....381

SUMMARIES.....385